



W. Somerset Maugham

СОМЕРСЕТ МОЭМ

ТЕАТР
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ



Annotation

«*Teamp*» (1937)

Самый известный роман Сомерсета Моэма.

Тонкая, едко-ироничная история блистательной, умной актрисы, отмечающей «кризис середины жизни» романом с красивым молодым «хищником»? «Ярмарка тщеславия» бурных двадцатых?

Или – неподвластная времени увлекательнейшая книга, в которой каждый читатель находит что-то лично для себя? «Весь мир – театр, и люди в нем – актеры!»

Так было – и так будет всегда!

«*Рождественские каникулы*» (1939)

История страстной, трагической, всепрощающей любви, загадочного преступления, крушения иллюзий и бесконечного человеческого одиночества... Короткая связь богатого английского наследника и русской эмигрантки, вынужденной сделаться «ночной бабочкой»... Это кажется банальным... но только на первый взгляд. Потому что молодой англичанин безмерно далек от жажды поразвлечься, а его случайная приятельница – от желания очистить его карманы. В сущности, оба они хотят лишь одного – понимания...

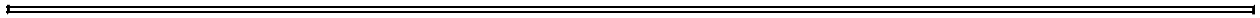
- [Сомерсет Моэм](#)
 -
 - [Театр](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
 - [Глава одиннадцатая](#)
 - [Глава двенадцатая](#)

- [Глава тринадцатая](#)
- [Глава четырнадцатая](#)
- [Глава пятнадцатая](#)
- [Глава шестнадцатая](#)
- [Глава семнадцатая](#)
- [Глава восемнадцатая](#)
- [Глава девятнадцатая](#)
- [Глава двадцатая](#)
- [Глава двадцать первая](#)
- [Глава двадцать вторая](#)
- [Глава двадцать третья](#)
- [Глава двадцать четвертая](#)
- [Глава двадцать пятая](#)
- [Глава двадцать шестая](#)
- [Глава двадцать седьмая](#)
- [Глава двадцать восьмая](#)
- [Глава двадцать девятая](#)
- [Рождественские каникулы](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Глава шестая](#)
 - [Глава седьмая](#)
 - [Глава восьмая](#)
 - [Глава девятая](#)
 - [Глава десятая](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)

- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)

- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)

- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)



Сомерсет Моэм

Театр. Рождественские каникулы

Романы

W. Somerset Maugham

Theatre. Christmas holiday

© The Royal Literary Fund, 1937, 1939

© Перевод. Г. Островская, наследники, 2011

© Перевод. Р. Облонская, наследники, 2016

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

Театр

Глава первая

Дверь отворилась, Майкл Госселин поднял глаза. В комнату вошла Джулия.

– Это ты? Я тебя не задержу. Всего одну минутку. Только покончу с письмами.

– Я не спешу. Просто зашла посмотреть, какие билеты послали Деннорантам. Что тут делает этот молодой человек?

С безошибочным чутьем опытной актрисы приурочивая жест к слову, она указала движением изящной головки на комнату, через которую только что прошла.

– Это бухгалтер. Из конторы Лоренса и Хэмфри. Он здесь уже три дня.

– Выглядит очень юным.

– Он у них в учениках по контракту. Похоже, что дело свое знает. Поражен тем, как ведутся у нас бухгалтерские книги. Он не представлял себе, что можно поставить театр на деловые рельсы. Говорит, в некоторых фирмах счетные книги в таком состоянии, что поседеть можно.

Джулия улыбнулась, глядя на красивое лицо мужа, излучающее самодовольство.

– Тактичный юноша.

– Он сегодня кончает. Не взять ли его с собой перекусить на скорую руку? Он вполне хорошо воспитан.

– По-твоему, этого достаточно, чтобы приглашать его к ленчу?

Майкл не заметил легкой иронии, прозвучавшей в ее голосе.

– Если ты возражаешь, я не стану его звать. Я просто подумал, что это доставит ему большое удовольствие. Он страшно тобой восхищается. Три раза ходил на последнюю пьесу. Ему до смерти хочется познакомиться с тобой.

Майкл нажал кнопку, и через секунду на пороге появилась его секретарша.

– Письма готовы, Марджори. Какие на сегодня у меня назначены встречи?

Джулия вполуха слушала список, который читала Марджори, и от нечего делать оглядывала комнату, хотя помнила ее до мелочей. Как раз такой кабинет и должен быть у антрепренера первоклассного театра. Стены были обшиты панелями (по себестоимости) хорошим декоратором, на них висели гравюры на театральные сюжеты, выполненные Зоффани и де

Уайльдом. Кресла удобные, большие. Майкл сидел в чиппендейле^[1] – подделка, но куплена в известной мебельной фирме, – его стол, с тяжелыми пузатыми ножками, тоже чиппендейл, выглядел необыкновенно солидно. На столе стояли ее фотография в массивной серебряной рамке и, для симметрии, фотография Роджера, их сына. Между ними помещался великолепный серебряный чернильный прибор, который она подарила как-то Майклу в день рождения, а впереди – бювар из красного сафьяна с богатым золотым узором, где Майкл держал бумагу на случай, если ему вздумается написать письмо от руки. На бумаге был адрес: «Сиддонс-театр», на конвертах эмблема Майкла: кабанья голова, а под ней девиз: «Nemo me impune lacessit»^[2]. Желтые тюльпаны в серебряной вазе, выигранной Майклом на состязаниях по гольфу среди актеров, свидетельствовали о заботливости Марджори. Джулия бросила на нее задумчивый взгляд. Несмотря на коротко стриженные, обесцвеченные перекисью волосы и густо покрашенные губы, у нее был бесполой вид, отличающий идеальную секретаршу. Она проработала с Майклом пять лет, должна была вдоль и поперек изучить его за это время. Интересно, хватило у нее ума влюбиться в него?

Майкл поднялся с кресла:

– Ну, дорогая, я готов.

Марджори подала ему черную фетровую шляпу и распахнула дверь. Когда они вышли в контору, юноша, которого заметила, проходя, Джулия, обернулся и встал.

– Разрешите познакомить вас с мисс Лэмберт, – сказал Майкл. Затем добавил с видом посла, представляющего атташе царственной особе, при дворе которой он аккредитован: – Это тот джентльмен, который любезно согласился привести в порядок наши бухгалтерские книги.

Юноша залился ярким румянцем. На теплую улыбку Джулии, всегда бывшую у нее наготове, он ответил деревянной улыбкой. А сердечно пожав ему руку, она отметила, что ладонь его стала влажной от пота. Его смущение было трогательно. Так, верно, чувствовали себя те, кого представляли Саре Сиддонс^[3]. Джулия подумала, что не очень-то любезно ответила Майклу, когда он предложил позвать мальчика на ленч. Она посмотрела ему прямо в глаза своими огромными темно-карими лучистыми глазами. Без всякого усилия, так же инстинктивно, как отмахнулась бы от докучавшей ей мухи, она вложила в голос чуть ироничное, ласковое радушие:

– Может быть, вы не откажетесь поехать с нами перекусить? Майкл

привезет вас обратно после ленча.

Юноша опять покраснел, кадык на его тонкой шее судорожно дернулся.

– Это очень любезно с вашей стороны. – Он встревоженно осмотрел свой костюм. – Но я невероятно грязен.

– Вы сможете умыться и почиститься, когда приедете к нам.

Машина ждала у служебного входа: длинный черный автомобиль с хромированными деталями, сиденья обтянуты посеребренной кожей, эмблема Майкла скромно украшает дверцы. Джулия села сзади.

– Садитесь со мной. Майкл поведет машину.

Они жили на Стэнхоуп-плейс. Когда они приехали, Джулия велела дворецкому показать юноше, где он может помыть руки. Сама она поднялась в гостиную. В то время как она красила губы, появился Майкл.

– Я сказал ему, чтобы он шел сюда, как только будет готов.

– Между прочим, как его зовут?

– Понятия не имею.

– Милый, надо же нам знать. Я попрошу его расписаться в книге для посетителей.

– Слишком много чести. – Майкл просил расписываться только самых почетных гостей. – Мы видим его здесь в первый и последний раз.

В этот момент молодой человек появился в дверях. В машине Джулия приложила все старания, чтобы успокоить его, но он, видно, все еще робел. Их уже ждал коктейль, Майкл разлил его по бокалам. Джулия вынула сигарету, и молодой человек зажег спичку, но рука его так сильно дрожала, что ей ни за что бы не удалось прикурить, поэтому она сжала ее своими пальцами.

«Бедный ягненок, – подумала Джулия, – верно, сегодня самый знаменательный день в его жизни. Будет на седьмом небе от счастья, когда начнет рассказывать об этом. Он станет героем в своей конторе, и все от зависти лопнут».

Язык Джулии сильно разнился, когда она говорила сама с собой и с другими людьми. С собой она не стеснялась в выражениях. Джулия с наслаждением сделала первую затяжку. Право же, если подумать, разве не удивительно, что ленч с ней и получасовой разговор придаст человеку столько важности, сделает его крупной персоной в его жалком кружке.

Юноша выдавил из себя фразу:

– Какая потрясающая комната.

Джулия одарила его очаровательной улыбкой, слегка приподняв свои прекрасные брови, что он, наверное, не раз видел на сцене.

– Я очень рада, что она вам нравится. – Голос у нее был низкий и чуть хрипловатый. По тону Джулии можно было подумать, что его слова сняли огромную тяжесть с ее души. – Мы в семье считаем, что у Майкла превосходный вкус.

Майкл самодовольно оглядел комнату.

– У меня такой богатый опыт. Я всегда сам придумываю интерьеры для наших пьес. Конечно, у нас есть человек для черновой работы, но идеи мои.

Они переехали в этот дом два года назад, и Майкл так же, как и Джулия, знал, что они отдали его в руки опытного декоратора, когда отправились в турне по провинции, и тот взялся полностью его подготовить к их приезду, причем бесплатно, за то, что они предоставят ему работу в театре, когда вернутся. Но к чему было сообщать эти скучные подробности человеку, даже имя которого было им неизвестно. Дом был отлично обставлен, в нем удачно сочетались антиквариат и модерн, и Майкл мог с полным правом сказать, что это, вне сомнения, дом джентльмена. Однако Джулия настояла на том, чтобы спальня была такой, как она хочет, и, поскольку ее абсолютно устраивала спальня в их старом доме в Риджентс-парке, где они жили с конца войны, перевезла ее сюда всю целиком. Кровать и туалетный столик были обтянуты розовым шелком, кушетка и кресло – светло-голубым, который так любил Натье^[4]; над кроватью порхали пухлые позолоченные херувимы, держащие лампу под розовым абажуром, такие же пухлые позолоченные херувимы окружали гирляндой трюмо. На столе атласного дерева стояли в богатых рамах фотографии с автографами: актеры, актрисы и члены королевской фамилии. Декоратор презрительно поднял брови, но это была единственная комната в доме, где Джулия чувствовала себя по-настоящему уютно. Она писала письма за бюро из атласного дерева, сидя на позолоченном стуле.

Дворецкий объявил, что ленч подан, и они пошли вниз.

– Надеюсь, вы не останетесь голодными, – сказала Джулия. – У нас с Майклом очень плохой аппетит.

И действительно: на столе их ждали жареная камбала, котлеты со шпинатом и компот. Эта еда могла утолить законный голод, но не давала потолстеть. Кухарка, предупрежденная Марджори, что к ленчу будет еще один человек, приготовила на скорую руку жареный картофель. Он выглядел хрустящим и аппетитно пахнул. Но ел его только гость. Майкл уставился на блюдо с таким видом, словно не совсем понимал, что там лежит, затем, чуть заметно вздрогнув, очнулся от мрачной задумчивости и сказал: нет, благодарю. Они сидели за длинным и узким обеденным столом,

Джулия и Майкл на торцовых концах, друг против друга, в величественных итальянских креслах, молодой человек – посредине, на не очень удобном, но гармонирующем с прочей мебелью стуле. Джулия заметила, что он посматривает на буфет, и наклонилась к нему с обаятельной улыбкой.

– Вам что-нибудь нужно?

Он покраснел.

– Нельзя ли мне ломтик хлеба?

– Конечно.

Джулия бросила на дворецкого выразительный взгляд – он в этот момент как раз наливал белое сухое вино в бокал Майкла, – и тот вышел из комнаты.

– Мы с Майклом не едим хлеба. Джевонс сглупил, не подумав, что вам он может понадобиться.

– Разумеется, есть хлеб – это только привычка, – сказал Майкл. – Поразительно, как легко от нее отучаешься, если твердо решишь.

– Бедный ягненок, худой как щепка, Майкл.

– Я отказался от хлеба не потому, что боюсь потолстеть. Я не ем его, так как не вижу в этом смысла. При моем моционе я могу есть все, что хочу.

Для пятидесяти двух лет у Майкла была еще очень хорошая фигура. В молодости его густые каштановые волосы, чудесная кожа, большие синие глаза, прямой нос и маленькие уши завоевали ему славу первого красавца английской сцены. Только тонкие губы несколько портили его. Высокий – шести футов роста, – он отличался к тому же прекрасной осанкой. Столь поразительная внешность и побудила Майкла пойти на сцену, а не в армию – по стопам отца. Сейчас его каштановые волосы почти совсем поседели, и он стриг их куда короче, лицо стало шире, на нем появились морщины, кожа перестала напоминать персик, по щекам зазмеились красные жилки. Но благодаря великолепным глазам и стройной фигуре он все еще был достаточно красив. Проведя пять лет на войне, Майкл усвоил военную выправку, и, если бы вы не знали, кто он (что вряд ли было возможно, так как фотографии его по тому или другому поводу вечно появлялись в иллюстрированных газетах), вы бы приняли его за офицера высокого ранга. Он хвастал, что его вес сохранился таким, каким был в двадцать лет, и многие годы вставал в любую погоду в восемь часов утра, надевал шорты и свитер и бегал по Риджентс-парку.

– Секретарша сказала мне, что вы были на репетиции сегодня утром, мисс Лэмберт, – заметил юноша. – Вы собираетесь ставить новую пьесу?

– Отнюдь, – ответил Майкл. – Мы делаем полные сборы.

– Майкл решил, что мы немного разболтались, и назначил репетицию.

– И очень этому рад. Я обнаружил, что кое-где вкрались трюки, которых я не давал при постановке, и во многих местах актеры позволяют себе вольничать с текстом. Я очень педантичен в этих вопросах и считаю, что надо строго придерживаться авторского слова, хотя, видит бог, то, что пишут авторы в наши дни, немногого стоит.

– Если вы хотите посмотреть эту пьесу, – любезно сказала Джулия, – я уверена, Майкл даст вам билет.

– Мне бы очень хотелось пойти еще раз, – горячо сказал юноша. – Я видел спектакль уже три раза.

– Неужели? – изумленно воскликнула Джулия, хотя она прекрасно помнила, что Майкл ей об этом говорил. – Конечно, пьеска эта не так плоха, она вполне отвечает своему назначению, но я не представляю, чтобы кому-нибудь захотелось трижды смотреть ее.

– Я не столько ради пьесы, сколько ради вашей игры.

«Все-таки я вытянула из него это», – подумала Джулия и добавила вслух:

– Когда мы читали пьесу, Майкл еще сомневался. Ему не очень понравилась моя роль. Вы знаете, по сути, это – не для ведущей актрисы. Но я решила, что сумею кое-что из нее сделать. Понятно, на репетициях вторую женскую роль пришлось сильно сократить.

– Я не хочу сказать, что мы заново переписали пьесу, – добавил Майкл, – но, поверьте, то, что вы видите сейчас на сцене, сильно отличается от того, что предложил нам автор.

– Вы играете просто изумительно, – сказал юноша. («А в нем есть свой шарм».)

– Рада, что я вам понравилась, – ответила Джулия.

– Если вы будете очень любезны с Джулией, она, возможно, подарит вам на прощание свою фотографию.

– Правда? Подарите?

Он снова вспыхнул, его голубые глаза засияли. («А он и впрямь очень-очень мил».) Красивым юношу, пожалуй, назвать было нельзя, но у него было открытое прямодушное лицо, а застенчивость казалась даже привлекательной. Волнистые светло-каштановые волосы были тщательно приглажены, и Джулия подумала, насколько больше бы ему пошло, если бы он не пользовался бриллиантином. У него был свежий цвет лица, хорошая кожа и мелкие красивые зубы. Джулия заметила с одобрением, что костюм сидит на нем хорошо и он умеет его носить. Юноша выглядел чистеньким и славным.

– Вам, верно, раньше не приходилось бывать за кулисами? – спросила она.

– Никогда. Вот почему мне до смерти хотелось получить эту работу. Вы даже не представляете, что это для меня значит!

Майкл и Джулия благожелательно ему улыбнулись. Под его восхищенными взорами они росли в собственных глазах.

– Я никогда не разрешаю посторонним присутствовать на репетиции, но, поскольку вы теперь наш бухгалтер, вы вроде бы входите в труппу, и я не прочь сделать для вас исключение, если вам захочется прийти, – сказал Майкл.

– Это чрезвычайно любезно с вашей стороны. Я еще ни разу в жизни не был на репетиции. А вы будете играть в новой пьесе, мистер Госселин?

– Нет, не думаю. Я теперь не очень-то стремлюсь играть. Почти невозможно найти роль на мое амплуа. Понимаете, в моем возрасте уже не станешь играть любовников, а авторы перестали писать роли, которые в моей юности были в каждой пьесе. То, что французы называют «резонер». Ну, вы знаете, что я имею в виду – герцог, или министр, или известный королевский адвокат, которые говорят остроумные вещи и обводят всех вокруг пальца. Не понимаю, что случилось с авторами. Похоже, они вообще разучились писать. От нас ожидают, что мы построим здание, но где кирпичи? И вы думаете, они нам благодарны? Авторы, я хочу сказать. Вы бы поразились, если бы слышали, какие условия у них хватает наглости ставить!

– Однако факт остается фактом: нам без них не обойтись, – улыбнулась Джулия. – Если пьеса плоха, ее никакая игра не спасет.

– Все дело в том, что и публика перестала по-настоящему интересоваться театром. В великие дни расцвета английской сцены люди не ходили смотреть пьесы, они ходили смотреть актеров. Не важно, что играли Кембл^[5] или миссис Сиддонс. Публика шла, чтобы смотреть на их игру. И хотя я не отрицаю, если пьеса плоха, мы горим. Все же, когда она хороша, даже теперь зрители приходят смотреть актеров, а не пьесу.

– Я думаю, никто с этим не станет спорить, – сказала Джулия.

– Такой актрисе, как Джулия, нужно одно – произведение, где она может себя показать. Дайте ей его, и она сделает все остальное.

Джулия улыбнулась юноше очаровательной, но чуть-чуть извиняющейся улыбкой.

– Не надо принимать моего мужа слишком всерьез. Боюсь, там, где дело касается меня, он немного пристрастен.

– Если молодой человек что-нибудь в этом смыслит, он должен знать,

что в области актерского искусства ты можешь все.

– Я просто остерегаюсь делать то, чего не могу. Отсюда и моя репутация.

Но тут Майкл взглянул на часы.

– Ну, юноша, нам следует ехать.

Молодой человек проглотил залпом то, что еще оставалось у него в чашке. Джулия поднялась из-за стола.

– Вы не забыли, что обещали мне фотографию?

– Думаю, у Майкла в кабинете найдется что-нибудь подходящее. Пойдемте, вместе выберем.

Джулия провела его в большую комнату позади столовой. Хотя предполагалось, что это будет кабинет Майкла – «Надо же человеку иметь место, где он может посидеть без помех и выкурить трубку», – использовали ее главным образом как гардеробную, когда у них бывали гости. Там стояло прекрасное бюро красного дерева, на нем фотографии Георга V и королевы Марии с их личными подписями. Над камином висела старая копия портрета Кембла в роли Гамлета кисти Лоренса^[6]. На столике лежала груда напечатанных на машинке пьес. По стенам шли книжные полки, закрытые снизу дверцами. Открыв дверцу, Джулия вынула пачку своих последних фотографий. Протянула одну из них юноше:

– Эта, кажется, не так плоха.

– Очаровательна.

– Значит, я здесь не настолько похожа, как думала.

– Очень похожи. В точности как в жизни.

На этот раз улыбка ее была иной, чуть лукавой; Джулия опустила на миг ресницы, затем, подняв их, поглядела на юношу с тем мягким выражением глаз, которое поклонники называли ее бархатным взглядом. Она не преследовала этим никакой цели, сделала это просто механически, из инстинктивного желания нравиться. Мальчик был так молод, так робок, казалось, у него такой милый характер, и она никогда больше его не увидит, ей не хотелось, так сказать, остаться в долгу, хотелось, чтобы он вспоминал об этой встрече, как об одном из великих моментов своей жизни. Джулия снова взглянула на фотографию. Неплохо бы на самом деле выглядеть так. Фотограф посадил ее, не без ее помощи, самым выгодным образом. Нос у нее был слегка толстоват, но благодаря искусному освещению это совсем не заметно; ни одна морщинка не портила гладкой кожи, от взгляда ее прекрасных глаз невольно таяло сердце.

– Хорошо. Получайте эту. Вы сами видите, я не красивая и даже не

хорошенькая. Коклен^[7] всегда говорил, что у меня *beaute du diable*^[8]. Вы ведь понимаете по-французски?

– Для этого – достаточно.

– Я надпишу ее вам.

Джулия села за бюро и своим четким плавным почерком написала: «Искренне Ваша, Джулия Лэмберт».

Глава вторая

Когда мужчины ушли, Джулия снова пересмотрела фотографии перед тем, как положить их на место.

«Неплохо для сорока шести лет, – улыбнулась она. – Я тут похожа, не приходится спорить. – Она оглянулась в поисках зеркала, но не нашла. – Чертовы декораторы. Бедный Майкл. Чего удивляться, что он редко здесь сидит. Конечно, я никогда не была особенно фотогенична».

У Джулии вдруг возникло желание взглянуть на старые снимки. Майкл был человек деловой и аккуратный. Все ее фотографии хранились в больших картонных коробках, в хронологическом порядке. Его собственные, также датированные, были в других коробках в том же шкафу.

– Когда кто-нибудь захочет написать историю нашей карьеры, весь материал будет под рукой, – говорил он.

С тем же похвальным намерением он с самого первого дня на сцене наклеивал все газетные вырезки в большие конторские книги, и их накопилась уже целая полка.

Там были детские карточки Джулии и снимки, сделанные в ранней юности; Джулия в первых своих ролях, Джулия – молодая замужняя женщина с Майклом, а затем с Роджером, тогда еще младенцем. Одна их фотография – Майкл, мужественный и неправдоподобно красивый, она сама, воплощенная нежность, и Роджер, маленький кудрявый мальчик, – имела колоссальный успех. Все иллюстрированные газеты отдали ей по целой странице; ее печатали на программках. Уменьшенная до размеров художественной открытки, она в течение многих лет продавалась в провинции. Так досадно, что, поступив в Итон, Роджер наотрез отказался фотографироваться вместе с матерью. Удивительно – не хотеть попасть в газеты!

– Люди подумают, что ты – урод или еще что-нибудь, – сказала она. – В этом нет ничего зазорного. Пойди на премьеру, посмотри, как все эти дамы и господа из общества толпятся вокруг фотографов, все эти министры, судьи и прочие. Они делают вид, будто им это ни к чему, но надо видеть, какие позы они принимают, когда им кажется, что фотограф нацелил на них объектив.

Однако Роджер стоял на своем.

На глаза Джулии попала ее фотография в роли Беатриче. Единственная шекспировская роль в ее жизни. Джулия знала, что плохо

выглядит в костюмах той эпохи, хотя никогда не могла понять почему: никто лучше нее не умел носить современное платье. Она все шила себе в Париже – и для сцены, и для личного обихода; портнихи говорили, что ни от кого не получают столько заказов. Фигура у нее прелестная, все это признают: длинные ноги и, для женщины, довольно высокий рост. Жаль, что ей не выпало случая сыграть Розалинду, ей бы очень пошел мужской костюм. Разумеется, теперь уже поздно, а может, и хорошо, что она не стала рисковать. Хотя при ее блеске, ее лукавом кокетстве и чувстве юмора она, наверное, была бы идеальна в этой роли. Критикам не очень понравилась ее Беатриче. Все дело в этом проклятом белом стихе. Ее голос, низкий, глубокий, грудной голос с такой эффектной хрипотцой, от которой в чувствительном пассаже у вас сжималось сердце, а смешные строки казались еще смешнее, совершенно не годился для белого стиха. Опять же ее артикуляция: она всегда была настолько четка, что Джулии не приходилось нажимать, и так каждое слово слышно в последних рядах галерки; говорили, что из-за этого стихи звучат у нее как проза. Все дело в том, думала Джулия, что она слишком современна.

Майкл начал с Шекспира. Это было еще до их знакомства. Он играл Ромео в Кембридже, и после того как, окончив университет, провел год в драматической школе, его ангажировал Бенсон^[9]. Майкл гастролировал по провинции и играл самые разные роли. Он скоро понял, что с Шекспиром далеко не уедешь, и если он хочет стать ведущим актером, ему надо научиться играть в современных пьесах. В Миддлпуле был театр с постоянной труппой и постоянным репертуаром, привлекавший к себе большое внимание; им заведовал некий Джеймс Лэнгтон. Проработав в труппе Бенсона три года, Майкл написал Лэнгтону, когда они собирались в очередную поездку в Миддлпул, и спросил, нельзя ли с ним повидаться. Джимми Лэнгтон, толстый, лысый, краснощекий мужчина сорока пяти лет, похожий на одного из зажиточных бюргеров Рубенса, обожал театр. Он был эксцентричен, самонадеян, полон кипучей энергии, тщеславен и неотразим. Он любил играть, но его внешние данные годились для очень немногих ролей, и слава богу, так как актер он был плохой. Он не мог умерить присущую ему экспансивность, и, хотя внимательно изучал и обдумывал свою роль, все они превращались в гротеск. Он утрировал каждый жест, чрезмерно подчеркивал каждое слово. Но когда он вел репетицию с труппой – иное дело, тогда он не переносил никакой наигранности. Ухо у Джимми было идеальное, хотя сам он и слова не мог произнести в нужной тональности, сразу замечал, если фальшивил кто-то другой.

– Не будьте естественны, – говорил он актерам. – На сцене не место

этому. Здесь все – притворство. Но извольте *казаться* естественными.

Джимми выжимал из актеров все соки. Утром, с десяти до двух, шли репетиции, затем он отпускал их домой учить роли и отдохнуть перед вечерним спектаклем. Он распекал их, он кричал на них, он насмехался над ними. Он недостаточно им платил. Но если они хорошо исполняли трогательную сцену, он плакал как ребенок, и когда смешную фразу произносили так, как ему хотелось, он хватался за бока. Если он был доволен, он прыгал по сцене на одной ножке, а когда сердился, кидал пьесу на пол и топтал ее, а по его щекам катились гневные слезы. Труппа смеялась над Джимми, ругала его и делала все, чтобы ему угодить. Он возбуждал в них покровительственный инстинкт, все они, до одного, чувствовали, что просто не могут его подвести. Они говорили, что он дерет с них три шкуры, у них и минутки нет свободной, такой жизни даже скотина не выдержит, и при этом им доставляло какое-то особое удовольствие выполнять его непомерные требования. Когда он с чувством пожимал руку старого актера, получающего семь фунтов в неделю, и говорил: «Клянусь богом, старина, ты был просто сногсшибателен», – старик чувствовал себя Чарлзом Кином^[10].

Случилось так, что когда Майкл приехал в Миддлпул на встречу, о которой просил в письме, Джимми Лэнгтону как раз требовался актер на амплу первого любовника. Он догадался, по какому поводу Майкл хочет его видеть, и пошел накануне в театр посмотреть на его игру. Майкл выступал в роли Меркуцио и не очень ему понравился, но когда тот вошел к нему в кабинет, Джимми был поражен его красотой. В коричневом сюртуке и серых брюках из легкой шерсти он, даже без грима, был так хорош, что прямо дух захватывало. У него были непринужденные манеры, и говорил он как джентльмен. Пока Майкл излагал цель своего визита, Джимми внимательно за ним наблюдал. Если он хоть как-то может играть, с такой внешностью этот молодой человек далеко пойдет.

– Я видел вашего Меркуцио вчера, – сказал он. – Что вы сами о нем думаете?

– Отвратительный.

– Согласен. Сколько вам лет?

– Двадцать пять.

– Вам, наверное, говорили, что вы красивы?

– Потому-то я и пошел на сцену, а не в армию, как отец.

– Черт побери, мне бы вашу внешность, какой бы я был актер!

Кончилась встреча тем, что Майкл подписал контракт. Он пробыл у Джимми Лэнгтона два года. Вскоре он сделался любимцем труппы. Он был

добродушен и отзывчив, не жалел труда, чтобы оказать услугу. Его красота произвела сенсацию в Миддлпуле, и у служебного входа вечно торчала куча девиц, поджидавших, когда он выйдет. Они писали ему любовные письма и посылали цветы. Майкл принимал их поклонение как должное, но не позволял вскружить себе голову. Он стремился к успеху и твердо решил, что не свяжет себя ничем, что может этому помешать. Джимми Лэнгтон скоро пришел к заключению, что, несмотря на настойчивость Майкла и горячее желание преуспеть, из него никогда не получится хороший актер. Спасала Майкла только красота. Голос у него был тонковат и в особо патетические моменты звучал чуть пронзительно. Это скорее было похоже на истерику, чем на бурную страсть. Но самым большим его недостатком в качестве героя-любовника было то, что он не умел изображать любовь. Он свободно вел обычный диалог, умел донести «соль» произносимых им строк, но, когда доходило до признания в любви, что-то его сковывало. Он смущался, и это было видно.

– Черт вас подери, не держите девушку так, словно это мешок с картофелем! – кричал на него Джимми Лэнгтон. – Вы целуете ее с таким видом, будто боитесь заразиться простудой! Вы влюблены в нее. Вам должно казаться, будто вы таете как воск и если через секунду будет землетрясение и земля вас поглотит, черт с ним, с этим землетрясением!

Но все было напрасно. Несмотря на свою красоту, изящество и непринужденные манеры, Майкл оставался холодным любовником. Это не помешало Джулии страстно им увлечься. Произошло это сразу же, как только Майкл присоединился к их труппе.

У самой Джулии все шло без сучка без задоринки. Родилась Джулия на Джерси, где ее отец, уроженец этого острова, практиковал в качестве ветеринара. Сестра ее матери вышла замуж за француза, торговца углем, который жил в Сен-Мало, и Джулию отправили к ней учиться в местном лицее. По-французски она говорила как настоящая француженка. Она была прирожденная актриса, и, сколько себя помнила, ни у кого не вызывало сомнений, что она пойдет на сцену. Ее тетушка, мадам Фаллу, была «en relations»^[11] со старой актрисой, бывшей в молодости *sociétaire*^[12] в *Comédie-Française*^[13]. Уйдя из театра, та переселилась в Сен-Мало и жила там на небольшую пенсию, которую назначил ей один из ее любовников, когда они наконец расстались после многих лет верного внебрачного сожительства. К тому времени, когда Джулии исполнилось двенадцать, эта актриса превратилась в толстую, громогласную и деятельную старуху шестидесяти лет с лишком, больше всего на свете любившую вкусно

поест. У нее был звонкий раскатистый смех и зычный, низкий, как у мужчины, голос. Она-то и давала Джулии первые уроки драматического искусства и научила всем приемам, которые сама в свое время узнала в Conservatoire^[14]. Она же рассказывала ей о Рейхенберг, выступавшей в амплу инженеру до семидесяти лет, о Саре Бернар^[15] и ее золотом горле, о величественном Муне-Сюлли^[16] и великом Коклене.

Она читала Джулии длинные отрывки из трагедий Корнеля и Расина так, как привыкла произносить их в Comédie-Française, и следила, чтобы та разучивала их подобным же образом. Девочка прелестно декламировала полные истомы и страсти монологи Федры, подчеркивая ритм александрийского стиха и выговаривая слова так аффектированно и вместе с тем так драматично. В свое время Жанна Тэбу, должно быть, играла в очень нарочитой манере, но она научила Джулию превосходной артикуляции, научила ходить и держаться на сцене, научила ее не бояться собственного голоса и отшлифовала ее интуитивное умение установить нужный ритм, которое впоследствии стало одним из самых больших ее достоинств.

– Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости, – гремела старая актриса, колотя кулаком по столу, – но уж если сделала, тяни ее, сколько сможешь.

Когда Джулии исполнилось шестнадцать и она пошла в Королевскую академию драматического искусства на Говер-стрит, она уже знала многое из того, чему там учили. Ей пришлось избавиться от некоторых приемов, которые выглядели старомодно, и приучиться к более разговорной манере исполнения. Но она занимала первые места на всех конкурсах, в которых участвовала, и, как только окончила школу, почти сразу получила благодаря своему превосходному французскому небольшую роль горничной в одном из лондонских театров. Какое-то время казалось, что ее знание французского языка обречет ее только на такие роли, где требуется иностранный акцент, так как следом за французской горничной она играла австрийскую официантку. Прошло два года, прежде чем ее открыл Джимми Лэнгтон. Джулия гастролировала по провинции с мелодрамой, хорошо принятой в Лондоне, в роли итальянки-авантюристки, чьи интриги в конце концов оказываются раскрытыми; она старалась, без особого успеха, изобразить сорокалетнюю женщину. Поскольку ведущая актриса, блондинка зрелого возраста, играла молодую девушку, все представление было лишено правдоподобия. Джимми дал сам себе короткий отпуск, который он проводил, посещая театр за театром, в разных городах. После

окончания спектакля он пошел за кулисы познакомиться с Джулией. Джимми был достаточно известен в театральных кругах для того, чтобы его комплименты польстили ей, и когда он пригласил ее завтра к ленчу, Джулия согласилась.

Не успели они сесть за столик, как он без обиняков приступил к делу:

– Я этой ночью и глаз не сомкнул, все думал о вас.

– Вот это сюрприз! И какие же у вас были мысли – честные или бесчестные?

Джимми пропустил мимо ушей легкомысленный ответ.

– Я участвую в этой игре уже двадцать пять лет. Я был мальчиком, вызывающим актеров на сцену, рабочим сцены, актером, режиссером, рекламным агентом, был даже критиком, черт побери. Я живу среди кулис с самого детства, с тех пор как вышел из школы, и то, чего я не знаю о театре, и знать не стоит. Я думаю, что вы – огромный талант.

– Очень мило с вашей стороны.

– Заткнитесь. Говорить предоставьте мне. У вас идеальные данные. Подходящий рост, подходящая фигура, каучуковое лицо...

– Очень лестно.

– Еще как. Такое лицо и нужно актрисе. Лицо, которое может быть любым, даже прекрасным, лицо, на котором отражается каждая мысль, проносящаяся в уме. Такое лицо было у Дузе^[17]. Вчера вечером, хотя вы по-настоящему и не думали о том, что делали, время от времени слова, которые вы произносили, были просто написаны у вас на лице.

– Это ужасная роль. Там и думать-то не о чем. Вы слышали, какую ерунду я должна пороть?

– Ужасными бывают только актеры, а не роли. У вас необыкновенный голос, голос, который может перевернуть всю душу. Как вы в комических ролях – я не знаю, но готов рискнуть.

– Что вы этим хотите сказать?

– Ваше чувство ритма почти безупречно. Этому нельзя научить, должно быть, оно у вас от природы. И это куда лучше. Перехожу к сути дела. Я навел о вас справки. Вы в совершенстве говорите по-французски, поэтому вам дают роли, где нужен ломаный английский язык. На этом, знаете, далеко не уедешь.

– Это все, что я могу получить.

– Вас удовлетворит всю жизнь изображать такие персонажи? Вы застрянете на них, и публика не станет принимать вас ни в каком другом амплуа. Вы всегда будете на второстепенных ролях. Самое большое – двадцать фунтов в неделю и гибель большого таланта.

- Я всегда думала, что наступит день, и я получу настоящую роль.
- Когда? Вы можете прождать десять лет. Сколько вам сейчас?
- Двадцать.
- Сколько вы получаете?
- Пятнадцать фунтов в неделю.
- Неправда. Вы получаете двенадцать, и это куда больше того, что вы сейчас стоите. Вам еще всему надо учиться. Ваши жесты банальны. Вы даже не догадываетесь, что каждый жест должен что-то означать. Вы не умеете заставить публику смотреть на вас до того, как вы заговорите. Вы слишком грубо накладываете грим. С таким лицом, как у вас, чем меньше грима, тем лучше. Вы хотите стать звездой?
- Кто же не хочет?
- Переходите ко мне, и я сделаю вас величайшей актрисой Англии. Вы быстро запоминаете текст? Наверное, да, в вашем возрасте...
- Думаю, могу слово в слово запомнить любую роль через двое суток.
- Вам нужен опыт, и я – для того чтобы вас сделать. Переходите ко мне, и вы будете иметь двадцать ролей в год. Ибсен, Шоу, Баркер, Зудерман, Хэнкин, Голсуорси. В вас есть огромное обаяние, но, судя по всему, вы еще не имеете ни малейшего представления, как им пользоваться. – Джимми засмеялся коротким смешком. – А если бы имели, эта старая карга в два счета выжила бы вас из труппы. Вы должны брать публику за горло и говорить: «Эй вы, собаки, глядите-ка на меня». Вы должны властвовать над ней. Если у человека нет таланта, никто ему его не даст, но если талант есть, можно научить им пользоваться. Говорю вам, у вас есть все задатки великой актрисы. Я еще никогда в жизни ни в чем не был так уверен.
- Я знаю, что мне не хватает опыта. Конечно, мне надо подумать о вашем предложении. Я бы не прочь перейти к вам на один сезон.
- Идите к черту. Вы воображаете, я смогу за один сезон сделать из вас актрису? Стану тянуть из себя жилы, чтобы вы дали несколько приличных представлений, а потом уехали в Лондон играть какую-нибудь ничтожную роль в коммерческой пьесе? За какого же кретина вы меня принимаете! Я подпишу с вами контракт на три года, я буду платить вам восемь фунтов в неделю, и работать вам придется как лошади.
- О восьми фунтах в неделю не может быть и речи. Это смешно. Такого предложения я принять не могу.
- Прекрасно можете. Это все, чего вы сейчас стоите, и все, что вы будете получать.
- Джулия пробыла в театре три года и успела к этому времени многое

узнать. К тому же Жанна Тэбу, не отличавшаяся строгой моралью, поделилась с ней массой полезных сведений.

– А не рассчитываете ли вы, случайно, что за эти же деньги я стану спать с вами?

– О господи, неужели вы думаете, у меня есть время крутить романы с актрисами моей труппы? У меня куча куда более важных дел, детка. И вы увидите, что после четырех часов репетиций, не говоря уж об утренних представлениях, да после того, как вы сыграете вечером в спектакле так, что я буду вами доволен, у вас тоже не будет ни времени, ни желания заниматься любовью. Когда вы ляжете наконец в постель, вам одного захочется – спать.

Но тут Джимми Лэнгтон ошибся.

Глава третья

Джулия, захваченная энтузиазмом и фантастической энергией Лэнгтона, приняла предложение. Джимми начал с ней со скромных ролей, которые под его руководством она играла так, как никогда раньше. Он заинтересовал ею критиков, польстил им, сделав вид, будто это они открыли новый необыкновенный талант, и, незаметно для них самих, выудил предложение показать ее публике в роли Магды^[18]. Джулия имела колоссальный успех, и тогда Джимми дал ей одну за другой Нору в «Кукольном доме»^[19], Энн в «Человеке и сверхчеловеке»^[20] и Гедду Габлер^[21]. Миддлпульцы были в восторге, обнаружив в своем театре актрису, которая могла затмить любую лондонскую звезду, и, чтобы увидеть ее, ломились на такие спектакли, на которые раньше ходили только из местного патриотизма. О Джулии стали упоминать в столичных газетах, и многие восторженные ценители драмы специально приезжали в Миддлпул на нее посмотреть. Они возвращались, превознося ее до небес, и два или три лондонских антрепренера послали своих представителей, чтобы они дали о ней свой отзыв. Те колебались. В драмах Шоу и Ибсена она была хороша, а какой она окажется в обычной пьесе? У антрепренеров уже был печальный опыт. Прельстившись выдающейся игрой какого-нибудь актера в одной из этих чудных пьес, они подчас заключали с ним контракт, а потом обнаруживалось, что во всех остальных пьесах он играет ничуть не лучше других.

Когда Майкл присоединился к их труппе, Джулия играла в Миддлпуле уже целый год. Джимми выпустил его в роли Марчбенкса в «Кандиде»^[22]. Это оказался правильный выбор, как того и следовало ожидать, ибо в этой роли красота Майкла была большим преимуществом, а отсутствие темперамента не являлось недостатком.

...Джулия протянула руку и взяла первую из картонных коробок, в которых лежали фотографии Майкла. С удобством расположившись на полу, она быстро просматривала его ранние фотографии в поисках той, которая была сделана, когда он впервые приехал в Миддлпул. Когда она наконец нашла снимок, сердце ее вдруг сжалось от острой боли. Несколько секунд Джулия боролась со слезами. Такой он тогда и был. Кандиду играла немолодая актриса, обычно выступавшая в характерных ролях или в ролях матерей и старых тетюшек, и Джулия, которая была занята только по вечерам, посещала все репетиции. Она влюбилась в Майкла с первого

взгляда. Джулия никогда в жизни не видела такого красавца и стала упорно добиваться его. Выждав время, Джимми поставил «Привидения»^[23], с риском навлечь на себя гнев респектабельного Миддлпула. Майкл играл в нем юношу, Джулия – Регину. Они читали друг другу свои роли, а после репетиции вместе перекусывали – очень скромно, – чтобы их обсудить. Вскоре они стали неразлучны. Джулия не могла совладать с собой и безудержно льстила Майклу. Он не был тщеславен: зная, что красив, он выслушивал комплименты по этому поводу не то чтобы безразлично, но так, словно речь шла о прекрасном старом доме, который переходил в их семье из поколения в поколение. Было известно, что это один из лучших образчиков архитектуры своей эпохи, им гордились, о нем заботились, но в том, что он существовал, не было ничего особенного, владеть им казалось так же естественно, как дышать. Майкл был неглуп и честолюбив; он знал, что красота – пока его главный козырь, но знал также, что она недолговечна, и твердо решил стать хорошим актером, чтобы в дальнейшем опираться на кое-что еще, кроме внешних данных. Он намеревался научиться у Джимми Лэнгтона всему, чему можно, а затем уехать в Лондон.

– Если я хорошо использую обстоятельства, может быть, я найду какую-нибудь старуху, которая субсидирует меня и поможет открыть собственный театр. Это единственный способ сколотить состояние.

Джулия скоро обнаружила, что Майкл не очень-то любит тратиться, и, когда они завтракали или отправлялись по воскресеньям на небольшую прогулку, не забывала вносить свою долю в их расходы. Джулия ничего не имела против этого. Ей нравилось, что он считает пенни, и, будучи сама склонна сорить деньгами, вечно запаздывая на неделю, а то и на две с квартирной платой, она восхищалась тем, что он терпеть не может влезать в долги и даже при своем скудном жалованье умудряется регулярно кое-что откладывать. Майкл хотел скопить достаточную сумму к тому времени, как переберется в Лондон, чтобы иметь возможность не хвататься за первую предложенную роль, а подождать, пока подвернется что-нибудь стоящее. Родители его жили на небольшую пенсию и должны были лишиться себя самого необходимого, чтобы послать его в Кембридж. Однако отец, которому не очень-то нравилось намерение Майкла идти на сцену, был тверд.

– Если ты решил стать актером, я, по-видимому, не смогу тебе помешать, – сказал он, – но, черт подери, я настаиваю, чтобы ты получил образование, приличествующее джентльмену.

Джулия с удовлетворением узнала, что отец Майкла был полковник в отставке, на нее произвел большое впечатление рассказ об их предке,

проигравшем при регентстве в карты все свое состояние, ей нравилось кольцо с печаткой, которое носил Майкл, где была выгравирована кабанья голова и девиз: «Nemo me impune lacessit».

– Мне кажется, ты больше гордишься своей семьей, чем тем, что похож на греческого бога, – нежно говорила она ему.

– Кто угодно может быть красив, – отвечал он со своей привлекательной улыбкой, – но не всякий может похвалиться добропорядочной семьей. Сказать по правде, я рад, что мой отец – джентльмен.

Джулия собралась с духом и сказала:

– А мой – ветеринар.

На секунду лицо Майкла окаменело, но он тут же справился с собой и рассмеялся.

– Конечно, это не имеет особого значения, кто у тебя отец. Я часто слышал, как мой отец вспоминал о полковом ветеринаре. Он был у них на равных с офицерами. Отец всегда говорил, что он был один из лучших людей в полку.

Джулия была рада, что Майкл окончил Кембридж. Он был в гребной команде своего колледжа, и одно время поговаривали о том, чтобы включить его в университетскую сборную.

– Я, понятно, очень этого хотел. Это бы так пригодилось в дальнейшем. Можно было бы прекрасно использовать для рекламы.

Джулия не могла сказать, знает он, что она в него влюблена, или нет. Сам он никогда никаких авансов не делал. Ему нравилось ее общество, и, когда они оказывались в компании, он почти не отходил от нее. Иногда их приглашали в воскресенье в гости, на обед или на роскошный холодный ужин, и ему казалось вполне естественным, что они идут туда вместе и вместе уходят. Он целовал ее, прощаясь у двери, но так, как мог бы целовать пожилую актрису, с которой играл в «Кандиде». Майкл был сердечен, добродушен, ласков, но, как ей это ни было больно, Джулия не могла не видеть, что она для него всего лишь товарищ. Однако знала она и то, что ни в кого другого он тоже не влюблен. Любовные письма, которые ему писали, он со смехом читал ей вслух, а когда женщины присылали ему цветы, тут же отдавал их Джулии.

– Вот идиотки, – говорил он. – Какого черта они хотят этим достичь?

– Мне кажется, об этом нетрудно догадаться, – сухо отвечала Джулия. Хотя ей было известно, что он ни во что не ставит эти знаки внимания, она все равно злилась и ревновала.

– Я был бы последним дураком, если бы связался с кем-нибудь здесь, в

Миддлпуле. В большинстве это все желторотые девчонки. Не успею я и глазом моргнуть, как на меня накинется разгневанный родитель и скажет: а не хотите ли вы под венец?

Джулия пыталась узнать, не было ли у него интрижки, когда он играл в труппе Бенсона. Она постепенно выяснила, что некоторые из молодых актрис были склонны ему докучать, но он считал, что связываться с женщинами из своей труппы – страшная ошибка. Это никогда не доводит до добра.

– Ты же знаешь, какие актеры сплетники! Всем все будет известно через двадцать четыре часа. И когда начнешь что-нибудь в этом роде, никогда не скажешь заранее, чем все кончится. Нет, я не собирался рисковать.

Когда Майклу хотелось поразвлечься, он ждал, пока они не окажутся неподалеку от Лондона, мчался туда и подцеплял девчонку в ресторане «Глобус». Конечно, это было дорого и, по сути дела, не стоило затраченных денег; к тому же у Бенсона он много играл в крикет и, если представлялась возможность, в гольф, а всякие такие вещи вредны для глаз.

Джулия выдала ему наглухо ложь:

– Джимми говорит, я куда лучше играла бы, если бы завела роман.

– Не верь ему. Он просто грязный старикашка. С кем? Наверное, с ним? Все равно что сказать, будто я лучше сыграл бы Марчбенкса, если бы писал стихи.

Они столько разговаривали друг с другом, что рано или поздно она должна была выяснить его взгляды на брак.

– Я думаю, актер просто дурак, если он женится молодым. Я знаю кучу примеров, когда это совершенно загубило человеку карьеру. Особенно если он женится на актрисе. Он делается звездой, и тогда она камнем висит у него на шее. Она хочет играть с ним, и, если у него своя труппа, он вынужден отдавать ей первые роли, а пригласи он кого-нибудь другого, она станет устраивать ему ужасные сцены. Всегда есть опасность, что у нее родится ребенок, и ей придется отказаться от превосходной роли. Она на много месяцев исчезнет с глаз публики, а ты сама знаешь, что такое публика – с глаз долой, из сердца вон. Если она не видит тебя каждый день, она вообще забывает о твоём существовании.

Замужество! Что ей было замужество? Сердце таяло у нее в груди, когда она смотрела в его глубокие ласковые глаза, она трепетала от мучительного восторга, когда любовалась его блестящими каштановыми кудрями. Что бы она ему ни отдала, если бы он попросил! Но мысль об этом ни разу не закралась в его красивую голову.

«Конечно, я ему нравлюсь, – сказала себе Джулия. – Нравлюсь больше, чем кто-либо другой, он даже восхищается мной, но я не привлекаю его как женщина». Джулия сделала все, чтобы его соблазнить, разве что не легла к нему в постель, и то лишь по одной причине – не представлялось удобного случая. Она стала опасаться, что они чересчур хорошо узнали друг друга, вряд ли их отношения смогут теперь принять другой характер, и горько упрекала себя за то, что не довела дела до конца, когда они только познакомились. Майкл слишком искренне сейчас к ней привязан, чтобы стать ее любовником. Джулия разузнала, когда у него день рождения, и подарила ему золотой портсигар – вещь, которую ему хотелось иметь больше всего на свете. Он стоил куда дороже, чем она могла себе позволить, Майкл с улыбкой попенял ей за мотовство. Он и не догадывался, с каким экстатическим наслаждением тратила она на него деньги. Когда настал ее день рождения, Майкл преподнес ей полдюжины шелковых чулок. Джулия сразу увидела, что они неважного качества. Бедный ягненок, ему трудно было заставить себя войти в большой расход, но она была очень тронута тем, что он вообще сделал ей подарок, и чуть не расплакалась.

– Ну и чувствительная ты, крошка, – сказал Майкл, однако он был умилен: ему польстили ее слезы.

Его бережливость казалась Джулии привлекательной чертой. Майкл просто не мог сорить деньгами. Он был не то чтобы скуп, просто расчетлив. Один или два раза в ресторане ей показалось, что он недостаточно дал на чай официанту, но когда она отважилась запротестовать, он и ухом не повел. Он давал ровно десять процентов и, если у него не было мелочи и он не мог дать точной суммы, спрашивал сдачу.

«В долг не бери и займы не давай», – цитировал он Полония.

Когда кто-либо из членов труппы, оказавшись временно на мели, пытался занять у Майкла деньги, это было пустой затеей. Но отказывал он так бесхитростно, с такой сердечностью, что на него не обижались.

– Дружище, я был бы счастлив одолжить тебе пару монет, но я и сам в кулак свищу. Не представляю, как заплачу за жилье в конце недели.

В течение первых месяцев Майкл так был занят собственными ролями, что не имел возможности заметить, какая Джулия прекрасная актриса. Он, конечно, читал отзывы в газетах, где полно было похвал по ее адресу, но читал бегло, пока не доходил до строк, посвященных лично ему. Он бывал доволен, когда его одобряли, и не расстраивался, когда его бранили. Майкл был слишком скромен, чтобы возмущаться нелестными

отзывами.

– Наверное, я и вправду был ужасен, – говорил он.

Самой приятной чертой в характере Майкла было его добродушие. Он переносил все громы и молнии Джимми Лэнгтона с полной невозмутимостью. Когда после долгой репетиции у остальных актеров начинали сдавать нервы, он оставался безмятежен. С ним было просто невозможно поссориться. Однажды Майкл сидел в зрительном зале и смотрел репетицию того акта, где сам он не играл. В конце была очень сильная и трогательная сцена, в которой Джулия имела возможность показать свой талант. Пока готовили декорации для следующего акта, Джулия прошла в зал и села рядом с Майклом. Он продолжал сидеть молча, сурово глядя прямо перед собой.

Джулия удивилась: не улыбнуться ей, не бросить дружеского слова – это было на него не похоже. И тут она увидела, что он стискивает зубы, чтобы они не стучали, и что глаза его полны слез.

– Что случилось, милый?

– Не заговаривай со мной. Маленькая чертовка, ты заставила меня плакать.

– Ангел!

На глаза Джулии тоже навернулись слезы и потекли по щекам. Она была так счастлива, так польщена!

– А, пропади оно все пропадом, – всхлипнул Майкл. – Ничего не могу с собой поделать.

Он вынул из кармана платок и вытер глаза. («Я люблю его, люблю, люблю!») Майкл высморкался.

– Стало немного лучше, но, клянусь богом, ты меня потрясла.

– Неплохая сцена, правда?

– При чем тут сцена? Все дело в тебе. Ты перевернула мне всю душу. Критики правы, черт побери, ты – настоящая актриса, ничего не скажешь.

– И ты только сейчас это увидел?

– Я знал, что ты хорошо играешь, но и понятия не имел, что так хорошо. Мы все рядом с тобой ничто. Ты будешь звездой. Что бы ни стояло у тебя на пути.

– Тогда ты будешь моим партнером.

– Черта лысого это мне удастся у лондонских антрепренеров.

Джулию осенило:

– Значит, ты сам должен стать антрепренером и сделать меня исполнительницей главных ролей.

Майкл помолчал. Он был немного тугодум, и ему требовалось время,

чтобы оценить по достоинству новую мысль.

– Знаешь, а это совсем неплохая идея.

За ленчем они обсудили ее поподробнее. Говорила в основном Джулия, Майкл слушал с глубоким интересом.

– Конечно, единственный способ постоянно иметь хорошие роли – это самому быть антрепренером труппы, – сказал он.

Все упиралось в деньги. Они прикинули, с чего можно начать. Майкл считал, что им надо минимум пять тысяч фунтов. Но как, скажите на милость, им раздобыть такую сумму? Конечно, некоторые из миддлпульских фабрикантов просто купаются в золоте, однако вряд ли можно ожидать, что они раскошелятся на пять тысяч фунтов, чтобы помочь двум молодым актерам, заслужившим только местную славу. К тому же они ревниво относились к Лондону.

– Придется тебе поискать богатую старуху, – весело сказала Джулия.

Она лишь наполовину верила всему, что говорила, но ей было приятно обсуждать проект, который еще больше сблизил бы ее с Майклом. Однако Майкл был вполне серьезен.

– Я не думаю, что в Лондоне можно добиться успеха, пока тебя как следует не узнают. Самое верное – года три-четыре поиграть в чужих труппах; нужно разведать все ходы и выходы. Это имеет еще одно преимущество – у нас будет время познакомиться с пьесами. Безумие – открывать свой театр, не имея в запасе по крайней мере трех пьес. Одна из них должна стать гвоздем сезона.

– Конечно, и нам надо непременно играть вместе, чтобы публика привыкла видеть наши имена на одной и той же афише.

– Не думаю, чтобы это имело особое значение. Главное – завоевать в Лондоне хорошую репутацию, тогда нам куда легче будет найти людей, которые финансируют наше предприятие.

Глава четвертая

Дело шло к Пасхе, а Джимми Лэнгтон всегда закрывал театр на страстную неделю. Джулия не представляла, куда ей себя девать; вряд ли стоило ехать на Джерси на такое короткое время. Однажды утром она неожиданно получила письмо от миссис Госселин, матери Майкла, где говорилось, что она доставит им с полковником большое удовольствие, если приедет на недельку вместе с Майклом к ним в Челтнем. Когда она показала письмо Майклу, он просиял.

– Я попросил ее тебя пригласить. Я думал, это будет приличнее, чем просто взять тебя с собой.

– Ты – душка. Конечно, я буду очень рада поехать.

Сердце Джулии трепетало от счастья. Что могло быть восхитительней, чем провести целую неделю вместе с Майклом! И это так на него похоже: прийти на выручку, когда ему стало известно, что она не знает, что бы ей предпринять. Но тут она увидела, что он чем-то обеспокоен.

– В чем дело?

Майкл смущенно рассмеялся:

– Понимаешь, дорогая, мой отец немного старомоден, есть вещи, которые ему уже трудно постигнуть. Конечно, я не хочу, чтобы ты лгала, но боюсь, ему покажется странным, что твой отец был ветеринар. Когда я спросил их в письме, могу ли я тебя привезти, я написал, что он был врач.

– Ну, это не имеет значения.

Джулия сразу увидела, что полковник далеко не так страшен, как она ожидала. Он был худой, невысокого роста, с морщинистым лицом и коротко подстриженными седыми волосами. В его чертах сквозило несколько подержанное благородство. Он вызывал в памяти профиль на монете, которая слишком долго находилась в обращении. Держался он любезно, но сдержанно. Он не был ни раздражителен, ни деспотичен, как боялась Джулия, знакомая с полковниками только по сцене. Она не представляла себе, как этим учтивым, довольно холодным голосом можно выкрикивать слова команды. По правде говоря, полковник Госселин вышел в отставку с почетным званием шефа полка после ничем не выдающейся службы и уже много лет довольствовался тем, что копался у себя в саду и играл в бридж в клубе. Он читал «Таймс», по воскресеньям ходил в церковь и сопровождал жену на чаепития в гости. Миссис Госселин была высокая полная пожилая женщина, куда выше мужа; при взгляде на нее

чудилось, будто она все время старается съежиться. В ее лице еще сохранились следы былой привлекательности, и можно было поверить, что в молодости она была настоящая красавица. Она носила волосы на прямой пробор и закручивала их узлом на затылке. Благодаря росту и классическим чертам лица миссис Госселин показалась Джулии при первой встрече весьма внушительной, но вскоре она обнаружила, что та на редкость застенчива. Движения ее были неловки и скованны, одета она была безвкусно, со старомодной роскошью, которая совсем ей не шла. Джулия, не смущавшаяся ни при каких обстоятельствах, нашла конфузливость этой немолодой уже женщины трогательной. Миссис Госселин никогда не приходилось встречаться с актрисой, и она не знала, как себя держать в этом затруднительном положении. Дом отнюдь не был великолепным – небольшой оштукатуренный особнячок в саду с живой изгородью из лавровых кустов. Поскольку Госселины несколько лет провели в Индии, в комнатах стояли большие медные подносы и вазы, на замысловатых резных столиках лежали индийские вышивки. Все это была дешевка, которую там продают на базарах, и приходилось только удивляться, что кто-то счел нужным везти все это домой, в Англию.

Джулия была далеко не глупа. Ей не понадобилось много времени, чтобы увидеть, что полковник, при всей его сдержанности, и миссис Госселин, при всей ее робости, критически изучают и оценивают ее. У нее мелькнула мысль, что Майкл привез ее родителям на смотрины. Зачем? Ответ мог быть только один, и когда он пришел Джулии в голову, сердце подскочило у нее в груди. Она видела: ему очень хочется, чтобы она произвела хорошее впечатление. Джулия интуитивно поняла, что должна скрыть в себе актрису, и без всякого усилия, без сознательного намерения, просто потому, что чувствовала – это должно понравиться, стала играть роль простой, скромной, простодушной девушки, всю жизнь спокойно жившей на лоне природы. Она гуляла с полковником по саду и, затаив дыхание, слушала разглагольствования о горохе и спарже; она помогала миссис Госселин поливать цветы и стирала пыль с бесчисленных безделушек, которыми была забита гостиная. Она говорила с ней о Майкле. Рассказывала, как талантливо он играет, какой пользуется популярностью, восхищалась его красотой. Джулия видела: миссис Госселин очень им гордится, и внутренний голос ей подсказал, что той понравится, если она покажет, конечно, чрезвычайно тактично, словно предпочла бы держать это в тайне и лишь нечаянно выдала себя, как она, Джулия, прямо по уши влюблена в ее сына.

– Разумеется, мы надеемся, что он добьется успеха, – сказала миссис

Госселин. – Мы не очень-то были рады, когда он задумал идти на сцену; мы по обеим линиям потомственные военные, но он ни о чем другом и слышать не хотел.

– Да, конечно, я понимаю, о чем вы говорите.

– Я знаю, сейчас все иначе, чем в дни моей молодости, но ведь он все же настоящий джентльмен.

– О, теперь, знаете, на сцену идут самые порядочные люди. Теперь не то, что в старые времена.

– Вероятно, да. Я так рада, что он привез вас к нам. Я немного волновалась. Я думала, вы будете накрашены и... возможно, несколько вульгарны. Ни одна живая душа не догадалась бы, что вы – актриса.

(«Еще бы, черт побери. Никто бы так не сыграл сельскую барышню, как я это делаю вот уже два дня».)

Полковник начал отпускать по ее адресу шуточки и даже иногда игриво дергал ее за ухо.

– Право, полковник, вы не должны со мной флиртовать! – восклицала она, кидая на него очаровательный плутовской взгляд. – Только потому, что я – актриса, вы думаете, можно позволить себе со мной вольности!

– Джордж, Джордж, – улыбалась миссис Госселин. Затем, обращаясь к Джулии, добавляла: – Он всегда был любитель поухаживать.

(«Черт возьми, все идет как по маслу!»)

Миссис Госселин рассказывала ей об Индии, о том, как странно было, что все слуги – темнокожие, но общество там было очень приличное, только правительственные чиновники и военные, однако дома все же лучше, и она была очень рада, когда приехала обратно в Англию.

Возвращаться они должны были в понедельник, на второй день Пасхи, потому что уже был назначен спектакль, и накануне вечером после ужина полковник сказал, что ему надо пойти в кабинет написать несколько писем; через несколько минут миссис Госселин тоже поднялась с места – пошла поговорить с кухаркой. Когда они остались одни, Майкл закурил, стоя у камина.

– Боюсь, здесь было не очень-то весело. Надеюсь, ты не слишком скучала?

– Здесь было божественно.

– Ты имела колоссальный успех у родителей. Ты им страшно понравилась.

«Господи, я достаточно потрудились для этого», – подумала Джулия, но вслух она сказала:

– Откуда ты знаешь?

– Вижу. Отец говорит, ты – настоящая леди, ни капли не похожа на актрису, а мать утверждает, что ты очень благоразумна.

Джулия опустила глаза, словно похвалы эти были слишком преувеличены. Майкл пересек комнату и стал перед ней. У нее вдруг мелькнула мысль, что он сейчас похож на красивого молодого лакея, который просит взять его на службу. Он был непривычно взволнован. Сердце чуть не выскакивало у нее из груди.

– Джулия, дорогая, ты выйдешь за меня замуж?

Всю эту неделю она спрашивала себя, сделает ли он ей предложение, но теперь, когда это наконец свершилось, она почувствовала себя странно смущенной.

– Майкл!

– Я не хочу сказать: немедленно. Когда мы станем на ноги, продвинемся хотя бы на один шаг по пути к успеху. Я знаю, на сцене мне с тобой не тягаться, но вместе мы легче добьемся победы, а когда откроем собственный театр, из нас выйдет неплохая упряжка. Ты ведь знаешь, что ты мне ужасно нравишься. Я хочу сказать, ни одна девушка и в подметки тебе не годится.

(«Дурак несчастный! Ну чего он городит всю эту чепуху?! Неужели не понимает, что я до смерти хочу за него выйти? Почему он не целует меня? Ну почему? Почему? Хватит у меня духу сказать, что я просто больна от любви к нему!»)

– Майкл, ты так красив. Кто может тебе отказать?

– Дорогая!

(«Я лучше встану. Он не догадается сесть. Господи, сколько раз Джимми заставлял его репетировать эту сцену!»)

Джулия встала и подняла к нему лицо. Он заключил ее в объятия и поцеловал.

– Я должен сказать матери.

Он отстранился от Джулии и пошел к двери.

– Мама, мама!

Через секунду полковник и миссис Госселин вошли в комнату. На лицах было счастливое ожидание.

(«Черт подери, это все было подстроено!»)

– Мама, отец, мы обручились.

Миссис Госселин заплакала. Своей неловкой, тяжелой поступью подошла к Джулии, обняла ее и поцеловала сквозь слезы. Полковник горячо пожал сыну руку и, высвободив Джулию из объятий жены, тоже ее поцеловал. Он был глубоко растроган. Все эти изъятия чувств

подействовали на Джулию, и, хотя она счастливо улыбалась, у нее по щекам заструились слезы. Майкл сочувственно наблюдал эту умильную сцену.

– Как вы смотрите, не открыть ли нам бутылочку шампанского, чтобы отметить это событие? – спросил он. – Похоже, что мама и Джулия совсем расстроились.

– За дам, благослови их господь, – сказал полковник, когда бокалы были наполнены.

Глава пятая

Теперь Джулия держала в руках фотографию, где она была снята в подвенечном платье.

«Господи, ну и пугало!»

Они решили сохранить помолвку в тайне, и Джулия сказала о ней только Джимми Лэнгтону, двум или трем девушкам в труппе и своей костюмерше. Она брала с них слово молчать и удивлялась, каким образом через двое суток все в театре обо всем знали. Джулия была на седьмом небе от счастья. Она любила Майкла еще более страстно, чем раньше, и с радостью выскочила бы за него немедленно, но его благоразумие оказалось сильнее. Что они такое? Двое провинциальных актеров. Начинать завоевание Лондона в качестве соединенной узами брака пары значило ставить на карту возможность достичь успеха. Джулия намекнула так прозрачно, как смогла, яснее некуда, что вполне готова стать его любовницей, но на это он не пошел. Он был слишком порядочен, чтобы воспользоваться ее любовью.

– «Ты б не была мне так мила, не будь мне честь милее!»^[24] – процитировал он.

Майкл был уверен, что, когда они поженятся, они будут горько сожалеть, что стали жить как муж и жена еще до свадьбы. Джулия гордилась его принципами. Он был внимателен, ласков, нежен, но довольно скоро стал смотреть на нее как на что-то привычное, само собой разумеющееся; по его манере, дружеской, но немного небрежной, можно было подумать, будто они женаты уже много лет. Однако с присущей ему добротой он снисходительно и даже благосклонно принимал все знаки ее любви. Джулия обожала сидеть прижавшись к Майклу – его рука обнимает ее за талию, ее щека прижата к его щеке, – а уж если она могла приникнуть алчным ртом к его довольно-таки тонким губам, это было поистине райским блаженством. И хотя Майкл, когда они сидели вот так, предпочитал обсуждать роли, которые они играли, или планы на будущее, она все равно была счастлива. Ей никогда не надоедало восхищаться его красотой. Было сладостно чувствовать, когда она говорила ему, какой точеный у него нос, как прекрасны его кудрявые каштановые волосы, что рука Майкла чуть крепче сжимает ей талию, видеть нежность в его глазах.

– Любимая, я стану тщеславен, как павлин.

– Но ведь просто глупо отрицать, что ты божественно хорош.

Джулия на самом деле так думала и говорила об этом, потому что это доставляло ей удовольствие, но не только потому – она знала, что и он с удовольствием слушает ее комплименты. Майкл относился к ней с нежностью и восхищением, ему было легко с ней, он ей доверял, но Джулия прекрасно знала, что он в нее не влюблен. Она утешала себя тем, что он любит ее так, как может, и думала, что, когда они пожениются, ее страсть пробудит в нем ответную страсть. А пока она призвала на помощь весь свой такт и проявляла максимальную сдержанность. Она знала, что не может позволить себе ему докучать. Знала, что не должна быть ему в тягость, что он никогда не должен чувствовать, будто обязан чем-то поступаться ради нее. Майкл мог оставить ее ради игры в гольф или завтрака со случайным знакомым – она никогда не показывала ему даже намеком, что ей это неприятно. И, подозревая, что ее сценический успех усиливает его чувство, Джулия трудилась как каторжная, чтобы хорошо играть.

На второй год их помолвки в Миддлпул приехал американский антрепренер, выискивавший новые таланты и прослышавший про труппу Джимми Лэнгтона. Он был очарован Майклом. Он послал ему за кулисы записку с приглашением зайти к нему в гостиницу на следующий день. Майкл, еле живой от волнения, показал записку Джулии; означать это могло только одно: ему хотят предложить ангажемент. У Джулии упало сердце, но она сделала вид, что она в таком же восторге, как он, и на следующий день пошла вместе с ним. Она осталась в холле, а Майкл отправился беседовать с великим человеком.

– Пожелай мне удачи, – шепнул он, подходя к кабине лифта. – Это слишком хорошо, чтобы можно было поверить.

Джулия сидела в кожаном кресле и всем сердцем желала, чтобы антрепренер предложил Майклу такую роль, которую он отвергнет, или жалованье, принять которое Майкл сочтет ниже своего достоинства. Или, наоборот, попросит Майкла прочитать роль, на которую хочет его пригласить, и увидит, что она ему не по зубам. Но когда полчаса спустя Майкл спустился в холл, Джулия поняла по его сияющим глазам и легкой походке, что контракт заключен. На какой-то миг Джулии показалось, будто ей сейчас станет дурно, и, пытаясь выдать на губах счастливую улыбку, она почувствовала, что мышцы не повинуются ей.

– Все в порядке. Он говорит, это чертовски хорошая роль – молодого парнишки, девятнадцати лет. Восемь или девять недель в Нью-Йорке, затем гастроль по стране. Сорок недель как одна в труппе Джона Дру^[25]. Двести пятьдесят долларов в неделю.

– Любимый, я так за тебя рада!

Было ясно, что он ухватился за предложение обеими руками. Мысль о том, чтобы отказаться, даже не пришла ему в голову.

«А я... я, – думала она, – если бы мне посулили тысячу долларов в неделю, я бы не поехала, чтобы не разлучаться с ним».

Джулия была в отчаянии. Она ничем не сможет ему помешать. Надо притворяться, будто она на седьмом небе от счастья. Майкл был слишком возбужден, чтобы сидеть на месте, и они вышли на людную улицу.

– Это редкая удача. Конечно, в Америке все дорого, но я постараюсь тратить от силы пятьдесят долларов в неделю; говорят, американцы очень гостеприимны, и я смогу угощаться на даровщинку. Не вижу, почему бы мне не скопить за сорок недель восемь тысяч долларов, а это тысяча шестьсот фунтов.

(«Он не любит меня. Ему на меня плевать. Я его ненавижу. Я готова его убить. Черт побери этого американца!»)

– А если он оставит меня на второй год, я буду получать триста долларов в неделю. Это значит, что за два года я скоплю большую часть нужных нам четырех тысяч фунтов. Почти достаточно, чтобы начать дело.

– На второй год?! – На какой-то миг Джулия перестала владеть собой, и в голосе ее послышались слезы. – Ты хочешь сказать, что уедешь на два года?

– Ну, летом я, понятно, вернусь. Они оплачивают мне обратный проезд, и я поеду домой, чтобы поменьше тратить.

– Не знаю, как я тут буду без тебя!

Она произнесла эти слова весело, даже небрежно, словно из одной вежливости.

– Мы с тобой великолепно проведем время летом, и, знаешь, год, даже два пролетят в мгновение ока.

Майкл шел куда глаза глядят, но Джулия все время незаметно направляла его к известной ей цели, и как раз в этот момент они оказались перед дверьми театра. Джулия остановилась.

– Пока. Мне надо заскочить повидать Джимми.

Лицо Майкла омрачилось.

– Неужели ты хочешь меня бросить? Мне же не с кем поговорить. Я думал, мы зайдем куда-нибудь, перекусим перед спектаклем.

– Мне ужасно жаль. Джимми меня ждет, а ты сам знаешь, какой он.

Майкл улыбнулся ей своей милой, добродушной улыбкой.

– Ну, тогда иди. Я не буду таить на тебя зла за то, что ты подвела меня раз в жизни.

Он направился дальше, а Джулия вошла в театр через служебный вход. Джимми Лэнгтон устроил себе в мансарде крошечную квартирку, попасть в которую можно было через балкон первого яруса. Джулия позвонила у двери. Открыл ей сам Джимми. Он был удивлен, но рад.

– Хелло, Джулия, входи.

Она прошла мимо него, не говоря ни слова, и лишь когда оказалась в его захлавленной, усеянной листами рукописей, книгами и просто мусором гостиной, обернулась и посмотрела ему в лицо. Зубы ее были стиснуты, брови нахмурены, глаза метали молнии.

– Дьявол!

Одним движением она подскочила к нему, схватила обеими руками за расстегнутый ворот рубахи и встряхнула. Джимми попытался высвободиться, но она была сильная, к тому же разъярена.

– Прекрати!

– Дьявол, свинья, грязная, подлая скотина!

Джимми размахнулся и отпустил ей пощечину.

Джулия инстинктивно выпустила его и прижала руку к лицу, так как ударил он больно. Джулия заплакала.

– Негодяй! Шелудивый пес! Бить женщину!

– Это ты говори кому-нибудь другому, милочка. Ты разве не знаешь, что, если меня ударят, пусть даже и женщина, я ударю в ответ?

– Я вас не трогала.

– Ты чуть не задушила меня.

– Вы это заслужили. О господи, да я готова вас убить.

– Ну-ка, сядь, цыпочка, и я дам тебе капельку виски, чтобы ты пришла в себя. А потом все мне расскажешь.

Джулия оглянулась в поисках кресла, куда бы она могла сесть.

– Господи, настоящий свинушник! Почему вы не пригласите поденщицу, чтобы она здесь убрала?

Сердитым жестом она скинула на пол книги с кресла, бросилась в него и расплакалась, теперь уже всерьез. Джимми налил ей порядочную дозу виски, добавил каплю содовой и заставил выпить.

– Ну а теперь объясни, по какому поводу вся эта сцена из «Тоски»^[26]?

– Майкл уезжает в Америку.

– Да?

Она вывернулась из-под руки, обнимавшей ее за плечи.

– Как вы могли? Как вы могли?

– Я тут совершенно ни при чем.

– Ложь. Вы, верно, не знаете даже, что этот мерзкий антрепренер в

Миддлпуле? Это ваша работа, нечего и сомневаться. Вы сделали это нарочно, чтобы нас разлучить.

– Душечка, ты несправедлива ко мне. По правде говоря, я сказал, что он может забрать у меня любого члена труппы, кроме Майкла Госселина.

Джулия не видела выражения его глаз при этих словах, иначе она спросила бы себя, почему у него такой довольный вид, словно ему удалось сыграть с кем-то очень хорошую шутку.

– Даже меня? – спросила она.

– Я знал, что актрисы ему не нужны. У них и своих хватает. Им нужны актеры, которые умеют носить костюмы и не плюют в гостиную на пол.

– О, Джимми, не отпускайте Майкла! Я этого не переживу.

– Как я могу ему помешать? Его контракт со мной истекает в конце нынешнего сезона. Это приглашение – большая удача для него.

– Но я его люблю. Я хочу его. А вдруг он в Америке кого-нибудь увидит? Вдруг какая-нибудь богатая наследница увлечется им?

– Если любовь к тебе его не остановит, что ж, скатертью дорожка, сказал бы я.

Его слова вновь привели Джулию в ярость.

– Поганый евнух, что вы знаете о любви?!

– Ох уж эти мне женщины, – вздохнул Джимми. – Если пытаешься лечь с ними в постель, они называют тебя грязным старикашкой, если нет – поганым евнухом...

– Ах, вы не понимаете! Он так потрясающе красив, они станут влюбляться в него одна за другой, а он так легко поддается лести. За два года многое может случиться.

– За два года?

– Если его хорошо примут, он останется еще на год.

– Ну, насчет этого можешь не волноваться. Он вернется в конце первого же сезона, и вернется навсегда. Этот антрепренер видел его только в «Кандиде». Единственная роль, в которой он более или менее сносен. Помяни мое слово, не пройдет и месяца, как они обнаружат, что совершили невыгодную сделку. Его ждет провал.

– Что вы понимаете в актерах!

– Все.

– Я бы с радостью выцарапала вам глаза.

– Предупреждаю, если ты попробуешь меня тронуть, на этот раз не отделаешься легким шлепком, такую получишь затрепину, что неделю сесть не сможешь.

– О господи, и не сомневаюсь. И вы называете себя джентльменом?

– Только когда я пьян.

Джулия хихикнула, и Джимми понял, что худшее осталось позади.

– Ты знаешь не хуже меня, что на сцене ему до тебя далеко. Говорю тебе: ты будешь величайшей актрисой после миссис Кендел^[27]. Зачем тебе связывать себя с человеком, который всегда будет камнем у тебя на шее? Вы хотите иметь собственный театр, он будет претендовать на роль твоего партнера. Майкл никогда не станет хорошим актером.

– У него есть внешность. Я могу вытащить его.

– От скромности ты не умрешь. Но тут ты ошибаешься. Если ты хочешь добиться успеха, ты не можешь позволить себе иметь партнера, который недотягивает до тебя.

– Мне наплевать. Я скорее выйду замуж за него и потерплю провал, чем за кого-нибудь другого, чтобы добиться успеха.

– Ты девственница?

Джулия снова хихикнула.

– Это вас не касается, но, представьте, да.

– Так я и думал. Ну, если это тебе не так важно, почему бы вам с ним не отправиться на пару недель в Париж, когда мы закроемся? Он не отплывет в Америку раньше августа. Может, тогда утихомиришься!

– Он не хочет. Он не такой человек. Он джентльмен.

– Даже высшие классы производят себе подобных.

– Ах, вы не понимаете! – надменно проговорила Джулия.

– Спорю, что и ты – тоже.

Джулия не снисзошла до ответа. Она действительно была очень несчастна.

– Я не могу без него жить, говорю вам. Что мне с собой делать, когда он уедет?

– Оставаться у меня. Я ангажирую тебя еще на год. У меня есть для тебя куча новых ролей, и я пригласил актера на амплуа первого любовника. Не актер, а находка. Ты не поверишь, насколько легче играть с партнером, когда есть отдача. Я буду платить тебе двенадцать фунтов в неделю.

Джулия подошла к нему и испытующе посмотрела в глаза.

– И вы все это подстроили, чтобы заставить меня пробить у вас еще сезон? Разбили мне сердце, разрушили всю мою жизнь только ради того, чтобы удержать в своем паршивом театре?!

– Клянусь, что нет. Ты мне нравишься, я восхищаюсь тобой. И за последние два года дела у нас идут как никогда. Но, черт подери, такой подлости я бы не совершил.

– Лгун, грязный лгун!

- Клянусь, это чистая правда.
- Докажите это тогда! – горячо сказала она.
- Как я могу доказать? Ты сама знаешь, я действительно порядочный человек.
- Дайте мне пятнадцать фунтов в неделю, и я вам поверю.
- Пятнадцать фунтов в неделю! Тебе известно, какие у нас сборы. Я не могу. А, ладно... Но мне придется добавлять три фунта из собственного кармана.
- Не моя печаль!

Глава шестая

После двух недель репетиций Майкла сняли с роли, на которую его ангажировали, и три или четыре недели он ждал, пока ему подыщут что-нибудь еще. Начал он в пьесе, которая не продержалась в Нью-Йорке и месяца. Труппу послали в турне, но спектакль принимали все хуже и хуже, и его пришлось изъять из репертуара. После очередного перерыва Майклу предложили роль в исторической пьесе, где его красота предстала в таком выгодном свете, что никто не заметил, какой он посредственный актер; в этой роли он и закончил сезон. О возобновлении контракта не было и речи. Пригласивший его антрепренер говорил весьма язвительно:

– Я бы много отдал, чтобы сквитаться с этим типом, Лэнгтоном, сукин он сын! Он знал, что делает, когда подсовывал мне этого истукана.

Джулия регулярно писала Майклу толстые письма, полные любви и сплетен, а он отвечал раз в неделю четким аккуратным почерком, каждый раз четыре страницы, не больше не меньше. Он неизменно подписывался «любящий тебя...», но в остальном его послания носили скорее информационный характер. При всем том Джулия ожидала каждого письма со страстным нетерпением и без конца его перечитывала. Тон у Майкла был бодрый, но хотя он почти ничего не говорил о театре, упоминал только, что роли ему предложили дрянные, а пьесы, в которых пришлось играть, ниже всякой критики, в театральном мире быстро все узнают, и Джулия слышала, что успеха он не имел.

«Конечно, это с моей стороны свинство, – думала она, – но я так рада!»

Когда Майкл сообщил день приезда, Джулия не помнила себя от счастья. Она заставила Джимми так построить программу, чтобы она смогла поехать в Ливерпуль встретить Майкла.

– Если корабль придет поздно, я, возможно, останусь на ночь, – сказала она Джимми.

Он иронически улыбнулся:

– Ты, видно, думаешь, что в суматохе возвращения домой тебе удастся его совратить?

– Ну и свинья же вы!

– Брось, душенька. Мой тебе совет: подпой его, запишись с ним в комнате и скажи, что не выпустишь, пока он тебя не обесчестит.

Но когда Джулия собралась ехать, Джимми проводил ее до станции.

Подсаживая в вагон, похлопал по руке:

– Волнуешься, дорогая?

– Ах, Джимми, милый, я безумно счастлива и до смерти боюсь.

– Ну, желаю тебе удачи. И не забывай: он тебя не стоит. Ты молода, хороша собой, и ты – лучшая актриса Англии.

После отхода поезда Джимми направился в станционный буфет и заказал виски с содовой. «Как безумен род людской»^[28], – вздохнул он. А Джулия в это время стояла в пустом купе и глядела в зеркало.

«Рот слишком велик, лицо слишком тяжелое, нос слишком толстый. Слава богу, у меня красивые глаза и красивые ноги. Не чересчур ли я накрашена? Майкл не любит грима вне сцены. Но я жутко выгляжу без румян и помады. Ресницы у меня что надо. А, черт побери, не такая уж я уродина».

Не зная до последнего момента, отпустит ли ее Джимми, Джулия не предупредила Майкла, что встретит его. Он был удивлен и откровенно рад. Его прекрасные глаза сияли.

– Ты стал еще красивее, – сказала Джулия.

– Ах, не болтай глупостей, – засмеялся он, обнимая ее. – Ты ведь можешь задержаться до вечера?

– Я могу задержаться до завтрашнего утра. Я заказала две комнаты в «Адельфи», чтобы мы могли вволю поболтать.

– А не слишком «Адельфи» роскошно для нас?

– Ну, не каждый же день ты возвращаешься из Америки. Плевать на расходы.

– Мотовочка, вот ты кто. Я не знал, когда мы войдем в док, поэтому написал домой, что сообщу телеграммой время приезда. Телеграфирую, что приеду завтра.

Когда они оказались в отеле, Майкл по приглашению Джулии пришел в ее комнату, чтобы поговорить без помех. Она села к нему на колени, обвила его шею рукой, прижалась щекой к щеке.

– Ах, как приятно снова быть дома, – вздохнула она.

– Можешь мне этого не говорить, – отозвался он, не догадавшись, что она имеет в виду его объятия, а не Англию.

– Я тебе все еще нравлюсь?

– Еще как!

Она горячо поцеловала его.

– Ты не представляешь, как я по тебе скучала!

– Я полностью провалился в Америке, – сказал Майкл. – Не хотел тебе об этом писать, чтобы зря не расстраивать. Они считали, что я никуда не

гожусь.

– Майкл! – вскричала она, словно не могла этому поверить.

– Думаю, я для них слишком типичный англичанин. Я им больше не нужен. Я так и предполагал, но все же для проформы спросил, собираются ли они продлить контракт, и они ответили: нет, ни за какие деньги.

Джулия молчала. Вид у нее был озабоченный, но сердце громко билось от радости.

– Но мне все равно, честно. Мне не понравилась Америка. Конечно, спорить не приходится, это удар по самолюбию, но что мне остается? Улыбнуться, и все. Как-нибудь переживем. Если бы ты знала, с какими типами там приходилось якшаться! Да по сравнению с некоторыми из них Джимми Лэнгтон – настоящий джентльмен. Даже если бы они попросили меня остаться, я бы отказался.

Хотя Майкл делал хорошую мину при плохой игре, Джулия видела, что он глубоко уязвлен. С чем только, должно быть, ему не приходилось мириться! Ей было ужасно его жаль, но, ах, какое она испытывала колоссальное облегчение.

– Какие у тебя теперь планы? – спокойно спросила она.

– Ну, побуду какое-то время дома и все как следует обдумаю. А потом поеду в Лондон, посмотрю, не удастся ли получить роль.

Она знала, что предлагать ему вернуться в Миддлпул было бесполезно. Джимми Лэнгтон его не возьмет.

– Ты, вероятно, не захочешь поехать со мной?

Джулия не верила собственным ушам.

– Я? Любимый, ты же знаешь, что я с тобой – хоть на край света.

– Твой контракт кончается в конце этого сезона, и, если ты намерена чего-то достичь, пора уже завоевывать Лондон. Я сэкономил в Америке каждый шиллинг. Они называли меня скупердям, но я и ухом не вел. Привез домой около полутора тысяч фунтов.

– Как это тебе удалось, ради всего святого?

– Ну, я не очень-то раскошеливался, – радостно улыбнулся он. – Конечно, театр на это не откроешь, но на то, чтобы жениться, хватит; я хочу сказать, нам будет на что опереться, если мы не получим сразу ангажемента или потом окажемся временно без работы.

Джулии понадобилось несколько секунд, чтобы осознать его слова.

– Ты хочешь сказать – пожениться сейчас?

– Конечно, это рискованно, когда у нас нет ничего в перспективе, но иногда стоит пойти и на риск.

Джулия взяла его лицо в ладони и прижалась губами к его губам.

Затем от всего сердца вздохнула:

– Любимый, ты замечательный, и ты красив, как греческий бог, но ты – самый большой глупец, какого я знала в жизни.

Вечером они пошли в театр, а за ужином заказали бутылку шампанского, чтобы отпраздновать их воссоединение и поднять тост за счастливое будущее. Когда Майкл проводил Джулию до дверей ее комнаты, она подставила ему щеку.

– Ты хочешь, чтобы я пожелал тебе доброй ночи в коридоре? Может, я зайду к тебе на минуту?

– Лучше нет, любимый, – ответила она со спокойным достоинством.

Джулия ощущала себя высокородной девицей, которая должна блюсти все традиции своей знатной и древней фамилии; ее чистота была бесценной жемчужиной. Она также видела, что производит на редкость хорошее впечатление. Майкл был настоящий джентльмен, и, черт подери, ей приличествовало вести себя настоящей леди. Джулия была так довольна разыгранной ею мизансценой, что, войдя в комнату и, пожалуй, излишне громко защелкнув дверь, она гордо прошлаь взад-вперед, милостиво кивая направо и налево своим раболепным вассалам. Она протянула лилейную руку для поцелуя трепещущему старому мажордому (в детстве он часто качал ее на колене), и, когда он прижался к ней бледными губами, она почувствовала, как на нее что-то капнуло. Слеза.

Глава седьмая

Первый год их брака был бы очень бурным, если бы не ровный характер Майкла. Лишь радость, когда он получал хорошую роль, лихорадка во время премьеры или возбуждение после вечеринки, на которой он выпил несколько бокалов шампанского, были способны обратить практический ум Майкла к любви. Никакая лесть, никакие соблазны не могли его совратить, если на следующий день его ждала деловая встреча, для которой требовалась свежая голова, или предстоял раунд в гольф, для которого был нужен верный глаз. Джулия закатывала ему безумные сцены. Она ревновала его к приятелям по артистическому клубу, к играм, которые уводили его от нее, к официальным завтракам, которые он не пропускал под тем предлогом, что необходимо заводить знакомства среди людей, которые могут им пригодиться. Ее приводило в ярость, что, когда она доходила до истерического припадка, он сидел совершенно спокойно, скрестив на коленях руки, с добродушной улыбкой на красивом лице, словно все это просто забавно.

– Ты же не думаешь, что я бегая за другими женщинами? – спрашивал он.

– Почему я знаю? Слепому видно, что на меня тебе наплевать.

– Тебе прекрасно известно, что ты для меня единственная женщина на свете.

– О боже!

– Я не понимаю, чего ты хочешь.

– Я хочу любви. Я думала, что вышла за самого красивого мужчину в Англии, а я вышла за портновский манекен.

– Не говори глупостей. Я – обыкновенный нормальный англичанин, а не итальянский шарманщик.

Джулия величаво расхаживала взад-вперед по комнате. У них была небольшая квартирка на Бэкингемгейт, и развернуться там было негде, но Джулия старалась как могла. Она вздымала руки к небесам:

– Я могла бы быть кривой и горбатой. Мне могло бы быть пятьдесят. Неужели я настолько непривлекательна? Так унижительно вымаливать твою любовь. Ах, как я несчастна!

– А это был удачный жест, дорогая. Словно ты посылаешь вперед крикетный мяч. Запомни его.

Она бросала на него презрительный взгляд.

– Единственное, о чем ты способен думать. У меня разрывается сердце, а ты говоришь о каком-то случайном жесте.

Но он видел по выражению ее лица, что она откладывала его в памяти, и знал: когда представится случай, она воспользуется им.

– В конце концов любовь еще не все. Она хороша в положенное время и в положенном месте. Мы неплохо развлекались во время медового месяца, на то он и предназначен, а теперь пора браться за работу.

Им повезло. Оба они умудрились получить вполне приличные роли в пьесе, которая имела успех. У Джулии была одна сильная сцена, всегда вызывавшая бурные аплодисменты; удивительная красота Майкла произвела своего рода сенсацию. Майкл с его корректной предприимчивостью, с его веселым добродушием создал им прекрасную рекламу, фотографии их обоих стали появляться в иллюстрированных газетах. Их часто приглашали на званые вечера, и Майкл, несмотря на свою бережливость, не колеблясь тратил деньги на прием людей, которые могли оказаться им полезны. Джулию прямо поражала его щедрость в этих случаях. Антрепренер театра, в котором они играли, предложил Джулии главную роль в следующей пьесе, и хотя там не было ничего подходящего для Майкла и ей очень хотелось отказаться, он ей этого не разрешил. Он сказал, что они не могут позволить чувствам мешать делу. А вскоре и Майкл получил роль в исторической пьесе.

Они оба играли, когда разразилась война. К гордости и отчаянию Джулии, Майкл тут же записался в добровольцы, но с помощью одного из старых отцовских сослуживцев, который был важной персоной в военном министерстве, ему очень скоро присвоили офицерское звание. Когда Майкл отправился во Францию, Джулия горько сожалела о всех тех упреках, которыми она так часто осыпала его, и решила, если он будет убит, покончить с собой. Она хотела стать сестрой милосердия и тоже поехать на фронт – по крайней мере станет ходить по одной земле с ним; но Майкл объяснил, что ее патриотический долг – продолжать выступления, и она была не в силах отказать ему в просьбе, которая могла оказаться последней. Майкл от души наслаждался войной. Он пользовался большой популярностью в полковом клубе, и старые кадровые офицеры приняли его как своего, несмотря на то что он был актером. Казалось, будто семья потомственных военных, из которой он вышел, поставила на нем свою печать, так что он инстинктивно стал держаться и даже думать как профессиональный офицер. Майкл был тактичен, умел себя вести и искусно пускал в ход свои связи, он просто неминуемо должен был попасть в свиту какого-нибудь генерала. Он проявил себя хорошим организатором и

последние три года войны провел в ставке главнокомандующего. Вернулся Майкл майором с крестом и орденом Почетного легиона.

Тем временем Джулия сыграла ряд крупных ролей и была признана лучшей актрисой младшего поколения. Театр во время войны процветал, и Джулия немало выгадывала тем, что играла в спектаклях, которые долго не сходили со сцены. Жалованье возросло, и с помощью разумных советов Майкла она умудрилась, хотя и с трудом, выжимать из антрепренеров по восемьдесят фунтов в неделю. Майкл приезжал в Англию в отпуск, и Джулия бывала безумно счастлива. Хотя он не был бы в большей безопасности, занимаясь он разведением овец в Новой Зеландии, Джулия вела себя так, будто те коротенькие периоды, что он с ней проводил, – последние дни, которыми ему суждено наслаждаться в этом мире, будто он только что вырвался из кошмара окопной жизни. Она была с ним нежна, заботлива и нетребовательна.

А незадолго до конца войны Джулия его разлюбила.

Она была в то время беременна. По мнению Майкла, заводить тогда ребенка было довольно опрометчиво, но Джулии было уже под тридцать, и она решила, что если они вообще хотят иметь детей, то откладывать больше нельзя. Ее положение в театре настолько упрочилось, что она могла позволить себе исчезнуть со сцены на несколько месяцев, и при том, что Майкла могли в любой момент убить, – конечно, он говорил, что ему абсолютно ничего не грозит, но он просто успокаивал ее, даже генералов и тех убивали, – удержать ее в жизни мог только его ребенок. Роды предстояли в конце года. Джулия ждала следующего отпуска Майкла как никогда раньше. Чувствовала она себя прекрасно, но немного растерянно и беспомощно, страшно тосковала по его объятиям, ей так нужны были его защита и покровительство. Майкл приехал. Он был удивительно красив в своей хорошо скроенной форме с нашивками штабиста и короной на погонах. Он загорел и в результате лишений, которые испытывал в ставке, довольно сильно пополнел. Коротко стриженный, с бравой выправкой и беспечным видом, он выглядел военным до кончиков ногтей. Настроение у него было великолепное, и не только потому, что он выбрался на несколько дней домой, – уже был виден конец войны. Майкл намеревался уйти из армии как можно скорее. Что толку иметь хоть какие-то связи, если не использовать их? Так много молодых актеров покинули сцену – кто из патриотизма, кто потому, что оставшиеся дома патриоты сделали их жизнь невыносимой, кто по призыву, – что главные роли попали в руки людей или непригодных для военной службы, или уволенных из армии по ранению. Обстановка была на редкость благоприятная, и Майкл понимал, что, если

не будет терять времени, он сможет выбирать роли по своему усмотрению. А когда он вновь напомним о себе публике, они начнут присматривать театр и при той репутации, которой добилась Джулия, без риска начнут собственное дело.

Они проговорили обо всем этом за полночь, а потом легли в постель. Джулия страстно прильнула к нему, он ее обнял. После трех месяцев воздержания Майкл был настроен на любовный лад.

– Ты моя милая женушка, – прошептал он.

Он прижался губами к ее губам. И вдруг Джулию охватило смутное отвращение. Она еле удержалась, чтобы его не оттолкнуть. Раньше ей казалось, что его тело, его юное прекрасное тело пахнет цветами и медом, она жадно вдыхала этот сладостный аромат, такие вот ощущения и приковывали ее к Майклу, но теперь каким-то таинственным образом Майкл утратил свое очарование. Джулия осознала, что он потерял аромат юности и стал просто мужчиной. Она почувствовала легкую тошноту. Она не могла ответить на его пыл, больше всего ей хотелось, чтобы он поскорее удовлетворил желание, перевернулся на другой бок и уснул. Джулия долго лежала без сна. Она была в смятении. Сердце ее щемило, она знала, что лишилась чего-то очень дорогого, ей было себя жаль, она готова была заплакать, но в то же время ее переполняло торжество; казалось, она мстит ему за свои прошлые, такие горькие муки. Она была свободна от уз, которые привязывали ее к Майклу, и ликовала. Теперь она будет с ним на равных. Джулия вытянула ноги и облегченно вздохнула: «Господи, как прекрасно быть самой себе хозяйкой».

Они позавтракали в спальне: Джулия – в постели, Майкл – за маленьким столиком рядом. Она всматривалась в него, в то время как он читал газету, острым, оценивающим взглядом. Неужели каких-то три месяца могли так его изменить? А может быть, все годы она смотрела на Майкла глазами, которые впервые увидели его, когда он вышел в Миддлпуле на сцену во всем великолепии юности и красоты и поразил ее любовью, как смертельной болезнью? Майкл все еще был удивительно хорош собой. В конце концов ему всего тридцать шесть, но юность осталась позади; с коротко стриженной головой, обветренной кожей, легкими морщинками, уже начинающими бороздить его гладкий лоб и появляться у уголков глаз, он был – решительно и бесповоротно – мужчиной. Он утратил свою щенячью грацию, жесты его стали однообразны. Взятые в отдельности, это были мелочи, но, собранные вместе, они абсолютно все меняли. Майкл постарел.

Они по-прежнему жили в квартирке, снятой, когда они только

приехали в Лондон. Хотя последнее время Джулия очень неплохо зарабатывала, казалось, нет смысла переезжать, пока Майкл находится в действующей армии. Однако теперь, когда они ожидали ребенка, квартира, безусловно, была слишком мала. Джулия присмотрела дом в Риджентс-парке, который очень ей понравился. Она хотела заблаговременно там обосноваться и ждать родов.

Дом выходил окнами в сад. Над бельэтажем, где помещались гостиная и столовая, были две спальни, а на втором этаже еще две комнаты, которые можно было использовать как дневную и ночную детские. Майклу все очень понравилось, даже цена показалась ему умеренной. Джулия за последние четыре года зарабатывала настолько больше его, что предложила меблировать дом за свой счет. Они стояли в одной из двух спален.

– Я могу перевезти для своей спальни то, что у нас есть, – сказала она. – А для тебя куплю хороший гарнитур у Мейпла.

– Я бы не стал входить в большие расходы на мою комнату, – улыбнулся он, – вряд ли я часто стану ею пользоваться.

Майкл любил спать с ней в одной постели. Не будучи страстным, он был нежен, и ему доставляло животное наслаждение чувствовать ее рядом с собой. Много лет это было ее величайшей радостью. Сейчас мысль об этом привела ее в раздражение.

– О, я не уверена, что мы сможем позволить себе эти глупости, пока не родится ребенок. До тех пор тебе придется спать одному.

– Я об этом не подумал. Если ты считаешь, что для малыша так лучше...

Глава восьмая

Майкл демобилизовался буквально в тот же день, как кончилась война, и сразу получил ангажемент. Он вернулся на сцену куда лучшим актером, чем раньше. Беспечные замашки, приобретенные им в армии, были на сцене весьма эффектны. Непринужденный, спортивный, всегда веселый малый, с легкой улыбкой и сердечным смехом, он хорошо подходил для салонных пьес. Его высокий голос придавал особую пикантность фривольной реплике, и, хотя серьезная страсть по-прежнему выглядела у него неубедительно, он мог предложить руку и сердце словно в шутку, объясниться с таким видом, будто сам над собой смеется, и так провести задорную любовную сцену, что публика была в восторге. Майкл никогда и не пытался играть никого, кроме самого себя. Он специализировался на ролях жуиров, богатых повес, джентльменов-игроков, гвардейцев и славных молодых бездельников. Антрепренеры любили его. Майкл усердно работал и подчинялся указаниям. Главное для него было получить роль, а какую – не имело особого значения. Он упорно добивался жалованья, которого, считал, заслуживает, но, если ему это не удавалось, предпочитал согласиться на меньшее, чем сидеть без работы.

Майкл тщательно продумал свои планы. Зимой, сразу после конца войны, разразилась эпидемия инфлюэнцы. Родители Майкла умерли. Он получил в наследство около четырех тысяч фунтов, что вместе с его сбережениями и деньгами Джулии составило почти семь тысяч. Однако плата за театральное помещение чудовищно подскочила, жалованье актерам и рабочим сцены также возросло, и для того, чтобы открыть собственный театр, требовалось теперь куда больше денег. Суммы, которой до войны с избытком могло хватить, теперь было далеко не достаточно. Оставалось одно – заинтересовать богатого человека, который вошел бы с ними в пай, чтобы один или два неудачных спектакля не выбили их из седла. Говорили, что всегда можно найти простофилю, который выпишет чек на кругленькую сумму для постановки новой пьесы, но, когда вы переходили от слов к делу, обнаруживалось, что главную роль в этой пьесе должна играть какая-нибудь красотка, которой он покровительствует, и деньги будут даны только при этом условии. Много лет назад Майкл и Джулия часто шутили насчет того, что какая-нибудь богатая старуха влюбится в Майкла и поможет ему открыть свой театр, но они уже давно поняли, что молодому актеру, у которого жена – актриса и он ей верен,

никакой такой богатой старухи не отыскать. И все же они нашли женщину с деньгами, причем отнюдь не старуху, но интересовалась она не Майклом, а Джулией.

Долли де Фриз была вдова. Эта низенькая, тучная, несколько мужеподобная женщина с красивым орлиным носом, красивыми темными глазами, неумной энергией, экспансивная и вместе с тем неуверенная в себе обожала театр. Когда Джулия и Майкл решили попытать счастья в Лондоне, Джимми Лэнгтон, к которому она порой приходила на выручку, когда казалось, что ему придется закрыть театр, дал к ней рекомендательное письмо с просьбой по возможности им помочь. Миссис де Фриз уже видела Джулию в Миддлпуле. Она устроила несколько званых вечеров, чтобы познакомить молодых актеров с антрепренерами, и пригласила их в свой великолепный дом возле Гилдфорда, где они окунулись в роскошь, которая никогда им не снилась. Майкл ей совсем не понравился. Джулия восхищалась цветами, которые Долли де Фриз присылала к ней на квартиру и в уборную театра, была в восторге от ее подарков: сумочек, несессеров, бус из полудрагоценных камней, брошей, но никак не показывала, что догадывается, чем вызвана щедрость Долли, и принимала ее исключительно как дань своему таланту. Когда Майкл ушел на войну, Долли настаивала на том, чтобы Джулия переехала к ней, в ее дом на Монтегю-сквер, но Джулия, пылко поблагодарив, отказалась, причем в такой тактичной форме, что Долли, вздохнув и уронив слезу, не могла не восхищаться ею еще сильнее. Когда родился Роджер, Джулия пригласила Долли быть его крестной матерью.

Некоторое время Майкл подумывал, не обратиться ли к Долли. Но он был достаточно проницателен и понимал, что даже если бы она и сделала что-то для Джулии, она ничего не сделает для него. А Джулия наотрез отказалась прибегать к ее помощи.

— Она и так была к нам очень добра, право, я не могу еще что-то у нее кланчить, и будет так неприятно, если она откажет.

— Игра стоит свеч, а она, если и потеряет на этом кое-что, даже не почувствует. Я уверен, что ты могла бы ее уломать, если бы захотела.

Джулия ничуть в этом не сомневалась. Майкл так наивен в некоторых вещах; она не считала нужным указывать ему на очевидные факты.

Но Майкл был не из тех, кто легко отступает от того, что задумал. Госселины ехали в Гилдфорд, чтобы провести субботу и воскресенье у Долли, в новой машине, которую Джулия подарила Майклу ко дню рождения. Был прекрасный теплый вечер. Майкл только недавно купил преимущественное право на постановку трех пьес, которые им обоим

понравились, и слышал о здании театра, которое можно было снять на приемлемых условиях. Все было готово, чтобы начать дело, не хватало одного – денег. Майкл уговаривал Джулию воспользоваться предстоящим визитом.

– Сам попроси, если тебе так хочется, – нетерпеливо сказала Джулия. – Говорю тебе: я просить не стану.

– Мне она не даст. А ты можешь из нее веревки вить.

– Мы с тобой уже хорошо знаем, при каких условиях финансируют пьесы. Или человек хочет получить славу, пусть даже плохую, или он в кого-нибудь влюблен. Куча людей болтает об искусстве, но редко увидишь, чтобы они платили за него чистоганом, если не надеются извлечь из этого что-нибудь для самих себя.

– Что ж, предоставим Долли всю славу, какую она захочет.

– Ей нужно совсем другое.

– Что ты имеешь в виду?

– А ты не догадываешься?

Только тут его осенило. Майкл был так изумлен, что сбавил скорость. Неужели Джулия права? Он всегда считал, что не нравится Долли, а уж предполагать, что она в него влюблена, – это ему и в голову не могло прийти. Конечно, Джулия – женщина проницательная, ничего не пропустит, но она так ревнива, крошка, ей вечно кажется, будто женщины вешаются ему на шею. Спору нет, Долли подарила ему к Рождеству запонки, но он-то полагал, она просто не хочет, чтобы он был в обиде, – ведь Джулии она подарила брошь, которая стоит не меньше двухсот фунтов. Должно быть, это было сделано для отвода глаз. Ну, он может, положа руку на сердце, сказать, что никогда не подавал ей надежд. Джулия хихикнула:

– Нет, милый, она влюблена, но не в тебя.

Майкл смутился. И как это Джулия всегда угадывает, о чем он думает? Да, от нее ничего не скроешь.

– Тогда зачем ты навела меня на эту мысль? Выражайся, ради всего святого, так, чтобы тебя можно было понять.

Это Джулия и сделала.

– В жизни не слышал такой чепухи! – воскликнул Майкл. – У тебя просто грязное воображение, Джулия.

– Брось, милый.

– Нет, я не верю ни единому твоему слову. В конце концов, у меня тоже есть глаза. Неужели я бы ничего не заметил?

Джулия еще никогда не видела его таким рассерженным.

– И даже если это правда, я думаю, ты сумеешь за себя постоять. Это один шанс на тысячу, просто безумие его пропустить.

– Клавдио и Изабелла в «Мере за меру»^[29].

– Подло так говорить, Джулия. Я все же джентльмен.

«Nemo me impune lacessit».

Остаток пути прошел в грозном молчании.

Миссис де Фриз не спала и поджидала их.

– Я не хотела ложиться, пока не увижу вас, – сказала она, заключая Джулию в объятия и целуя в обе щеки. Майклу она едва пожала руку.

Джулия с удовольствием провалялась все утро в постели, просматривая воскресные газеты. Она начинала с театральных новостей, затем переходила к светской хронике, затем к женской странице и, наконец, скользила взглядом по заголовкам остальных статей. Рецензии на книги она не удостоивала вниманием, ей было вообще непонятно, зачем на них тратят так много места. Майкл, спавший в соседней комнате, заглянул пожелать ей доброго утра и вышел в сад. Вскоре раздался негромкий стук в дверь, вошла Долли. Ее большие черные глаза сияли. Она села на край кровати и взяла Джулию за руку.

– Дорогая, я разговаривала с Майклом. Я хочу финансировать ваш театр.

У Джулии громко забилося сердце.

– О, Майкл не должен был вас просить! Я не хочу. Вы и так уже столько для нас сделали.

Долли наклонилась и поцеловала Джулию в губы. Голос ее был ниже, чем обычно, и слегка дрожал.

– Ах, моя любовь, разве вы не знаете, что я сделала бы для вас все на свете! Это будет так замечательно, это так сблизит нас, и я буду так вами горда!

Они услышали, что по коридору, насвистывая, идет Майкл; когда он вошел в комнату и Долли обернулась к нему, ее глаза были полны слез.

– Я ей рассказала.

Майкл не мог сдержать радости.

– Вот это женщина! – Он присел на кровать с другой стороны и взял Джулию за руку, которую только что отпустила Долли. – Ну, что скажешь, Джулия?

Она задумчиво взглянула на него.

– «Vous l'avez voulu, Georges Dandin»^[30].

– Что это?

– Мольер.

Как только был подписан договор товарищества и Майкл снял помещение на осенний сезон, он нанял агента по рекламе. В газеты были посланы краткие извещения об открытии нового театра. Майкл вместе с агентом приготовил интервью для Джулии и для себя самого, которые они дадут прессе. В еженедельных газетах появились их фотографии – поодиночке, вдвоем и вместе с Роджером, – они взяли семейный тон и старались выжать из него все что можно. Они еще не решили, которой из трех пьес лучше начать. И вот как-то днем, когда Джулия сидела у себя в спальне и читала роман, вошел Майкл с рукописью в руке.

– Послушай, я хочу, чтобы ты просмотрела эту пьесу. Агент только что прислал ее. По-моему, ее ждет сногшибательный успех. Но ответ надо дать сразу.

Джулия отложила роман.

– Я сейчас за нее возьмусь.

– Я буду внизу. Передай, когда кончишь, я приду, и мы с тобой ее обсудим. Там для тебя изумительная роль.

Джулия читала быстро, лишь проглядывая те сцены, которые ее не интересовали, уделяя все внимание роли героини, – ведь ее, естественно, будет играть она. Окончив, она дернула колокольчик и попросила служанку (которая была также ее костюмершей) сказать Майклу, что она его ждет.

– Ну, что ты думаешь?

– Пьеса хорошая. Она должна иметь успех.

Он услышал в ее голосе некоторое сомнение.

– В чем же тогда вопрос? Твоя роль замечательная. Такие вещи ты умеешь делать лучше всех. Много комедийных сцен, и чувств хоть отбавляй.

– Роль чудесная, я не спорю; меня смущает мужская роль.

– Она тоже совсем неплоха.

– Да, но ему пятьдесят, и если ты сыграешь его моложе, пропадет самая соль. А роль пожилого человека тебе ни к чему.

– Да я и не собирался его играть. На нее годится только один актер, Монт Вернон. И мы заполучим его. А я буду играть Джорджа.

– Но это такая крошечная роль. Зачем она тебе?

– А почему нет?

– Я думала, мы откроем собственный театр для того, чтобы оба могли выступать в главных ролях.

– Ну, мне на это наплевать. Если в пьесе есть стоящая роль для тебя, меня нечего принимать в расчет. Может быть, в следующей пьесе больше

повезет.

Джулия откинулась в кресле, и слезы потекли у нее по щекам.

– Ах, какая я свинья!

Майкл улыбнулся. Его улыбка была так же обаятельна, как прежде. Он подошел и опустился рядом с ней на колени, обнял.

– Что с тобой сегодня, старушка?

Глядя на него теперь, Джулия никак не могла понять, что вызывало в ней раньше такую безумную страсть. Теперь мысль об интимных отношениях с ним возбуждала в ней тошноту. К счастью, Майклу очень понравилась спальня, которую она для него обставила. Постель никогда не была для него на первом месте, и он испытал даже облегчение, увидев, что Джулия больше не предъявляет к нему никаких претензий. Он удовлетворенно думал, что рождение ребенка успокоило ее, он на это и надеялся, и лишь сожалел, что они не завели его гораздо раньше. Раза два он пытался, больше из любезности, чем по иной причине, возобновить их супружеские отношения, но Джулия выдвигала тот или иной предлог: она устала, не очень хорошо себя чувствует, у нее завтра два выступления, не считая утренней примерки костюмов. Майкл принял это с полнейшим спокойствием. С Джулией теперь было куда легче ладить, она не устраивала больше сцен, и он чувствовал себя счастливее, чем прежде. У него на редкость удачный брак; когда он глядел на другие пары, он не мог не видеть, как ему повезло. «Джулия славная женщина и умна, как сто чертей, с ней можно поговорить обо всем на свете. Лучший товарищ, какой у меня был, клянусь вам. Да, я не стыжусь признаться, что скорее проведу с ней день наедине, чем сыграю раунд в гольф».

Джулия с удивлением обнаружила, что стала жалеть Майкла с тех пор, как разлюбила его. Она была добрая женщина и понимала, каким это будет для него жестоким ударом по самолюбию, если он хотя бы заподозрит, как мало сейчас значит для нее. Она продолжала ему льстить. Джулия заметила, что он уже вполне спокойно выслушивает дифирамбы своему точенному носу и прекрасным глазам. Она посмеивалась про себя, видя, как он глотает самую грубую лесть. Больше она не боялась хватить через край. Взгляд ее все чаще останавливался на его тонких губах. Они делались все тоньше – к тому времени, когда он состарится, рот его превратится в узкую холодную щель. Бережливость Майкла, которая в молодости казалась забавной, даже трогательной чертой, теперь внушала ей отвращение. Когда люди попадали в беду, а с актерами это бывает нередко, они могли надеяться на сочувствие и хорошие слова, но никак не на звонкую монету. Он считал себя чертовски щедрым, когда расставался с гинеей, а

пятифунтовый билет был для него пределом мотовства. Скоро он обнаружил, что Джулия тратит на хозяйство много денег, и, сказав, что хочет избавить ее от хлопот, взял бразды правления в свои руки, после этого ничто не пропадало зря. Каждое пенни было на учете. Джулия не понимала, почему прислуга их не бросает. Видимо, потому, что Майкл был с ними мил. Своим сердечным, приветливым, дружеским обращением он добивался того, что все они стремились ему угодить, и кухарка разделяла его удовлетворение, когда находила мясника, который продавал на пенс с фунта дешевле, чем все остальные. Джулия не могла удержаться от смеха, думая, какая пропасть лежит между ним, с его страстью к экономии в жизни, и теми бесшабашными мотами, которых он так хорошо изображает на сцене. Она была уверена, что Майкл не способен на широкий жест, и вот вам, пожалуйста, словно ничего не может быть естественней, он готов отойти в сторону, чтобы дать ей хороший шанс. Джулия была так глубоко растрогана, что не могла говорить. Она горько упрекала себя за те дурные мысли, которые все последнее время возникали у нее в голове.

Глава девятая

Они поставили эту пьесу, и она имела успех. После того они ставили новые пьесы год за годом. Майкл вел театр тем же методом и с той же бережливостью, что и дом, извлекая каждое пенни из тех спектаклей, которые имели успех, когда же спектакль проваливался, что, естественно, порой случалось, потери их бывали сравнительно невелики. Майкл льстил себя мыслью, что во всем Лондоне не найдется театра, где бы так мало тратили на постановки. Он проявлял великую изобретательность, преобразая старые декорации в новые, а используя на все лады мебель, которую он постепенно собрал на складе, не должен был тратиться на прокат. Они завоевали репутацию смелого и инициативного театра, так как Майкл был готов пойти на риск и поставить пьесу неизвестного автора, чтобы иметь возможность платить высокие отчисления известным. Он выискивал актеров, которые не имели случая создать себе имя и не претендовали поэтому на высокую оплату. И сделал несколько очень удачных находок.

Когда прошло три года, положение их настолько упрочилось, что Майкл смог взять в банке ссуду, чтобы арендовать только что построенное театральное помещение. После длительных дебатов они решили назвать его «Сиддонс-театр». Пьеса, которой они открыли тот сезон, потерпела фиаско, то же произошло и со следующей. Джулия испугалась и пришла в уныние. Она решила, что новый театр неудачливый, что она надоела публике. Вот тогда-то Майкл оказался на высоте. Он был невозмутим.

– В нашем деле всякое бывает, сегодня хорошо, а завтра плохо. Ты – лучшая актриса в Англии. В труппе есть всего три человека, которые приносят деньги в кассу независимо от пьесы, и ты – одна из них. Ну, было у нас два провала. А следующая пьеса пойдет на ура, и мы с лихвой возместим все убытки.

Как только Майкл твердо почувствовал себя на ногах, он попробовал откупиться от Долли де Фриз, но она и слушать его не хотела, а его холодность ничуть не трогала ее. Наконец-то Майкл встретил достойного противника. Долли не видела никаких оснований вынимать свой вклад из предприятия, которое, судя по всему, процветает и участие в котором позволяет ей быть в тесном контакте с Джулией. И вот теперь, набравшись мужества, он снова попытался избавиться от нее. Долли с негодованием отказалась покинуть их в беде, и Майкл в результате махнул рукой. Он

утешался тем, что Долли, наверное, оставит своему крестнику Роджеру кругленькую сумму. У нее не было никого, кроме племянников в Южной Африке, а при взгляде на Долли сразу было видно, что у нее высокое кровяное давление. А пока что Майкла вполне устраивало иметь загородный дом возле Гилдфорда, куда можно было приехать в любое время. Это избавляло от расходов на собственную дачу. Третья пьеса имела большой успех, и Майкл, естественно, напомнил Джулии свои слова – теперь она видит, что он был прав. Майкл говорил так, будто вся заслуга принадлежит ему одному. Джулия чуть было не пожелала, чтобы эта пьеса тоже провалилась, как и две предыдущие, – так ей хотелось хоть немного сбить с него спесь. Майкл чересчур высокого мнения о себе. Конечно, нельзя отрицать, что он в своем роде умен, нет, скорее, хитер и практичен, но далеко не так умен, как он воображает. Не было такой вещи на свете, в которой бы он не разбирался лучше других – по его собственному мнению.

Мало-помалу Майкл все реже стал появляться на сцене. Его куда больше привлекала административная деятельность.

– Я хочу поставить наш театр на такие же деловые рельсы, на каких стоит любая фирма в Сити, – говорил он.

Майкл считал, что с большей пользой потратит вечер, если, в то время как Джулия выступает, будет посещать периферийные театры в поисках талантов. У него была записная книжка, куда он вносил имена всех актеров, которые, как ему казалось, подавали надежды. Затем Майкл взялся за режиссуру. Его всегда возмущало, что режиссеры требуют такие большие деньги за постановку спектакля, а в последнее время кое-кто из них даже претендовал на долю со сборов. Наконец выпал случай, когда два режиссера, которые больше всего нравились Джулии, были заняты, а единственный оставшийся из тех, кому она доверяла, не мог уделить им все свое время.

– Я бы не прочь сам попытать счастья, – сказал Майкл.

Джулия колебалась. Майкл не отличался фантазией, идеи его были банальны. Она не была уверена, что актеры станут слушать его указания. Но режиссер, которого они могли заполучить, потребовал такой несусветный гонорар, что им оставалось одно – дать Майклу попробовать свои силы. Он справился куда лучше, чем она ожидала. Он был добросовестен, внимателен, скрупулезен. Он не жалел труда. И к своему изумлению, Джулия увидела, что он извлекает из нее больше, чем любой другой режиссер. Он знал, на что она способна, и, знакомый с каждой ее интонацией, каждым выражением ее чудесных глаз, каждым движением ее грациозного тела, мог преподать ей советы, которые помогли ей создать

одну из своих лучших ролей. С актерами труппы он был взыскателен, но дружелюбен. Когда у них начинали сдавать нервы, его добродушие, его искренняя доброжелательность сглаживали все острые углы. После этого спектакля у них уже не возникал вопрос о том, кто будет ставить их пьесы. Авторы любили Майкла, так как, не обладая творческим воображением, он был вынужден предоставлять пьесам говорить самим за себя, и часто, не вполне уверенный в том, что именно хотел сказать автор, он должен был выслушивать их указания.

Джулия стала богатой женщиной. Она не могла не признать, что Майкл так же осмотрителен с ее деньгами, как со своими собственными. Он следил за ее вложениями и, когда ему удавалось выгодно продать ее акции, был доволен не меньше, чем если бы они принадлежали ему самому. Он положил ей очень большой оклад и с гордостью заявлял, что она – самая высокооплачиваемая актриса в Лондоне, но, когда играл сам, никогда не назначал себе больше того, что, по его мнению, стоила его роль, а ставя пьесу, записывал в статью расхода гонорар, который они дали бы второразрядному режиссеру. За дом и образование Роджера они платили пополам. Роджера записали в Итон через неделю после рождения. Нельзя было отрицать, что Майкл щепетильно честен и справедлив. Когда Джулия осознала, насколько она богаче его, она захотела взять все издержки на себя.

– Не вижу для этого никаких оснований, – сказал Майкл. – До тех пор пока я смогу вносить свою долю, я буду это делать. Ты получаешь больше меня потому, что стоишь дороже. Я назначаю тебе такую плату потому, что ты зарабатываешь ее.

Можно было только восхищаться его самоотречением, тем, как он жертвовал собой ради нее. Если у него и были раньше честолюбивые планы относительно себя самого, он отказался от них, чтобы способствовать ее карьере. Даже Долли, не любившая его, признавала его бескорыстие. Какая-то непонятная стыдливость мешала Джулии худо говорить о нем с Долли, но Долли, при ее проницательном уме, уже давно разглядела, как невероятно Майкл раздражает свою жену, и считала долгом время от времени напоминать, насколько он ей полезен. Все его хвалили. Идеальный муж. Джулии казалось, что никто, кроме нее, не представляет, каково жить с мужем, который так чудовищно тщеславен. Его самодовольный вид, когда он выигрывал у своего противника в гольф или брал над кем-нибудь верх при сделке, совершенно выводил ее из себя. Майкл упивался своей ловкостью. Он был зануда, жуткий зануда! Он всегда все рассказывал Джулии, делился замыслами, возникавшими у него.

Это было очень приятно в те времена, когда находиться рядом с ним доставляло ей наслаждение, но уже многие годы его прозаичность была ей невыносима. Что бы Майкл ни описывал, он входил в мельчайшие подробности. И он кичился не только своей деловой хваткой – с возрастом он стал невероятно кичиться своей внешностью. В молодости его красота казалась Майклу чем-то само собой разумеющимся, теперь же он начал обращать на нее большое внимание и не жалел никаких трудов, чтобы уберечь то, что от нее осталось. Это превратилось у него в навязчивую идею. Он чрезвычайно заботился о своей фигуре; не брал в рот ничего, что грозило бы ему прибавкой веса, и не забывал про моцион. Когда ему показалось, что он начинает лысеть, он тут же обратился к врачу-специалисту, и Джулия не сомневалась, что, если бы он мог сохранить это в тайне, он пошел бы на пластическую операцию и подтянул кожу лица. Он взял обыкновение сидеть немного задрав вверх подбородок, чтобы не так были видны морщины на шее, и держался неестественно прямо, чтобы не отвисал живот. Он не мог пройти мимо зеркала, не взглянув в него. Он всячески напрашивался на комплименты и сиял от удовольствия, когда ему удавалось добиться их. Хлебом его не корми – только скажи, как он хорош. Джулия горько усмехалась, думая, что сама приучила к этому Майкла. В течение многих лет она твердила ему, как он прекрасен, и теперь он просто не может жить без лести. Это была его ахиллесова пята. Безработной актрисе достаточно было сказать ему в глаза, что он неправдоподобно красив, как ему начинало казаться, будто она подходит для той роли, на которую ему нужен человек. В течение многих лет, насколько Джулии было известно, Майкл не имел дела с женщинами, но, перевалив за сорок пять, он стал заводить легкие интрижки. Джулия подозревала, что ни к чему серьезному они не приводили. Он был осторожен, и нужно ему было по-настоящему только одно – чтобы им восхищались. Джулия слышала, что, когда его дамы становились слишком настойчивы, он использовал жену как предлог, чтобы от них избавиться. Или он не мог рисковать тем, что она будет оскорблена в своих чувствах, или она подозревала что-то, или устраивала сцены ревности – не одно, так другое, – но, «пожалуй, будет лучше, если их дружба кончится».

– И что они находят в нем? – воскликнула Джулия, обращаясь к пустой комнате.

Она взяла наугад десяток его последних фотографий и пересмотрела их одну за другой. Пожала плечами.

– Что ж, не мне их винить. Я тоже влюбилась в него. Конечно, тогда он был красивее.

Джулии взгрустнулось при мысли, как сильно она любила его. Ей казалось, что жизнь обманула ее, потому что ее любовь умерла. Она вздохнула.

– И у меня так болит спина, – сказала она.

Глава десятая

В дверь постучали.

– Войдите, – сказала Джулия.

Вошла Эви.

– Вы не собираетесь лечь отдохнуть, мисс Лэмберт? – Она увидела, что Джулия сидит на полу, окруженная кучей фотографий. – Что это вы такое делаете?

– Смотрю сны. – Джулия подняла две фотографии. – «Взгляни сюда – вот два изображения»^[31].

На одной Майкл был снят в роли Меркуцио, во всей сияющей красе своей юности, на другой – в своей последней роли: белый цилиндр, визитка, полевой бинокль через плечо. У него был невероятно самодовольный вид.

Эви шмыгнула носом.

– Потерянного не воротишь.

– Я думала о прошлом, и у меня теперь страшная хандра.

– Нечего удивляться. Коли начинаешь думать о прошлом, значит, у тебя уже нет будущего.

– Заткнись, старая корова, – сказала Джулия: она могла быть очень вульгарной.

– Ну хватит, пошли, не то вечером вы ни на что не будете годны. Я приберу весь этот разгром.

Эви была горничная и костюмерша Джулии. Она появилась у нее в Миддлпуле и приехала вместе с ней в родной Лондон – она была кокни^[32]. Тощая, угловатая, немолодая, с испитым лицом и рыжими, вечно растрепанными волосами, которые не мешало помыть; у нее не хватало спереди двух зубов, но, несмотря на неоднократное предложение Джулии дать ей деньги на новые зубы, Эви не желала их вставлять.

– Сколько я ем, для того и моих зубов много. Только мешать будет, коли напихаешь себе полон рот слоновьих клыков.

Майкл уже давно хотел, чтобы Джулия завела себе горничную, чья внешность больше соответствовала бы их положению, и пытался убедить Эви, что две должности слишком трудны для нее, но Эви и слышать ничего не желала.

– Говорите что хотите, мистер Госселин, а только пока у меня есть здоровье да силы, никто другой не будет прислуживать мисс Лэмберт.

– Мы все стареем. Эви, мы все уже немолоды.

Эви, шмыгнув носом, утерла его пальцем.

– Пока мисс Лэмберт достаточно молода, чтобы играть женщин двадцати пяти лет, я тоже достаточно молода, чтобы одевать ее в театре и прислуживать ей дома, – Эви кинула на него пронизывающий взгляд. – И зачем это вам надо платить два жалованья – такую кучу денег! – когда вы имеете всю работу заодно?

Майкл добродушно рассмеялся:

– В этом что-то есть, Эви, милочка.

...Эви выпроводила Джулию из комнаты и погнала ее наверх. Когда не было дневного спектакля, Джулия обычно ложилась поспать часа на два перед вечерним, а затем делала легкий массаж. Она разделась и скользнула в постель.

– Черт подери, грелка совершенно остыла.

Джулия взглянула на стоявшие на камине часы. Ничего удивительного, грелка прождала ее чуть не час. Вот уж не думала, что так долго пробыла в комнате Майкла, разглядывая фотографии и перебирая в памяти прошлое.

«Сорок шесть. Сорок шесть. Сорок шесть. Я уйду со сцены в шестьдесят. В пятьдесят восемь – турне по Южной Африке и Австралии. Майкл говорит, там можно изрядно набить карман. Сыграю все свои старые роли. Конечно, даже в шестьдесят я смогу играть сорокапятiletних. Но откуда их взять? Проклятые драматурги!»

Стараясь припомнить пьесу, в которой была бы хорошая роль для женщины сорока пяти лет, Джулия уснула. Спала она крепко и проснулась, только когда пришла массажистка. Эви принесла вечернюю газету, и, пока Джулии массировали длинные стройные ноги и плоский живот, она, надев очки, читала те самые театральные новости, что и утром, ту же светскую хронику и страничку для женщин. Вскоре в комнату вошел Майкл и присел к ней на кровать.

– Ну, как его зовут? – спросила Джулия.

– Кого?

– Мальчика, которого мы пригласили к ленчу.

– Понятия не имею. Я отвез его в театр и думать о нем забыл.

Мисс Филиппс, массажистке, нравился Майкл. С ним тебя не ждут никакие неожиданности. Он всегда говорит одно и то же, и знаешь, что отвечать. И нисколько не задается. А красив!.. Даже трудно поверить!

– Ну, мисс Филиппс, сгоняем жирок?

– Ах, мистер Госселин, да на мисс Лэмберт нет и унции жира. Просто чудо, как она сохраняет фигуру.

– Жаль, что вы не можете массировать меня, мисс Филиппс. Может быть, согнали бы и с меня лишек.

– Что вы такое говорите, мистер Госселин! Да у вас фигура двадцатилетнего юноши. Не представляю, как вы этого добиваетесь, честное слово, не представляю.

– «Скромный образ жизни, высокий образ мыслей»^[33].

Джулия не обращала внимания на их болтовню, но ответ мисс Филиппс достиг ее слуха.

– Конечно, нет ничего лучше массажа, я всегда это говорю, но нужно следить и за диетой, с этим не приходится спорить.

«Диета, – подумала Джулия. – Когда мне стукнет шестьдесят, я дам себе волю. Буду есть столько хлеба с маслом, сколько захочу, буду есть горячие булочки на завтрак, картофель на ленч и картофель на обед. И пиво. Господи, как я люблю пиво! Гороховый суп, суп с томатом, пудинг с патокой и вишневый пирог. Сливки, сливки, сливки. И, да поможет мне бог, никогда в жизни больше не прикоснусь к шпинату».

Когда массаж был окончен, Эви принесла Джулии чашку чаю, ломтик ветчины, с которого было срезано сало, и кусочек поджаренного хлеба. Джулия встала с постели, оделась и поехала с Майклом в театр. Она любила приезжать туда за час до начала спектакля. Майкл пошел обедать в клуб. Эви еще раньше приехала в кебе, и, когда Джулия вошла в свою уборную, там уже все было готово. Джулия снова разделась и надела халат. Сядясь перед туалетным столиком, чтобы наложить грим, Джулия заметила в вазе свежие цветы.

– Цветы? От кого? От миссис де Фриз?

Долли всегда присылала ей огромные букеты к премьере, к сотому спектаклю и к двухсотому, если он бывал, а в промежутках, всякий раз когда заказывала цветы для своего дома, отправляла часть их Джулии.

– Нет, мисс.

– Лорд Чарлз?

Лорд Чарлз Тэмерли был самый давний и самый верный поклонник Джулии; проходя мимо цветочного магазина, он обычно заходил туда и выбирал для Джулии розы.

– Там есть карточка, – сказала Эви.

Джулия взглянула на нее. Мистер Томас Феннел. Тэвисток-сквер.

– Ну и название. Кто бы это мог быть, как ты думаешь, Эви?

– Верно, какой-нибудь бедняга, которого ваша роковая красота стукнула обухом по голове.

– Стоят не меньше фунта. Тэвисток-сквер звучит не очень-то

роскошно. Чего доброго, неделю сидел без обеда, чтобы их купить.

– Вот уж не думаю.

Джулия наложила на лицо грим.

– Ты чертовски не романтична, Эви. Раз я не хористка, ты не понимаешь, почему мне присылают цветы. А ноги у меня, видит бог, получше, чем у большинства этих дев.

– Идите вы со своими ногами, – сказала Эви.

– А я тебе скажу, очень даже недурно, когда мне в мои годы присылают цветы. Значит, я еще ничего.

– Ну, посмотрел бы он на вас сейчас, ни в жисть бы не прислал, я их брата знаю, – сказала Эви.

– Иди к черту!

Но когда Джулия кончила гримироваться и Эви надела ей чулки и туфли, Джулия воспользовалась теми несколькими минутами, что у нее оставались, чтобы присесть к бюро и написать своим четким почерком благодарственную записку мистеру Томасу Феннелу за его великолепные цветы. Джулия была вежлива от природы, а кроме того, взяла себе за правило отвечать на все письма поклонников ее таланта. Таким образом она поддерживала контакт со зрителями. Надписав конверт, Джулия кинула карточку в мусорную корзину и стала надевать костюм, который требовался для первого акта. Мальчик, вызывающий актеров на сцену, постучал в дверь уборной:

– На выход, пожалуйста.

Эти слова все еще вызывали у Джулии глубокое волнение, хотя один бог знает, сколько раз она их слышала. Они подбадривали ее, как тонизирующий напиток. Жизнь получала смысл. Джулии предстояло перейти из мира притворства в мир реальности.

Глава одиннадцатая

На следующий день Джулию пригласил к ленчу Чарлз Тэмерли. Его отец, маркиз Деннорант, женился на богатой наследнице, и Чарлзу досталось от родителей значительное состояние. Джулия часто бывала у него на приемах, которые он любил устраивать в своем особняке на Хилл-стрит. В глубине души она питала глубочайшее презрение к важным дамам и благородным господам, с которыми встречалась у него, ведь сама она зарабатывала хлеб собственным трудом и была художником в своем деле, но она понимала, что может завести там полезные связи. Благодаря им газеты писали о великолепных премьерах в «Сиддонс-театре», и когда Джулия фотографировалась на загородных приемах среди кучи аристократов, она знала, что это хорошая реклама. Были одна-две первые актрисы моложе ее, которым не очень-то нравилось, что она зовет по крайней мере трех герцогинь по имени. Это не огорчало Джулию. Джулия не была блестящей собеседницей, но глаза ее так сияли, слушала она с таким внимательным видом, что, как только она научилась жаргону светского общества, с ней никому не было скучно. У Джулии был большой подражательный дар, который она обычно сдерживала, считая, что это может повредить игре на сцене, но в этих кругах она обратила его в свою пользу и приобрела репутацию остроумной женщины. Ей было приятно нравиться им, этим праздным элегантным дамам, но она смеялась про себя над тем, что их ослепляет ее романтический ореол. Интересно, что бы они подумали, если бы узнали, как в действительности прозаична жизнь преуспевающей актрисы, какого она требует неустанного труда, какой постоянной заботы о себе, насколько необходимо вести при этом монотонный, размеренный образ жизни! Но Джулия давала им благожелательные советы, как лучше употреблять косметику, и позволяла копировать фасоны своих платьев. Одевалась она всегда великолепно. Майкл, наивно полагавший, что она покупает свои туалеты за бесценок, даже не представлял, сколько она в действительности тратит на них.

Джулия имела репутацию добропорядочной женщины в обоих своих мирах. Никто не сомневался, что ее брак с Майклом – примерный брак. Она считалась образцом супружеской верности. В то же время многие люди в кругу Чарлза Тэмерли были убеждены, что она – его любовница. Но эта связь, полагали они, тянется так долго, что стала вполне респектабельной, и когда их обоих приглашали на конец недели в один и

тот же загородный дом, многие снисходительные хозяйки помещали их в соседних комнатах. Слухи об их связи распустила в свое время леди Чарлз Тэмерли, с которой Чарлз Тэмерли давно уже не жил, но в действительности в этом не было ни слова правды. Единственным основанием для этого служило то, что Чарлз вот уже двадцать лет был безумно влюблен в Джулию и, бесспорно, разошлись супруги Тэмерли, и так не очень между собой ладившие, из-за нее. Забавно, что свела Джулию и Чарлза сама леди Чарлз. Они трое случайно оказались на вилле Долли де Фриз, когда Джулия, в то время молоденькая актриса, имела в Лондоне свой первый успех. Был большой прием, и ей все уделяли усиленное внимание. Леди Чарлз, тогда женщина лет за тридцать, с репутацией красавицы, хотя, кроме глаз, у нее не было ни одной красивой черты, и она умудрялась производить эффектное впечатление лишь благодаря дерзкой оригинальности своей внешности, перегнулаась через стол с милостивой улыбкой:

– О, мисс Лэмберт, я, кажется, знала вашего батюшку, я тоже с Джерси. Он был врач, не правда ли? Он часто приходил в наш дом.

У Джулии засосало под ложечкой. Теперь она вспомнила, кто была леди Чарлз до замужества, и увидела приготовленную ей ловушку. Она залилась смехом.

– Вовсе нет, – ответила она. – Он был ветеринар. Он ходил к вам принимать роды у сук. В доме ими кишмя кишело.

Леди Чарлз не нашлась сразу, что сказать.

– Моя мать очень любила собак, – ответила она наконец.

Джулия радовалась, что на приеме не было Майкла. Бедный ягненок, это страшно задело бы его гордость. Он всегда называл ее отца «доктор Ламбёр», произнося имя на французский лад, и когда, вскоре после войны, он умер и мать Джулии переехала к сестре на Сен-Мало, стал называть тещу «мадам де Ламбёр». В начале ее карьеры все это еще как-то трогало Джулию, но теперь, когда она твердо стала на ноги и утвердила свою репутацию большой актрисы, она по-иному смотрела на вещи. Она была склонна, особенно среди «сильных мира сего», подчеркивать, что ее отец – всего-навсего ветеринар. Она сама не могла бы объяснить почему, но чувствовала, что ставит их этим на место.

Чарлз Тэмерли догадался, что его жена хотела намеренно унижить молодую актрису, и, рассердившись, лез из кожи вон, чтобы быть с ней любезным. Он попросил разрешения нанести ей визит и преподнес чудесные цветы.

Ему было тогда около сорока. Изящное тело венчала маленькая

головка с не очень красивыми, но весьма аристократическими чертами лица. Он казался чрезвычайно хорошо воспитанным, что соответствовало действительности, и отличался утонченными манерами. Лорд Чарлз был ценителем всех видов искусства. Он покупал современную живопись и собирал старинную мебель. Он очень любил музыку и был на редкость хорошо начитан. Сперва ему было просто забавно приходить в крошечную квартирку на Бэкингем-плейс-роуд, где жили двое молодых актеров. Он видел, что они бедны, и ему приятно щекотало нервы знакомство с – как он наивно полагал – настоящей богемой. Он приходил к ним несколько раз, и для него было настоящим приключением, когда его пригласили на ленч, который им подавало форменное пугало по имени Эви, служившее у них горничной. Лорд Чарлз не обращал особого внимания на Майкла, который, несмотря на свою бьющую в глаза красоту, казался ему довольно заурядным молодым человеком, но Джулия покорила его. У нее были темперамент, характер и кипучая энергия, с которыми ему еще не приходилось сталкиваться. Несколько раз лорд Чарлз ходил в театр смотреть Джулию и сравнивал ее исполнение с игрой великих актрис мира, которых он видел в свое время. Ему казалось, что у нее очень яркая индивидуальность.

Ее обаяние было бесспорно. Его сердце затрепетало от восторга, когда он внезапно понял, как она талантлива.

«Вторая Сиддонс, возможно, больше, чем Эллен Терри»^[34].

В те дни Джулия не считала нужным ложиться днем в постель, она была сильна, как лошадь, и никогда не уставала, и они часто гуляли вместе с лордом Чарлзом в парке. Она чувствовала, что ему хочется видеть в ней дитя природы. Джулии это вполне подходило. Ей не надо было прилагать усилий, чтобы казаться искренней, открытой и девически восторженной. Чарлз водил ее в Национальную галерею, в музей Тейта^[35] и Британский музей, и она испытывала от этого почти такое удовольствие, какое выказывала. Лорд Тэмерли любил делиться сведениями, Джулия была рада их получать. У нее была цепкая память, и она очень много от него узнала. Если впоследствии она могла рассуждать о Прусте^[36] и Сезанне^[37] в самом избранном обществе так, что все поражались ее высокой культуре, обязана этим она была лорду Чарлзу. Джулия поняла, что он влюбился в нее, еще до того, как он сам это осознал. Ей казалось это довольно забавным. С ее точки зрения, лорд Чарлз был пожилой мужчина, и она думала о нем, как о добром старом дядюшке. В то время Джулия еще была без ума от Майкла. Когда Чарлз догадался, что любит ее, его манера обращения с ней немного

изменилась, он стал стеснительным и часто, оставаясь с ней наедине, молчал.

«Бедный ягненок, – сказала она себе, – он такой большой джентльмен, что просто не знает, как ему себя вести».

Сама-то она уже давно решила, какой ей держаться линии поведения, когда он откроется ей в любви, что рано или поздно обязательно должно было произойти. Одно она даст ему понять без обиняков: пусть не воображает, раз он лорд, а она – актриса, что ему стоит только поманить – и она прыгнет к нему в постель. Если он попробует с ней такие штучки, она разыграет оскорбленную добродетель и, вытянув вперед руку – роскошный жест, которому ее научила Жанна Тэбу, – укажет ему пальцем на дверь. С другой стороны, если он будет скован, не сможет выдавить из себя путного слова от смущения и расстройства чувств, она и сама будет робка и трепетна, слезы в голосе и все в этом духе; она скажет, что ей и в голову не приходило, какие он испытывает к ней чувства, и – нет, нет, это невозможно, это разобьет Майклу сердце. Они хорошо выплачутся вместе, и потом все будет как надо. Чарлз прекрасно воспитан и не станет ей надоедать, если она раз и навсегда вобьет ему в голову, что дело не выгорит.

Но когда объяснение наконец произошло, все было совсем не так, как ожидала Джулия. Они с Чарлзом гуляли в Сент-Джеймс-парке, любовались пеликанами и обсуждали – по ассоциации, – будет ли она в воскресенье вечером играть Милламант^[38]. Затем они вернулись домой к Джулии выпить по чашечке чаю. Съели пополам сдобную лепешку. Вскоре лорд Чарлз поднялся, чтобы уйти. Он вынул из кармана миниатюру и протянул Джулии.

– Портрет Клэрон. Это актриса восемнадцатого века, у нее было много ваших достоинств.

Джулия взглянула на хорошенькое умное личико, окаймленное пудренными буклями, и подумала, настоящие ли бриллианты на рамке или стразы.

– О, Чарлз, это слишком дорогая вещь. Как мило с вашей стороны!

– Я так и думал, что она вам понравится. Это – нечто вроде прощального подарка.

– Вы уезжаете?

Джулия была удивлена, он ничего ей об этом не говорил. Лорд Чарлз взглянул на нее с легкой улыбкой.

– Нет. Но я намерен больше не встречаться с вами.

– Почему?

– Я думаю, вы сами это знаете не хуже меня.

И тут Джулия совершила позорный поступок. Она села и с минуту молча смотрела на миниатюру. Выдержав идеальную паузу, она подняла глаза, они встретились с глазами Чарлза. Она могла вызвать слезы по собственному желанию, это был один из ее самых эффектных трюков, и теперь, хотя она не издала ни звука, ни всхлипа, слезы заструились у нее по лицу. Рот чуть-чуть приоткрыт, глаза, как у обиженного ребенка, – все вместе создавало на редкость трогательную картину. Лорд Чарлз не мог этого вынести; его черты исказила гримаса боли. Когда он заговорил, голос его был хриплым от обуревавших его чувств:

– Вы любите Майкла, так ведь?

Джулия чуть заметно кивнула. Сжала губы, словно пытаясь овладеть собой, но слезы по-прежнему катились у нее по щекам.

– У меня нет никаких шансов?

Он подождал ответа, но она лишь подняла руку ко рту и стала кусать ногти, по-прежнему глядя на него полными слез глазами.

– Вы не представляете, какая для меня мука видеть вас. Вы хотите, чтобы я продолжал с вами встречаться?

Она снова чуть заметно кивнула.

– Клара устраивает мне сцены. Она догадалась, что я в вас влюблен. Простой здравый смысл требует, чтобы мы расстались.

На этот раз Джулия слегка покачала головой. Всклипнула. Откинулась в кресле и отвернулась.

Вся ее поза говорила о том, сколь глубока ее скорбь. Кто бы мог устоять? Чарлз сделал шаг вперед и, опустившись на колени, заключил сломленное горем, безутешное существо в свои объятия.

– Улыбнитесь, ради всего святого. Я не могу этого вынести. О, Джулия, Джулия!.. Я так вас люблю, я не могу допустить, чтобы из-за меня вы страдали. Я на все согласен. Я не буду ни на что претендовать.

Джулия повернула к нему залитое слезами лицо («Господи, ну и видок сейчас у меня!») и протянула ему губы. Он нежно ее поцеловал. Поцеловал в первый и единственный раз.

– Я не хочу терять вас, – глухим от слез голосом произнесла она.

– Любимая! Любимая!

– И все будет как раньше?

– В точности.

Она глубоко и удовлетворенно вздохнула и минуты две оставалась в его объятиях. Когда лорд Чарлз ушел, Джулия встала с кресла и посмотрела в зеркало. «Сукина ты дочь», – сказала она самой себе. Но тут же

засмеялась, словно ей вовсе не стыдно, и пошла в ванную комнату вымыть лицо и глаза. Она была в приподнятом настроении. Услышав, что пришел Майкл, она его позвала:

– Майкл, посмотри, какую миниатюру подарил мне только что Чарлз. Она на каминной полочке. Это настоящие драгоценные камни или подделка?

Когда леди Чарлз оставила мужа, Джулия несколько встревожилась: та грозила подать в суд на развод, и Джулии не очень-то улыбалась мысль появиться в роли соответчицы. Недели две-три она сильно нервничала. Она решила ничего не рассказывать Майклу без крайней необходимости, и слава богу, так как впоследствии выяснилось, что угрозы леди Чарлз преследовали единственную цель: заставить ни в чем не повинного супруга назначить ей как можно более солидное содержание. Джулия удивительно ловко управлялась с Чарлзом. Им было ясно без слов, что при ее любви к Майклу ни о каких интимных отношениях не может быть и речи, но в остальном он был для нее всем: ее другом, ее советчиком, ее наперсником, человеком, к помощи которого она всегда могла обратиться в случае необходимости, который утешит ее при любой неприятности. Джулии стало немного трудней, когда Чарлз с присущей ему чуткостью увидел, что она больше не любит Майкла; пришлось призвать на помощь весь свой такт. Конечно, она не задумываясь, без особых угрызений совести сделала бы его любовницей. Будь он, скажем, актером и люби ее так давно и сильно, она бы легла с ним в постель просто из дружеских чувств; но с Чарлзом это было невозможно. Джулия относилась к нему с большой нежностью, но он был так элегантен, так воспитан, так культурен, она просто не могла представить его в роли любовника. Все равно что лечь в постель с *object d'art*^[39]. Даже его любовь к театру вызывала в ней легкое презрение. В конце концов она была творцом, а он – всего-навсего зрителем. Чарлз хотел, чтобы она ушла к нему от Майкла. Они купят в Сорренто, на берегу Неаполитанского залива, виллу с огромным садом, заведут шхуну и будут проводить долгие дни на прекрасном темно-красном море. Любовь, красота и искусство вдали от мира.

«Чертов дурак, – думала Джулия. – Как будто я откажусь от своей карьеры, чтобы похоронить себя в какой-то дыре».

Джулия сумела убедить Чарлза, что она слишком многим обязана Майклу, к тому же у нее ребенок; не может же она допустить, чтобы его юная жизнь омрачилась сознанием того, что его мать – дурная женщина. Апельсиновые деревья – это, конечно, прекрасно, но на его великолепной вилле у нее не будет и минуты душевного покоя от мысли, что Майкл

несчастен, а за ее ребенком присматривают чужие люди. Нельзя думать только о себе, ведь правда? О других тоже надо подумать. Джулия была так прелестна, так женственна! Иногда она спрашивала Чарлза, почему он не разведется и не женится на какой-нибудь милой девушке. Ей невыносима мысль, что из-за нее он зря тратит свою жизнь. Чарлз отвечал, что она единственная, кого он любит и будет любить до конца своих дней.

– Ах, это так печально, – говорила Джулия.

Тем не менее она всегда была начеку, и если ей чудилось, что какая-то женщина собирается подцепить Чарлза на крючок, Джулия делала все, чтобы испортить ей игру. Если опасность казалась особенно велика, Джулия не останавливалась перед сценой ревности. Они уже давно пришли к соглашению, конечно, не прямо, а при помощи осторожных намеков и отдаленных иносказаний, со всем тактом, которого можно было ждать от лорда Чарлза при его воспитанности, и от Джулии, при ее добром сердце, что, если с Майклом что-нибудь случится, они так или иначе избавятся от леди Чарлз и соединятся узами брака. Но у Майкла было идеальное здоровье.

В этот день Джулия получила огромное удовольствие от ленча на Хилл-стрит. Был большой прием. Джулия никогда не потворствовала Чарлзу в его стремлении приглашать к себе актеров и драматургов, с которыми он где-нибудь случайно встретился, и сегодня она была единственной из гостей, кто когда-либо сам зарабатывал себе на жизнь. Она сидела между старым, толстым, лысым и словоохотливым членом кабинета министров, который лез из кожи вон, чтобы ее занять, и молодым герцогом Уэстри, который был похож на младшего конюха и гордился тем, что знает французское аргю лучше любого француза. Услышав, что Джулия говорит по-французски, он потребовал, чтобы она беседовала с ним только на этом языке. После ленча ее уговорили декламировать отрывок из «Федры» так, как это делают в «Комеди Франсез», и так, как его произнес бы английский студент, занимающийся в Королевской академии драматического искусства. Джулия заставила общество сильно смеяться и ушла с приема упоенная успехом. Был прекрасный погожий день, и Джулия решила пройти пешком от Хилл-стрит до Стэнхоуп-плейс. Когда она пробиралась сквозь толпу на Оксфорд-стрит, многие ее узнавали, и, хотя она смотрела прямо перед собой, она ощущала на себе их взгляды.

«Черт знает что. Никуда нельзя пойти, чтобы на тебя не пялили глаза».

Джулия замедлила шаг. День действительно был прекрасный.

Она открыла дверь дома своим ключом и, войдя в холл, услышала телефонный звонок. Машинально сняла трубку.

– Да?

Обычно она меняла голос, отвечая на звонки, но сегодня забыла.

– Мисс Лэмберт?

– Я не знаю, дома ли она. Кто говорит? – спросила она на этот раз так, как говорят кокни. Но первое односложное словечко выдало ее. В трубке послышался смешок.

– Я только хотел поблагодарить вас за записку. Вы зря беспокоились. С вашей стороны было так любезно пригласить меня к ленчу, и мне захотелось послать вам несколько цветков.

Звук его голоса, не говоря о словах, объяснил ей, кто ее собеседник. Это был тот краснеющий юноша, имени которого она так и не узнала. Даже теперь, хотя она видела его карточку, она не могла вспомнить. Она запомнила только то, что он живет на Тэвисток-сквер.

– Очень мило с вашей стороны, – ответила она своим голосом.

– Вы, наверное, не захотите выпить со мной чашечку чаю как-нибудь на днях?

Ну и наглость! Да она не пойдет пить чай и с герцогиней! Он разговаривает с ней как с какой-нибудь хористочкой. Смех, да и только.

– Почему бы и нет?

– Правда? – В голосе зазвучало волнение. («А у него приятный голос».) – Когда?

Ей совсем не хотелось сейчас ложиться отдыхать.

– Сегодня.

– О'кей. Я отпущусь из конторы пораньше. В половине пятого вас устроит? Тэвисток-сквер, 138.

С его стороны было очень мило пригласить ее к себе. Он мог назвать какое-нибудь модное место, где все бы на нее таращились. Значит, дело не в том, что ему просто хочется показаться рядом с ней.

На Тэвисток-сквер Джулия поехала в такси. Она была довольна собой. Всегда приятно сделать доброе дело. С каким удовольствием он будет потом рассказывать жене и детям, что сама Джулия Лэмберт приезжала к нему на чай, когда он еще был мелким клерком в бухгалтерской конторе. Она была так проста, так естественна. Слушая ее болтовню, никто бы не догадался, что она – величайшая актриса Англии. А если они ему не поверят, он покажет им ее фотографию, подписанную: «Искренне Ваша, Джулия Лэмберт». Он скажет со смехом, что, конечно, если бы он не был таким желторотым мальчишкой, он бы никогда не осмелился ее пригласить.

Когда Джулия подъехала к дому и отпустила такси, она вдруг подумала, что так и не вспомнила его имени и, когда ей откроют дверь, не

будет знать, кого попросить. Но, подойдя к двери, увидела, что там не один звонок, а целых восемь, четыре ряда по два звонка, и рядом с каждым приколата карточка или клочок бумаги с именем. Это был старый особняк, разделенный на квартиры. Джулия без особой надежды стала читать имена – вдруг какое-нибудь из них покажется ей знакомым, – как тут дверь распахнулась, и он собственной персоной возник перед ней.

– Я видел, как вы подъехали, и побежал вниз. Простите, я живу на четвертом этаже. Надеюсь, вас это не затруднит?

– Конечно, нет.

Джулия стала подниматься по голой лестнице. Она немного запыхалась, когда добралась до последней площадки. Юноша легко прыгал со ступеньки на ступеньку – как козленок, подумала она, – и Джулии не хотелось просить его идти помедленнее. Комната, в которую он ее провел, была довольно большая, но бедно обставленная – выцветшие обои, старая мебель с вытертой обшивкой. На столе стояла тарелка с кексами, две чайные чашки, сахарница и молочник. Фаянсовая посуда была из самых дешевых.

– Присядьте, пожалуйста, – сказал он. – Вода уже кипит. Одну минутку. Газовая горелка в ванной комнате.

Он вышел, и она осмотрелась кругом.

«Ах ты, ягненок! Видно, беден как церковная мышь».

Комната напомнила Джулии многие меблированные комнаты, в которых ей приходилось жить, когда она впервые попала на сцену. Она заметила трогательные попытки скрыть тот факт, что жилище это было и гостиной, и столовой, и спальней одновременно. Диван у стены, очевидно, ночью служил ему ложем. Джулия точно скинула с плеч два десятка лет. В воображении она вернулась к дням своей молодости. Как весело жилось в таких комнатах, с каким удовольствием они поглощали самые фантастические блюда, снедь, принесенную в бумажных кулках, или зажаренную на газовой горелке яичницу с беконом!.. Вошел хозяин, неся коричневый чайник с кипятком. Джулия съела квадратное бисквитное пирожное, облитое розовой глазурью. Она не позволяла себе такой роскоши уже много лет. Цейлонский чай, очень крепкий, с сахаром и молоком, вернул ее к тем дням, о которых она, казалось, давно забыла. Она снова была молодой, малоизвестной, стремящейся к успеху актрисой. Восхитительное чувство. Оно требовало какого-то жеста, но Джулии пришел на ум лишь один – она сняла шляпу и встряхнула головой.

Они завели разговор. Юноша казался робким, куда более робким, чем по телефону; что ж, нечему удивляться, теперь, когда она здесь, он,

естественно, смущен, очень волнуется, и Джулия решила, что ей надо его ободрить. Он рассказал ей, что родители его живут в Хайгейте, его отец – поверенный в делах, раньше он жил вместе с ними, но захотел быть сам себе хозяином и сейчас, в последний год учения, отделился от семьи и снял эту крошечную квартирку. Он готовится к последнему экзамену. Они заговорили о театре. Он смотрел Джулию во всех ее ролях, с тех пор как ему исполнилось двенадцать лет. Он рассказал, что стоял однажды после дневного спектакля у служебного входа и, когда она вышла, попросил ее расписаться в его книге автографов. Да, юноша очень мил: эти голубые глаза и светло-каштановые волосы! Как жаль, что он их прилизывает. И такая белая кожа и яркий румянец на скулах; интересно, нет ли у него чохотки? Дешевый костюм сидит хорошо, он умеет носить вещи, ей это нравится; и он выглядит неправдоподобным чистюлей.

Джулия спросила, почему он поселился на Тэвисток-сквер. Это недалеко от центра, объяснил он, и тут есть деревья. Так приятно глядеть в окно. Джулия поднялась взглянуть; это хороший предлог, чтобы встать, а потом она наденет шляпу и попрощается с ним.

– Да, очаровательно. Добрый старый Лондон; сразу делается весело на душе.

Юноша стоял рядом с ней, и при этих словах Джулия обернулась. Он обнял ее за талию и поцеловал в губы. Ни одна женщина на свете не удивилась бы так. Джулия не верила сама себе и стояла как вкопанная. У него были мягкие губы, и вокруг него витал аромат юности – довольно приятный аромат. Но то, что он делал, не лезло ни в какие ворота. Он раздвигал ей губы кончиком языка и обнимал ее теперь уже двумя руками. Джулия не рассердилась, но и не чувствовала желания рассмеяться, она сама не знала, что чувствует. Она видела, что он нежно тянет ее куда-то – его губы все еще прижаты к ее губам, – ощущала явственно жар его тела, словно там, внутри, была печка – вот удивительно! – а затем обнаружила, что лежит на диване, а он рядом с ней и целует ее рот, шею, щеки, глаза. У Джулии непонятно почему сжалось сердце, она взяла его голову обеими руками и поцеловала в губы.

Через некоторое время она стояла у камина перед зеркалом и приводила себя в порядок.

– Погляди на мои волосы!

Он протянул ей гребень, и она провела им по волосам. Затем надела шляпу. Он стоял позади нее, и она увидела над своим плечом его нетерпеливые голубые глаза, в которых сейчас мерцала легкая усмешка.

– А я-то думала, ты такой застенчивый мальчик, – сказала она его

отражению.

Он коротко засмеялся.

– Когда я снова тебя увижу? – спросил он.

– А ты хочешь меня снова видеть?

– Еще как!

Мысли быстро проносились в ее голове. Это все было слишком нелепо; конечно, она не собиралась больше с ним встречаться, достаточно глупо было сегодня позволить ему вести себя таким образом, но, пожалуй, лучше спустить все на тормозах. Он может стать назойливым, если сказать, что этот эпизод не будет иметь продолжения.

– Я на днях позвоню.

– Поклянись.

– Честное слово.

– Не откладывай надолго.

Он настоял на том, чтобы проводить ее вниз и посадить в такси. Джулия хотела спуститься одна, взглянуть на карточки у звонков. «Должна же я по крайней мере знать его имя».

Но он не дал ей этой возможности. Когда такси отъехало, Джулия втиснулась в угол сиденья и чуть не захлебнулась от смеха. «Изнасилована, голубушка. Самым натуральным образом. В мои-то годы! И даже без всяких там „с вашего позволения“. Слово я – обыкновенная потаскушка. Комедия восемнадцатого века, вот что это такое. Я могла быть горничной. В кринолине с этими смешными пышными штуками – как они называются, черт побери? – которые они носили, чтобы подчеркнуть бедра, в передничке и косынке на шее». И, припомнив с пятого на десятое Фаркера^[40] и Голдсмита^[41], она начала воображаемый диалог: «Фи, сэр, как не стыдно воспользоваться неопытностью простой сельской девушки! Что скажет миссис Эбигейл, камеристка ее светлости, когда узнает, что брат ее светлости похитил у меня самое дорогое сокровище, каким владеет девушка моего положения, – лишил меня невинности».

Когда Джулия вернулась домой, массажистка уже ждала ее. Мисс Филиппс болтала с Эви.

– Куда это вас носило, мисс Лэмберт? – спросила Эви. – И когда вы теперь отдохнете, хотела бы я знать!

– К черту отдых!

Джулия сбросила платье и белье, с размаху расшвыряла его по комнате. Затем, абсолютно голая, вскочила на кровать, постояла на ней минуту, как Венера, рожденная из пены, затем кинулась на постель и вытянулась в струнку.

– Что на вас нашло? – спросила Эви.

– Мне хорошо.

– Ну, кабы я вела себя так, люди сказали бы, что яхватила лишку.

Мисс Филиппс начала массировать Джулии ноги. Она терла ее несильно, чтобы дать отдых телу, а не утомить его.

– Когда вы сейчас, как вихрь, ворвались в комнату, – сказала она, – я подумала, что вы помолодели на двадцать лет.

– Ах, оставьте эти разговоры для мистера Госселина, мисс Филиппс! – сказала Джулия, затем добавила, словно сама тому удивляясь: – Я чувствую себя как годовалый младенец.

То же самое было позднее в театре. Ее партнер Арчи Декстер зашел к ней в уборную о чем-то спросить. Джулия только кончила гримироваться. На его лице отразилось изумление.

– Привет, Джулия. Что это с тобой сегодня? Ты выглядишь грандиозно. Да тебе ни за что не дать больше двадцати пяти!

– Когда сыну шестнадцать, бесполезно притворяться, будто ты так уж молода. Мне сорок, и пусть хоть весь свет знает об этом.

– Что ты сделала с глазами? Я еще не видел, чтобы они так у тебя сияли.

Джулия давно не чувствовала себя в таком ударе. Комедия под названием «Пуховка», которая шла в тот вечер, не сходила со сцены уже много недель, но сегодня Джулия играла так, словно была премьера. Ее исполнение было блестящим. Публика смеялась как никогда. В Джулии всегда было большое актерское обаяние, но сегодня казалось, что его лучи осязаемо пронизывают весь зрительный зал. Майкл случайно оказался в театре на последних двух актах и после спектакля пришел к ней в уборную.

– Ты знаешь, суфлер говорит, мы кончили на девять минут позже обычного, – так много смеялась публика, – сказал он.

– Семь вызовов. Я думала, они никогда не разойдутся.

– Ну, вини в этом только себя, дорогая. Во всем мире нет актрисы, которая смогла бы сыграть так, как ты сегодня.

– Сказать по правде, я и сама получала удовольствие. Господи, я такая голодная! Что у нас на ужин?

– Рубец с луком.

– Великолепно! – Джулия обвила Майкла руками и поцеловала. – Обожаю рубец с луком. Ах, Майкл, если ты меня любишь, если в твоём твердокаменном сердце есть хоть искорка нежности ко мне, ты разрешишь мне выпить бутылку пива.

– Джулия!

– Только сегодня. Я не так часто прошу тебя что-нибудь для меня сделать.

– Ну что ж, после того как ты провела этот спектакль, я, наверное, не смогу сказать «нет», но, клянусь богом, уж я прослежу, чтобы мисс Филиппс не оставила на тебе завтра живого места.

Глава двенадцатая

Когда Джулия легла в постель и вытянула ноги, чтобы ощутить приятное тепло грелки, она с удовольствием окинула взглядом свою розово-голубую спальню с позолоченными херувимчиками на туалете и удовлетворенно вздохнула. Настоящий будуар мадам де Помпадур. Она погасила свет, но спать ей не хотелось. С какой радостью она отправилась бы сейчас к Квэгу потанцевать, но не с Майклом, а с Людовиком XV, или Людовиком Баварским, или Альфредом де Мюссе. Клэрон и Bal de l'Опера^[42]. Она вспомнила миниатюру, которую когда-то подарил ей Чарлз. Вот как она сегодня себя чувствовала. У нее уже целую вечность не было такого приключения. Последний раз нечто подобное случилось восемь лет назад. Ей бы, конечно, следовало стыдиться этого эпизода, и как она потом была напугана! Все так, но, что греха таить, она не могла вспоминать о нем без смеха.

Произошло все тоже случайно. Джулия играла много недель без перерыва, и ей необходимо было отдохнуть. Пьеса переставала привлекать публику, и они уже собирались начать репетиции новой, как Майклу удалось сдать помещение театра на шесть недель французской труппе. Это позволяло Джулии уехать. Долли сняла в Канне дом на весь сезон, и Джулия могла погостить у нее. Выехала она как раз накануне Пасхи. Поезда были так переполнены, что она не смогла достать купе в спальном вагоне, но в железнодорожном бюро компании Кука ей сказали, чтоб она не беспокоилась – при пересадке в Париже ее будет ждать спальное место. К ее крайнему смутению, на вокзале в Париже, судя по всему, ничего об этом не знали, и chef de train^[43] сказал ей, что спальные места заняты все до одного, разве что ей повезет и кто-нибудь в последний момент опоздает. Джулии совсем не улыбалась мысль просидеть всю ночь в углу купе вагона первого класса, и она пошла в вокзальный ресторан обедать, весьма всем этим взволнованная. Ей дали столик на двоих, и вскоре какой-то мужчина занял свободное кресло. Джулия не обратила на него никакого внимания. Через некоторое время к ней подошел chef de train и сказал, что, к величайшему сожалению, ничем не может ей помочь. Джулия устроила ему сцену, но все было напрасно. Когда тот ушел, сосед Джулии обратился к ней. Хотя он бегло говорил по-французски, она поняла по его акценту, что он не француз. В ответ на его вежливые расспросы она поведала ему всю историю и поделилась с ним своим мнением о компании Кука, французской

железнодорожной компании и всем человеческом роде. Он выслушал ее очень сочувственно и сказал, что после обеда сам пройдет по составу и посмотрит, нельзя ли что-нибудь организовать. Чего только не сделает проводник за хорошие чаевые!

– Я страшно устала, – вздохнула Джулия, – и с радостью отдам пятьсот франков за спальное купе.

Между ними завязался разговор. Собеседник сказал ей, что он атташе испанского посольства в Париже и едет в Канн на Пасху. Хотя Джулия проговорила с ним уже с четверть часа, она не потрудилась как следует его рассмотреть. Теперь она заметила, что у него черная курчавая борода и черные курчавые усы. Борода росла очень странно: пониже уголков губ были два голых пятна, что придавало ему курьезный вид. Эта борода, черные волосы, тяжелые полуопущенные веки и довольно длинный нос напоминали ей кого-то, но кого? Вдруг она вспомнила и так удивилась, что, не удержавшись, воскликнула:

– Знаете, я никак не могла понять, кого вы мне напоминаете. Вы удивительно похожи на тициановский портрет Франциска I, который я видела в Лувре!

– С этими его поросычьиими глазками?

– Нет, глаза у вас большие. Я думаю, тут все дело в бороде.

Джулия внимательно всмотрелась в него: кожа под глазами гладкая, без морщин, сиреневатого оттенка. Он еще совсем молод, просто борода старит его; вряд ли ему больше тридцати. Интересно, вдруг он какой-нибудь испанский гранд? Одет он не очень элегантно, но с иностранцами никогда ничего не поймешь, и не очень хорошо скроенный костюм может стоить кучу денег. Галстук, хотя и довольно кричащий, был явно куплен у Шарвье. Когда им подали кофе, он попросил разрешения угостить ее ликером.

– Очень любезно с вашей стороны. Может быть, я тогда лучше буду спать.

Он предложил ей сигарету. Портсигар у него был серебряный, что несколько обескуражило Джулию, но, когда он его закрыл, она увидела на уголке крышки золотую корону. Верно, какой-нибудь граф или почище того. Серебряный портсигар с золотой короной – в этом есть свой шик. Жаль, что ему приходится носить современное платье. Если бы его одеть как Франциска I, он выглядел бы весьма аристократично. Джулия решила быть с ним как можно любезней.

– Я, пожалуй, лучше признаюсь вам, – сказал он немного погодя, – я знаю, кто вы. И разрешите добавить, что я очень восхищаюсь вами.

Джулия одарила его долгим взглядом своих чудесных глаз.

– Вы видели мою игру?

– Да. Я был в Лондоне в прошлом месяце.

– Занятная пьеска, не правда ли?

– Только благодаря вам.

Когда к ним подошел официант со счетом, ей пришлось настоять на том, чтобы расплатиться за свой обед. Испанец проводил ее до купе и сказал, что пойдет по вагонам, может быть, ему удастся найти для нее спальное место. Через четверть часа он вернулся с проводником и сказал, что нашел купе, пусть она даст проводнику свои вещи, и он проводит ее туда. Джулия была в восторге. Испанец кинул шляпу на сиденье, с которого она встала, и она пошла следом за ним по проходу. Когда они добрались до купе, испанец велел проводнику отнести чемодан и сумку, лежавшие в сетке, в тот вагон, где была мадам.

– Неужели вы отдали мне собственное место? – вскричала Джулия.

– Единственное, которое я мог найти во всем составе.

– Нет, я и слышать об этом не хочу.

– Alles^[44], – сказал испанец проводнику.

– Нет, нет...

Незнакомец кивнул проводнику, и тот забрал вещи.

– Это не имеет значения. Я могу спать где угодно, но я бы и глаз не сомкнул от мысли, что такая великая актриса будет вынуждена провести ночь с тремя чужими людьми.

Джулия продолжала протестовать, но не слишком рьяно. Это так мило, так любезно с его стороны! Она не знает, как его и благодарить. Испанец не позволил ей даже отдать разницу за билет. Он умолял ее, чуть не со слезами на глазах, оказать ему честь, приняв от него этот пустяковый подарок. У нее был с собой только дорожный несессер с кремами для лица, ночной сорочкой и принадлежностями для вечернего туалета, и испанец положил его на столик. Его единственная просьба – разрешить у нее посидеть, пока ей не захочется лечь, и выкурить одну-две сигареты. Джулии трудно было ему отказать. Постель уже была приготовлена, и они сели поверх одеяла. Через несколько минут появился проводник с бутылкой шампанского и двумя бокалами. Недурное приключение! Джулия искренне наслаждалась. Удивительно любезно с его стороны. Да, эти иностранцы знают, как надо вести себя с большой актрисой! С Сарой Бернар такие вещи, верно, случались каждый день. А Сиддонс! Когда она входила в гостиную, все вставали, словно вошла сама королева.

Испанец отпустил ей комплимент по поводу того, как прекрасно она

говорит по-французски. Родилась на острове Джерси, а образование получила во Франции? Тогда понятно. Но почему она решила играть на английской сцене, а не на французской? Она завоевала бы не меньшую славу, чем Дузе. Она и в самом деле напоминает ему Дузе: те же великолепные глаза и белая кожа, та же эмоциональность и потрясающая естественность в игре.

Когда они наполовину опорожнили бутылку с шампанским, Джулия сказала, что уже очень поздно.

– Право, я думаю, мне пора ложиться.

– Ухожу.

Он встал и поцеловал ей руку. Когда он вышел, Джулия заперла дверь в купе и разделась. Погасив все лампы, кроме той, что была у нее над головой, она принялась читать. Через несколько минут раздался стук в дверь.

– Да?

– Мне страшно неловко вас беспокоить. Я оставил в туалете зубную щетку. Можно мне войти?

– Я уже легла.

– Я не могу спать, пока не вычищу зубы.

«А он по крайней мере чистоплотен».

Пожав плечами, Джулия протянула руку к двери и открыла задвижку. При создавшихся обстоятельствах просто глупо изображать из себя слишком большую скромницу. Испанец вошел в купе, заглянул в туалет и через секунду вышел, размахивая зубной щеткой. Джулия заметила ее, когда сама чистила зубы, но решила, что ее оставил человек из соседнего купе. В те времена на два купе был один туалет. Джулия перехватила взгляд испанца, брошенный на бутылку с шампанским.

– Меня ужасно мучит жажда, вы не возражаете, если я выпью бокал?

На какую-то долю секунды Джулия задержалась с ответом. Шампанское было его, купе – тоже. Что ж, назвался груздем – полезай в кузов.

– Конечно, нет.

Он налил себе шампанского, закурил сигарету и присел на край постели. Она чуть посторонилась, чтобы ему было свободнее. Он держался абсолютно естественно.

– Вы не смогли бы заснуть в том купе, – сказал он, – один из попутчиков ужасно сопит. Уж лучше бы храпел. Тогда можно было бы его разбудить.

– Мне очень неловко.

– О, не важно. На худой конец свернусь калачиком в проходе у вашей двери.

«Не ожидает же он, что я приглашу его спать здесь, со мной, – сказала себе Джулия. – Уж не подстроил ли он все это специально? Ничего не выйдет, голубчик». Затем произнесла вслух:

– Очень романтично, конечно, но не очень удобно.

– Вы очаровательная женщина!

А все же хорошо, что у нее нарядная ночная сорочка и она еще не успела намазать лицо кремом. По правде говоря, она даже не потрудилась стереть косметику. Губы у нее были пунцовые, и она знала, что, освещенная лишь лампочкой для чтения за головой, она выглядит очень даже неплохо. Но ответила она иронически:

– Если вы решили, что я соглашусь с вами переспать за то, что уступили мне свое купе, вы ошибаетесь.

– Воля ваша. Но почему бы нет?

– Я не из тех «очаровательных» женщин, за которую вы меня приняли.

– А какая вы женщина?

– Верная жена и нежная мать.

Он вздохнул:

– Ну что ж, тогда спокойной ночи.

Он раздавил в пепельнице окурок и поднес к губам ее руку. Поцеловал ладонь. Медленно провел губами от запястья до плеча. Джулию охватило странное чувство. Борода слегка щекотала ей кожу. Затем он наклонился и поцеловал ее в губы. От его бороды исходил какой-то своеобразный душный запах. Джулия не могла понять, противен он ей или приятен. Удивительно, если подумать, ее еще ни разу в жизни не целовал бородатый мужчина. В этом есть что-то не совсем пристойное. Щелкнул выключатель, свет погас.

Он ушел лишь тогда, когда узкая полоска между неплотно закрытыми занавесками возвестила, что настало утро. Джулия была совершенно разбита, морально и физически.

«Я буду выглядеть форменной развалиной, когда приеду в Канн».

И так рисковать! Он мог ее убить или украсть ее жемчужное ожерелье. Джулию бросало то в жар, то в холод от мысли, какой опасности она подвергалась. И он тоже едет в Канн. А вдруг он станет претендовать там на ее знакомство! Как она объяснит, кто он, своим друзьям? Она была уверена, что Долли он не понравится. Еще попробует ее шантажировать... А что ей делать, если ему вздумается повторить сегодняшний опыт? Он страстен, в этом сомневаться не приходится. Он спросил, где она

остановится, и, хотя она не сказала ему, выяснить это при желании не составит труда. В таком месте, как Канн, вряд ли удастся избежать встречи. Вдруг он окажется назойлив? Если он так влюблен в нее, как говорит, он от нее не отвяжется, это ясно. И с этими иностранцами ничего нельзя сказать заранее, еще станет устраивать ей публичные сцены. Утешало ее одно: он сказал, что едет только на Пасху; она притворится, будто очень устала и хочет первое время спокойно побыть на вилле.

«Как я могла так сглупить!»

Долли, конечно, приедет ее встречать, и, если испанец будет настолько бестактен и подойдет к ней попрощаться, она скажет Долли, что он уступил ей свое купе. В этом нет ничего такого. Всегда лучше придерживаться правды... насколько это возможно. Но в Канне на платформе была куча народу, и Джулия вышла со станции и села в машину Долли, даже не увидев испанца.

– Я никого не приглашала на сегодня, – сказала Долли. – Я думала, вы устали, и хотела побыть наедине с вами хотя бы один день.

Джулия нежно стиснула ей плечо.

– Чудеснее и быть не может. Будем сидеть на вилле, мазать лицо кремами и сплетничать сколько душе угодно.

Но на следующий день они были приглашены к ленчу, а до этого должны были встретиться с пригласившими их в баре на рю Круазет и выпить вместе коктейли. Когда они вышли из машины, Долли задержалась, чтобы дать шоферу указания, куда за ними заехать, и Джулия поджидала ее. Вдруг сердце подскочило у нее в груди: прямо к ним направлялся вчерашний испанец; с одной стороны, держа его под руку, шла молодая женщина, с другой он вел девочку. Отворачиваться было поздно. Долли присоединилась к ней, надо было перейти на другую сторону улицы. Испанец подошел вплотную, кинул на нее безразличный взгляд и, оживленно беседуя со своей спутницей, проследовал дальше. Джулия поняла, что он так же мало жаждет видеть ее, как она – его. Женщина и девочка были, очевидно, его жена и дочь, с которыми он хотел провести в Канне Пасху. Какое облегчение! Теперь она может безбоязненно наслаждаться жизнью. Но, идя за Долли к бару, Джулия подумала, какие все же скоты эти мужчины! С них просто нельзя спускать глаз. Стыд и срам, имея такую очаровательную жену и прелестную дочурку, заводить в поезде случайное знакомство! Должно же у них быть хоть какое-то чувство пристойности!

Однако с течением времени негодование Джулии поостыло, и она даже с удовольствием думала об этом приключении. В конце концов они неплохо

позабавились. Иногда она позволяла себе предаваться мечтам и перебирать в памяти все подробности этой единственной в своем роде ночи. Любовник он был великолепный, ничего не скажешь. Будет о чем вспомнить, когда она постареет. Все дело в бороде – она так странно щекотала ей лицо – и в этом душном запахе, который отталкивал и одновременно привлекал ее. Еще несколько лет Джулия высматривала мужчин с бородами; у нее было чувство, что если бы один из них приволокнулся за ней, она была бы просто не в силах ему отказать. Но бороды вышли из моды, и слава богу, потому что при виде бородатого мужчины у Джулии подгибались колени; к тому же ни один из бородачей, которых она все же изредка встречала, не делал ей никаких авансов. Интересно все же, кто он, этот испанец. Джулия видела его через несколько дней после приезда в казино – он играл в chemin de fer^[45] – и спросила о нем двух-трех знакомых. Но никто из них не был с ним знаком, и он так и остался в ее памяти и в ее крови безымянным. Забавное совпадение – как зовут юношу, столь удивившего ее сегодня днем, Джулия тоже не знала.

«Если бы я представляла, что они намерены позволить себе со мной вольности, я бы по крайней мере заранее попросила у них визитные карточки».

С этой мыслью она благополучно уснула.

Глава тринадцатая

Прошло несколько дней, и однажды утром, когда Джулия лежала в постели и читала новую пьесу, ей позвонили по внутреннему телефону из цокольного этажа и спросили, не поговорит ли она с мистером Феннелом. Имя ей было незнакомо, и она уже было сказала «нет», как ей пришло в голову, не тот ли это юноша из ее приключения. Любопытство побудило ее сказать, чтобы их соединили. Джулия сразу узнала его голос.

– Ты обещала позвонить, – сказал он. – Мне надоело ждать, и я звоню сам.

- Я была ужасно занята все это время.
- Когда я тебя увижу?
- Когда у меня будет свободная минутка.
- Как насчет сегодня?
- У меня дневной спектакль.
- Приходи после него выпить чаю.

Она улыбнулась. («Нет, малыш, второй раз ты меня на ту же удочку не поймашь».)

– Не получится, – сказала она. – Я всегда остаюсь в театре, отдыхаю у себя в уборной до вечернего представления.

– А мне нельзя зайти в то время, как ты отдыхаешь?

Какую-то секунду она колебалась. Пожалуй, это будет лучше всего. При Эви, которая без конца входит в уборную, в ожидании мисс Филиппс ни о каких глупостях не может быть и речи. Удобный случай дружески – мальчик так мил! – но твердо сказать ему, что продолжения не будет. В нескольких удачно подобранных словах она объяснит ему, что это – безрассудство и он весьма ее обяжет, если вычеркнет из памяти весь этот эпизод.

– Хорошо. Приходи в полшестого, я угощу тебя чашкой чаю.

Три часа, которые она проводила у себя в уборной между дневным и вечерним спектаклями, были самым любимым временем в ее загруженном дне. Остальные члены труппы уходили из театра, оставались лишь Эви, готовая удовлетворить все ее желания, и швейцар, следивший, чтобы никто не нарушил ее покоя. Уборная казалась Джулии каютой корабля. Весь остальной мир оставался где-то далеко-далеко, и Джулия наслаждалась своим уединением. Она словно попадала в магический круг, который делал ее еще свободнее. Она дремала, читала или, улегшись на мягкий удобный

диван, позволяла мыслям блуждать без определенной цели. Думала о роли, которую ей предстояло играть, и о своих прошлых ролях. Думала о своем сыне Роджере. Приятные полумечты-полувоспоминания неторопливо проходили у нее в уме, как влюбленные в зеленом лесу. Джулия любила французскую поэзию и иногда читала вслух Верлена. Ровно в половине шестого Эви подала ей карточку. «Мистер Томас Феннел», – прочитала она.

– Проводи его сюда и принеси чай.

Джулия еще утром решила, как она будет с ним держаться. Любезно, но сухо. Проявит дружеский интерес к его работе, спросит насчет экзамена. Затем расскажет о Роджере. Роджеру было семнадцать, через год он поступит в Кембридж. Она постарается исподволь внушить юноше, что по своему возрасту годится ему в матери. Она будет вести себя так, словно между ними никогда ничего не было, и он уйдет, чтобы никогда больше ее не видеть, иначе как при свете ramпы, почти поверив, что все это было плодом его фантазии. Но когда Джулия взглянула на него, такого хрупкого, с чахоточным румянцем и голубыми глазами, такого юного и прелестного, сердце ее пронзила внезапная боль. Эви вышла и закрыла дверь. Джулия лежала на диване; она протянула ему руку с милостивой улыбкой мадам Рекамье^[46], но он кинулся рядом с ней на колени и страстно приник к ее губам. Джулия ничего не могла с собой поделать, она обвила его шею руками и так же страстно вернула ему поцелуй.

(«Господи, где мои благие намерения? Неужели я в него влюбилась?»)

– Сядь, ради бога. Эви сейчас принесет чай.

– Скажи, чтобы она нам не мешала.

– Что ты имеешь в виду?

Но что он имел в виду, было более чем очевидно. Сердце ее учащенно забилося.

– Это смешно. Я не могу. Может зайти Майкл.

– Я тебя хочу.

– И что подумает Эви? Просто идиотизм так рисковать. Нет, нет, нет.

В дверь постучали, вошла Эви с чаем. Джулия велела ей придвинуть столик к дивану и поставить кресло для молодого человека с другой стороны. Она задерживала Эви ненужным разговором и чувствовала на себе его взгляд. Его глаза быстро следовали за ее жестами, следили за выражением ее лица, она избегала их, но все равно ощущала нетерпение, горящее в них, и пыл его желания. Джулия была взволнована. Ей казалось, что голос ее звучит неестественно. («Какого черта! Что это со мной? Я еле дышу!»)

Когда Эви подошла к дверям, юноша сделал движение, которое было

так безотчетно, что Джулия уловила его не столько зрением, сколько чувствами, и, не удержавшись, взглянула на него. Его лицо совсем побелело.

– О, Эви, – сказала Джулия, – этот джентльмен хочет поговорить со мной о пьесе. Последи, чтобы нам не мешали. Я позвоню, когда ты мне понадобишься.

– Хорошо, мисс.

Эви вышла и закрыла за собой дверь.

(«Я просто дура. Последняя дура».)

Но он уже отодвинул столик и стоял возле нее на коленях, она уже была в его объятиях.

...Джулия отослала его незадолго до прихода мисс Филиппс и, когда он ушел, позвонила Эви.

– Хорошая пьеса? – спросила Эви.

– Какая пьеса?

– О которой он говорил с вами.

– Он неглуп. Конечно, еще очень молод...

Эви смотрела на туалетный столик. Джулия любила, чтобы ее вещи всегда были на своем месте, и если вдруг не находила баночки с кремом или краски для ресниц, устраивала скандал.

– Где ваш гребень?

Он причесывался ее гребнем и нечаянно положил его на чайный столик. Увидев его там, Эви с минуту задумчиво на него глядела.

– Как, ради всего святого, он сюда попал? – беззаботно вскричала Джулия.

– Вот и я об этом думаю.

У Джулии душа ушла в пятки. Конечно, заниматься такими вещами в театре, в своей уборной, просто безумие. Да тут даже нет ключа в двери. Эви держит его у себя. А все же риск придает всему этому особую пикантность. Приятно было думать, что она способна до такой степени потерять голову. Так или иначе, теперь они назначили свидание. Том – она спросила, как его зовут дома, и он сказал «Томас», но у нее не поворачивался язык так его называть, – Том хотел пригласить ее куда-нибудь на ужин, чтобы они могли потанцевать, а Майкл уезжал на днях в Кембридж на репетицию нескольких одноактных пьес, написанных студентами, так что у них будет куча времени.

– Ты сможешь вернуться рано утром, когда станут развозить молоко.

– А как насчет спектакля на следующий день?

– Какое это имеет значение?

Джулия не разрешила ему зайти за ней в театр, и когда она вошла в выбранный ими ресторан, Том ждал ее в холле. При виде Джулии лицо его засветилось.

– Уже так поздно. Я испугался, что ты совсем не придешь.

– Мне очень жаль. Ко мне зашли после спектакля разные скучные люди, и я никак не могла отделаться от них.

Это была неправда. Весь вечер Джулия волновалась, как девушка, идущая на первый бал. Она тысячу раз повторяла себе, что это просто нелепо. Но когда она сняла сценический грим и снова накрутила волосы, чтобы идти на ужин, результаты не удовлетворили ее. Она наложила голубые тени на веки и снова их стерла, накрутила щеки и вымыла их, затем попробовала другой оттенок.

– Что это вы такое делаете? – спросила Эви.

– Пытаюсь выглядеть на двадцать, дурочка.

– Ну, коли вы сейчас не перестанете, будете выглядеть на все свои сорок шесть.

Джулия еще не видела Тома в смокинге. Мальчик сиял, как медная пуговица. Среднего роста, он выглядел высоким из-за своей худобы. Джулию тронуло, что, хотя ему хотелось казаться человеком бывалым и светским, когда дошло до заказа, он оробел перед официантом. Они пошли танцевать. Танцевал он неважно, но и в неловкости его ей чудилось своеобразное очарование. Джулию узнавали, и она чувствовала, что он купается в отраженных лучах ее славы. Молодая пара, закончив танец, подошла к их столику поздороваться. Когда они отошли, Том спросил:

– Это не леди и лорд Деннорант?

– Да, я знаю Джорджа еще с тех пор, как он учился в Итоне.

Он следил за ними взглядом.

– Ее девичье имя – леди Сесили Лоустон, да?

– Не помню. Разве?

Для нее это не представляло интереса. Через несколько минут мимо них прошла другая пара.

– Посмотри, леди Лепар.

– Кто это?

– Разве ты не помнишь, у них был большой прием в их загородном доме в Чешире несколько недель назад; присутствовал сам принц Уэльский. Об этом еще писали в «Наблюдателе».

А-а, вот откуда он черпает все свои сведения! Бедный крошка! Он читал об этих титулованных господах в газетах и изредка, в ресторане или театре, видел их во плоти. Конечно, он трепетал от восторга. Романтика.

Если бы он только знал, какие они все зануды. Это невинное увлечение людьми, чьи фотографии помещают в иллюстрированных газетах, делало его невероятно простодушным в ее глазах, и она нежно посмотрела на него через стол.

– Ты приглашал когда-нибудь актрису в ресторан?

Он пунцово покраснел:

– Никогда.

Джулии было очень неприятно, что он платит по счету, она подозревала, что сумма равняется его недельному заработку, но не хотела ранить его гордость, предложив заплатить самой. Она спросила мимоходом, который час, и он привычно взглянул на запястье.

– Ой, я забыл надеть часы.

Она испытующе посмотрела на него:

– А ты, случайно, не заложил их?

Он снова покраснел:

– Нет. Я очень спешил, когда одевался.

Достаточно было взглянуть на его галстук, чтобы увидеть, что это не так. Он ей лгал. Он отнес в заклад часы, чтобы пригласить ее на ужин. В горле у Джулии застрял комок. Она была готова, не сходя с места, сжать Тома в объятиях и целовать его голубые глаза. Она обожала его.

– Давай уйдем, – сказала Джулия.

Они взяли такси и отправились в его квартирку на Тэвисток-сквер.

Глава четырнадцатая

На следующий день Джулия пошла к Картье и купила часы, чтобы послать их Тому вместо тех, которые он заложил, а две или три недели спустя, узнав, что у него день рождения, купила ему золотой портсигар.

– Ты знаешь, это вещь, о которой я мечтал всю свою жизнь.

Джулии показалось, что у него в глазах слезы. Он страстно ее поцеловал.

Затем, то под одним предлогом, то под другим, Джулия подарила ему булавку для галстука, жемчужные запонки и пуговицы для жилета. Ей доставляло острую радость делать ему подарки.

– Так ужасно, что я ничего не могу тебе подарить, – сказал он.

– Подари мне часы, которые ты заложил, чтобы пригласить меня на ужин, – попросила она.

Это были небольшие золотые часы, не дороже десяти фунтов, но ей нравилось иногда их надевать.

После ночи, которую они провели вместе вслед за ужином в ресторане, Джулия наконец призналась себе, что влюблена. Это открытие ее потрясло. И все равно она была на седьмом небе от счастья.

«А ведь я думала, что уже никогда не влюблюсь. Конечно, долго это не протянется. Но почему бы мне не порадоваться, пока можно?»

Джулия решила, что постарается снова пригласить его на Стэнхоуп-плейс. Вскоре ей представилась такая возможность.

– Ты помнишь этого своего молодого бухгалтера? – сказала она Майклу. – Его зовут Том Феннел. Я встретила его на днях на званом ужине и предложила прийти к нам в следующее воскресенье. Нам не хватает одного мужчины.

– Ты думаешь, он подойдет?

У них ожидался грандиозный прием. Потому она и позвала Тома. Ему доставит удовольствие познакомиться с людьми, которых он знал только по фотографиям в газетах. Джулия уже увидела, что он немного сноб. Что ж, тем лучше, все фешенебельное общество будет к его услугам. Джулия была проницательная, она прекрасно понимала, что Том не влюблен в нее. Роман с ней льстил его тщеславию. Он был чрезвычайно пылок и наслаждался любовной игрой. Из отдельных намеков, из рассказов, которые она постепенно вытягивала из него, Джулия узнала, что с семнадцати лет у него уже было очень много женщин. Главным для него был сам акт, с кем –

не имело особого значения. Он считал это самым большим удовольствием на свете. И Джулия понимала, почему он пользуется таким успехом. Была своя привлекательность в его худобе – буквально кожа да кости, вот почему на нем так хорошо сидит костюм, – свое очарование в его чистоте и свежести. Он казался таким трогательным. А его застенчивость в сочетании с бесстыдством была просто неотразима. Как ни странно, женщинам льстит, когда на них смотрят с одной мыслью – повалить поскорей на кровать.

«Да, секс эпил – вот чем он берет».

Джулия понимала, что своей миловидностью он обязан лишь молодости. С возрастом он высохнет, станет костлявым, изможденным и морщинистым; его прелестный румянец сделается багровым, нежная кожа – дряблой и пожелтелой, но чувство, что его прелесть так недолговечна, лишь усиливало нежность Джулии. Том вызывал в ней непонятное сострадание. Он всегда, как это свойственно юности, был в приподнятом настроении, и Джулия впитывала его веселость с такой же жадностью, как котенок лакает молоко. Но развлекать он не умел. Когда Джулия рассказывала что-нибудь забавное, он смеялся, но сам ничего забавного рассказать не мог. Ее не смущало то, что он скучноват. Напротив, действовало успокаивающе на нервы. У нее еще никогда не было так легко на сердце, как в его обществе, а блеска и остроумия у нее с избытком хватало на двоих.

Все окружающие продолжали твердить Джулии, что она выглядит на десять лет моложе и никогда еще она не играла так хорошо. Джулия знала, что это правда, и знала – почему. Но ей следует быть осмотрительной. Нельзя терять головы. Чарлз Тэмерли всегда говорил, что актрисе не так нужен ум, как благоразумие, наверное, он прав. Быть может, она и неумна, но чувства ее начеку, и она доверяет им. Чувства подсказывали Джулии, что она не должна признаваться Тому в своей любви. Она постаралась дать ему понять, что не имеет никаких притязаний, он сам себе хозяин. Она держалась так, словно все происходящее между ними – пустяк, которому ни он, ни она не придают особого значения. Но она делала все, чтобы привязать его к себе. Том любил приемы, и Джулия брала его с собой на приемы. Она заставила Долли и Чарлза Тэмерли звать его к ленчу. Том любил танцевать, и Джулия доставала ему приглашения на балы. Ради него она тоже шла туда на часок и видела, какое ему доставляет удовольствие то, что она пользуется таким огромным успехом. Джулия знала, что у него кружится голова в присутствии важных персон, – и знакомила его со всякими именитыми людьми. К счастью, Майклу он очень нравился. Майкл

любил поговорить, а Том был прекрасным слушателем. Он превосходно знал свое дело. Однажды Майкл сказал ей:

– Толковый парень Том. Съел собаку на подоходном налоге. Научил меня, как сэкономить две-три сотни фунтов с годового дохода, когда буду платить налог в следующий раз.

Майкл, посещавший в поисках новых талантов чужие театры в самом Лондоне или пригородах, часто брал Тома по вечерам с собой; после спектакля они заезжали за Джулией и ужинали втроем. Время от времени Майкл звал Тома в воскресенье на партию гольфа и, если они не были никуда приглашены, привозил к ним обедать.

– Приятно, когда в доме молодежь, – говорил он, – не дает самому тебе заржаветь.

Том всячески старался быть полезным. Играл с Майклом в триктрак, раскладывал с Джулией пасьянсы, и, когда они заводили граммофон, был тут как тут, чтобы менять пластинки.

– Он будет хорошим товарищем Роджеру, – сказал Майкл. – У Тома есть голова на плечах, к тому же он старше Роджера. Окажет на него хорошее влияние. Почему бы тебе не пригласить его пожить у нас во время отпуска?

(«К счастью, я хорошая актриса».)

Но Джулии понадобилось значительное усилие, чтобы голос звучал не слишком радостно, а лицо не выдавало восторга, от которого неистово билось сердце.

– Неплохая идея, – ответила она. – Я приглашу его, если хочешь.

Театр не закрывался до конца августа, и Майкл снял дом в Тэплоу, чтобы они могли провести там самые жаркие дни лета. Джулия ездила в город на спектакли, Майкл – когда его призывали дела, но будни до вечера, а воскресенье целый день они оставались за городом. Тому полагалось две недели отпуска, и он с готовностью принял их приглашение.

Как-то раз Джулия заметила, что Том непривычно молчалив. Он казался бледен, всегдашняя жизнерадостность покинула его. Она поняла, что у него что-то случилось, но он не пожелал говорить ей, в чем дело, сказал только, что у него неприятности. Наконец Джулия вынудила его признаться, что он влез в долги и кредиторы настойчиво требуют, чтобы он расплатился. Жизнь, в которую Джулия втянула Тома, была ему не по карману; стыдясь своего дешевого костюма на великосветских приемах, куда она его брала, он заказал себе новые у дорогого портного. Он поставил деньги на лошадь в надежде выиграть и рассчитаться с долгами, а лошадь пришла последней. Для Джулии его долг – сто двадцать пять фунтов – был

чепуховой суммой, и ей казалось нелепым, чтобы такой пустяк мог кого-нибудь расстроить. Она тут же сказала, что даст ему эти деньги.

– Нет, я не могу. Я не могу брать деньги у женщины.

Том покраснел до корней волос; ему стало стыдно от одной только мысли. Джулия приложила все свое искусство, применила все уловки, чтобы уговорить его. Она приводила ему разумные доводы, притворялась, будто обижена, даже пустила в ход слезы, и наконец Том согласился, так и быть, взять у нее эти деньги взаймы. На следующий день Джулия послала ему в письме два банковских билета по сто фунтов. Том позвонил и сказал, что она прислала гораздо больше, чем нужно.

– О, я знаю, люди никогда не признаются, сколько они задолжали, – сказала она со смехом. – Я уверена, что ты должен больше, чем мне сказал.

– Честное слово, нет. Я бы не стал тебе лгать ни за что на свете.

– Тогда держи остаток у себя, на всякий случай. Мне неприятно, что тебе приходится расплачиваться в ресторане. И за такси, и за прочее.

– О нет, право, не могу. Это так унижительно.

– Какая ерунда! Ты же знаешь, у меня столько денег, что мне девать их некуда. Неужели тебе трудно доставить мне удовольствие и позволить вызволить тебя из беды?

– Это ужасно мило с твоей стороны. Ты не представляешь, как ты меня выручила. Не знаю, как тебя и благодарить.

Однако голос у него был встревоженный. Бедный ягненок, не может выйти из плена условностей. Но Джулия говорила правду, она еще никогда не испытывала такого наслаждения, как сейчас, давая ему деньги; это вызывало в ней неожиданный взрыв чувств. И у нее был в уме еще один проект, который она надеялась привести в исполнение за те две недели, что Том проведет у них в Тэплоу. Прошло то время, когда убогость его комнаты на Тэвисток-сквер казалась ей очаровательной, а скромная меблировка умиляла. Раз или два Джулия встречала на лестнице людей, и ей показалось, что они как-то странно на нее смотрят. К Тому приходила убирать и готовить завтрак грязная, неряшливая поденщица, и у Джулии было чувство, что та догадывается об их отношениях и шпионит за ней. Однажды, когда Джулия была у Тома, кто-то повернул ручку двери, а когда она вышла, поденщица протирала перила лестницы и бросила на Джулию хмурый взгляд. Джулии был противен затхлый запах прокисшей пищи, стоявший на лестнице, и ее острый глаз скоро увидел, что комната Тома отнюдь не блещет чистотой. Выцветшие пыльные занавеси, вытертый ковер, дешевая мебель – все это внушало ей отвращение. Случилось так, что Майкл, все время выискивающий способ выгодно вложить деньги,

купил несколько гаражей неподалеку от Стэнхоуп-плейс – раньше там были конюшни. Он решил, что, сдавая часть из них, он окупит те, которые были нужны им самим. Над гаражами был ряд комнат. Майкл сделал из них две квартирki, одну – для их шофера, другую – для сдачи внаем. Она все еще стояла пустая, и Джулия предложила Тому ее снять. Это будет замечательно. Она сможет забегать к нему на часок, когда он будет возвращаться из конторы, иногда ей удастся заходить после спектакля, и никто ничего не узнает. Никто им не будет мешать. Они будут совершенно свободны. Джулия говорила Тому, как интересно будет обставлять комнаты; у них на Стэнхоуп-плейс куча ненужных вещей, он просто обяжет ее, взяв их «на хранение». Чего не хватит, они купят с ним вместе. Тома очень соблазняла мысль иметь собственную квартиру, но о чем было мечтать – плата, пусть и невысокая, была ему не по средствам. Джулия об этом знала. Знала она и то, что, предложи она платить из своего кармана, он с негодованием откажется. Но ей казалось, что в течение праздных двух недель на берегу реки в их роскошном загородном доме она сумеет превозмочь его колебания. Она видела, как прельщает Тома ее предложение, и не сомневалась, что найдет какой-нибудь способ убедить его, что, согласившись, он на самом деле окажет ей услугу.

«Людам не нужен резон, чтобы сделать то, что они хотят, – рассуждала Джулия, – им нужно оправдание».

Джулия с волнением ждала Тома в Тэплоу. Как приятно будет гулять с ним утром у реки, а днем вместе сидеть в саду! Приедет Роджер, и Джулия твердо решила, что между нею и Томом не будет никаких глупостей, этого требует простое приличие. Но как божественно быть рядом с ним чуть не весь день! Когда у нее будут дневные спектакли, Том сможет развлекаться чем-нибудь с Роджером.

Однако все вышло совсем не так, как она ожидала. Джулии и в голову не могло прийти, что Роджер и Том так подружатся. Между ними было пять лет разницы, и Джулия полагала – хотя, по правде говоря, она вообще об этом не задумывалась, – что Том будет смотреть на Роджера как на ребенка, очень милого, конечно, но с которым обращаются соответственно его возрасту – он у всех на побегушках, и его можно отослать поиграть, когда он надоест. Роджеру только исполнилось семнадцать. Это был миловидный юноша с рыжеватыми волосами и синими глазами, но на этом и кончались его привлекательные черты. Он не унаследовал ни живости и выразительности лица матери, ни классической красоты отца. Джулия была несколько разочарована, он не оправдал ее надежд. В детстве, когда она постоянно фотографировалась с ним вместе, он был прелестен.

Теперь он сделался слишком флегматичным, и у него всегда был серьезный вид. Пожалуй, единственное, чем он мог теперь похвастать, это волосы и зубы. Джулия, само собой, очень любила его, но считала скучноватым. Когда она оставалась с ним вдвоем, время тянулось необыкновенно долго. Джулия проявляла живой интерес к вещам, которые, по ее мнению, должны были его занимать – крикету и тому подобному, но у ее сына не находилось, что сказать по этому поводу. Джулия опасалась, что он не очень умен.

– Конечно, он еще мальчик, – оптимистически говорила она, – возможно, с возрастом он разовьется.

С того времени как Роджер пошел в подготовительную школу, Джулия мало его видела. Во время каникул она все вечера бывала занята в театре, и он уходил куда-нибудь с отцом или друзьями, по воскресеньям они с Майклом играли в гольф. Случалось, если Джулию приглашали к ленчу, она не виделась с ним несколько дней подряд, не считая двух-трех минут утром, когда он заходил к ней в комнату пожелать доброго утра. Жаль, что он не мог навсегда остаться прелестным маленьким мальчиком, который тихо, не мешая, играл в ее комнате и, обвив мать ручонкой за шею, улыбался на фотографиях прямо в объектив. Время от времени Джулия ездила повидать его в Итон и пила с ним чай. Ей польстило, когда она увидела в его комнате несколько своих фотографий. Она прекрасно сознавала, что ее приезд в Итон вызывал всеобщее волнение, и мистер Брэкенбридж, старший надзиратель того пансиона, где жил Роджер, считал своим долгом быть с нею чрезвычайно любезным. Когда кончилось полугодие, Джулия и Майкл уже переехали в Тэплоу, и Роджер явился прямо туда. Джулия пылко расцеловала его. Роджер не проявил восторга оттого, что он наконец дома, как она ожидала. Держался он довольно небрежно. Казалось, он вдруг повзрослел не по летам.

Роджер сразу же объявил Джулии, что желает покинуть Итон на Рождество. Он получил там все, что мог, и теперь намерен поехать в Вену на несколько месяцев поучить немецкий, перед тем как поступить в Кембридж. Майкл хотел, чтобы он стал военным, но против этого Роджер решительно воспротивился. Он еще не решил, кем быть. И Майкла и Джулию чуть не с самого рождения сына мучил страх, что вдруг он вздумает пойти на сцену, но, по-видимому, Роджер не имел ни малейшей склонности к театру.

– Так или иначе, толку бы из него все равно не вышло, – сказала Джулия.

Роджер жил в Тэплоу сам по себе. С утра уходил на реку, валялся с

книгой в саду. На день рождения Джулия подарила ему быстроходный дорожный велосипед, и теперь он разъезжал на нем по проселочным дорогам с головокружительной скоростью.

– Одно утешение, – говорила Джулия, – что с ним никаких хлопот. Он вполне способен сам себя занять.

По воскресеньям из города к ним наезжала куча людей – актеры, актрисы, какой-нибудь случайный писатель и кое-кто из их более именитых друзей. Джулию это развлекало, и она знала, что люди любят ездить к ним в гости. В первое воскресенье после приезда Роджера к ним нахлынула целая толпа. Роджер был очень вежлив с гостями. Выполнял обязанности сына хозяина дома, как настоящий светский человек. Но Джулии показалось, что внутренне он отчужден, словно играет роль, которой не может целиком отдаться. У нее было неуютное чувство, что он не принимает всех этих людей такими, какие они есть, но хладнокровно судит их со стороны. У Джулии создалось впечатление, что сын не смотрит на них всерьез.

Они договорились с Томом, что он приедет в следующую субботу, и Джулия привезла его в своей машине после спектакля. Стояла лунная ночь, и в такой час дороги были пусты. Это была волшебная поездка. Джулия хотела бы, чтобы она длилась вечно. Она прильнула к нему, время от времени он целовал ее в темноте.

– Ты счастлив? – спросила она.

– Абсолютно.

Майкл и Роджер уже легли, но в столовой их ждал ужин. Безмолвный дом вызывал в них ощущение, будто они забрались туда без разрешения хозяев. Словно они – два странника, которые проникли из ночного мрака в чужое жилище и нашли там приготовленную для них роскошную трапезу. Было в этом что-то от сказок «Тысячи и одной ночи». Джулия показала Тому его комнату рядом с комнатой Роджера и пошла спать. На следующее утро она проснулась поздно. Был прекрасный день. Джулия никого не пригласила из города, чтобы весь день провести вместе с Томом. Когда она оденется, они пойдут с ним на реку. Джулия позавтракала, приняла ванну. Надела легкое белое платье, которое подходило для прогулки и очень ей шло, и широкополую шляпу из красной соломы, бросающую теплый отсвет на лицо. Почти совсем не накрашилась. Джулия поглядела в зеркало и довольно улыбнулась. Она и правда выглядела очень хорошенькой и молодой. Беспечной походкой Джулия направилась в сад. На лужайке, спускавшейся к самой воде, она увидела Майкла в окружении воскресных газет. Он был один.

– Я думала, ты пошел поиграть в гольф.

– Нет, пошли мальчики. Я решил, им будет приятней, если я отпущу их одних. – Он улыбнулся своей дружелюбной улыбкой. – Они для меня чересчур активны. В восемь утра они уже купались и, как только проглотили завтрак, унеслись в машине Роджера играть в гольф.

– Я рада, что они подружились.

Джулия сказала это искренне. Она была немного разочарована, что не смогла погулять с Томом у реки, но ей очень хотелось, чтобы он понравился Роджеру, у нее было подозрение, что Роджер весьма разборчив в своих симпатиях и антипатиях. В конце концов Том пробудет у них еще целых две недели.

– Не скрою от тебя, рядом с ними я чувствую себя настоящим стариком, – заметил Майкл.

– Какая ерунда! Ты куда красивее, чем любой из них, и прекрасно это знаешь, мой любимый.

Майкл выдвинул подбородок и втянул живот.

Мальчики вернулись к самому ленчу.

– Простите за опоздание, – сказал Роджер. – Была чертова куча народу, приходилось ждать у каждой метки для мяча. Мы загнали шары в лунки, сделав равное число ударов.

Они были «чертовски» голодны, возбуждены и очень довольны собой.

– Как здорово, что сегодня нет гостей, – сказал Роджер. – Я боялся, что пожалует вся шайка-лейка и нам придется вести себя пай-мальчиками.

– Я решила, что не мешает отдохнуть, – сказала Джулия.

Роджер взглянул на нее:

– Тебе это не повредит, мамочка. У тебя очень утомленный вид.

(«Ну и глаз, черт побери. Нет, нельзя показывать, что меня это трогает. Слава богу, я умею играть».)

Она весело засмеялась:

– Я не спала всю ночь, ломала себе голову, как тебе избавиться от прыщей.

– Да, ужасная гадость. Том говорит, у него тоже были.

Джулия перевела глаза на Тома. В открытой на груди тенниске, с растрепанными волосами, уже немного подзагоревший, он казался невероятно юным. Не старше Роджера, по правде говоря.

– А у него облезает нос, – продолжал со смехом Роджер. – Вот будет пугало!

Джулия ощутила легкое беспокойство. Казалось, Том скинул несколько лет и стал ровесником Роджеру не только по годам. Они болтали чепуху

Уплетали за обе щеки и осушили по несколько кружек пива, и Майкл, который, как всегда, пил и ел очень умеренно, смотрел на них с улыбкой. Он радовался их юности и хорошему настроению. Он напоминал Джулии старого пса, который, чуть помахивая хвостом, лежит на солнце и наблюдает за возней двух щенят. Кофе пили на лужайке. Было так приятно сидеть в тени, любуясь рекой. Том выглядел очень стройным и грациозным в длинных белых брюках. Джулия никогда раньше не видела, что он курит трубку. Ее это почему-то умилило. Но Роджер стал подсмеиваться над ним.

– Ты почему куришь – потому что это тебе нравится или чтобы тебя считали взрослым?

– Заткнись, – сказал Том.

– Ты кончил кофе?

– Да.

– Тогда пошли на реку.

Том нерешительно взглянул на Джулию. Роджер это заметил.

– О, все в порядке, о моих почтенных родителях можешь не беспокоиться. У них есть воскресные газеты. Мама подарила мне недавно гоночный ялик.

(«Спокойно, спокойно... Держи себя в руках. Ну и дура я была, что подарила ему гоночный ялик!»)

– Хорошо, – сказала она со снисходительной улыбкой, – идите на реку, только не свалитесь в воду.

– Ничего не случится, если и свалимся. К чаю вернемся. Папа, теннисный корт размечен? Мы хотели поиграть после чая.

– Пожалуй, твой отец сможет кого-нибудь найти, сыграете два против двух.

– А, не беспокойтесь, одиночная игра еще интереснее, да и лучше разомнемся, – и, обращаясь к Тому: – Кто первый добежит до сарая для лодок?

Том вскочил на ноги и бросился бежать, Роджер – вдогонку. Майкл взял одну из газет и принялся искать очки.

– Они хорошо ладили, правда?

– По-видимому.

– Я боялся, Роджеру будет здесь скучно с нами. Хорошо, что теперь у него есть компания.

– Тебе не кажется, что Роджер ни с кем, кроме себя, не считается?

– Это ты насчет тенниса? Да мне, по правде говоря, все равно, играть или нет. Вполне естественно, что мальчикам хочется поиграть вдвоем. С их точки зрения, я старик и только испорчу им игру. В конце концов, главное –

чтобы им было хорошо.

Джулия почувствовала угрызения совести. Майкл был прозаичен, прижимист, самодоволен, но он необычайно добр и уж совсем не эгоист! Он не знает зависти. Ему доставляет удовольствие – если это только не стоит денег – делать других счастливыми. Майкл был для Джулии раскрытой книгой. Спору нет, все его мысли банальны; с другой стороны, ни одна из них не бывает постыдна. Ее выводило из себя, что при всех его достоинствах, вместо того чтобы вызывать в ней любовь, Майкл вызывал такую мучительную скуку.

– Насколько ты лучше меня, моя лапушка, – сказала она.

Майкл улыбнулся своей милой дружелюбной улыбкой и покачал головой:

– Нет, дорогая, у меня был замечательный профиль, но у тебя есть огромный талант.

Джулия засмеялась. Это даже забавно – разговаривать с человеком, который никогда не догадывается, о чем идет речь. Но что имеют в виду, когда говорят об актерском таланте?

Джулия часто спрашивала себя, что именно поставило ее на голову выше других современных актеров.

В первые годы ее карьеры у нее были недоброжелатели. Ее сравнивали – и не в ее пользу – с той или иной актрисой, пользовавшейся благосклонностью публики. Но уже давно никто не оспаривал у нее пальмы первенства. Конечно, известность ее была не так велика, как у кинозвезд. Джулия попыталась удачи в кино, но не имела успеха; ее лицо, такое подвижное и выразительное на сцене, на экране почему-то проигрывало, и после первой же пробы она, с одобрения Майкла, отвергала все предложения, которые получала время от времени. Играть в кино? Это ниже ее достоинства. Ее позиция сделала Джулии прекрасную рекламу. Джулия не завидовала кинозвездам: они появлялись и исчезали, она оставалась. Когда выпадал случай, она ходила смотреть игру других ведущих актрис Лондона. Джулия не скупилась на похвалы и хвалила от чистого сердца. Иногда чужая игра казалась ей настолько хорошей, что она искренне не понимала, почему люди поднимают такой шум вокруг нее, Джулии. Она прекрасно знала, какой высокой репутацией пользуется у публики, но сама была о себе достаточно скромного мнения. Джулию всегда удивляло, что люди восторгаются какой-нибудь ее интонацией или жестом, которые приходят к ней так естественно, что ей кажется просто невозможным сыграть иначе. Критики восхищались ее разносторонностью. Особенно хвалили способность Джулии войти в образ. Не то чтобы она

сознательно кого-нибудь наблюдала и копировала, просто когда она бралась за новую роль, на нее неизвестно откуда мощной волной набегали смутные воспоминания, и она обнаруживала, что знает о своей новой героине множество вещей, о которых раньше и не подозревала. У Джулии часто возникал в памяти кто-нибудь из знакомых или даже случайный человек, которого она видела на улице или на приеме. Она сочетала эти воспоминания с собственной индивидуальностью, и так создавался характер, основанный на реальной жизни, но обогащенный ее опытом, ее владением актерской техникой и личным обаянием. Люди думали, что она играет только те два-три часа, что находится на сцене; они не знали, что олицетворяемый ею персонаж подспудно жил в ней весь день: и когда она, казалось бы, увлеченно с кем-нибудь беседовала, и когда занималась каким-нибудь делом. Джулии часто казалось, что в ней сочетаются два лица: популярная актриса, всеобщая любимица, женщина, которая одевается лучше всех в Лондоне, но это – лишь иллюзия, и героиня, которую она изображает каждый вечер, и это – ее истинная субстанция.

«Будь я проклята, если я знаю, что такое актерский талант, – говорила она себе, – но зато я знаю другое: я бы отдала все, что имею, за восемнадцать лет».

Однако это была неправда. Если бы ей представилась возможность вернуться назад в юность, еще не известно, пожелала бы она это сделать. Скорее, нет. И не популярность, даже если хотите – слава, была ей дорога, не ее власть над зрителями, и не та искренняя любовь, которую они к ней питали, и уж, конечно, не деньги, которые принес ей талант; нет, ее опьяняло другое – та неведомая сила, которую она ощущала в себе, ее власть над материалом. Она могла получить роль, и даже не очень хорошую роль, с глупым текстом, и благодаря своим личным качествам, благодаря своему искусству, благодаря владению актерским ремеслом, на котором она собаку съела, вдохнуть в нее жизнь. Тут ей не было равных. Иногда Джулия чувствовала себя божеством.

«И к тому же, – засмеялась она, – Тома не было бы еще на свете».

В конце концов, только естественно, что ему нравится возиться с Роджером. Ведь они почти ровесники. Они принадлежат к одному поколению. Сегодня первый день его отпуска, пусть повеселятся, впереди еще целых две недели. Тому скоро надоест проводить время с семнадцатилетним мальчишкой. Роджер очень мил, но скучен – материнская любовь не ослепляет ее. Нужно следить за собой и ни в коем случае не показывать, что она сердится. Джулия с самого начала решила, что не будет предъявлять к Тому никаких требований; если он почувствует,

что чем-либо ей обязан, это может оказаться для нее роковым.

– Майкл, почему бы тебе не предложить вторую квартирку над гаражом Тому? Теперь, когда он сдал последний экзамен и получил звание бухгалтера-эксперта, ему просто неприлично жить в той его меблированной комнате.

– Неплохая мысль. Я у него спрошу.

– Сэкономишь на плате агенту по сдаче внаем. Поможем ему обставиться. У нас стоит без дела куча старой мебели. Пусть лучше Том ею пользуется, чем она будет просто гнить на чердаке.

Том и Роджер вернулись к чаю, проглотили кучу бутербродов и дотемна играли в теннис. После обеда они засели за домино. Джулия разыграла блестящую сцену – молодая мать с нежностью следит за сыном и его юным другом. Спать она легла рано. Вскоре мальчики тоже поднялись наверх. Их комнаты были расположены прямо над ее спальней. Она слышала, как Роджер зашел к Тому. Они принялись болтать; окна и у нее и у них были открыты, до нее доносились их оживленные голоса. О чем, ради всего святого, они могли столько говорить?! Она ни разу не видела ни одного из них таким разговорчивым. Через некоторое время раздался голос Майкла:

– А ну марш в постель, мальчики! Болтать будете завтра.

Они засмеялись.

– Хорошо, папочка! – закричал Роджер.

– Ну и болтуны вы!

Снова послышался голос Роджера:

– Спокойной ночи, старина.

И сердечный ответ Тома:

– Спокойной ночи, дружище.

«Идиоты!» – гневно вскричала про себя Джулия.

На следующее утро, в то время как она завтракала в постели, к ней зашел Майкл.

– Мальчики уехали в Хантерком играть в гольф. Они намерены сыграть два раунда и спросили, обязательно ли им возвращаться к ленчу. Я ответил, что нет.

– Не скажу, чтобы я была в восторге оттого, что Том смотрит на наш дом как на гостиницу, – заметила Джулия.

– Милая, они же мальчишки. Право, пусть развлекаются как хотят.

Значит, сегодня она вообще не увидит Тома – между пятью и шестью ей надо выезжать, если она хочет попасть в театр вовремя. Майклу хорошо, отчего ему не быть добрым... Джулия была обижена. Ей хотелось плакать.

Он, должно быть, совершенно к ней равнодушен – теперь она думала о Томе, – а она-то решила, что сегодня будет иначе, чем вчера. Она проснулась с твердым намерением быть терпимой и принимать вещи такими, каковы они есть, но ей и в голову не приходило, что ее ждет такое разочарование.

– Газеты уже принесли? – хмуро спросила Джулия.

В город она уехала разъяренная.

Следующий день был немногим лучше. Мальчики решили не играть в гольф, зато с утра до вечера сражались в теннис. Их неумная энергия страшно раздражала Джулию. В шортах, с голыми ногами, в спортивной рубашке Том казался не старше шестнадцати лет. Так как они купались по три-четыре раза в день, он не мог прилизывать волосы, и, стоило им высохнуть, они закручивались непослушными кольцами. От этого он казался еще моложе и, увы, еще прелестней. Сердце Джулии терзала мука. Ей казалось, что его манера вести себя странно изменилась: постоянно находясь в обществе Роджера, он потерял облик светского человека, который так следит за своей внешностью, так разборчив в том, что ему надеть, и снова стал неряшливым подростком. Ни намеком, ни взглядом он не выдавал, что он – ее любовник; он относился к ней так, как приличествует относиться к матери своего приятеля. Каждым замечанием, проказами, даже самой своей вежливостью он заставлял ее чувствовать, что она принадлежит к другому поколению. В его обращении к ней не было и следа рыцарственной галантности, которую молодой человек должен проявлять по отношению к обворожительной женщине; такую снисходительную доброжелательность скорее пристало выказывать незамужней старой тетушке.

Джулию возмущало, что Том послушно идет на поводу у мальчишки моложе себя. Это говорило о бесхарактерности. Но она не винила его; она винила Роджера. Его эгоизм вызывал в ней отвращение. Все это прекрасно – толковать, что он еще молод. Его безразличие ко всему, кроме собственного удовольствия, говорит о безудержном себялюбии. Он бестактен и невнимателен. Он ведет себя так, словно и дом, и прислуга, и мать, и отец существуют лишь для его удобства. У Джулии уже не раз сорвалось бы резкое слово, но она не осмеливалась при Томе читать Роджеру нотации. Незавидная роль. К тому же стоило побранить Роджера, у него сразу делался глубоко обиженный вид, глаза – как у раненого олененка, и вы чувствовали, что были жестоки и несправедливы к нему. Это доводило Джулию до исступления. Джулия и сама так умела, это выражение глаз Роджер унаследовал от нее, она тысячу раз пользовалась

им на сцене с соответствующим эффектом и знала, что оно ровно ничего не значит, но когда оно появлялось в глазах сына, это страшно расстраивало ее. Даже мысль об этом вызвала в ней нежность. Столь внезапная перемена чувств открыла Джулии правду: она ревновала Тома к Роджеру, безумно ревновала.

Это открытие ее потрясло; она не знала, смеяться ей или сгорать со стыда. Несколько минут она размышляла.

«Ну, я тебе обедню испорчу».

Уж теперь воскресенье пройдет совсем иначе, чем в прошлый раз. К счастью, Том – сноб. «Женщина привлекает к себе мужчин, играя на своем очаровании, и удерживает их возле себя, играя на их пороках», – пробормотала Джулия и подумала: интересно, сама она придумала этот афоризм или припомнила его из какой-нибудь пьесы.

Джулия позвонила кое-кому. Пригласила на конец недели Деннорантов, Чарлза Тэмерли – тот гостил в Хенли у сэра Мейхью Брейнстона, министра финансов. Он принял приглашение приехать и пообещал привезти сэра Мейхью с собой. Чтобы их развлечь – Джулия знала, что аристократы вовсе не интересуются друг другом, когда окунаются, как они воображают, в богему, – она позвала своего партнера по сцене Арчи Декстера и его хорошенькую жену, игравшую под своим девичьим именем – Грейс Хардуил. Джулия не сомневалась, что, если на горизонте появятся маркиза и маркиз, в обществе которых он сможет вращаться, и член кабинета, на которого ему захочется произвести впечатление, Том не пойдет кататься на ялике или играть в гольф. На таком приеме Роджер займет подобающее ему место школьника, на которого никто не обращает внимания, а Том увидит, какой она может быть блестящей, если пожелает. Предвкушая свое торжество, Джулия смогла стойко перенести оставшиеся дни. Она почти не видела Тома и Роджера, а когда у нее бывали утренние спектакли, не видела их совсем. Если они не играли в теннис или гольф, то носились по окрестностям в машине Роджера.

Джулия привезла Деннорантов после спектакля. Роджер лег спать, но Майкл и Том ждали их к ужину. Это был чудесный ужин. Слуги тоже уже легли, и они сами себя обслуживали. Джулия заметила, как Том старается, чтобы у Деннорантов было все, что им нужно, с какой готовностью он вскакивает, чтобы им услужить. Его вежливость казалась чуть ли не назойливой. Денноранты были скромной молодой парой, им и в голову не приходило, что их титул может иметь хоть какое-то значение, и Джордж Деннорант порядком смутился, когда Том забрал у него грязную тарелку и

протянул ему чистую для следующего блюда.

«Думаю, завтра Роджеру не с кем будет играть в гольф», – сказала себе Джулия.

Они просидели за разговорами до трех часов, и Джулия заметила, что, когда Том желал ей спокойной ночи, глаза его сияли, но от любви или шампанского – этого она не могла сказать. Он сжал ей руку.

– Чудесный вечер! – воскликнул он.

Было уже позднее утро, когда Джулия в платье из органди^[47] вышла в сад во всем блеске своей красоты. Роджер сидел в шезлонге с книгой в руках.

– Читаешь? – спросила Джулия, поднимая действительно прекрасные брови. – Почему вы не играете в гольф?

У Роджера был надутый вид.

– Том говорит, что слишком жарко.

– Да? – отозвалась она с очаровательной улыбкой. – А я испугалась, что ты счел своим долгом остаться, чтобы занять моих гостей. Будет куча народу, мы вполне сможем без тебя обойтись. Где все остальные?

– Не знаю. Том ухлестывает за Сесили Деннорант.

– Она очень хорошенькая.

– Похоже, сегодня будет жуткая скука.

– Надеюсь, Том этого не скажет, – проговорила Джулия с таким видом, словно это ее сильно беспокоит.

Роджер ничего не ответил.

День прошел в точности так, как ожидала Джулия. Правда, она мало видела Тома, но Роджер видел его еще меньше. Том очень понравился Деннорантам; он объяснил им, каким образом избежать огромного подоходного налога, который им приходилось платить. Он почтительно слушал министра финансов, в то время как тот рассуждал о театре, и Арчи Декстера, когда тот излагал свои взгляды на политическую ситуацию. Джулия еще никогда не была в таком ударе. Арчи Декстер обладал живым умом, неисчерпаемым запасом театральных историй и удивительным даром их рассказывать, и во время ленча они с Джулией на пару заставили весь стол хохотать, а после чая, когда игроки в теннис устали, Джулию уговорили (нельзя сказать, чтобы она сильно сопротивлялась) доставить всем удовольствие своей пародией на Глэдис Купер, Констанс Колье и Герти Лоренс. Однако Джулия не забыла, что Чарлз Тэмерли – ее преданный и бескорыстный воздыхатель, и улучила минутку в сумерки, чтобы погулять с ним вдвоем. С Чарлзом она не старалась быть ни веселой, ни остроумной, с ним она была мечтательна и нежна. На сердце у Джулии

было тоскливо, несмотря на блестящий спектакль, который она играла весь день; когда вздохами, печальными взглядами и недомолвками она дала Чарлзу понять, что жизнь ее пуста и, несмотря на свою успешную карьеру, она не может не чувствовать, что упустила нечто очень важное, она была почти искренна. Как часто она вспоминает о вилле в Сорренто, на берегу Неаполитанского залива... Прекрасная мечта. Возможно, там ее ждало настоящее счастье, стоило лишь руку протянуть. Она сделала глупость. Что все ее сценические триумфы? Иллюзия. Pagliacci^[48]. Люди не понимают, насколько это верно. Vesti lagiubba^[49] и прочее. Она так одинока. Естественно, не было необходимости говорить Чарлзу, что сердце ее тоскует не из-за утерянных возможностей, а из-за того, что некий молодой человек предпочитает играть в гольф с ее сыном, а не заниматься любовью с ней.

А потом Джулия и Арчи Декстер сговорились и после обеда, когда все собрались в гостиной, без предупреждения, начав с нескольких ничего не значащих слов, устроили друг другу ужасную сцену ревности, словно были любовниками. В первый момент остальные не догадались, что это шутка, но вскоре их взаимные обвинения стали столь чудовищны и непристойны, что потонули во всеобщем хохоте. Затем они разыграли экспромтом, как подвыпивший джентльмен подбирает уличную девку-француженку на Джермин-стрит. После этого с невозмутимой серьезностью изобразили, как миссис Элвинг из «Привидений» пытается соблазнить пастора Мэндерса. Их небольшая аудитория покатывалась со смеху. Закончили они номером, который часто показывали на театральных приемах и отшлифовали его до блеска. Это был кусок из чеховской пьесы; весь текст шел по-английски, но в особо патетических местах они переходили на тарабарщину, звучащую совсем как русский язык. Джулия призвала на помощь весь свой трагедийный талант, но произносила реплики с таким шутовским пафосом, что это производило неотразимо комический эффект. Джулия вложила в исполнение искреннюю душевную муку, но с присущим ей живым чувством юмора сама же над ней подсмеивалась. Зрители хохотали до упаду, держались за бока, стонали от неудержимого смеха. Быть может, это было ее лучшее представление, Джулия играла для Тома, и только для него.

– Я видел Сару Бернар и Режан^[50], – сказал министр финансов. – Я видел Дузе и Эллен Терри, видел миссис Кендел. «Nunc Dimittis»^[51]. Сподобился.

Джулия, сияющая, кинулась в кресло и одним глотком осушила бокал шампанского.

«Черт меня побери, если я не испортила Роджеру обедню», – подумала она.

Но, несмотря на все это, когда она спустилась на следующее утро к завтраку, мальчики уже ушли играть в гольф. Майкл успел отвезти Деннорантов в город. Джулия чувствовала себя усталой. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы весело болтать, когда Роджер и Том пришли к ленчу. Днем они втроем отправились на реку, но у Джулии было чувство, что они взяли ее с собой не потому, что им хотелось, а потому, что не сумели этого избежать. Она подавила вздох, когда подумала, как ждала отпуска Тома. Теперь она считала дни, оставшиеся до его конца. Она испытала облегчение, когда села наконец в машину, чтобы ехать в Лондон. Джулия не сердилась на Тома, но была глубоко уязвлена; сердилась она на себя за то, что потеряла над собой власть. Однако, когда Джулия вошла в театр, она почувствовала, что стряхнула это наваждение, как дурной сон, от которого пробуждаешься утром. Здесь, в своей уборной, она вновь стала себе хозяйкой, и все события повседневной жизни утратили важность.

Ей ничто не страшно, пока в ее власти есть такая возможность обрести свободу.

Так прошла вторая неделя. Майкл, Роджер и Том наслаждались жизнью. Они купались, играли в теннис и гольф, слонялись у реки. Осталось четыре дня. Осталось три дня.

(«Ну, теперь уж я дотерплю до конца. Все изменится, когда мы вернемся в Лондон. Нельзя показывать, как я несчастна. Нужно делать вид, что все в порядке».)

– Повезло нам, отхватили такой кусок хорошей погоды, – сказал Майкл. – А Том пользовался успехом, правда? Жаль, что он не может остаться еще на недельку.

– Да, ужасно жаль.

– Я думаю, Роджеру хорошо иметь такого товарища. Абсолютно нормальный, чистый английский юноша.

– О да, абсолютно. («Ну и дурак! Ну и дурак!»)

– Прямо удовольствие глядеть, как они едят.

– О да, аппетит у них завидный. («Господи, хоть бы они подавились!»)

Том должен был возвращаться в Лондон с ранним поездом в понедельник утром. Декстеры, у которых был загородный дом в Борн-энде, пригласили их всех в воскресенье на ленч. Ехать туда собирались на моторной лодке. Теперь, когда отпуск Тома закончился, Джулия была рада, что ни разу ничем не выдала своего раздражения. Она была уверена, что Том даже не догадывается, какую боль он ей причинил. Надо быть

снисходительной; в конце концов, он – всего только мальчик, и если уж ставить точки над «і», она годится ему в матери. Конечно, печально, что она потеряла из-за него голову, но что поделаешь, слезами горю не поможешь, она с самого начала сказала себе, что он не должен чувствовать, будто она как-то на него притязает. В воскресенье они никого не ждали к ужину. Джулии хотелось побыть вдвоем с Томом в этот последний вечер. Конечно, это невозможно, но, во всяком случае, они смогут погулять вместе в саду.

«Интересно, он заметил, что ни разу меня не поцеловал с тех пор, как сюда приехал?»

Можно было бы покататься на ялике. Как божественно будет хоть несколько мгновений побыть в его объятиях, это вознаградило бы ее за все.

У Декстеров собрались в основном актеры. Грейс Хардуил, жена Арчи, играла в музыкальной комедии, и там была целая куча хорошеньких девушек, танцевавших в оперетте, в которой Грейс тогда пела. Джулия с большой естественностью изображала примадонну, которая ничего из себя не строит. Она очаровательно улыбалась девицам с обесцвеченным перекистью перманентом, зарабатывающим в хоре три фунта в неделю. У многих гостей были с собой фотоаппараты, и она любезно позволяла себя снимать. Она восторженно аплодировала, когда Грейс исполнила свою знаменитую арию под аккомпанемент самого композитора. Она громче всех смеялась, когда комедийная «старуха» изобразила ее, Джулию, в одной из самых известных ролей. Было очень весело, шумно и беззаботно. Джулия искренно наслаждалась, но, когда пробило семь, без сожаления собралась уезжать. В то время как она горячо благодарила хозяев дома за приятный вечер, к ней подошел Роджер.

– Послушай, мам, тут собралась компания, едут в Мейднхед ужинать и потанцевать и зовут нас с Томом. Ты ведь не возражаешь?

Кровь прихлынула к щекам Джулии. Она не могла совладать с собой, и голос ее прозвучал довольно резко:

– А как вы вернетесь?

– Не беспокойся, все будет в порядке. Кто-нибудь нас подкинет.

Джулия беспомощно взглянула на сына. Ей нечего было возразить.

– Будет страшно весело, мама. Том безумно хочет поехать.

Ее сердце упало. Лишь с величайшим трудом ей удалось овладеть собой и не закатить ему сцену.

– Хорошо, милый. Только не возвращайся слишком поздно. Помни, что Тому вставать чуть свет.

В это время Том сам к ним подошел и услышал ее последние слова.

– Вы действительно ничего не имеете против? – спросил он.

– Конечно, нет. Надеюсь, вы хорошо проведете там время.

Она весело улыбнулась, но глаза ее сверкали холодным блеском.

– А я рад, что мальчики уехали, – сказал Майкл, садясь в лодку. – Мы уже целую вечность не были с тобой вдвоем.

Джулия стиснула зубы, чтобы не взорваться и не попросить его попридержать свой дурацкий язык. Ее душила черная ярость. Это было последней каплей. Том не замечал ее все две недели, он даже не был элементарно вежлив, а она – она вела себя как ангел. Какая женщина проявила бы столько терпения? Любая другая на ее месте велела бы ему убираться вон, если он не знает, что такое простое приличие. Эгоист, дурак, грубиян – вот что он такое. Жаль, что он уезжает завтра сам. С каким удовольствием она выставила бы его за дверь со всеми его пожитками! Как он осмелился так с ней обращаться, этот ничтожный маленький клерк?! Поэты, члены кабинета министров, пэры Англии с радостью отменили бы самую важную встречу, лишь бы поужинать с ней, а он бросил ее и отправился танцевать с кучей крашенных блондинок, которые совершенно не умеют играть. Ясно, что он глуп как пробка. Что уж тут говорить о благодарности. За последнюю тряпку, которая надета на нем, плачено ее деньгами. А этот портсигар, которым он так гордится, разве не она подарила его? А кольцо? Ну нет, это ему даром не пройдет, она с ним сквитается. И она даже знает как. Она знает его самое уязвимое место, знает, как ранить его всего больней. Уж она сумеет задеть его за живое! Джулии стало немного легче, когда она принялась в подробностях придумывать план мести. Ей не терпелось поскорее привести его в исполнение, и не успели они вернуться домой, как она поднялась к себе в спальню. Вынула из сумочки четыре купюры по фунту стерлингов и одну – на десять шиллингов. Написала короткую записку:

Дорогой Том.

Вкладываю деньги, которые надо оставить слугам, так как не увижу тебя утром. Три фунта дай дворецкому, фунт – горничной, которая чистила и отглаживала тебе костюмы, десять шиллингов – шоферу.

Джулия.

Она позвала Эви и велела, чтобы горничная, которая разбудит Тома завтра утром, передала ему конверт. Когда Джулия спустилась к ужину, она

чувствовала себя гораздо лучше. Пока они ели, вела с Майклом оживленный разговор, потом они сели играть в безик. Даже если бы она целую неделю ломала себе голову, как сильнее уколоть Тома, она не придумала бы ничего лучшего.

Но уснуть Джулия не смогла. Она лежала в постели и ждала возвращения Роджера и Тома. Ей пришла в голову мысль, прогнавшая весь ее сон. Возможно, Том поймет, как он мерзко себя вел. Если он хоть на секунду об этом задумается, он увидит, как он ее огорчил; быть может, он пожалеет об этом, и когда они вернутся и Роджер пожелает ему доброй ночи, он прокрадется к ней в комнату. Если Том это сделает, она ему все простит. Письмо, наверное, лежит в буфетной, ей будет нетрудно спуститься тихонько вниз и забрать его. Наконец подъехала машина. Джулия включила свет, чтобы взглянуть на часы. Три часа. Она слышала, как юноши поднялись наверх и разошлись по своим комнатам. Джулия ждала. Зажгла ночник у кровати, чтобы Тому было видно, когда он откроет дверь. Она притворится, что спит, а когда он подойдет к ней на цыпочках, медленно откроет глаза и улыбнется ему. Джулия ждала. В тишине ночи она услышала, как он лег в постель; щелкнул выключатель. С минуту она глядела прямо перед собой, затем, пожав плечами, открыла ящичек в тумбочке возле кровати и взяла из пузырька две таблетки снотворного.

«Если я не усну, я сойду с ума».

Глава пятнадцатая

Когда Джулия проснулась, был двенадцатый час. Среди писем она нашла одно, которое не пришло по почте. Она узнала аккуратный, четкий почерк Тома и вскрыла конверт. Там не было ничего, кроме четырех фунтов и десяти шиллингов. Джулия почувствовала легкую дурноту. Она и сама не знала, какого ждала ответа на свое снисходительное письмо и оскорбительный подарок. Ей не пришло в голову, что он может просто его вернуть. Джулия была вчера встревожена и расстроена, она хотела его унижить, сделать ему больно, но теперь испугалась, что зашла слишком далеко.

«Надеюсь все же, что он дал прислуге на чай», – пробормотала она, чтобы себя подбодрить. Джулия пожала плечами. «Ничего, опомнится, ему не вредно узнать, что я тоже не всегда сахар».

Но весь день она оставалась в задумчивости. Когда Джулия приехала вечером в театр, ее ждал там пакет.

Как только она взглянула на обратный адрес, она поняла, что в нем. Эви спросила, вскрыть ли пакет.

– Не надо.

Но не успела Джулия остаться одна, как сама его вскрыла. Там лежала булавка для галстука, и пуговицы для жилета, и жемчужные запонки, и часы, и золотой портсигар – гордость Тома. Все до одной вещи, которые она ему подарила. И никакого письма. Ни слова объяснения. Сердце ее упало, она заметила, что вся дрожит.

«Какая я была идиотка! Почему не сдержалась?!»

Каждый удар сердца причинял Джулии боль. Она не в состоянии выйти на сцену, когда ее терзает такая адская мука. Она будет ужасно играть. Чего бы ей это ни стоило, она должна с ним поговорить. В его доме был телефон с отводом к нему в комнату. Джулия набрала номер. К счастью, Том был дома.

– Том!

– Да?

Он немного помолчал, перед тем как ответить, и голос его звучал раздраженно.

– Что все это значит? Почему ты прислал мне все эти вещи?

– Ты получила утром деньги?

– Да. Я абсолютно ничего не понимаю. Я тебя обидела?

– О нет, – ответил он. – Мне, конечно, очень приятно, чтобы со мной обращались как с содержанкой. Мне, конечно, приятно, когда мне бросают в лицо упрек, что даже чаевые и те я не могу сам заплатить. Удивительно еще, что ты не вложила в конверт деньги на билет третьего класса до Лондона.

Хотя Джулия чуть не плакала от боли и тревоги и с трудом могла говорить, она невольно улыбнулась. Ну и глупыш!

– Неужели ты думаешь, что я хотела тебя оскорбить? Ты достаточно хорошо меня знаешь и должен понимать, что это мне и в голову не могло прийти.

– Тем хуже. («Будь я проклята», – подумала Джулия.) Мне не надо было брать у тебя эти подарки, мне не надо было занимать у тебя деньги.

– Не понимаю, о чем ты говоришь. Все это – какое-то ужасное недоразумение. Зайди за мной после спектакля, и мы во всем разберемся. Я все тебе объясню.

– Я иду обедать к родителям и останусь у них ночевать.

– Тогда завтра.

– Завтра я занят.

– Я должна увидеться с тобой, Том. Мы слишком много значили друг для друга, чтобы вот так расстаться. Как ты можешь осуждать меня, не выслушав? Это несправедливо – наказывать человека, когда он ни в чем не виноват.

– Я думаю, будет гораздо лучше, если мы перестанем встречаться.

Джулия совсем потеряла голову.

– Но я люблю тебя, Том. Я тебя люблю. Разреши мне еще раз увидеть тебя, и если ты по-прежнему будешь сердиться на меня, что ж, будем считать, что дело кончено.

Его молчание тянулось до бесконечности. Наконец он ответил:

– Хорошо, я зайду во вторник после дневного спектакля.

– Не думай обо мне слишком плохо, Том.

Что бы там ни было, он придет. Джулия снова завернула присланные им вещи и спрятала их туда, где их не увидит Эви. Она разделась, накинула старый розовый халат и начала гримироваться. Настроение у нее было ужасное: она впервые призналась Тому в своей любви. Ее грызло, что пришлось унижительно умолять его, чтобы он к ней пришел. До сих пор он искал ее общества. Было невыносимо думать, что их роли переменились.

Джулия очень плохо играла на дневном представлении во вторник. Стояла страшная жара, публика принимала спектакль вяло. Джулии было все равно. Ее сердце терзали дурные предчувствия. Что ей до того, как идет

пьеса! («И какого черта им вообще надо в театре в такой день?») Она была рада, когда представление окончилось.

– Я жду мистера Феннела, – сказала она Эви. – Я не хочу, чтобы меня беспокоили, пока он будет у меня.

Эви не ответила. Джулия взглянула на нее: у Эви был очень хмурый вид.

(«Ну ее к черту. Плевать мне, что она там думает!»)

Том уже должен был к этому времени прийти: шел шестой час. Он не мог не прийти, ведь он же обещал.

Джулия надела халат, не тот старый халат, в котором обычно гримировалась, а мужской, из темно-вишневого шелка. Эви все еще возилась, прибирая ее вещи.

– Ради бога, Эви, перестань суетиться. Я хочу побыть одна.

Эви не отвечала. Она продолжала методично расставлять на туалетном столике предметы в том порядке, в каком Джулия всегда желала их там видеть.

– Черт подери, ты почему не отвечаешь, когда я с тобой говорю?

Эви обернулась и посмотрела на Джулию. Задумчиво подтерла пальцем нос. «Может, вы и великая актриса, но...»

– Убирайся к черту!

Сняв сценический грим, Джулия совсем не стала краситься, лишь чуть-чуть подсинила под глазами. У нее была гладкая белая кожа, и без губной помады и румян она выглядела бледной и изнуренной. В мужском халате она казалась беспомощной, хрупкой и вместе с тем элегантной. На сердце у нее было тяжело, ее снедала тревога, но, взглянув в зеркало, она пробормотала: «Мими в последнем акте „Богемы“». Сама не замечая того, она два раза кашлянула, словно у нее чахотка. Джулия погасила яркий свет у туалетного столика и прилегла на диван. Вскоре в дверь постучали, и Эви доложила о мистере Феннеле. Джулия протянула ему белую худую руку.

– Прости, я лежу, мне что-то нездоровится. Возьми себе стул. Очень мило, что ты пришел.

– Нездоровится? Что с тобой?

– О, ничего страшного. – Бескровные губы шевельнулись в вымученной улыбке. – Просто не очень хорошо спала последние две-три ночи.

Джулия обратила к Тому свои прекрасные глаза и несколько минут пристально смотрела на него в молчании. Вид у него был хмурый, но ей показалось, что он испуган.

– Я жду, что ты объяснишь мне, в чем моя вина. Что ты имеешь против

меня? – сказала Джулия наконец тихим голосом.

Она заметила, что голос ее чуть дрожал, но вполне естественно. («Господи, да я, кажется, испугана».)

– Нет смысла к этому возвращаться. Я хотел сказать тебе единственную вещь: боюсь, я не смогу сразу выплатить тебе те двести фунтов, что я должен, у меня их просто нет, но постепенно я все отдам. Мне очень неприятно просить у тебя отсрочку, но нет другого выхода.

Джулия приподнялась и приложила обе руки к своему разбитому сердцу.

– Я не понимаю. Я две ночи пролежала без сна, все думала, в чем дело. Я боялась, что сойду с ума. Я пыталась понять. И не могу. Не могу. («В какой пьесе я это говорила?»)

– Не можешь? Ты все прекрасно понимаешь. Ты рассердилась на меня и решила меня наказать. И сделала это. Ты расквиталась со мной как надо! Ты не могла придумать лучшего способа выразить свое презрение.

– Но почему бы мне было тебя наказывать? За что? Почему я должна была на тебя сердиться?

– За то, что я поехал в Мейднхед с Роджером на эту вечеринку, а тебе хотелось, чтобы я вернулся домой.

– Но я же сама сказала, чтобы вы ехали. Я пожелала вам хорошо провести время.

– Да, конечно, но твои глаза сверкали от ярости. У меня не было особой охоты туда ехать, но Роджеру уж так загорелось. Я говорил ему, что нам лучше вернуться и поужинать с тобой и Майклом, но он сказал – вы будете только рады сбить нас с рук, и я решил не поднимать из-за этого шума. А когда я увидел, что ты разозлилась, уже было поздно идти на попятную.

– Я вовсе не разозлилась. Не представляю, как это могло прийти тебе в голову. Вполне естественно, что вам хотелось пойти на вечеринку. Неужели ты думаешь, я такая свинья, чтобы быть недовольной, если ты поразвлечешься в свой отпуск? Мой бедный ягненочек, я боялась только одного – что тебе будет там скучно. Я так мечтала, чтобы ты весело провел время!

– Тогда почему ты написала мне эту записку и вложила эти деньги? Это было так оскорбительно.

Голос Джулии сорвался. Губы задрожали, она не могла совладать со своим лицом. Том смущенно отвернулся – сам того не желая, он был тронут.

– Мне было невыносимо думать, что ты выкинешь свои деньги на мою

прислугу. Я знаю, что ты не так уж богат и потратил кучу денег на чаевые, когда играл в гольф. Я презираю женщин, которые идут куда-нибудь с молодым человеком и позволяют ему за себя платить. Форменные эгоистки. Я поступила с тобой так, как поступила бы с Роджером. Я никак не думала, что задену твое самолюбие.

– Поклянись!

– Честное слово. Господи, неужели после всех этих месяцев ты так плохо меня знаешь! Если бы то, что ты подумал, было правдой, какой я тогда должна быть подлой, жестокой, жалкой женщиной, какой хамкой, какой бессердечной вульгарной бабой! Ты такой меня считаешь, да?

Трудный вопрос.

– Ну да не важно. Все равно, мне не следовало принимать от тебя дорогие подарки и брать займы деньги. Это поставило меня в ужасное положение. Почему я думал, что ты меня презираешь? Да потому, что сам чувствую – ты имеешь на это право. Я действительно не могу позволить себе водиться с людьми, которые настолько меня богаче. Я был дурак, думая, что могу. Мне было очень весело и интересно, я великолепно проводил время, но теперь с этим покончено. Больше мы видеться не будем.

Джулия глубоко вздохнула.

– Тебе просто на меня наплевать. Вот что все это означает.

– Это несправедливо.

– Ты для меня – все на свете. Ты сам это знаешь. Я так одинока. Твоя дружба так много значит для меня. Я окружена паразитами и прихлебателями, а тебе от меня ничего не надо. Я чувствовала, что могу на тебя положиться. Мне было так с тобой хорошо. Ты – единственный, с кем я могла быть сама собой. Разве ты не понимаешь, какое для меня удовольствие хоть немного тебе помочь? Я не ради тебя дарила эти мелочи, а ради себя: я была так счастлива, видя, что ты пользуешься вещами, которые я купила. Если бы я что-нибудь для тебя значила, тебя бы это не унижало, ты был бы тронут.

Джулия снова посмотрела на него долгим взглядом. Ей и всегда нетрудно было заплакать, а сейчас она чувствовала себя такой несчастной, что для этого не требовалось даже малейшего усилия. Том еще ни разу не видел ее плачущей. Она умела плакать не всхлипывая, – прекрасные глаза широко открыты, лицо почти неподвижно, и по нему катятся большие тяжелые слезы. Ее оцепенение, почти полная неподвижность трагической позы производили удивительно волнующий эффект. Джулия не плакала так с тех пор, как играла в «Раненом сердце». Господи, как эта пьеса

выматывала ее! Джулия не глядела на Тома, она глядела прямо перед собой; она обезумела от боли. Но что это? Другое, внутреннее ее «я» прекрасно понимало, что она делает. Это «я» разделяло ее боль и одновременно наблюдало, как она ее выражает. Уголком глаза Джулия увидела, как Том побледнел, ощутила, как внезапная мука пронзила его до глубины души, почувствовала, что его плоть и кровь просто не в состоянии выдержать ее страдания.

– Джулия!

Голос изменил ему. Она медленно перевела на него подернутые влагой глаза. Перед ним была не плачущая женщина, перед ним была вся скорбь человеческого рода, неизмеримое, безутешное горе – вечный удел людей. Том кинулся на колени и привлек ее в свои объятия. Он был потрясен.

– Любимая! Любимая!

Джулия не двигалась. Казалось, она не осознает, что он тут, рядом. Том целовал ее плачущие глаза, искал губами ее губы. Она отдала их Тому, словно была беспомощна перед ним, словно она не понимает, что с ней, и утратила всю свою волю. Почти незаметным движением Джулия прижалась к нему всем телом, руки ее словно ненароком обвились вокруг его шеи. Она лежала в объятиях Тома не то чтобы совсем мертвая, но так, будто все ее силы, вся энергия оставили ее. Он чувствовал во рту соленый вкус ее слез. Наконец, утомленная, все еще обвивая его мягкими руками, Джулия откинулась на диван. Том прильнул к ее губам.

Глядя на нее четверть часа спустя, такую спокойную и веселую, лишь немного покрасневшую, никто бы не догадался, что совсем недавно она так горько плакала. Они выпили оба по бокалу виски с содовой, выкурили по сигарете и с нежностью смотрели сейчас друг на друга.

«Он – душа», – подумала Джулия.

Ей пришло в голову, что она может доставить Тому удовольствие.

– Сегодня на спектакле будут герцог и герцогиня Рикби, потом мы пойдем вместе ужинать в «Савой». Ты, наверное, не пожелаешь разделить с нами компанию? Я без кавалера.

– Если ты этого хочешь, пойду с удовольствием.

Румянец, сгустившийся у него на щеках, явственно сказал ей о том, как он взволнован возможностью встретиться с такими высокопоставленными особами. Джулия не стала говорить ему, что чета Рикби готова отправиться куда угодно, лишь бы угоститься за чужой счет. Том взял обратно ее подарки; смущенно, правда, но взял. Когда он ушел, Джулия присела к туалетному столику и посмотрела на себя в зеркало.

«Как удачно, что у меня не распухают от слез глаза, – сказала она. Она

немного помассировала веки. – И все равно, до чего мужчины глупы!»

Джулия была счастлива. Теперь все будет хорошо. Она заполучила Тома обратно.

Но где-то в самых тайниках души она чувствовала к Тому хоть и слабое, но презрение за то, что ей удалось так легко его провести.

Глава шестнадцатая

Ссора, каким-то непонятным образом сломав разделявший их барьер, сблизила Джулию и Тома еще больше. Том не так сильно сопротивлялся, как она ожидала, когда она снова подняла вопрос о квартире. Казалось, после их примирения, взяв обратно ее подарки и согласившись забыть о долге, он сделался глух к угрызениям совести. Как увлекательно было обставлять квартиру! Жена шофера убирала ее и готовила Тому завтрак. У Джулии были свои ключи, и иногда она заходила туда и сидела в гостиной, поджидая Тома из конторы. Раза три в неделю они ужинали где-нибудь вместе, танцевали и возвращались на такси к нему. Эта осень была для Джулии очень счастливой. Пьеса, которая тогда шла, имела успех. Джулия чувствовала себя энергичной и молодой. Роджер должен был приехать к Рождеству, но дома он собирался провести всего две недели, а затем поехать в Вену. Джулия понимала, что он опять завладеет Томом, и решила не расстраиваться по этому поводу. Юность естественно тяготеет к юности, и нет никаких причин волноваться, если в течение нескольких дней мальчики будут так поглощены друг другом, что Том и думать забудет о ней. Теперь она крепко держала его. Он гордился тем, что он ее любовник, это придавало ему уверенности в себе. Ему льстило быть так близко знакомым со многими более или менее высокопоставленными особами, а это было для него возможно только через нее. Тому страшно хотелось вступить в хороший клуб, и Джулия подготавливала для этого почву. Чарлз никогда ни в чем ей не отказывал, и она не сомневалась, что, если взяться за дело тактично, она уговорит его, и он предложит Тома в члены одного из своих клубов. Тратить свободно деньги также было для Тома новым и восхитительным ощущением; Джулия потворствовала его расточительности. Она вбила себе в голову, что он привыкнет к такому образу жизни и поймет, что без нее ему просто не обойтись.

«Понятно, это не может длиться вечно, – убеждала она себя, – но когда все кончится, ему будет о чем вспомнить. И это так много ему даст! Это сделает из него настоящего мужчину».

Но хотя Джулия говорила себе, что их связь не может длиться вечно, на самом деле она не понимала, почему бы и нет. Со временем Том повзрослеет и постареет, и разница между ними не будет такой уж большой. Через десять – пятнадцать лет он не будет так молод, а она стареть не собирается. Им было очень хорошо вместе. Мужчины – рабы

привычек, это помогает женщинам их удержать. Джулия не чувствовала себя старше его и на день, и конечно же, сам он и не вспоминает о разнице их лет. Правда, был один момент, когда ее охватило по этому поводу некоторое беспокойство. Том причесывался у туалетного столика. Джулия в чем мать родила лежала на его постели в позе тициановской Венеры, которую как-то видела в одном загородном доме. Она чувствовала, что представляет собой прелестную картину, и, абсолютно убежденная в этом, не меняла положения. Она была счастлива и удовлетворена.

«Как в настоящем любовном романе», – думала она, и быстрая легкая улыбка порхала на ее губах.

Том заметил ее отражение в зеркале, повернулся и, не говоря ни слова, быстрым движением натянул на нее простыню. Хотя она одарила его нежной улыбкой, внутри у нее все перевернулось. В чем дело – он боится, что она простудится, или, по присущей всем англичанам стыдливости, шокирован ее наготой? А вдруг теперь, когда его юношеское вожделение удовлетворено, ему просто противно глядеть на ее стареющее тело? Вернувшись домой, Джулия вновь разделась догола перед трюмо и подвергла себя внимательному осмотру. Она решила не щадить себя. Она посмотрела на шею – никаких следов ее возраста, особенно если держать повыше подбородок. Грудь у нее маленькая и упругая, совсем девичья. Живот плоский, бедра неширокие, жира на них самая малость, да и у кого его нет; можно приказать мисс Филиппс, чтобы она согнала его совсем. Никто не скажет, что у нее нехороши ноги: длинные, стройные, прекрасной формы. Джулия провела руками по всему телу; кожа как атлас, ни пятнышка, ни шрама. Конечно, под глазами уже прорезалось несколько морщинок, но нужно очень пристально вглядываться, чтобы их заметить; говорят, существует пластическая операция, при помощи которой можно от них избавиться, надо будет разузнать. К счастью, она совсем не седеет; как хорошо ни покрасишь волосы, от крашенных волос грубеет лицо; у нее они до сих пор сохранили свой сочный темно-каштановый цвет. Зубы тоже в полном порядке.

«Излишняя скромность, вот что это было, только и всего».

Однако с того дня Джулия старалась держать себя соответственно понятиям Тома о благопристойности.

У Джулии была такая прочная репутация, что она считала: ей нечего бояться показываться с Томом в публичных местах. Для нее было внове посещать ночные клубы, она наслаждалась этими вылазками, и хотя никто лучше ее не знал, что, где бы она ни появилась, она привлекает к себе внимание, Джулии и в голову не приходило, что такая перемена в ее

привычках может вызвать в городе толки. Имея за спиной двадцать лет супружеской верности – Джулия, естественно, не принимала в расчет испанца, такой инцидент мог произойти с кем угодно, – она была убеждена, что никто и на миг не вообразит, будто у нее роман с мальчиком, который годится ей в сыновья. Она не подумала, что сам Том не всегда ведет себя достаточно осмотрительно. Она не подумала также, что ее собственные глаза, когда они с Томом танцуют, выдают ее с головой. Джулия считала, что она – выше подозрений, ей было невдомек, что о ней уже начинают судачить.

Когда сплетни достигли ушей Долли де Фриз, та только расхохоталась. По просьбе Джулии она приглашала Тома к себе на приемы и раза два звала в свой загородный дом на уик-энд, но она никогда не обращала на него внимания. Славный мальчик, удобный телохранитель для Джулии, когда Майкл занят, но абсолютный нуль. Один из тех людей, которых никто не замечает, чьего лица не можешь вспомнить на следующий день. Человек, которого зовут в последний момент на обед, если не хватает кавалера. Джулия со смехом называла его «мой поклонник» или «мой воздыхатель»; вряд ли она говорила бы о нем так спокойно, так откровенно, если бы между ними что-нибудь было. К тому же Долли знала, что для Джулии существуют только двое мужчин – Майкл и Чарлз Тэмерли. Но, конечно, странно – всю жизнь заботиться о своей репутации и вдруг зачастить в ночные клубы. Три-четыре раза в неделю, не реже. Долли редко видела Джулию в последнее время и, сказать по правде, была несколько задета ее невниманием. У Долли было много друзей в театральном мире, и она стала осторожно их расспрашивать. Ей крайне не понравилось то, что она услышала. Она не знала, что и думать. Одно было очевидно: Джулия не подозревает, какие вещи о ней говорят. Кто-то должен ей об этом сказать. У самой Долли не хватит на это смелости. Даже после стольких лет знакомства Долли ее немного побаивалась. Джулия была женщина уравновешенная, и, хотя язык ее частенько бывал резким и даже грубым, мало что могло вывести ее из себя. Однако было в ней что-то, пресекающее всякую фамильярность; казалось, если зайдешь с ней слишком далеко, горько потом раскаешься. Но надо же что-то сделать! Целых две недели Долли тревожно обдумывала этот вопрос. Она постаралась забыть о своей уязвленной гордости и рассматривать его только с точки зрения того, что полезно или вредно для репутации самой Джулии. Наконец она пришла к заключению, что поговорить с Джулией должен Майкл. Долли он никогда не нравился, но в конце концов он муж, ее долг – рассказать ему, чтобы он пресек то, что происходит, не важно даже что.

Долли позвонила Майклу и условилась встретиться с ним в театре. Майкл любил Долли не больше, чем она его, хотя и по другой причине, и, услышав, что она хочет его видеть, чертыхнулся. Его бесило, что ему так и не удалось убедить ее продать свой пай, и любое ее предложение он считал недопустимым вмешательством.

Но когда Долли провели к нему в кабинет, он встретил ее с распростертыми объятиями и поцеловал в обе щеки.

– Располагайтесь поудобнее, будьте как дома. Заглянули посмотреть, продолжает ли фирма загребать для вас дивиденды?

Долли де Фриз уже стукнуло шестьдесят. Она сильно растолстела, и ее лицо с крупным носом и полными красными губами казалось больше натуральной величины. Было что-то неуловимо мужское в покрое ее черного атласного платья, но на шее у нее висела двойная нитка жемчуга, на поясе сверкала бриллиантовая пряжка, другая красовалась на шляпе. Коротко стриженные волосы были выкрашены в густой рыжий цвет. Губы и ногти были пунцовые. Говорила она громко, низким гортанным голосом; когда приходила в возбуждение, слова обгоняли друг друга и обнаруживался еле заметный акцент кокни.

– Майкл, меня очень расстраивает Джулия.

Майкл – как всегда, безупречный джентльмен – слегка поднял брови и сжал тонкие губы. Он не собирался обсуждать свою жену даже с Долли.

– Мне кажется, она заходит слишком далеко. Не понимаю, что на нее нашло. Все эти вечеринки, на которые она зачастила... Ночные клубы и всякое такое... В конце концов, она уже не так молода, она может переутомиться.

– Ерунда. Она здорова как лошадь и прекрасно себя чувствует. Она уже давно не выглядела так молодо. Неужели вам жалко, если она немного повеселится, когда закончит свою работу? Роль, которую она сейчас играет, не забирает ее всю целиком, я очень рад, что ее еще хватает на развлечения, это показывает, сколько в ней жизненной силы.

– Она никогда раньше не увлекалась такими вещами. Странно, право, что она вдруг полюбила танцевать допоздна, да еще в ужасной духоте.

– Для нее это единственная физическая разрядка. Нельзя же ожидать, что она наденет шорты и побежит вместе со мной по парку.

– Я думаю, вам следует знать, что о ней уже начинают чесать языки. Это сильно вредит ее репутации.

– Что вы хотите этим сказать, черт подери?

– Ну, что просто нелепо в ее годы ходить повсюду с молоденьким мальчиком. Это, естественно, бросается всем в глаза.

С минуту Майкл глядел на Долли недоуменным взглядом, когда же до него дошел наконец смысл ее слов, он разразился громким смехом.

– С Томом? Не говорите глупостей, Долли.

– Это не глупости. Я знаю, о чем говорю. Когда женщина пользуется такой известностью, как Джулия, и ее все время видят с одним и тем же мужчиной, люди начинают болтать.

– Но Том такой же друг мне, как и ей. Вы прекрасно знаете, что я не могу водить Джулию на танцы. Мне нужно вставать каждое утро ровно в восемь, чтобы успеть перед работой сделать свой моцион. Полагаю, я как-никак научился разбираться в людях, пробыв в театре тридцать лет. Том – типичный английский юноша, чистый, честный, даже можно сказать – в своем роде джентльмен. Я не спорю, он обожает Джулию, мальчики его возраста часто думают, что они влюблены в женщину старше себя; вряд ли это причинит ему вред, напротив, только пойдет на пользу. Но вообразить, что Джулия способна смотреть на него всерьез... Бедная моя Долли, не смешите меня!

– Он надоедлив, скучен, вульгарен, и он сноб.

– Ну если он таков, не кажется ли вам тем более странным, чтобы Джулия могла им увлечься?

– Только женщина знает, на что способна другая женщина.

– Неплохая реплика, Долли. Мы закажем вам следующую пьесу. Давайте выясним все до конца. Вы можете положить руку на сердце утверждать, что у Джулии роман с Томом?

Долли взглянула Майклу в лицо. В ее глазах была мука. Хотя сперва она только смеялась, слушая, что ей рассказывают о Джулии, она была не в состоянии полностью подавить сомнения, все больше обуревавшие ее. Ей вспоминались десятки мелких подробностей, на которые она в свое время не обращала внимания, но которые, если хладнокровно на них посмотреть, выглядели очень и очень подозрительно. Она не думала, что можно так терзаться. Доказательства? У нее не было никаких доказательств, лишь интуиция, которая никогда не обманывала ее. Долли хотелось ответить «да», это желание казалось неудержимым, но Долли пересилила себя. Она не могла предать Джулию. Вдруг этот дурак Майкл пойдет и все ей выложит? Джулия больше никогда в жизни не станет с ней разговаривать. Вдруг установит за Джулией слежку и поймает ее на месте преступления?! Кто знает, что может случиться, если она, Долли, скажет ему правду.

– Нет, не могу.

Слезы переполнили глаза Долли и покатались по массивным щекам. Майкл видел, что она страдает. Он считал ее комичной, но понимал, что

горе ее неподдельно, и, будучи по натуре добрым, принялся ее утешать:

– Ну вот видите. Вы же знаете, как хорошо Джулия к вам относится, право, не надо ревновать ее к другим друзьям.

– Бог свидетель, мне ничего для нее не жалко, – всхлипнула Долли. – Она так изменилась ко мне за последнее время. Стала так холодна. Я всегда была ей верным другом, Майкл.

– Да, дорогая, я в этом не сомневаюсь.

– «Служи я небесам хоть вполонину с таким усердьем, как служил монарху...»^[52]

– Ну полно, полно, не так уж все плохо, как кажется. Вы знаете, я не из тех людей, что обсуждают свою жену с другими. Я всегда считал это ужасно дурным тоном. Но, честно говоря, вам неизвестно о Джулии самого главного. Физическая любовь для нее ничто. Когда мы только поженились – другое дело. И могу вам признаться – ведь все это было так давно, – что мне тогда нелегко пришлось. Я не хочу сказать, что она была нимфоманкой или что-нибудь в этом роде, но порой она бывала немного утомительной. Постель, конечно, вещь по-своему неплохая, но в жизни существует еще многое другое. К счастью, после рождения Роджера она совершенно переменялась. Стала куда более уравновешенной. Все ее инстинкты ушли в игру. Вы читали Фрейда, Долли, как он это называет, когда так происходит?

– Ах, Майкл, что мне до Фрейда!

– Сублимация, вот как. Я часто думаю: потому-то она и стала такой великолепной актрисой. Актерская игра – такое дело, которое требует всего твоего времени, и если хочешь чего-нибудь достичь, надо отдавать себя целиком. Меня просто возмущает наша публика: думают, что актеры и актрисы черт знает чем занимаются. Да у нас для этого просто нет времени.

Слова Майкла так рассердили Долли, что помогли взять себя в руки.

– Но, Майкл, пусть мы с вами и знаем, что Джулия не совершает ничего дурного, то, что она повсюду разгуливает с этим жалким мальчишкой, очень вредит ее репутации. В конце концов, примерная супружеская жизнь была одним из ваших самых верных козырей. Все вас уважали. Зрителям было приятно думать о том, какая вы преданная и дружная пара.

– Но мы такие и есть, черт побери!

Долли начала терять терпение.

– Говорю вам, по городу ходят сплетни. Вы же не глупы. Неужели вы не понимаете, что иначе и быть не может. Я хочу сказать, если бы она заводила один скандальный роман за другим, никто бы теперь и внимания не обратил, но после примерного поведения в течение стольких лет вдруг

так сорваться... Естественно, начались пересуды. Это может повредить театру.

Майкл кинул на нее быстрый взгляд.

– Я понимаю, о чем вы толкуете, Долли. В ваших словах, пожалуй, что-то есть, и при создавшихся обстоятельствах вы имеете полное право так говорить. Вы так нам помогли, когда мы начинали, мне крайне неприятно теперь вас подводить. Знаете, что я предлагаю? Я откуплю у вас пай.

– Откупите у меня пай?

Долли выпрямилась. Ее лицо, еще минуту назад искаженное горем и тревогой, окаменело. Она была объята негодованием. А Майкл вкрадчиво продолжал:

– Я вижу, куда вы клоните. Если Джулия будет болтаться черт знает где целыми ночами, это скажется на ее исполнении. С этим не приходится спорить. У Джулии есть забавные поклонницы. На дневные спектакли приходит куча старых дам, потому что они считают ее такой милой добропорядочной женщиной. Не могу отрицать – если ей начнут перемывать косточки, это может отразиться на сборах. Я знаю Джулию достаточно хорошо: она не допустит никакого вмешательства в свою жизнь. Я ее муж и должен с этим мириться. Вы – нет. Я не стану вас порицать, если вы захотите выйти из предприятия, пока оно еще на мази.

Долли насторожилась. Она была далеко не глупа и в деловых вопросах вполне могла потягаться с Майклом. Гнев вернул ей самообладание.

– Я думала, что после стольких лет знакомства, Майкл, вы знаете меня лучше. Я считала своим долгом вас предупредить, но меня не испугаешь превратностями судьбы. Я не из тех, кто бежит с тонущего корабля. Осмелюсь сказать, я скорее могу позволить себе потерять деньги, чем вы.

Долли с большим удовольствием наблюдала, как у Майкла вытянулось лицо. Она знала, как много значат для него деньги, и надеялась, что ее слова крепко засядут у него в голове. Майкл быстро овладел собой:

– Что ж, подумайте еще, Долли.

Она взяла сумочку, и они расстались со взаимными заверениями в любви и пожеланиями удачи.

– Старая ведьма, – произнес Майкл, когда за Долли закрылась дверь.

– Старый осел, – произнесла Долли, спускаясь в лифте.

Но когда она села в свой великолепный и очень дорогой лимузин и вернулась к себе на Монтегю-сквер, она не смогла сдержать горьких и жгучих слез. Долли чувствовала себя старой, одинокой, несчастной. Она отчаянно ревновала.

Глава семнадцатая

Майкл гордился своим чувством юмора. Вечером в воскресенье, на следующий день после разговора с Долли, он вошел в комнату Джулии в то время, как она одевалась. Они собирались в кино после раннего ужина.

– Кто идет, кроме Чарлза? – спросил он.

– Я не смогла никого найти и позвала Тома.

– Прекрасно. Я хотел его видеть.

Майкл засмеялся при мысли о шутке, которую он для них припас. Джулия с удовольствием предвкушала ожидающий их вечер. В кино она сядет между Чарлзом и Томом, и тот не выпустит ее руки, в то время как она будет вполголоса болтать с Чарлзом. Дорогой Чарлз, как мило с его стороны столько лет так преданно ее любить; она в лепешку расшибется, чтобы быть ему приятной. Чарлз и Том приехали вместе. Том в первый раз надел новый смокинг, и они с Джулией обменялись украдкой взглядом; в его глазах было удовольствие, в ее – восхищение.

– Ага, попался, молодой человек, – весело сказал Майкл, потирая руки, – а знаешь, что я о тебе слышал? Я слышал, что ты компрометируешь мою жену.

Том испуганно взглянул на него и залился краской. Привычка краснеть страшно его угнетала, но отучиться от нее он не мог.

– О господи! – воскликнула весело Джулия. – Как чудесно! Всю жизнь мечтала, чтобы кто-нибудь меня скомпрометировал! Кто тебе рассказал, Майкл?

– Сорока на хвосте принесла, – лукаво ответил он.

– Что ж, Том, если Майкл со мной разведется, знаешь, тебе придется жениться на мне.

Чарлз улыбнулся добрыми грустными глазами.

– Что вы такое натворили, Том? – спросил он.

Чарлз держался нарочито серьезно; Майкл, которого забавляло явное смущение Тома, шутливо; Джулия, хотя внешне разделяла их веселье, была настороже.

– Оказывается, юный распутник водит Джулию по ночным клубам, в то время как ей давно пора бай-бай.

Джулия завопила от восторга.

– Ну как, Том, признаемся или будем начисто все отрицать?

– И знаете, что я сказал этой сороке, – прервал ее Майкл, – я сказал: до

тех пор пока Джулия не тащит меня в ночные клубы...

Джулия перестала прислушиваться к его словам. Долли, подумала она и, как ни странно, употребила те же самые два слова, что и Майкл. Объявили, что ужин подан, и их веселая болтовня обратилась к другим предметам. Но хотя Джулия принимала в ней живейшее участие, хотя, судя по ее виду, она уделяла гостям все свое внимание и даже с величайшим интересом выслушала одну из театральных историй Майкла, которую слышала по меньшей мере двадцать раз, все это время она вела про себя оживленную беседу с Долли. Долли все больше и больше съеживалась от страха, пока Джулия говорила ей, что именно она о ней думает.

«Вы, старая корова, – сказала она Долли, – кто вам позволил совать нос в мои дела? Молчите. Не пытайтесь оправдываться. Я знаю слово в слово, что вы сказали Майклу. Этому нет оправдания. Я думала, вы мне друг. Думала, я могу на вас положиться. Ну, теперь конец. Больше я вас знать не хочу. Ни за что. Думаете, мне очень нужны ваши вонючие деньги? И не пытайтесь говорить, что не имели в виду ничего дурного. Да что бы вы были, если бы не я, хотела бы я знать? Если вы хоть кому-нибудь известны, если что-то и представляете собой, так только потому, что случайно знакомы со мной. Благодаря кому все эти годы ваши приемы имели такой успех? Думаете, люди приходили любоваться на вас? Они приходили посмотреть на меня. Все. Конец».

По правде сказать, это был скорее монолог, чем диалог.

Позже, в кино, она сидела рядом с Томом, как и собиралась, и держала его за руку, но рука казалась на редкость безжизненной. Как рыбий плавник. Видно, его встревожили слова Майкла, и теперь он сидит и думает о них. Как бы улучшить минутку и остаться с ним наедине? Она сумела бы его успокоить. В конце концов, никто, кроме нее, не выпутался бы из положения с таким блеском. Апломб – вот точное слово. Интересно все-таки, что именно Долли сказала Майклу. Надо будет узнать. Майкла спрашивать не годится, еще подумает, что она придала какое-то значение его словам; надо узнать у самой Долли. Пожалуй, не стоит ссориться с ней. Джулия улыбнулась при мысли, какую сцену она разыграет с Долли. Она будет со старой коровой сама нежность, она подластится к ней и выпросит все, та и не догадается, как она, Джулия, на нее сердита. Любопытно все-таки... Ее прямо мороз по коже пробрал при мысли, что о ней болтают. В конце концов, если она не может поступать как хочет, кто тогда может? Ее личная жизнь никого не касается. Однако, если люди начнут над ней смеяться, хорошего будет мало. Интересно, что выкинет Майкл, если узнает правду? Не очень-то ему удобно будет с ней развестись и оставаться

ее антрепренером. Самое умное с его стороны было бы закрыть глаза, но в некоторых отношениях Майкл – человек странный: нет-нет да и вспоминает, что его родитель – полковник, и начинает изображать из себя бог весть что. Он вполне может вдруг сказать: пропади оно все пропадом, я должен поступить как джентльмен. Мужчины – такие дураки, они способны наплевать в собственный колодец. Конечно, она не очень-то и расстроится. Поедет на гастроли в Америку на год или два, пока скандал не затихнет, а потом найдет себе нового антрепренера. Но это такая доука! И потом, у них есть Роджер, об этом тоже нельзя забывать; он так станет переживать, бедный ягненок, все это будет для него так унижительно. Нечего закрывать глаза: она будет крайне глупо выглядеть, разводясь в ее возрасте из-за мальчишки двадцати трех лет. Конечно, замуж она за Тома не выйдет, на это у нее достанет ума. А Чарлз женится на ней? Джулия обернулась и посмотрела в полумраке на его аристократический профиль. Он безумно любит ее уже много лет, он – один из тех великодушных галантных идиотов, которых женщины запросто обводят вокруг пальца; возможно, он не откажется выступить в суде в роли соответчика при расторжении брака вместо Тома. Это был бы прекрасный выход. Леди Чарлз Тэмерли. Звучит неплохо. Возможно, она и правда была несколько безрассудна. Она всегда следила, чтобы ее никто не заметил, когда шла к Тому, но ее мог увидеть кто-нибудь из шоферов по пути туда или обратно и вообразить невесть что. У таких людей всегда только непристойности на уме. Что до ночных клубов, она с радостью ходила бы с Томом в тихие местечки, где бы их никто не увидел, но он не хотел. Он любил, чтобы была куча народу, ему нравилось вращаться среди элегантных людей, на них посмотреть и себя показать. Он хотел, чтобы их видели вместе.

«Черт подери! – сказала себе Джулия. – Черт подери! Черт подери!»

Да, вечер в кино оказался далеко не таким приятным, как она ожидала.

Глава восемнадцатая

На следующий день Джулия позвонила Долли по ее личному аппарату.

– Милочка, я не видела вас тысячу лет. Что вы подделывали все это время?

– Да ничего особенного.

Голос Долли был холоден.

– Послушайте, завтра возвращается Роджер. Вы знаете, он совсем бросает Итон. Я пошлю утром за ним машину и хочу, чтобы вы приехали к ленчу. Я никого не зову. Только вы и я, Майкл и Роджер.

– Я уже приглашена на завтра к ленчу.

За двадцать лет Долли ни разу не была занята, если Джулия хотела ее видеть. Голос на другом конце провода казался враждебным.

– Долли, как вы можете быть такой злючкой? Роджер будет ужасно разочарован. Его первый день дома; к тому же я сама хочу вас видеть. Я уже целую вечность не видела вас и страшно соскучилась. Вы не можете отложить вашу встречу? Один только раз, милочка, и мы с вами всласть поболтаем после ленча вдвоем, лишь вы да я.

Когда Джулия чего-нибудь хотела, ей просто немыслимо было отказать: никто не мог вложить столько нежности в голос, быть такой обаятельной, такой неотразимой. Наступило молчание, и Джулия поняла, что Долли борется со своими оскорбленными чувствами.

– Хорошо, дорогая, я как-нибудь ухитрюсь это уладить.

– Милочка! – Но, дав отбой, Джулия процедила сквозь зубы: «Старая корова!»

Долли приехала. Роджер вежливо выслушал, что он сильно вырос, и со своей серьезной улыбкой отвечал как положено на все то, что она считала уместным сказать мальчику его лет. Роджер ставил Джулию в тупик. Хотя сам он говорил мало, он, казалось, внимательно слушал все, что говорили другие, и все же ее не оставляло странное чувство, будто голова его занята собственными мыслями. Казалось, он наблюдает за ними со стороны с тем же любопытством, с каким мог бы наблюдать за зверьми в зоопарке. Это вызывало в ней легкую тревогу. При первом удобном случае Джулия произнесла реплику, которую заранее приготовила ради Долли:

– Роджер, милый, твой несчастный отец занят сегодня вечером. У меня есть два билета в «Палладиум» на второе представление, и Том звал тебя обедать в «Кафе-Ройял».

– Да? – Секундное молчание. – Ладно.

Джулия повернулась к Долли:

– Так хорошо, что у нас есть Том. Можно всюду пускать с ним Роджера. Они большие друзья.

Майкл бросил на Долли многозначительный взгляд. В глазах у него заплясали чертики.

– Том – очень приличный молодой человек. Он не даст Роджеру набедокурить, – сказал он.

– Мне кажется, Роджеру интереснее общаться со своими друзьями по Итону, – отозвалась Долли.

«Старая корова, – думала Джулия, – старая корова!»

После ленча она позвала Долли к себе в комнату.

– Мне надо отдохнуть. Я лягу, а вы мне расскажете все новости. Хорошенько посплетничать, вот чего я хочу.

Она нежно обвила рукой массивную талию Долли и повела ее наверх. Какое-то время они болтали о том о сем: о нарядах, прислуге, косметике; позлословили об общих знакомых; затем Джулия, облокотившись на руку, доверительно посмотрела Долли в глаза.

– Долли, мне надо с вами кое о чем поговорить. Мне нужен совет, а вы – единственный человек на свете, к кому я обращаюсь за советом. Я знаю, что вам я могу доверять.

– Ну конечно, дорогая.

– Оказывается, обо мне пошли гадкие сплетни. Кто-то сказал Майклу, что в городе болтают обо мне и бедном Томе Феннеле.

Хотя глаза ее хранили все то же обворожительное и трогательное выражение, перед которым – она это знала – Долли не могла устоять, Джулия внимательно следила за ней. Напрасно: Долли не вздрогнула, на лице не шевельнулся ни один мускул.

– Кто рассказал Майклу?

– Понятия не имею. Он не говорит. Сами знаете, какой он, когда ему вздумается изображать из себя джентльмена.

Ей только показалось или лицо Долли действительно стало менее напряженным?

– Мне нужна правда, Долли.

– Я так рада, что вы обратились ко мне, дорогая. Я терпеть не могу вмешиваться, куда меня не просят, если бы вы сами не затеяли этот разговор, ничто не заставило бы меня его начать.

– Милочка, кому, как не мне, знать, какой вы верный друг.

Долли скинула туфли и уселась поудобнее в кресле, затрепавшем под

ее тяжестью. Джулия не спускала с нее глаз.

– Люди злы, для вас это не тайна. Вы всегда вели такой спокойный образ жизни. Так редко выезжали, и то лишь с Майклом или Чарлзом Тэмерли. Чарлз – другая статья: всем известно, что он вздыхает по вас тысячу лет. Естественно, все удивились, что вы вдруг, ни с того ни с сего начали разгуливать по развеселым местам с клерком фирмы, которая ведет ваши бухгалтерские книги.

– Ну, это не совсем так. Том не клерк. Отец купил ему пай в деле. Он – младший компаньон.

– Да, и получает четыреста фунтов в год.

– Откуда вы знаете? – быстро спросила Джулия.

На этот раз Джулия была уверена в том, что Долли смутилась.

– Вы уговорили меня обратиться к его фирме по поводу подоходного налога. Один из главных компаньонов мне и сказал. Немного странно, что на такие деньги он в состоянии платить за квартиру, одеваться так, как он одевается, и водить вас в ночные клубы.

– Возможно, он получает денежную помощь от отца.

– Его отец – стряпчий в северной части Лондона. Вы прекрасно понимаете, что, если он купил ему пай в фирме, он не станет помогать ему наличными деньгами.

– Может быть, вы вообразили, будто я его содержу? – сказала Джулия со звонким смехом.

– Я ничего не воображаю, дорогая. Но люди – да.

Джулии не понравились ни слова, произнесенные Долли, ни то, как она их произнесла. Но она никак не выдала своей тревоги.

– Какая нелепость! Том – друг Роджера. Конечно, я с ним выезжаю. Я почувствовала, что мне надо встряхнуться. Я устала от однообразия, только и знаешь – театр и забота о самой себе. Это не жизнь. В конце концов, когда мне и повеселиться, как не сейчас? Я старею, Долли, что уж отрицать. Вы знаете, что такое Майкл. Конечно, он душка, но такой зануда!

– Не больше, чем был все эти годы, – сказала Долли ледяным тоном.

– Мне кажется, я – последняя, кого можно обвинить в шашнях с мальчиком на двадцать лет моложе меня.

– На двадцать пять, – поправила Долли. – Мне бы тоже так казалось. К сожалению, ваш Том не очень-то осторожен.

– Что вы хотите этим сказать?

– Ну, он обещал Эвис Крайтон, что получит для нее роль в вашей новой пьесе.

– Что еще за Эвис Крайтон?

– О, одна моя знакомая молодая актриса. Хорошенькая, как картинка.
– Он просто глупый мальчишка. Верно, надеется уломать Майкла. Вы же знаете, как Майкл любит молодежь.

– Он говорит, что может вас заставить сделать все, что хочет. Он говорит – вы пляшете под его дудку.

К счастью, Джулия была хорошая актриса. На миг сердце ее остановилось. Как он мог так сказать? Дурак. Несчастный дурак! Но она тут же овладела собой и весело рассмеялась:

– Какая чепуха! Да я не верю ни единому слову.
– Он очень заурядный, вульгарный молодой человек. Вы так с ним носитесь, ничего удивительного, если это вскружило ему голову.

Джулия, добродушно улыбаясь, посмотрела на Долли невинным взглядом.

– Но, милочка, надеюсь, вы не думаете, что Том – мой любовник?
– Если и нет, я единственная, кто так не думает.
– Но вы думаете или нет?

Долли молчала. С минуту они, не отводя глаз, смотрели друг на друга; в сердце каждой из них горела черная ненависть, но Джулия по-прежнему улыбалась.

– Если вы поклянетесь, что это не так, конечно, я вам поверю.
Голос Джулии сделался тихим, торжественным, в нем звучала неподдельная искренность.

– Я еще ни разу вам не солгала, Долли, и уже слишком стара, чтобы начинать. Я даю вам честное слово, что Том никогда не был мне никем, кроме как другом.

– Вы снимаете тяжесть с моей души.
Джулия знала, что Долли ей не верит, и Долли это было известно. Долли продолжала:

– Но в таком случае, Джулия, дорогая, ради самой себя будьте благоразумны. Не разгуливайте повсюду с этим молодым человеком. Бросьте его.

– Не могу. Это будет равносильно признанию, что люди были правы, когда злословили о нас. Моя совесть чиста. Я могу позволить себе высоко держать голову. Я стала бы презирать себя, если бы руководствовалась в своих поступках тем, что кто-то что-то обо мне думает.

Долли сунула ноги обратно в туфли и, достав из сумочки помаду, покрасила губы.

– Что ж, дорогая, вы не ребенок и знаете, что делаете.
Расстались они холодно.

Однако две или три оброненные Долли фразы явились для Джулии очень неприятной неожиданностью. Они не выходили у нее из головы. Хотя кого приведет в замешательство, если слухи о нем так близки к истине. Но какое все это имеет значение? У миллиона женщин есть любовники, и это никого не волнует. Она же актриса. Никто не ожидает от актрисы, чтобы она была образцом добропорядочности.

«Это все моя проклятая благопристойность. Она всему причина».

Джулия приобрела репутацию исключительно добродетельной женщины, которой не грозит злословие, а теперь было похоже, что ее репутация – тюремная стена, которую она сама вокруг себя воздвигла. Но это бы еще полбеды. Что имел в виду Том, когда говорил, что она пляшет под его дудку? Это глубоко уязвило Джулию. Дурачок. Как он осмелился?! С этим она тоже не знала, что предпринять. Ей бы хотелось отругать его, но что толку? Он все равно не сознается. Джулии оставалось одно – молчать. Она слишком далеко зашла: снявши голову, по волосам не плачут; приходится принимать все таким, как оно есть. Ни к чему закрывать глаза на правду: Том ее не любит, он стал ее любовником потому, что это льстит его тщеславию, что это открывает ему доступ ко многим приятным вещам, и потому, что, по крайней мере в его собственных глазах, это дает ему своего рода положение.

«Если бы я не была дурой, я бы бросила его. – Джулия сердито засмеялась. – Легко сказать! Я его люблю».

И вот что самое странное: заглянув в свое сердце, она увидела, что возмущается нанесенной ей обидой не Джулия Лэмберт – женщина; той было все равно. Ее уязвила обида, нанесенная Джулии Лэмберт – актрисе. Она часто чувствовала, что ее талант – критики называли его «гений», но это было слишком громкое слово, лучше сказать, ее дар – не она сама и не часть ее, а что-то вне ее, что пользовалось ею, Джулией Лэмберт, для самовыражения. Это была неведомая ей духовная субстанция, озарение, которое, казалось, нисходило на нее свыше и посредством нее, Джулии, свершало то, на что сама Джулия была не способна. Она была обыкновенная, довольно привлекательная стареющая женщина. У ее дара не было ни внешней формы, ни возраста. Это был дух, который играл на ней, как скрипач на скрипке. Пренебрежение к нему, к этому духу, вот что больше всего ее оскорбило.

Джулия попыталась уснуть. Она так привыкла спать днем, что стоило ей лечь, сразу же засыпала, но сегодня она беспокойно ворочалась с боку на бок, а сон все не шел. Наконец Джулия взглянула на часы. Том часто возвращался с работы после пяти. Она страстно томилась по нему, в его

объятиях был покой, когда она была рядом с ним, все остальное не имело значения. Джулия набрала его номер.

– Алло! Да! Кто говорит?

Джулия в панике прижала трубку к уху. Это был голос Роджера. Она дала отбой.

Глава девятнадцатая

Ночью Джулия тоже почти не спала. Она все еще лежала без сна, когда услышала, что вернулся Роджер, и, повернув выключатель, увидела, что было четыре часа. Она нахмурилась. Утром он с грохотом сбежал по ступеням, в то время как она еще только собиралась вставать.

– Можно войти, мамочка?

– Входи.

Он все еще был в пижаме и халате. Она улыбнулась ему: он выглядел таким свежим, таким юным.

– Ты очень поздно вернулся вчера.

– Не очень. Около часа.

– Врунишка! Я поглядела на часы. Было четыре утра.

– Ну, четыре так четыре, – весело согласился он.

– Что вы делали до такого времени, ради всего святого?

– Поехали после спектакля в одно место ужинать. Танцевали.

– С кем?

– С двумя девушками, которых мы там встретили. Том знал их раньше.

– Как их зовут?

– Одну Джил, другую Джун. Фамилий их я не знаю. Джун – актриса.

Она спросила, не смогу ли я устроить ее дублершей в твоей следующей пьесе.

Во всяком случае, ни одна из них не была Эвис Крайтон. Это имя не покидало мыслей Джулии с той минуты, как Долли упомянула его.

– Но ведь такие места закрываются не в четыре утра.

– Да. Мы вернулись к Тому. Том взял с меня слово, что я тебе не скажу. Он думал, ты страшно рассердишься.

– Ну, чтобы я рассердилась, нужна причина поважней. Обещаю, что и словом ему не обмолвлюсь.

– Если кто и виноват, так только я. Я зашел к нему вчера днем, и мы обо всем сговорились. Вся эта ерунда насчет любви, которую слышишь на спектаклях и читаешь в книгах... Мне скоро восемнадцать. Я решил, надо самому попробовать, что это такое.

Джулия села в постели и, широко раскрыв глаза, посмотрела на Роджера вопросительным взглядом.

– Роджер, ради всего святого, о чем ты толкуешь?

Он был, как всегда, сдержан и серьезен.

– Том сказал, что он знает двух девчонок, с которыми можно поладить. Он сам с ними обеими уже переспал. Они живут вместе. Ну, мы позвонили им и предложили встретиться после спектакля. Том сказал им, что я – девственник, пусть кидают жребий, кому я достанусь. Когда мы вернулись к нему в квартиру, он пошел в спальню с Джил, а мне оставил гостиную и Джун.

На какой-то миг мысль о Томе была вытеснена ее тревогой за Роджера.

– И знаешь, мам, ничего в этом нет особенного. Не понимаю, чего вокруг этого поднимают такой шум.

У Джулии сжало горло. Глаза наполнились слезами, они потоком хлынули по щекам.

– Мамочка, что с тобой? Почему ты плачешь?

– Но ты же еще совсем мальчик!

Роджер подошел к ней и, присев на край постели, крепко обнял.

– Ну что ты, мамочка! Ну, не плачь. Если бы я знал, что ты расстроишься, я бы не стал ничего тебе рассказывать. В конце концов, рано или поздно это должно было случиться.

– Но так скоро... Так скоро! Я чувствую себя теперь совсем старухой.

– Ты – старуха?! Только не ты, мамочка. «Над ней не властны годы. Не прискучит ее разнообразие вовек»^[53].

Джулия засмеялась сквозь слезы.

– Глупыш ты, Роджер. Думаешь, Клеопатре понравилось бы то, что сказал о ней этот старый осел? Ты бы мог еще немного подождать.

– И хорошо, что этого не сделал. Теперь я все знаю. По правде говоря, все это довольно противно.

Джулия глубоко вздохнула. Ее обрадовало, что он так нежно ее обнимает, но было ужасно жалко себя.

– Ты не сердись на меня, дорогая? – спросил он.

– Сержусь? Нет. Но уж если это должно было случиться, я бы предпочла, чтобы не так прозаично. Ты говоришь об этом, точно о любопытном научном эксперименте, и только.

– Так оно и было, в своем роде.

Джулия слегка улыбнулась сыну:

– И ты на самом деле думаешь, что это и есть любовь?

– Ну, большинство так считает, разве нет?

– Нет, вовсе нет. Любовь – это боль и мука, стыд, восторг, рай и ад, чувство, что ты живешь в сто раз напряженней, чем обычно, и невыразимая тоска, свобода и рабство, умиротворение и тревога.

В неподвижности, с которой он ее слушал, было что-то, заставившее

Джулию украдкой взглянуть на сына. В глазах Роджера было странное выражение. Она не могла его прочесть. Казалось, он прислушивается к звукам, долетающим до него издалека.

– Звучит не особенно весело, – пробормотал Роджер.

Джулия сжала его лицо, с такой нежной кожей, обеими ладонями и поцеловала в губы.

– Глупая я, да? Я все еще вижу в тебе того малыша, которого когда-то держала на руках.

В его глазах зажегся лукавый огонек.

– Чему ты смеешься, мартышка?

– Чертовски хорошая была фотография, да?

Джулия не могла удержаться от смеха.

– Поросенок. Грязный поросенок.

– Послушай, как насчет Джун? Есть для нее надежда получить роль дублерши?

– Скажи, пусть как-нибудь зайдет ко мне.

Но когда Роджер ушел, Джулия вздохнула. Она была подавлена. Она чувствовала себя очень одиноко. Жизнь ее всегда была так заполнена и так интересна, что у нее просто не хватало времени заниматься сыном. Она, конечно, страшно волновалась, когда он подхватывал коклюш или свинку, но вообще-то ребенок он был здоровый и обычно не особенно занимал ее мысли. Однако сын всегда был к ее услугам, если на нее находила охота с ним повозиться. Джулия часто думала, как будет приятно, когда он вырастет и сможет разделять ее интересы. Мысль о том, что она потеряла его, никогда по-настоящему не обладая им, была для Джулии ударом. Когда она подумала о девице, укравшей у нее сына, губы Джулии сжались.

«Дублерша! Подумать только! Ну и ну!»

Джулия так была поглощена своей болью, что почти не чувствовала горя из-за измены Тома. Джулия и раньше не сомневалась, что он ей неверен. В его возрасте, с его темпераментом, при том, что сама она была связана выступлениями и всевозможными встречами, к которым ее обязывало положение, он, несомненно, не упускал возможности удовлетворять свои желания. Джулия на все закрывала глаза. Она хотела немногого – оставаться в неведении. Сейчас впервые ей пришлось столкнуться лицом к лицу с реальным фактом. «Придется примириться с этим, – вздохнула она. В ее уме одна мысль обгоняла другую. – Все равно что лгать и не подозревать, что лжешь, вот что самое фатальное. Все же лучше знать, что ты дурак, чем быть дураком и не знать этого».

Глава двадцатая

На Рождество Том уехал к родителям в Истбурн. У Джулии было два выступления в «день подарков»^[54], поэтому они остались в городе и пошли в «Савой» на грандиозную встречу Нового года, устроенную Долли де Фриз. Через несколько дней Роджер отправлялся в Вену. Пока он был в Лондоне, Джулия почти не видела Тома. Она не расспрашивала Роджера, что они делают, когда носятся вместе по городу, – не хотела знать; она старалась не думать и отвлекала свои мысли, отправляясь на одну вечеринку за другой. И с ней всегда была ее работа. Стоило Джулии войти в театр, как ее боль, ее унижение, ее ревность утихали. Словно на дне баночки с гримом она находила другое существо, которое не задевали никакие мирские тревоги. Это давало Джулии ощущение силы, чувство торжества. Имея под рукой такое прибежище, она может выдержать все что угодно.

В день отъезда Роджера Том позвонил ей из конторы.

– Ты что-нибудь делаешь сегодня вечером? Не пойти ли нам кутнуть?

– Не могу. Занята.

Это была неправда, но губы сами за нее ответили.

– Да? А как насчет завтра?

Если бы Том выразил разочарование, если бы попросил отменить встречу, на которую, она сказала, идет, у Джулии достало бы сил порвать с ним без лишних слов. Его безразличие сразило ее.

– Завтра? Хорошо.

– О'кей. Захватчу тебя из театра после спектакля. Пока.

Джулия была уже готова и ждала его, когда Том вошел к ней в уборную. Она была в страшной тревоге. Когда Том увидел ее, лицо его озарилось, и не успела Эви выйти из комнаты, как он привлек Джулию к себе и пылко поцеловал.

– Вот так-то лучше, – засмеялся он.

Глядя на него, такого юного, свежего, жизнерадостного, душа нараспашку, нельзя было поверить, что он причиняет ей жестокие муки. Нельзя было поверить, что он обманывает ее. Том даже не заметил, что они не виделись почти две недели. Это было совершенно ясно.

(«О боже, если бы я могла послать его ко всем чертям!»)

Но Джулия взглянула на него с веселой улыбкой в своих прекрасных глазах.

– Куда мы идем?

– Я заказал столик у Квэга. У них в программе новый номер. Какой-то американский фокусник. Говорят – первый класс.

Весь ужин Джулия оживленно болтала. Рассказывала Тому о приемах, на которых она была, и о театральные вечеринках, на которые не могла не пойти. Создавалось впечатление, будто они не виделись так долго только потому, что она, Джулия, была занята. Ее обескураживало то, что он воспринимал это как должное. Том был рад ей, это не вызывало сомнений; он с интересом слушал ее рассказы о ее делах и людях, с которыми она встречалась, но не вызывало сомнения и то, что он несколько по ней не скучал. Чтобы увидеть, как Том это примет, Джулия сказала ему, что получила приглашение поехать с их пьесой на гастроли в Нью-Йорк. Сообщила, какие ей предлагают условия.

– Но это же чудесно! – воскликнул Том, и глаза его заблестели. – Это же верняк. Ты ничего не теряешь и можешь заработать кучу денег.

– Да, все так, но мне не очень-то хочется покидать Лондон.

– Почему, ради всего святого? Да я бы на твоём месте ухватился за их предложение обеими руками. Пьеса уже давно не сходит со сцены, чего доброго, к Пасхе театр совсем перестанут посещать, и, если ты хочешь завоевать Америку, лучшего случая не найдешь.

– Не вижу, почему бы ей не идти все лето. К тому же я не люблю новых людей. Предпочитаю оставаться с друзьями.

– По-моему, это глупо. Твои друзья прекрасно без тебя проживут. И ты здорово проведешь время в Нью-Йорке.

Ее звонкий смех звучал вполне убедительно.

– Можно подумать, ты просто мечтаешь от меня избавиться.

– Конечно же, я буду чертовски по тебе скучать. Но ведь мы расстанемся всего на несколько месяцев. Если бы мне представилась такая возможность, уж я бы ее не упустил.

Когда они кончили ужинать и швейцар вызвал им такси, Том дал адрес своей квартиры, словно это разумелось само собой. В такси он обвил рукой ее талию и поцеловал, и позднее, когда она лежала в его объятиях на небольшой односпальной кровати, Джулия почувствовала, что вся та боль, которая терзала ее последние две недели, – недорогая цена за счастливый покой, наполнивший теперь ее сердце.

Джулия продолжала ходить с Томом в модные рестораны и ночные кабаре. Если людям нравится думать, что Том ее любовник, пускай, ей это безразлично. Но все чаще, когда Джулии хотелось куда-нибудь с ним пойти, Том оказывался занят. Среди ее аристократических друзей распространился

слух, что Том Феннел может дать толковый совет, как сократить подоходный налог. Денноранты пригласили его на уик-энд в свой загородный дом, и он встретил там кучу их приятелей, которые были рады воспользоваться его профессиональными познаниями. Том начал получать приглашения от неизвестных Джулии персон. Общие знакомые могли сказать ей:

– Вы ведь знаете Тома Феннела? Очень неглуп, правда? Я слышал, он помог Джиллианам сэкономить на подоходном налоге несколько сот фунтов.

Джулии все это сильно не нравилось. Раньше попасть к кому-нибудь в гости Том мог только через нее. Похоже, что теперь он вполне способен обойтись без ее помощи. Том был любезен и скромен, очень хорошо одевался и всегда имел свежий и аккуратный вид, располагающий к нему людей; к тому же мог помочь им сберечь деньги. Джулия достаточно хорошо изучила тот мирок, куда он стремился проникнуть, и понимала, что он скоро создаст себе там прочное положение. Джулия была не очень высокого мнения о нравственности женщин, которых он там встретит, и могла назвать не одну титулованную особу, которая будет рада его подцепить. Единственное, что ее утешало: все они были скупы – снега зимой не выпросишь. Долли сказала, что он получает четыреста фунтов в год; на такие деньги в этих кругах не проживешь.

Джулия решительно отказалась от поездки в Америку еще до того, как говорила об этом с Томом; зрительный зал каждый день был переполнен. Но вот неожиданно во всех театрах Лондона начался необъяснимый застой – публика почти совсем перестала их посещать, что немедленно сказалось на сборах. Похоже, спектакль действительно не продержится дольше Пасхи. У них была в запасе новая пьеса, на которую они возлагали большие надежды. Называлась она «Нынешние времена», и они намеревались открыть ею осенний сезон. В ней была великолепная роль для Джулии и то преимущество, что и Майклу тоже нашлась роль в его амплуа. Такие пьесы не выходят из репертуара по году. Майклу не очень-то улыбалась мысль ставить ее в мае, когда впереди лето, но иного выхода, видимо, не было, и он начал подбирать для нее актерский состав.

Как-то днем во время антракта Эви принесла Джулии записку. Она с удивлением узнала почерк Роджера.

Дорогая мама!

Разреши представить тебе мисс Джун Денвер, о которой я тебе говорил. Ей страшно хочется попасть в «Сиддонс-театр», и

она будет счастлива, если ты возьмешь ее в дублерши даже на самую маленькую роль.

Джулия улыбнулась официальному тону записки; ее позабавило, что ее сын уже такой взрослый, даже пытается составить протекцию своим подружкам. И тут она вдруг вспомнила, кто такая эта Джун Денвер. Джун и Джил. Та самая девица, которая совратила бедного Роджера. Джулия нахмурилась. Любопытно все же взглянуть на нее.

– Джордж еще не ушел?

Джордж был их привратник. Эви кивнула и открыла дверь.

– Джордж!

Он вошел.

– Та дама, что принесла письмо, сейчас здесь?

– Да, мисс.

– Скажите ей, что я приму ее после спектакля.

В последнем действии Джулия появлялась в вечернем платье с треном; платье было очень роскошное и выгодно подчеркивало ее прекрасную фигуру. В темных волосах сверкала бриллиантовая диадема, на руках – бриллиантовые браслеты. Как и требовалось по роли, поистине величественный вид. Джулия приняла Джун Денвер сразу же, как закончились вызовы. Она умела в мгновение ока переходить с подмостков в обычную жизнь, но сейчас без всякого усилия со своей стороны Джулия продолжала изображать надменную, холодную, величавую, хотя и учтивую героиню пьесы.

– Я и так заставила вас долго ждать и подумала, что не буду откладывать нашу встречу, потом переоденусь.

Карминные губы Джулии улыбались улыбкой королевы, ее снисходительный тон держал на почтительном расстоянии. Она с первого взгляда поняла, что представляет собой девушка, которая вошла в ее уборную. Молоденькая, с кукольным личиком и курносым носиком, сильно и не очень-то искусно накрашенная.

«Ноги слишком коротки, – подумала Джулия, – весьма заурядная девица».

На ней, видимо, было ее парадное платье, и тот же взгляд рассказал о нем Джулии все.

(«Шафтсбери-авеню. Распродажа по сниженным ценам».)

Бедняжка страшно нервничала. Джулия указала ей на стул и предложила сигарету.

– Спички рядом с вами.

Когда девушка попыталась зажечь спичку, Джулия увидела, что руки у нее дрожат. Первая сломалась, второй пришлось три раза чиркнуть по коробку, прежде чем она вспыхнула.

(«Если бы Роджер видел ее сейчас! Дешевые румяна, дешевая помада, и до смерти напугана. Веселая девчушка, так он о ней думал».)

– Вы давно на сцене, мисс... Простите, я забыла ваше имя.

– Джун Денвер. – В горле девушки пересохло, она с трудом могла говорить. Сигарета ее погасла, и она беспомощно держала ее в руке. – Два года, – ответила она на вопрос Джулии.

– Сколько вам лет?

– Девятнадцать.

(«Врешь. Добрых двадцать два».)

– Вы знакомы с моим сыном?

– Да.

– Он только что окончил Итон. Уехал в Вену изучать немецкий язык. Конечно, он еще очень молод, но мы с его отцом решили, что ему будет полезно провести несколько месяцев за границей, прежде чем поступать в Кембридж. А в каких амплуа вы выступали? Ваша сигарета погасла. Возьмите другую.

– О, не важно, спасибо. Я играла в провинции. Но мне страшно хочется играть в Лондоне.

Отчаяние придало ей храбрости, и она произнесла небольшую речь, явно заготовленную заранее:

– Я невероятно восхищаюсь вами, мисс Лэмберт. Я всегда говорила, что вы – величайшая актриса английской сцены. Я научилась у вас больше, чем за все годы, что провела в Королевской академии драматического искусства. Мечта моей жизни – играть в вашем театре, мисс Лэмберт. Если бы вы смогли дать мне хоть самую маленькую роль! Это величайший шанс, о котором только можно мечтать.

– Снимите, пожалуйста, шляпу.

Джун Денвер сняла дешевенькую шляпку и быстрым движением потрянула своими коротко стриженными кудряшками.

– Красивые волосы, – сказала Джулия.

Все с той же чуть надменной, но беспредельно приветливой улыбкой, улыбкой королевы, которую та дарует подданным во время торжественных процессий, Джулия пристально глядела на Джун. Она ничего не говорила. Она помнила афоризм Жанны Тэбу: «Не делай паузы, если в этом нет крайней необходимости, но уж если сделала, тяни ее сколько сможешь». Джулия, казалось, слышала, как громко бьется сердце девушки, видела, как

та съеживается в своей купленной на распродаже одежде, съеживается в собственной коже.

– Что навело вас на мысль попросить у моего сына рекомендательное письмо?

Джун так покраснела, что это было видно даже под румянами, и, прежде чем ответить, проглотила комок в горле.

– Я встретила его у одного своего приятеля и сказала ему, как я вами восхищаюсь, а он сказал, что, возможно, у вас найдется что-нибудь для меня в следующей пьесе.

– Я сейчас перебираю в уме все роли.

– Я и не мечтаю о роли. Если бы я могла быть дублершей... Я хочу сказать, это дало бы мне возможность посещать репетиции и изучить вашу технику. Это уже само по себе школа. Все так говорят.

(«Дурочка, пытается мне польстить. Словно я сама этого не знаю. А какого черта я буду ее учить?»)

– Очень мило с вашей стороны так на это смотреть. Я самая обыкновенная женщина, поверьте. Публика так ко мне добра, так добра... Вы – хорошенькая девушка. И молоденькая. Юность прекрасна. Мы всегда старались предоставить молодежи возможность себя показать. В конце концов мы не вечны, и мы считаем своим долгом перед публикой готовить смену, которая займет наше место, когда придет срок.

Джулия произнесла эти слова своим прекрасно поставленным голосом так просто, что Джун Денвер воспрянула духом. Ей удалось обвести старуху, место дублерши у нее в кармане! Том Феннел сказал: если она не будет дурой, то знакомство с Роджером вполне может к чему-нибудь привести.

– Ну, это случится еще не скоро, мисс Лэмберт, – сказала она, и ее глазки, хорошенькие темные глазки, засверкали.

(«Тут ты права, голубушка, еще как права. Поспорю, сыграю лучше тебя даже в семьдесят».)

– Я должна подумать. Я еще не знаю, какие дублеры понадобятся нам для следующей пьесы.

– Поговаривают, что Эвис Крайтон будет играть девушку. Я могла бы дублировать ее.

Эвис Крайтон. На лице Джулии не дрогнул ни один мускул; никто бы не догадался, что это имя для нее что-нибудь значит.

– Мой муж упоминал о ней, но еще ничего не решено. Я ее совсем не знаю. Она талантлива?

– Думаю, что да. Я была вместе с ней в театральной школе.

– И говорят, хорошенькая, как картинка. – Поднявшись, чтобы показать, что аудиенция окончена, Джулия сбросила с себя королевский вид. Она изменила тон и в одну секунду стала славной, добродушной актрисой, которая с радостью окажет дружескую услугу, если это в ее силах. – Ну, милочка, оставьте мне ваше имя и адрес, и если что-нибудь появится, я вам сообщу.

– Вы не забудете про меня, мисс Лэмберт?

– Нет, милочка, обещаю, что нет. Было так приятно с вами познакомиться. Вы славная девочка. Найдете сами выход? До свиданья.

«Черта лысого она получит что-нибудь в моем театре, – подумала Джулия, когда та ушла. – Грязная шлюха, совратить моего сыночка! Бедный ягненок. Стыд и срам, да и только; таких надо карать по всей строгости закона».

Снимая свое великолепное платье, Джулия посмотрела в зеркало. Взгляд у нее был жесткий, губы кривила ироническая усмешка. Она обратилась к своему отражению:

– И могу сказать тебе, подруга, есть еще один человек, который не будет у нас играть ни в «Нынешних временах», ни вообще. Это Эвис Крайтон.

Глава двадцать первая

Но неделю спустя Майкл упомянул ее имя.

– Послушай, ты слышала о девушке, которую зовут Эвис Крайтон?

– Никогда.

– Говорят, она очень неплоха. Леди и все такое прочее. Ее отец из военных. Я подумал, не подойдет ли она на роль Онор.

– Как ты о ней узнал?

– От Тома. Он знаком с ней. Говорит, у нее есть талант. Через неделю будет выступать в воскресном театре. Том считает, что стоит на нее посмотреть.

– Что ж, пойд и посмотри.

– Я собирался поехать на уик-энд в Сэндуич поиграть в гольф. Тебе очень не хочется идти? Пьеса наверняка дрянь, но ты сможешь сказать, стоит ли давать ей читать роль. Том составит тебе компанию.

Сердце Джулии неистово билось.

– Разумеется, я пойду.

В воскресенье она позвонила Тому и пригласила его зайти к ним перекусить перед театром. Том появился раньше, чем Джулия была готова.

– Я задержалась или ты поспешил? – спросила она, входя в гостиную.

Джулия увидела, что Том с трудом сдерживает нетерпение. Он нервничал и сидел как на иголках.

– Третий звонок ровно в восемь, – ответил он. – Терпеть не могу приходить в театр после начала спектакля.

Его возбуждение сказало Джулии все, что она хотела знать. Она не стала торопиться, когда пила свой коктейль.

– Как зовут актрису, которую мы идем смотреть? – спросила она.

– Эвис Крайтон. Мне страшно хочется услышать о ней твое мнение. Я думаю, что она – находка. Она знает, что ты сегодня придешь, и страшно волнуется, но я сказал ей, что для этого нет оснований. Ты сама знаешь, что такое воскресные спектакли: репетиции наспех и все такое; я сказал ей, что ты это понимаешь и примешь все в расчет.

В течение обеда Том беспрестанно посматривал на часы. Джулия занимала его великосветской беседой. Она говорила то на одну тему, то на другую, хотя Том еле слушал. Как только ему удалось, он опять перевел разговор на Эвис Крайтон.

– Конечно, я ей об этом и не заикнулся, но, по-моему, она подойдет для

Онор. – Он уже прочел «Нынешние времена», как читал все пьесы, которые ставились у них в театре, еще до постановки. – Она просто создана для этой роли. Ей пришлось побороться, чтобы встать на ноги, и, конечно, это для нее замечательный шанс. Она невероятно тобой восхищается и страшно хочет сыграть вместе с тобой.

– Ничего удивительного. Это значит – пробыть на сцене не меньше года и показаться куче антрепренеров.

– Она – очень светлая блондинка; как раз то, что нужно: будет хорошо оттенять тебя.

– Ну, при помощи перекиси водорода блондинок на сцене хоть пруд пруди.

– Но она – натуральная блондинка.

– Да? Я сегодня получила от Роджера большое письмо. Похоже, он прекрасно проводит время.

Том сразу потерял интерес к разговору. Поглядел на часы. Когда подали кофе, Джулия сказала, что его нельзя пить. Она велела сварить другой, свежий.

– О, Джулия, право, не стоит. Мы опоздаем.

– Какое это имеет значение, даже если мы пропустим несколько минут?

В голосе Тома зазвучало страдание:

– Я обещал, что мы придем вовремя. У нее очень хорошая сцена почти в самом начале.

– Мне очень жаль, но, не выпив кофе, я идти не могу.

Пока они его ждали, Джулия поддерживала оживленный разговор. Том едва отвечал и нетерпеливо посматривал на дверь. Когда наконец принесли кофе, Джулия пила его со сводящей с ума медлительностью. К тому времени как они сели в машину, Том был в состоянии холодного бешенства и просидел всю дорогу с надутой физиономией, не глядя на нее. Джулия была вполне довольна собой. Они подъехали к театру за две минуты до поднятия занавеса, и когда Джулия появилась в зале, раздались аплодисменты. Прося извинить ее за беспокойство, Джулия пробралась на свое место в середине партера. Слабая улыбка выражала признательность за аплодисменты, которыми публика приветствовала ее на редкость своевременное появление, а опущенные глаза скромно отрицали, что они имеют к ней хоть какое-то отношение.

Поднялся занавес, и после короткой вступительной сценки появились две девушки, одна – очень хорошенькая и молоденькая; другая – не такая молоденькая и некрасивая. Через минуту Джулия повернулась к Тому.

– Которая из них Эвис Крайтон – молодая или та, что постарше?

– Молодая.

– Да, конечно же, ты ведь говорил, что она блондинка.

Джулия взглянула на него. Лицо Тома больше не хмурилось, на губах играла счастливая улыбка. Джулия обратила все внимание на сцену. Эвис Крайтон была очень хороша собой, с этим не приходилось спорить, с прелестными золотистыми волосами, выразительными голубыми глазами и маленьким прямым носиком, но Джулии не нравился такой тип женщин.

«Преснятина, – сказала она себе. – Так, хористочка».

Несколько минут она очень внимательно следила за ее игрой, затем с легким вздохом откинулась в кресле.

«Абсолютно не умеет играть» – таков был ее приговор.

Когда опустился занавес, Том с жадным интересом повернулся к ней. Плохого настроения как не бывало.

– Что ты о ней думаешь?

– Хорошенькая, как картинка.

– Это я и сам знаю. Я спрашиваю о ее игре. Ты согласна со мной – она талантлива?

– Да, у нее есть способности.

– Ты не можешь пойти за кулисы и сказать ей это? Это очень ее подбодрит.

– Я?

Он просто не понимает, о чем просит. Неслыханно! Она, Джулия Лэмберт, пойдет за кулисы поздравлять какую-то третьеразрядную актрисочку!

– Я обещал, что приведу тебя после второго акта. Ну же, Джулия, будь человеком! Это доставит ей такую радость.

(«Дурак! Чертов дурак! Хорошо, я и через это пройду».)

– Конечно, если ты думаешь, что это что-нибудь для нее значит, я – с удовольствием.

После второго акта они прошли через сцену за кулисы, и Том провел Джулию в уборную Эвис Крайтон. Она делила ее с той некрасивой девушкой, с которой появилась в первом акте. Том представил их друг другу. Эвис несколько аффектированно протянула Джулии вялую руку.

– Я так рада познакомиться с вами, мисс Лэмберт. Простите за беспорядок. Что толку было убирать здесь на какой-то один вечер.

Она отнюдь не нервничала. Напротив, казалась достаточно уверенной в себе.

(«Прошла огонь и воду. Корыстная. Изображает передо мной

полковничью дочь».)

– Так любезно с вашей стороны было зайти ко мне. Боюсь, пьеса не очень интересная, но, когда начинаешь, приходится брать, что дают. Я долго колебалась, когда мне прислали ее почитать, но мне понравилась роль.

– Ваше исполнение прелестно, – сказала Джулия.

– Вы очень добры! Конечно, если бы было больше репетиций... Вам мне особенно хотелось показать, что я могу.

– Ну, знаете, я уже не первый год на сцене. Я всегда считала: если у человека есть талант, он проявит его в любых условиях. Вам не кажется?

– Я понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, мне не хватает опыта, я не отрицаю, но главное – удачный случай. Я чувствую, что могу играть. Только бы получить роль, которая мне по зубам.

Эвис замолчала, предоставляя Джулии возможность сказать, что в их новой пьесе есть как раз такая роль, но Джулия продолжала с улыбкой молча глядеть на нее. Джулию забавляло, что та обращается с ней как жена сквайра, желающая быть любезной с женой викария.

– Вы давно в театре? – спросила она наконец. – Странно, что я никогда о вас не слышала.

– Ну, какое-то время я выступала в ревю, но почувствовала, что впустую трачу время. Весь прошлый сезон я была в турне. Мне бы не хотелось снова уезжать из Лондона.

– В Лондоне актеров больше, чем ролей, – сказала Джулия.

– О, без сомнения. Попасть на сцену почти безнадежно, если не имеешь поддержки. Я слышала, вы скоро ставите новую пьесу.

– Да.

Джулия продолжала улыбаться: мало сказать сладко – прямо приторно.

– Если бы для меня нашлась там роль, я была бы счастлива сыграть с вами. Мне очень жаль, что мистер Госселин не смог сегодня прийти.

– Я расскажу ему о вас.

– Вы правда думаете, что у меня есть шансы? – Сквозь всю ее самоуверенность, сквозь манеры хозяйки загородного поместья, которую она решила разыграть, чтобы произвести впечатление на Джулию, проглянула жгучая тревога. – Ах, если бы вы замолвили за меня словечко!

Джулия кинула на нее задумчивый взгляд.

– Я следую советам мужа чаще, чем он моим, – улыбнулась она.

Когда она выходила из уборной Эвис Крайтон – той пора уже было переодеваться к третьему акту, – Джулия поймала вопросительный взгляд, брошенный на Тома, в то время как она прощалась. Джулия была уверена,

хотя не заметила никакого движения, что он чуть качнул головой. Все чувства ее в тот момент были обострены, и она перевела немой диалог в слова:

«Пойдешь ужинать со мной после спектакля?»

«Нет, будь оно все проклято, не могу. Надо проводить ее домой».

Третий акт Джулия слушала с суровым видом. И вполне естественно – пьеса была серьезная. Когда спектакль окончился и бледный взволнованный автор произнес с бесконечными паузами и запинками несколько положенных слов, Том спросил, где бы ей хотелось поужинать.

– Поедем домой и поговорим, – сказала Джулия. – Если ты голоден, на кухне наверняка что-нибудь найдется поесть.

– Ты имеешь в виду Стэнхоуп-плейс?

– Да.

– Хорошо.

Джулия почувствовала, что у него отлегло от сердца: он боялся, как бы она не поехала к нему. В машине Том молчал, и Джулия знала почему. Она догадалась, что где-то устраивается вечеринка, на которую идет Эвис Крайтон, и Тому хочется быть там. Когда они подъехали к дому, там было темно и тихо. Слуги уже спали. Джулия предложила, чтобы они спустились вниз, в кухню, и раздобыли себе какой-нибудь еды.

– Я не голоден, но, может быть, ты хочешь есть, – сказал Том. – Выпью виски с содовой и лягу спать. У меня завтра трудный день в конторе.

– Хорошо, принеси мне то же в гостиную. Я зажгу свет.

Когда Том вошел, Джулия пудрилась и красила губы перед зеркалом и перестала, только когда он налил виски и сел. Тогда она обернулась. Том выглядел таким молодым, таким неправдоподобно прелестным в своем великолепно сшитом костюме, когда сидел вот так, утонув в большом кресле, что вся горечь этого вечера, вся жгучая ревность, снедавшая ее последние дни, внезапно исчезли, растворились в ее страстной любви к нему. Джулия села на ручку кресла и нежно провела рукой по его волосам. Он отпрянул с сердитым жестом.

– Не делай этого, – сказал он. – Терпеть не могу, когда мне треплют волосы.

Словно острый нож вонзился Джулии в сердце. Том еще никогда не говорил с ней таким тоном. Но она беспечно рассмеялась и, взяв со столика бокал с виски, которое он ей налил, села в кресло напротив. Его слова и жест были произвольны, Том даже сам слегка смутился. Он не глядел ей в глаза, лицо снова стало хмурым. Это был решающий момент. Несколько минут они молчали. Каждый удар сердца причинял Джулии боль. Наконец

она заставила себя заговорить.

– Скажи мне, – сказала улыбаясь, – ты спал с Эвис Крайтон?

– Конечно, нет! – вскричал он.

– Почему же? Она хорошенькая.

– Она не из таких. Я ее уважаю.

Лицо Джулии не выдало ни одного из охвативших ее чувств. Никто бы не догадался по ее тону, что речь идет о самом главном для нее – так она могла бы говорить о падении империй и смерти королей.

– Ты знаешь, что бы я сказала? Я бы сказала, что ты в нее безумно влюблен.

Том все еще избегал ее взгляда.

– Ты с ней, случайно, не помолвлен?

– Нет.

Теперь он глядел на нее, но взгляд его был враждебным.

– Ты просил ее выйти за тебя замуж?

– Как я могу?! Я, последняя дрянь!..

Он говорил с таким пылом, что Джулия даже удивилась.

– О чем, ради всего святого, ты болтаешь?

– Зачем играть в прятки? Как я могу предложить руку приличной девушке? Кто я? Мужчина, живущий на содержании, и – видит бог! – тебе это известно лучше, чем кому-нибудь другому.

– Не болтай глупостей. Столько шума из-за несчастных нескольких подарков.

– Мне не следовало их брать. Я с самого начала знал, что это дурно. Все делалось так постепенно, я и сам не понимал, что происходит, пока не увяз по самую шею. Мне не по карману жизнь, в которую ты меня втравила. Я не знал, как выйти из положения. Пришлось взять деньги у тебя.

– Почему бы и нет? В конце концов, я очень богата.

– Будь проклято твое богатство!

Том держал в руке бокал с виски и, поддавшись внезапному порыву, швырнул его в камин. Бокал разбился на мелкие осколки.

– Ну, разбивать счастливый семейный очаг все же не стоит, – улыбнулась Джулия.

– Прости. Я не хотел. – Том снова кинулся в кресло и отвернулся от нее. – Я стыжусь самого себя! Потерял к себе всякое уважение. Думаешь, это приятно?

Джулия промолчала. Она не нашла, что сказать.

– Казалось вполне естественным помочь тебе, когда ты попал в беду.

Для меня это было удовольствие.

– О, ты поступала всегда с таким тактом! Ты уверила меня, что я чуть ли не оказываю тебе услугу, когда разрешаю платить мои долги. Ты облегчила мне возможность стать подлецом.

– Мне очень жаль, если ты так думаешь.

Голос ее зазвучал колко. Джулия начала сердиться.

– Тебе не о чем жалеть. Ты хотела меня, и ты меня купила. Если я оказался настолько низок, что позволил себя купить, тем хуже для меня.

– И давно ты так чувствуешь?

– С самого начала.

– Это неправда.

Джулия знала, что пробудило в нем угрызения совести – любовь к чистой, как он полагал, девушке. Бедный дурачок! Неужели он не понимает, что Эвис Крайтон ляжет в постель хоть со вторым помощником режиссера, если решит, что тот даст ей роль.

– Если ты влюбился в Эвис Крайтон, почему не сказал мне об этом?

Том поглядел на нее жалкими глазами и ничего не ответил.

– Неужели ты боялся, что я помешаю ей принять участие в нашей новой пьесе? Ты бы мог уже достаточно хорошо меня знать и понимать, что я не позволю чувствам мешать делу.

Том не верил своим ушам.

– Что ты имеешь в виду?

– Я думаю, что Эвис – находка. Я собираюсь сказать Майклу, что она нам вполне подойдет.

– О, Джулия, ты – молодчина! Я и не представлял, что ты такая замечательная женщина!

– Спросил бы меня, я бы тебе сказала.

Том облегченно вздохнул.

– Моя дорогая! Я так к тебе привязан.

– Я знаю, я тоже. С тобой так весело всюду ходить, и ты так великолепно держишься и одет со вкусом, любая женщина может тобой гордиться. Мне нравилось с тобой спать, и мне казалось, что тебе тоже нравится со мной спать, но надо смотреть фактам в лицо: я никогда не была в тебя влюблена, как и ты – в меня. Я знала, что рано или поздно наша связь должна кончиться. Ты должен был когда-нибудь влюбиться, и это, естественно, положило бы всему конец. И теперь это произошло, да?

– Да.

Джулия сама хотела это услышать от него, но боль, которую причинило ей это короткое слово, была ужасна. Однако она дружелюбно

улыбнулась.

– Мы с тобой очень неплохо проводили время, но тебе не кажется, что пора прикрыть лавочку?

Джулия говорила таким естественным, даже шутливым тоном, что никто не заподозрил бы, какая невыносимая мука разрывает ей сердце. Она ждала ответа со страхом, вызывающим дурноту.

– Мне ужасно жаль, Джулия, но я должен вернуть себе чувство самоуважения. – Том взглянул на нее встревоженными глазами. – Ты не сердишься на меня?

– За что? За то, что ты перенес свои ветреные чувства с меня на Эвис Крайтон? – Ее глаза заискрились лукавым смехом. – Конечно, нет, милый. В конце концов, актерской братии ты не изменил.

– Я так благодарен тебе за все, что ты для меня сделала. Поверь, это действительно так.

– Полно, малыш, не болтай чепухи. Ничего я не сделала для тебя. – Джулия поднялась. – Ну, теперь тебе и правда пора ложиться. У тебя завтра тяжелый день в конторе, а я устала как собака.

У Тома гора с плеч свалилась. И все же что-то скребло у него на сердце, его озадачивал тон Джулии, такой благожелательный и вместе с тем чуть-чуть иронический; у него было смутное чувство, будто его оставили в дураках. Он подошел к Джулии, чтобы поцеловать ее на ночь. Какую-то долю секунды она колебалась, затем с дружеской улыбкой подставила по очереди обе щеки.

– Ты ведь знаешь дорогу к себе в комнату? – Она прикрыла рот рукой, чтобы скрыть тщательно продуманный зевок. – Ах, я так хочу спать!

Когда Том вышел, Джулия погасила свет и подошла к окну. Осторожно посмотрела наружу через занавески. Хлопнула входная дверь, и на улице появился Том. Оглянувшись по сторонам, Джулия догадалась, что он ищет такси. Видимо, его не было, и Том зашагал пешком по направлению к парку. Она знала, что он торопится на вечеринку, где была Эвис Крайтон, чтобы сообщить ей радостные новости. Джулия упала в кресло. Она играла весь вечер, играла как никогда и сейчас чувствовала себя совершенно измученной. Слезы – слезы, которых на этот раз никто не видел, – покатались у нее по щекам. Ах, она так несчастна! Лишь одно помогало ей вынести горе – жгучее презрение, которое она не могла не испытывать к глупому мальчишке: предпочел ей третьеразрядную актрисочку, которая даже не представляет, что такое настоящая игра! Это было нелепо. Эвис Крайтон не знает, куда ей девать руки; да что там, она даже ходить по сцене еще не умеет.

«Если бы у меня осталось чувство юмора, я бы смеялась до упаду, – всхлипнула Джулия. – Ничего смешнее я не видела».

Интересно, как поведет себя Том? В конце квартала надо платить за квартиру. Почти вся мебель принадлежит ей. Вряд ли ему захочется возвращаться в свою жалкую комнату на Тэвисток-сквер. Джулия подумала, что при ее помощи Том завел много новых друзей. Он держался с ними умно, старался быть им полезным; они его не оставят. Но водить Эвис всюду, куда ей захочется, ему будет не так-то легко. Милая крошка весьма меркантильна, Джулия не сомневалась, что она и думать о нем забудет, как только его деньги иссякнут. Надо быть дураком, чтобы попасться на ее удочку. Тоже мне праведница! Любому ясно, что она использовала его, чтобы получить роль в «Сиддонс-театре», и, как только добьется своего, выставит его за дверь. При этой мысли Джулия вздрогнула. Она обещала Тому взять Эвис Крайтон в «Нынешние времена» потому, что это хорошо вписывалось в мизансцену, которую она разыгрывала, но она не придавала никакого значения своему обещанию. У нее всегда был в запасе Майкл, чтобы воспротивиться этому.

– Черт подери, она получит эту роль, – громко произнесла Джулия. Она мстительно засмеялась. – Видит бог, я женщина незлобивая, но всему есть предел.

Будет так приятно отплатить Тому и Эвис Крайтон той же монетой. Джулия продолжала сидеть, не зажигая света; она обдумывала, как это лучше сделать. Однако время от времени она вновь принималась плакать, так как из глубины подсознания всплывали картины, которые были для нее пыткой. Она вспоминала стройное юное тело Тома, прижавшееся к ней, его жаркую наготу, неповторимый вкус его губ, застенчивую и вместе с тем лукавую улыбку, запах его кудрявых волос.

«Дура, дура, зачем я не промолчала! Пора мне уже его знать. Это – очередное увлечение. Оно бы прошло, и он снова вернулся бы ко мне».

Джулия была полумертвой от усталости. Она поднялась к себе в спальню. Проглотила снотворное. Легла в постель.

Глава двадцать вторая

Но проснулась она рано, в шесть утра, и принялась думать о Томе. Повторила про себя все, что она сказала ему, и все, что он сказал ей. Она была измучена и несчастна. Утешало ее лишь сознание, что она провела всю сцену их разрыва с беззаботной веселостью и Том вряд ли мог догадаться, какую он нанес ей рану.

Весь день Джулия была не в состоянии думать ни о чем другом и сердилась на себя за то, что она не в силах выкинуть Тома из головы. Ей было бы легче, если бы она могла поделиться своим горем с другом. Ах, если бы кто-нибудь ее утешил, сказал, что Том не стоит ее волнений, заверил, что он безобразно с ней поступил. Как правило, Джулия рассказывала о своих неприятностях Чарлзу или Долли. Конечно, Чарлз посочувствует ей от всего сердца, но это будет для него страшным ударом, в конце концов, он безумно любит ее вот уже двадцать лет, и просто жестоко говорить ему, что она отдала самому заурядному мальчишке сокровище, за которое он, Чарлз, пожертвовал бы десятью годами жизни. Она была для Чарлза кумиром, бессердечно с ее стороны свергать этот кумир с пьедестала. Мысль о том, что Чарлз Тэмерли, такой аристократичный, такой образованный, такой элегантный, любит ее все с той же преданностью, несомненно, пошла Джулии на пользу. Долли, конечно, была бы в восторге, если бы Джулия доверилась ей. Они редко виделись последнее время, но Джулия знала, что стоит ей позвонить – и Долли мигом прибежит. Долли страшно возмутится и сойдет с ума от ревности, когда Джулия сама чистосердечно ей во всем признается; хотя Долли и так подозревает правду. Но она так обрадуется, что все кончено, она простит. С каким удовольствием они станут костить Тома! Разумеется, признаваться, что Том дал ей отставку, удовольствие маленькое, а Долли не проведешь, она и не подумает поверить, если наврать ей, будто Джулия сама бросила его. Джулии хотелось хорошенько выплакаться, а с какой стати плакать, если ты своими руками разорвала связь. Для Долли это очко в ее пользу, при всем ее сочувствии она всего-навсего человек – вполне естественно, если она порадуется в глубине души, что с Джулии немного сбили спесь. Долли всегда боготворила ее. Джулия не была намерена обнаруживать перед ней свое слабое место.

«Похоже, что единственный, к кому я могу сейчас пойти, – Майкл, – усмехнулась Джулия. – Но, пожалуй, все же не стоит».

Она в точности представила себе, что он скажет:

«Дорогая, право же, это не очень удобно – рассказывать мне такие истории. Черт подери, ты ставишь меня в крайне неловкое положение. Я лью себя мыслью, что достаточно широко смотрю на вещи. Пусть я актер, но в конечном счете я джентльмен, и... ну... ну, я хочу сказать... я хочу сказать, это такой дурной тон».

Майкл вернулся домой только днем, и когда он зашел в комнату Джулии, она отдыхала. Он рассказал, как провел уик-энд и с каким результатом сыграл в гольф. Играл он очень хорошо, некоторые из его ударов были просто великолепны, и он описал их во всех подробностях.

– Между прочим, как эта девушка, которую ты ходила смотреть вчера вечером, ничего? Будет из нее толк?

– Ты знаешь, да. Очень хорошенькая. Ты сразу влюбишься.

– Дорогая, в моем возрасте! А играть она может?

– Она, конечно, неопытна. Но мне кажется, в ней что-то есть.

– Что ж, надо ее вызвать и внимательно к ней присмотреться. Как с ней связаться?

– У Тома есть ее адрес.

– Пойду ему позвоню.

Майкл снял трубку и набрал номер Тома. Том был дома, и Майкл записал адрес в блокнот.

Пауза – Том что-то ему говорил.

– Вот оно что, старина... Мне очень жаль это слышать. Да, не повезло.

– В чем дело? – спросила Джулия.

Майкл сделал ей знак молчать.

– Ну, я на тебя нажимать не буду. Не беспокойся. Я уверен, мы сможем прийти к какому-нибудь соглашению, которое тебя устроит. – Майкл прикрыл рукой трубку и обернулся к Джулии. – Звать его к обеду?

– Как хочешь.

– Джулия спрашивает, не придешь ли ты к нам пообедать в воскресенье. Да? Очень жаль. Ну, пока, старина.

Майкл положил трубку.

– У него свидание. Что, молодой негодяй закрутил романчик с этой девицей?

– Уверяет, что нет. Говорит, что уважает ее. У нее отец полковник.

– О, так она леди?

– Одно не обязательно вытекает из другого, – отозвалась Джулия ледяным тоном. – О чем вы с ним толковали?

– Том сказал, что ему снизили жалованье. Тяжелые времена. Хочет

отказаться от квартиры. – У Джулии вдруг кольнуло в сердце. – Я сказал ему, пусть не тревожится. Пусть живет бесплатно до лучших времен.

– Не понимаю этого твоего бескорыстия. В конце концов, у вас чисто деловое соглашение.

– Ну, ему и без того не повезло, а он еще так молод. И знаешь, он нам полезен: когда не хватает кавалера к обеду, стоит его позвать, и он тут как тут, и так удобно иметь кого-нибудь под рукой, когда хочется поиграть в гольф. Каких-то двадцать пять фунтов в квартал.

– Ты – последний человек на свете, от которого я ждала бы, что он станет раздавать свои деньги направо и налево.

– О, не волнуйся. Что потеряю на одном, выиграю на другом, у разбитого корыта сидеть не буду.

Пришла массажистка и положила конец разговору. Джулия была рада, что приближается время идти в театр, – скорее пройдет этот злосчастный день. Когда она вернется, опять примет снотворное и получит несколько часов забвения. Ей казалось, что через несколько дней худшее останется позади, боль притупится; сейчас самое главное – как-то пережить эти дни. Нужно чем-то отвлечь себя. Вечером она велела дворецкому позвонить Чарлзу Тэмерли, узнать, не пойдет ли он с ней завтра на ленч к Ритцу.

Во время ленча Чарлз был на редкость мил. По его облику, его манерам было видно, что он принадлежит совсем к другому миру, и Джулии вдруг стал омерзителен тот круг, в котором она вращалась из-за Тома весь последний год. Чарлз говорил о политике, об искусстве, о книгах, и на душу Джулии снизошел покой. Том был наваждением, пагубным, как оказалось, но она избавится от него. Ее настроение поднялось. Джулии не хотелось оставаться одной, она знала, что, если пойдет после ленча домой, все равно не уснет, поэтому спросила Чарлза, не сведет ли он ее в Национальную галерею. Она не могла доставить ему большего удовольствия: он любил говорить о картинах и говорил о них хорошо. Это вернуло их к старым временам, когда Джулия добилась своего первого успеха в Лондоне и они гуляли вместе в парке или бродили по музеям. На следующий день у Джулии был дневной спектакль, на завтра после этого она была куда-то приглашена, но, расставаясь, они с Чарлзом договорились опять встретиться в пятницу и после ленча пойти в галерею Тейта.

Несколько дней спустя Майкл сообщил Джулии, что пригласил для участия в новой пьесе Эвис Крайтон.

– По внешности она прекрасно подходит к роли, в этом нет никаких сомнений, она будет хорошо оттенять тебя. Беру ее на основании твоих слов.

На следующее утро ей позвонили из цокольного этажа и сказали, что на проводе мистер Феннел. Джулии показалось, что у нее остановилось сердце.

– Соедините меня с ним.

– Джулия, я хотел тебе сказать: Майкл пригласил Эвис.

– Да, я знаю.

– Он сказал, что берет ее по твоей рекомендации. Ты молодец!

Джулия – сердце ее теперь билось с частотой ста ударов в минуту – постаралась овладеть своим голосом.

– Ах, не болтай чепухи, – весело засмеялась она. – Я же тебе говорила, что все будет в порядке.

– Я страшно рад, что все уладилось. Она взяла роль, судя о ней только по тому, что я ей рассказывал. Обычно она не соглашается, пока не прочитает всю пьесу.

Хорошо, что он не видел в ту минуту лица Джулии. Ей бы хотелось едко ответить ему, что, когда они приглашают третьеразрядную актрису, они не имеют обыкновения давать ей для ознакомления всю пьесу, но вместо этого она произнесла чуть ли не извиняющимся тоном:

– Ну, я думаю, роль ей понравится. Как по-твоему? Это очень хорошая роль.

– И знаешь, уж Эвис выжмет из нее все, что можно. Я уверен, о ней заговорят.

Джулия еле дух перевела.

– Это будет чудесно. Я имею в виду, это поможет ей выплыть на поверхность.

– Да, я тоже ей говорил. Послушай, когда мы встретимся?

– Я тебе позвоню, ладно? Такая досада, у меня куча приглашений на все эти дни...

– Ты ведь не собираешься бросить меня только потому...

Джулия засмеялась низким, хриловатым смехом, тем самым смехом, который так восхищал зрителей.

– Ну, не будь дурачком. О боже, у меня переливается ванна. До свидания, милый.

Джулия положила трубку. Звук его голоса! Боль в сердце была невыносимой. Сидя на постели, Джулия качалась от муки взад-вперед.

«Что мне делать? Что мне делать?»

Она надеялась, что сумеет справиться с собой, и вот этот короткий дурацкий разговор показал, как она ошибалась – она по-прежнему его любит. Она хочет его. Она тоскует по нему. Она не может без него жить.

«Я никогда себя не переборю», – простонала Джулия.

И снова единственным прибежищем для нее был театр. По иронии судьбы главная сцена пьесы, в которой она тогда играла, сцена, которой вся пьеса была обязана своим успехом, изображала расставание любовников. Спору нет, расставались они из чувства долга, и в пьесе Джулия приносила свою любовь, свои мечты о счастье и все, что было ей дорого, на алтарь чести. Эта сцена сразу привлекла Джулию. Она всегда была в ней очень трогательна. А сейчас Джулия вложила в нее всю муку души; не у героини ее разбивалось сердце, оно разбивалось на глазах у зрителей у самой Джулии. В жизни она пыталась подавить страсть, которая – она сама это знала – была смешна и недостойна ее, она ожесточала себя, чтобы как можно меньше думать о злосчастном юноше, который вызвал в ней такую бурю; но когда она играла эту сцену, Джулия отпускала вожжи и давала себе волю. Она была в отчаянии от своей потери, и та любовь, которую она изливала на партнера, была страстная, всепоглощающая любовь, которую она по-прежнему испытывала к Тому. Перспектива пустой жизни, перед которой стояла героиня пьесы, это перспектива ее собственной жизни. Джулии казалось, что никогда еще она не играла так великолепно. Хоть это ее утешало.

«Господи, ради того, чтобы так играть, стоит и помучиться».

Никогда еще она до такой степени не вкладывала в роль самое себя.

Однажды вечером, неделю или две спустя, когда Джулия вернулась после конца спектакля в уборную, вымотанная столь бурным проявлением чувств, но торжествующая, так как вызывали ее без конца, она неожиданно обнаружила у себя Майкла.

– Привет. Ты был в зале?

– Да.

– Но ты же был в театре несколько дней назад.

– Да, я смотрю спектакль с начала до конца вот уже четвертый вечер подряд.

Джулия принялась раздеваться. Майкл поднялся с кресла и стал шагать взад-вперед по комнате. Джулия взглянула на него: он хмурился.

– В чем дело?

– Это я и хотел бы узнать.

Джулия вздрогнула. У нее пронеслась мысль, что он опять услышал какие-нибудь разговоры о Томе.

– Куда запропастилась Эви, черт ее подери? – спросила она.

– Я попросил ее выйти. Я хочу тебе кое-что сказать, Джулия. И не устраивай мне истерики. Тебе придется выслушать меня.

У Джулии побежали по спине мурашки.

– Ну ладно, выкладывай.

– До меня кое-что дошло, и я решил сам разобраться, что происходит. Сперва я думал, что это случайность. Вот почему я молчал, пока окончательно не убедился. Что с тобой, Джулия?

– Со мной?

– Да. Почему ты так отвратительно играешь?

– Что? – Вот уж чего она не ожидала. В ее глазах засверкали молнии. – Дурак несчастный, да я в жизни не играла лучше!

– Ерунда. Ты играешь чертовски плохо.

Джулия вздохнула с облегчением – слава богу, речь не о Томе, но слова Майкла были так смехотворны, что, как ни была Джулия сердита, она невольно рассмеялась.

– Ты просто идиот, ты сам не понимаешь, что городишь. Чего я не знаю об актерском мастерстве, того и знать не надо. А что знаешь ты? Только то, чему я тебя научила. Если из тебя и вышел толк, так лишь благодаря мне. В конце концов, чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать: судят по результатам. Ты слышал, сколько раз меня сегодня вызывали? За все время, что идет пьеса, она не имела такого успеха.

– Все это мне известно. Публика – куча ослов. Если ты вопишь, визжишь и размахиваешь руками, всегда найдутся дураки, которые будут орать до хрипоты. Так, как играла ты эти последние дни, играют бродячие актеры. Фальшиво от начала до конца.

– Фальшиво? Но я прочувствовала каждое слово!

– Мне не важно, что ты чувствовала. Ты утрировала, ты переигрывала, не было момента, чтобы ты звучала убедительно. Такой бездарной игры я не видел за всю свою жизнь.

– Свинья чертова! Как ты смеешь так со мной говорить?! Сам ты бездарь!

Взмахнув рукой, Джулия закатила ему звонкую пощечину. Майкл улыбнулся.

– Можешь меня бить, можешь меня ругать, можешь вопить как сумасшедшая, но факт остается фактом – твоя игра никуда не годится. Я не намерен начинать репетиции «Нынешних времен», пока ты не придешь в форму.

– Тогда найди кого-нибудь, кто исполнит эту роль лучше меня.

– Не болтай глупости, Джулия. Сам я, возможно, и не очень хороший актер и никогда этого о себе не думал, но хорошую игру от плохой отличить могу. И больше того – нет такого, чего бы я не знал о тебе. В

субботу я повешу извещение о том, что мы закрываемся, и хочу, чтобы ты сразу же уехала за границу. Мы выпустим «Нынешние времена» осенью.

Спокойный, решительный тон Майкла утихомирил Джулию. Действительно, когда речь шла о ее игре, Майкл знал о ней все.

– Это правда, что я плохо играла?

– Чудовищно.

Джулия задумалась. Она поняла, что произошло. Она не сумела сдержать свои эмоции, она выражала свои чувства. По спине у Джулии опять побежали мурашки. Это было серьезно. Разбитое сердце и прочее – все это прекрасно, но если это отражается на ее искусстве... Нет, нет, нет. Дело принимает совсем другой оборот! Ее игра важнее любого романа на свете.

– Я постараюсь взять себя в руки.

– Что толку насиловать себя? Ты очень устала. Это моя вина. Я давно уже должен был заставить тебя уехать в отпуск. Тебе необходимо как следует отдохнуть.

– А как же театр?

– Если мне не удастся сдать помещение, я возобновлю какую-нибудь из старых пьес, в которых у меня есть роль. Например, «Сердца – козыри». Ты всегда терпеть ее не могла.

– Все говорят, что сезон будет очень неудачный. От старой пьесы многого не дождешься.

Если я не буду участвовать, ты ничего не заработаешь.

– Не важно. Главное – твоё здоровье.

– О боже! – вскричала Джулия. – Не будь так великодушен. Я не могу этого вынести.

Неожиданно она разразилась бурными рыданиями.

– Любимая!

Майкл обнял ее, усадил на диван, сел рядом. Она отчаянно прильнула к нему.

– Ты так добр ко мне, Майкл. Я ненавижу себя. Я – скотина, я – потаскуха, я – чертова сука, я – дрянь до мозга костей!..

– Вполне возможно, – улыбнулся Майкл, – но факт остается фактом: ты очень хорошая актриса.

– Не представляю, как у тебя хватает на меня терпения. Я так мерзко с тобой обращаюсь. Ты такой замечательный, а я бессердечно принимаю все твои жертвы.

– Полно, милая, не говори вещей, о которых сама будешь жалеть. Смотри, как бы я потом не поставил их тебе в строку.

Нежность Майкла растрогала Джулию, и она горько корила себя за то, что так плохо относилась к нему все эти годы.

– Слава богу, у меня есть ты. Что бы я без тебя делала?

– Тебе не придется быть без меня.

Майкл крепко ее обнимал, и, хотя Джулия все еще всхлипывала, ей стало полегче.

– Прости, что я так грубо говорила сейчас с тобой.

– Ну что ты, любимая.

– Ты правда думаешь, что я – плохая актриса?

– Дузе в подметки тебе не годится.

– Ты честно так считаешь? Дай мне твой носовой платок. Ты никогда не видел Сары Бернар?

– Нет.

– Она играла очень аффектированно.

Они посидели немного молча, и постепенно у Джулии стало спокойнее на душе. Сердце ее захлестнула волна любви к Майклу.

– Ты все еще самый красивый мужчина в Англии, – тихонько проговорила она наконец. – Никто меня в этом не переубедит.

Она почувствовала, что он втянул живот и выдвинул подбородок, и на этот раз ей это показалось умильным.

– Ты прав. Я совершенно вымоталась. У меня ужасное настроение. Меня словно выпотрошили. Мне действительно надо уехать, только это и поможет мне.

Глава двадцать третья

Джулия была рада, что решила уехать. Возможность оставить позади терзавшую ее муку помогла ей легче ее переносить. Были повешены афиши о новом спектакле, Майкл набрал актеров для пьесы, которую он решил возобновить, и начал репетиции. Джулии было интересно смотреть из первых рядов партера, как другая актриса репетирует роль, которую раньше играла она сама. С первого дня, как Джулия пошла на сцену, она не могла без глубокого волнения сидеть в темном зале на покрытом чехлом кресле и наблюдать, как актеры постепенно лепят образы своих героев, и сейчас, после стольких лет, она все еще испытывала тот же трепет. Даже просто находиться в театре служило ей успокоением. Глядя на репетиции, она отдыхала и к вечернему спектаклю, когда ей надо было выступать самой, была вполне свежа. Джулия поняла, что все, сказанное Майклом, верно, и взяла себя в руки. Отодвинув свои личные переживания на задний план и став хозяйкой своего персонажа, она опять стала играть с привычной виртуозностью. Ее игра перестала быть средством, при помощи которого она давала выход собственному отчаянию, и вновь сделалась проявлением ее творческого начала. Она добилась прежнего господства над материалом, при помощи которого выражала себя. Это опьяняло Джулию, давало ей ощущение могущества и свободы.

Но победа доставалась Джулии нелегко, и вне театра она была апатична и уныла. Она утратила свою кипучую энергию. Ее обуяло непривычное смирение. У нее появилось чувство, что ее счастливая пора миновала. Она со вздохом говорила себе, что больше никому не нужна. Майкл предложил ей поехать в Вену, да ей и самой хотелось быть поближе к Роджеру, но она покачала головой:

– Я только помешаю ему.

Джулия боялась, что будет сыну в тягость. Он получает удовольствие от своей жизни в Вене, зачем стоять у него на пути? Джулии была невыносима мысль, что он сочтет для себя докучной обязанностью водить ее по разным местам и время от времени приглашать на обед или ленч. Вполне естественно, что ему интереснее с ровесниками-друзьями, которых он там завел.

Джулия решила погостить у матери. Миссис Лэмберт – «мадам де Ламбёр», как упорно называл ее Майкл, – уже много лет жила со своей сестрой, мадам Фаллу, на острове Сен-Мало. Каждый год она проводила

несколько дней в Лондоне у Джулии, но в этом году не приехала, так как у нее было неважно со здоровьем. Она была уже стара – ей давно перевалило за семьдесят, – и Джулия знала, что она будет счастлива, если дочь приедет к ней надолго. Кому в Вене нужна английская актриса? Там она будет никто. А в Сен-Мало она окажется важной персоной, и двум старушкам доставит большое удовольствие хвастаться ею перед своими друзьями: «Ma fille, la plus grande actrice d'Angleterre»^[55] и прочее.

Бедняжки так стары, жить им осталось совсем недолго, а влачат такое тоскливое, монотонное существование. Конечно, ей будет смертельно скучно, но зато какая радость для них! Джулия признавалась себе, что, возможно, на своем блестящем и триумфальном жизненном пути она несколько пренебрегала матерью. Теперь она все ей возместит. Она приложит все усилия, чтобы быть очаровательной. Ее теперешняя нежность к Майклу и не оставляющее ее чувство, что она многие годы была к нему несправедлива, переполняли ее искренним раскаянием. Она была эгоистка и деспот, но постарается искупить свою вину. Ей хотелось принести себя в жертву, и она написала матери, что обязательно приедет к ней погостить.

Джулия сумела самым естественным образом не встречаться с Томом до последнего дня. Заключительное представление пьесы, в которой она играла, было за день до отъезда. Поезд отходил вечером. Том пришел попрощаться с ней около шести. В доме, кроме Майкла, были Чарлз Тэмерли и несколько друзей, так что ей даже на минуту не грозило остаться с Томом наедине. Джулии оказалось совсем нетрудно разговаривать с ним самым непринужденным тоном. Она боялась, что при взгляде на Тома испытает жгучую муку, но почувствовала в сердце лишь тупую боль. Время и место отъезда Джулии хранились в тайне, другими словами – их представитель, поддерживающий связь с прессой, позвонил всего в несколько газет, и когда Джулия с Майклом прибыли на вокзал, там было лишь с десяток газетчиков, среди них три фоторепортера. Джулия сказала им несколько любезных слов. Майкл добавил к ним еще несколько своих, затем их представитель отвел газетчиков в сторону и коротко сообщил о дальнейших планах Джулии. Тем временем при свете блиц вспышек фоторепортеры запечатлевали Джулию и Майкла: идущих по перрону под руку, обменивающихся прощальным поцелуем – и последний кадр: Джулия, наполовину высунувшись из окна вагона, протягивает руку Майклу, который стоит на перроне.

– Ну и надоела мне вся эта публика, – сказала Джулия. – Никуда от них не спрячешься.

– Не представляю, как они пронюхали, что ты уезжаешь.

Небольшая толпа, собравшаяся на платформе, стояла на почтительном расстоянии. Подошел их пресс-представитель и сказал Майклу, что репортерам хватит материала на целый столбец. Поезд тронулся.

Джулия отказалась взять с собой Эви. У нее было чувство, что ей надо полностью оторваться от старой жизни, если она хочет вновь обрести былую безмятежность. Эви будет не ко двору в этом французском доме. Мадам Фаллу, тетушка Кэрри, выйдя за француза совсем молоденькой девушкой, сейчас, в старости, с большей легкостью говорила по-французски, чем по-английски.

Она вдовела уже много лет, ее единственный сын был убит во время войны. Она жила в высоком узком каменном доме на вершине холма, и когда вы переступали его порог, вас охватывал покой прошлого столетия. За полвека здесь ничто не изменилось. Гостиная была обставлена гарнитуром в стиле Людовика XV, стоявшим в чехлах, которые снимались раз в месяц, чтобы почистить шелковую обивку. Хрустальная люстра была обернута кисеей – не дай бог мухи засидят. Перед камином стоял экран из искусно расположенных между двумя стеклами павлиньих перьев. Хотя комнатой никогда не пользовались, тетушка Кэрри каждый день собственноручно вытирала в ней пыль. В столовой стены были обшиты деревянными панелями, мебель тоже стояла в чехлах. На буфете красовались серебряная ерергне^[56], серебряный кофейник, серебряный заварочный чайник и серебряный поднос. Тетушка Кэрри и мать Джулии, миссис Лэмберт, проводили дни в длинной узкой комнате с мебелью в стиле ампира. На стенах в овальных рамах висели писанные маслом портреты тетушки Кэрри, ее покойного мужа, родителей ее мужа и пастель, изображающая их убитого сына ребенком. Здесь стояли их шкатулки для рукоделия, здесь они читали газеты – католическую «Ла Круа», «Ревю де Де Монд» и местную ежедневную газету, здесь играли в домино по вечерам, кроме среды, когда к обеду приходили Abbe^[57] и Commandant La Garde^[58], отставной офицер, здесь же они и ели, но когда приехала Джулия, они решили, что будет удобнее есть в столовой.

Тетушка Кэрри все еще носила траур по мужу и сыну. Лишь в редкие, особенно теплые дни она снимала небольшую черную шаль, которую сама себе вывязывала тамбуром. Миссис Лэмберт тоже ходила в черном, но когда к обеду приходили господин аббат и майор, она накидывала на плечи белую кружевную шаль, подаренную ей Джулией. После обеда они вчетвером играли в plafond^[59] со ставкой два су за сотню. Миссис Лэмберт,

много лет прожившая на Джерси и до сих пор ездившая в Лондон, знала все о большом свете и говорила, что теперь многие играют в бридж-контракт, но майор возражал, что это годится для американцев, его же вполне удовлетворяет *plafond*, а аббат добавлял, что он лично очень сожалеет о висте, который совсем забыли в последнее время. Ничего не поделаешь, люди редко бывают довольны тем, что они имеют, им подавай все новое да новое, и так без конца. Каждое Рождество Джулия посылала матери и тетке дорогие подарки, но они никогда не пускали их в ход. Они с гордостью показывали подарки приятельницам – все эти чудесные вещи, которые прибывали из Лондона, – а затем заворачивали в папиросную бумагу и прятали в шкаф. Джулия предложила матери автомобиль, но та отказалась. Они так редко и недалеко выходили, что вполне могли проделать свой путь пешком; шофер станет воровать бензин; если он будет питаться вне дома, это их разорит, если в доме – выведет из душевного равновесия Аннет. Аннет была их кухарка, экономка и горничная. Она прослужила у тетушки Кэрри тридцать пять лет. Черную работу делала ее племянница Анжель; но та была еще молода, ей не исполнилось и сорока, вряд ли удобно, чтобы в доме все время находился мужчина.

Джулию поместили в ту же комнату, где она жила девочкой, когда ее прислали к тетушке Кэрри на воспитание. Это вызвало в ней какое-то особенно сентиментальное настроение; по правде говоря, несколько минут она была на грани слез. Но Джулия очень легко втянулась в их образ жизни. Выйдя замуж, тетушка Кэрри приняла католическую веру, и когда миссис Лэмберт потеряла мужа и навсегда поселилась в Сен-Мало, она под влиянием аббата в надлежащее время сделала то же. Обе старые дамы были очень набожны. Каждое утро они ходили к мессе, а по воскресеньям – еще и к торжественной мессе. Но, кроме церкви, они не бывали почти нигде. Изредка наносили визит какой-нибудь соседке, которая лишилась одного из своих близких или, наоборот, отмечала помолвку внучки. Они читали одни и те же газеты и один и тот же журнал, без конца что-то шили с благотворительной целью, играли в домино и слушали подаренный им Джулией радиоприемник. Хотя аббат и майор обедали у них раз в неделю много лет подряд, каждую среду старушки приходили в страшное волнение. Майор с присущей военным прямоотой, как они полагали, мог не колеблясь сказать, если бы какое-нибудь блюдо пришлось ему не по вкусу, и даже аббат, хоть и настоящий святой, имел свои склонности и предубеждения. Например, ему очень нравилась камбала, но он не желал ее есть, если она не была поджарена на сливочном масле, а при тех ценах на масло, которые стояли после войны, это сущее разорение. Утром в среду

тетушка Кэрри брала ключи от винного погреба и собственноручно вынимала бутылку кларета. То, что в ней оставалось после гостей, они с сестрой приканчивали к концу недели.

Старушки принялись опекать Джулию. Пичкали ее ячменным отваром и страшно волновались, как бы ее где-нибудь не продуло. По правде говоря, значительная часть их жизни была занята тем, что они избегали сквозняков. Они заставляли Джулию лежать на диване и заботливо следили за тем, чтобы она прикрывала при этом ноги. Они урезонивали Джулию по поводу ее одежды. Эти шелковые чулки такие тонкие, что сквозь них все видно! А что она носит под платьем? Тетушка Кэрри не удивится, если узнает, что ничего, кроме сорочки.

– Она и сорочки не носит, – сказала миссис Лэмберт.

– Что же тогда на ней надето?

– Трусики, – сказала Джулия.

– И, вероятно, soutien-gorge^[60].

– Конечно, нет, – колко возразила Джулия.

– Значит, племянница, ты совсем голая под платьем?

– Практически да.

– C'est de la folie!^[61] – воскликнула тетушка Кэрри.

– C'est vraiment pas raisonnable, ma fille^[62], – согласилась миссис Лэмберт.

– И хоть я не ханжа, – добавила тетушка Кэрри, – я должна сказать, что это просто неприлично.

Джулия продемонстрировала им все свои наряды, и в первую же среду после ее прибытия начался спор по поводу того, что ей надеть к обеду. Тетушка Кэрри и миссис Лэмберт чуть не поссорились друг с другом. Миссис Лэмберт считала, что раз Джулия привезла вечерние платья, ей и следует надеть одно из них, а тетушка Кэрри полагала это вовсе не обязательным.

– Когда я приезжала к тебе в Джерси и к обеду приходили джентльмены, мне помнится, ты надевала нарядный капот.

– О да, это прекрасно бы подошло.

Обе старые дамы с надеждой посмотрели на Джулию. Она покачала головой:

– Я скорее надену саван.

Тетушка Кэрри носила по средам черное платье с высоким воротничком, сшитое из тяжелого шелка, и нитку гагата, а миссис Лэмберт – такое же платье с белой кружевной шалью и стразовым ожерельем.

Майор, низенький крепыш с лицом как печеное яблоко, седыми волосами, подстриженными en brosse^[63], и внушительными усами, выкрашенными в иссиня-черный цвет, был весьма галантен и, хотя ему давно перевалило за семьдесят, во время обеда пожимал Джулии под столом ножку, а когда они выходили из столовой, воспользовался случаем ущипнуть ее за зад.

«Секс эпил», – пробормотала про себя Джулия, с величественным видом следуя за старыми дамами в гостиную.

Они носились с Джулией не потому, что она была великая актриса, а потому, что ей нездоровилось и она нуждалась в отдыхе. К своему великому изумлению, Джулия довольно скоро обнаружила, что они не только не гордятся ее известностью, а, напротив, стесняются. Куда там хвалиться ею перед знакомыми – они даже не звали ее с собой, когда наносили визиты. Тетушка Кэрри привезла из Англии обычай пить в пять часов чай и твердо его придерживалась. Однажды, вскоре после приезда Джулии, они пригласили к чаю нескольких дам, и за завтраком миссис Лэмберт обратилась к Джулии со следующими словами:

– Дорогая моя, у нас в Сен-Мало есть несколько очень хороших приятельниц, но, понятно, они все еще смотрят на нас как на чужаков, хотя мы прожили здесь уже столько лет, и нам не хотелось бы делать ничего, что показалось бы им эксцентричным. Естественно, мы не просим тебя лгать, но, если это не будет абсолютно необходимо, тетя Кэрри считает, тебе лучше не говорить, что ты – актриса.

Джулия была поражена, но чувство юмора восторжествовало, и она чуть не расхохоталась.

– Если кто-нибудь из наших приятельниц спросит, кто твой муж, сказать, что он занимается коммерцией, не значит погрешить против истины?

– Ни в коей мере. – Джулия позволила себе улыбнуться.

– Мы, конечно, знаем, что английские актрисы отличаются от французских, – добавила тетушка Кэрри от доброго сердца. – Почти у каждой французской актрисы обязательно есть любовник.

– Боже, боже, – сказала Джулия.

Лондонская жизнь – со всеми треволнениями, триумфами и горестями – отодвинулась далеко-далеко. Скоро Джулия обнаружила, что может с полной безмятежностью думать о Томе и своей любви к нему. Она поняла, что ранено было больше ее самолюбие, чем сердце. Каждый день в Сен-Мало был похож на другой. Единственное, что заставляло ее вспоминать Лондон, были прибывающие по понедельникам воскресные газеты. Джулия забирала всю пачку и читала их до самого вечера. В этот день у нее

было немного тревожно на душе. Она уходила на крепостные валы и глядела на острова, усеивающие залив. Серые облака заставляли ее тосковать по серому небу Англии. Но к утру вторника она вновь погружалась в покой провинциальной жизни. Джулия много читала: романы, английские и французские, которые покупала в местном магазине, и своего любимого Верлена. В его стихах была нежная меланхолия, которая, казалось ей, подходит к этому серому бретонскому городку, печальным старым каменным домам и тихим, крутым, извилистым улочкам. Мирные привычки двух старых дам, рутина их бедной событиями жизни, безмятежная болтовня возбуждали в Джулии жалость. Ничего не случилось с ними за долгие годы, ничего уже не случится до самой их смерти, и как мало значило их существование! Самое странное, что они вполне им удовлетворены. Им была неведома злоба, неведома зависть. Они достигли свободы от общественных уз, которую Джулия ощущала, стоя у рампы и кланяясь в ответ на аплодисменты восторженной публики. Иногда ей казалось, что эта свобода – самое драгоценное из всего, чем она обладает. В ней она была рождена гордостью, в них – смирением. В обоих случаях она давала один неоценимый результат: независимость духа, только у них она была более надежной. От Майкла приходили раз в неделю короткие деловые письма, где он сообщал, каковы сборы и как он готовится к постановке следующей пьесы, но Чарлз Тэмерли писал каждый день. Он передавал Джулии все светские новости, рассказывал своим очаровательным культурным языком о картинах, которые видел, и книгах, которые прочел. Его письма были полны нежных иносказаний и шутливой эрудиции. Он философствовал без педантизма. Он писал, что обожает ее. Это были самые прекрасные любовные письма, какие Джулия получала в жизни, и ради будущих поколений она решила их сохранить. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь их опубликует, и люди станут ходить в Национальную галерею, чтобы посмотреть на ее портрет, тот, что написал Мак-Эвой^[64], и со вздохом вспоминать о романтической любовной истории, героиней которой была она.

Чарлз удивительно поддержал ее в первые две недели ее утраты, Джулия не представляла, что бы она делала без него. Он всегда был к ее услугам. Его беседа, унося Джулию совсем в иной мир, успокаивала ей нервы. Душа Джулии была замарана грязью, и она отмывалась в чистом источнике его духа. Какой покой снисходил на нее, когда она бродила с Чарлзом по картинным галереям... У Джулии имелись все основания быть ему благодарной. Она думала о долгих годах его поклонения. Он ждал ее вот уже двадцать с лишним лет. Она была не очень-то к нему благосклонна.

Обладание ею дало бы ему такое счастье, а от нее, право, ничего не убудет. Почему она так долго отказывала ему? Возможно, потому, что он был беспредельно ей предан, его самозабвенная любовь – так почтительна и робка; возможно, только потому, что ей хотелось сохранить в его уме тот идеал, который сам он создал столько лет назад. Право, это глупо, а она – просто эгоистка. Джулию охватил возвышенный восторг при мелькнувшей у нее внезапно мысли, что теперь наконец она сможет вознаградить его за всю его нежность, бескорыстие и постоянство. Джулией все еще владело вызванное в ней добротой Майкла чувство, что она его недостойна, все еще мучило раскаяние за то, что все эти годы она была нетерпима по отношению к нему. Желание пожертвовать собой, с которым она покидала Англию, по-прежнему горело в ее груди ярким пламенем. Джулия подумала, что Чарлз – отличный объект для его осуществления. Она засмеялась, ласково и участливо, представив, как он будет поражен, когда поймет ее намерение; в первый миг он просто не поверит себе, но потом – какое блаженство, какой экстаз! Любовь, которую он сдерживал столько лет, прорвет все преграды и затопит ее мощным потоком. Сердце Джулии переполнилось при мысли о его бесконечной благодарности. И все же ему будет трудно поверить, что фортуна наконец улыбнулась ему; когда все останется позади и она будет лежать в его объятиях, она прижмется к нему и нежно шепнет: «Стоило ждать столько лет?» – «Ты, как Елена, дала мне бессмертье поцелуем»^[65]. Разве не удивительно даровать своему ближнему столько счастья?

«Я напишу ему перед самым отъездом из Сен-Мало», – решила Джулия.

Весна перешла в лето, и к концу июля наступило время ехать в Париж – надо было позаботиться о своих туалетах. Майкл хотел открыть сезон в первых числах сентября, и репетиции новой пьесы должны были начаться в августе. Джулия взяла пьесу с собой в Сен-Мало, намереваясь на досуге выучить роль, но та обстановка, в которой она жила, сделала это невозможным. Времени у нее было предостаточно, но в этом сером, суровом, хотя и уютном городке, в постоянном общении с двумя старыми дамами, интересы которых ограничивались приходскими и домашними делами, пьеса, как ни была хороша, не могла увлечь Джулию.

«Мне давно пора возвращаться, – сказала она себе. – Что будет, если я в результате решу, что театр не стоит всего того шума, который вокруг него поднимают?»

Джулия распрощалась с матерью и тетушкой Кэрри. Они были очень к ней добры, но она подозревала, что они не будут слишком сожалеть о ее

отъезде, который позволит им вернуться к привычной жизни. К тому же они успокоятся, что им больше не будет грозить эксцентричная выходка, которую всегда можно ожидать от актрисы, не надо будет больше опасаться неблагоприятных комментариев дам Сен-Мало.

Джулия приехала в Париж днем и, когда ее провели в апартаменты в отеле «Ритц», удовлетворенно вздохнула. Какое удовольствие опять окунуться в роскошь! Несколько друзей прислали ей цветы. Джулия приняла ванну и переоделась. Чарли Деверил, всегда шивший для нее и уже давно ставший ее другом, зашел, чтобы повести ее обедать в «Буа».

– Я чудесно провела время, – сказала ему Джулия, – и, конечно, мой приезд доставил большую радость старым дамам, но у меня появилось ощущение, что еще один день – и я умру со скуки.

Поездка по Елисейским Полям в этот прелестный вечер наполнила ее восторгом. Как приятно было вдыхать запах бензина! Автомобили, такси, звуки клаксонов, каштаны, уличные огни, толпа, снующая по тротуарам и сидящая за столиками у кафе, – что может быть чудеснее? А когда они вошли в «Шато де Мадрид», где было так весело, так цивилизованно и так дорого, как приятно было снова увидеть элегантных, умело подкрашенных женщин и загорелых мужчин в смокингах.

– Я чувствую себя как королева, вернувшаяся из изгнания.

Джулия провела в Париже несколько счастливых дней, выбирая себе туалеты и делая первые примерки. Она наслаждалась каждой минутой. Однако она была женщина с характером и когда принимала решение, выполняла его. Прежде чем уехать в Лондон, она послала Чарлзу коротенькое письмо. Он был в Гудвуде и Каузе и должен был задержаться на сутки в Лондоне по пути в Зальцбург.

Чарлз, милый.

Как замечательно, что я скоро вас снова увижу. В среду я буду свободна. Пообедаем вместе. Вы все еще любите меня?

Ваша Джулия.

Опуская конверт в ящик, она пробормотала: «Bis dat qui cito dat»^[66]. Это была избитая латинская цитата, которую всегда произносил Майкл, когда в ответ на просьбу о пожертвовании на благотворительные цели посылал с обратной же почтой ровно половину той суммы, которую от него ждали.

Глава двадцать четвертая

Утром в среду Джулия сделала массаж и завилась. Она никак не могла решить, какое платье надеть к обеду: из пестрой органди, очень нарядное и весеннее, приводящее на ум боттичеллевскую «Весну»^[67], или одно из белых атласных, подчеркивающих ее стройную девичью фигуру и очень целомудренное, но, пока принимала ванну, остановилась на белом атласном: оно должно было послужить тонким намеком на то, что приносимая ею жертва была своего рода искуплением за ее длительную неблагодарность к Майклу. Джулия не надела никаких драгоценностей, кроме нитки жемчуга и бриллиантового браслета; на том же пальце, где было обручальное кольцо, сверкал бриллиантовый перстень. Ей хотелось напудриться пудрой цвета загара, это молодило ее и очень ей шло, но, вспомнив, что ей предстоит, она отказалась от этой мысли. Не могла же она, как актер, чернящийся с ног до головы, чтобы играть Отелло, покрыть всю себя искусственным загаром. Как всегда пунктуальная, Джулия спустилась в холл в ту самую минуту, как швейцар распахнул входную дверь перед Чарлзом Тэмерли. Джулия приветствовала его взглядом, в который вложила нежность, лукавое очарование и интимность. Чарлз носил теперь свои поредевшие волосы довольно длинно, с годами его интеллигентное, аристократическое лицо несколько обвисло, он немного горбился, и костюм выглядел так, словно его давно не касался утюг.

«В странном мире мы живем, – подумала Джулия. – Актеры из кожи вон лезут, чтобы быть похожими на джентльменов, а джентльмены делают все возможное, чтобы выглядеть как актеры».

Не было сомнения, что она произвела надлежащий эффект. Чарлз подкинул ей великолепную реплику, как раз то, что нужно для начала.

– Почему вы так прелестны сегодня? – спросил он.

– Потому что я предвкушаю наше с вами свидание.

Своими прекрасными выразительными глазами Джулия глубоко заглянула в глаза Чарлза. Слегка приоткрыла губы, как на портрете леди Гамильтон кисти Ромни^[68], – это придавало ей такой обольстительный вид.

Обедали они в «Савое». Метрдотель дал им столик у прохода, так что их было превосходно видно. Хотя предполагалось, что все порядочные люди за городом, ресторан был переполнен. Джулия улыбалась и кивала направо и налево, приветствуя друзей. У Чарлза было что ей рассказать, Джулия слушала его с неослабным интересом.

– Вы самый лучший собеседник на свете, Чарлз, – сказала она ему.

Пришли они в ресторан поздно, обедали не торопясь, и к тому времени как Чарлз кончал бренди, начали собираться посетители к ужину.

– Господи боже мой, неужели уже окончились спектакли? – сказал он, взглянув на часы. – Как быстро летит время, когда я с вами. Как вы думаете, они уже хотят избавиться от нас?

– Не имею ни малейшего желания ложиться спать.

– Майкл, вероятно, скоро будет дома?

– Вероятно.

– Почему бы нам не поехать ко мне и не поболтать еще?

Вот это называется понять намек!

– С удовольствием, – ответила Джулия, вкладывая в свою интонацию стыдливый румянец, который, как она чувствовала, так хорошо выглядел бы сейчас на ее щеках.

Они сели в машину и поехали на Хилл-стрит. Чарлз провел Джулию к себе в кабинет. Он находился на первом этаже. Двустворчатые, до самого пола окна, выходящие в крошечный садик, были распахнуты настежь. Они сели на диван.

– Погасите верхний свет и впустите в комнату ночь, – сказала Джулия. И процитировала строчку из «Венецианского купца»: – «В такую ночь, когда лобзал деревья нежный ветер...»

Чарлз выключил все лампы, кроме одной, затененной абажуром, и, когда он снова сел, Джулия прильнула к нему. Он обнял ее за талию, она положила ему голову на плечо.

– Божественно, – прошептала она.

– Я страшно тосковал по вас все это время.

– Успели набедокурить?

– Да. Купил рисунок Энгра^[69] и заплатил за него кучу денег. Обязательно покажу его вам, прежде чем вы уйдете.

– Не забудьте. Где вы его повесили?

С первой минуты, как они вошли в дом, Джулия задавала себе вопрос: где должно произойти обольщение – в кабинете или наверху.

– У себя в спальне, – ответил Чарлз.

«И правда, там будет куда удобнее», – подумала Джулия.

Она засмеялась в кулак при мысли, что бедняга Чарлз не додумался ни до чего лучшего, чтобы завлечь ее к себе в постель. Ну и глупы эти мужчины! Слишком уж они решительны, вот в чем беда. Сердце Джулии пронзила мгновенная боль – она вспомнила о Томе. К черту Тома! Чарлз такой душка, и она не отступит от своего решения наградить его за

многолетнюю преданность.

– Вы были мне замечательным другом, Чарлз, – сказала она своим грудным, чуть хрипловатым голосом. Она повернулась к нему так, что ее лицо оказалось рядом с его лицом, губы – опять как у леди Гамильтон, – чуть приоткрыты. – Боюсь, я не всегда была достаточно с вами ласкова.

Джулия выглядела такой пленительно податливой – спелый персик, который нельзя не сорвать, – что поцелуй казался неизбежным. Тогда она обовьет его шею своими белыми нежными руками и... Но Чарлз только улыбнулся.

– Не говорите так. Вы всегда были божественны.

(«Он боится, бедный ягненок!»)

– Меня никто никогда не любил так, как вы.

Он слегка прижал ее к себе.

– Я и сейчас люблю вас. Вы сами это знаете. Вы – единственная женщина в моей жизни.

Поскольку Чарлз не принял предложенные ему губы, Джулия чуть отвернулась. Посмотрела задумчиво на электрический камин. Жаль, что он не зажжен. В этой мизансцене камин был бы очень кстати.

– Наша жизнь могла бы быть совсем иной, если бы мы тогда сбежали вдвоем из Лондона. Хей-хоу!

Джулия никогда не знала, что означает это восклицание, хотя его очень часто употребляли в пьесах, но, произнесенное со вздохом, оно всегда звучало очень печально.

– Англия потеряла бы свою величайшую актрису. Теперь я понимаю, каким я был ужасным эгоистом, когда предлагал вам покинуть театр.

– Успех еще не все. Я иногда спрашиваю себя, уж не упустила ли я величайшую ценность ради того, чтобы удовлетворить свое глупое мелкое тщеславие. В конце концов, любовь – единственное, ради чего стоит жить.

Джулия снова посмотрела на него. Глаза ее, полные неги, были прекрасны как никогда.

– Знаете, если бы я снова была молода, я думаю, я сказала бы: увези меня.

Ее рука скользнула вниз, нашла его руку. Чарлз грациозно ее пожал.

– О, дорогая...

– Я так часто думаю об этой вилле нашей мечты! Оливковые деревья, олеандры и лазурное море. Мир и покой. Порой меня ужасают монотонность, скука и вульгарность моей жизни. Вы предлагали мне Красоту. Я знаю, теперь уже поздно; я сама не понимала тогда, как вы мне дороги, я и не помышляла, что с годами вы будете все больше и больше

значить для меня.

– Блаженство слышать это от вас, любимая. Это вознаграждает меня за многое.

– Я бы сделала для вас все на свете. Я была эгоистка. Я погубила вашу жизнь, ибо сама не ведала, что творю.

Низкий голос Джулии дрожал, она откинула голову, ее шея вздымалась, как белая колонна. Декольте открывало – и изрядно – ее маленькую упругую грудь; Джулия прижала к ней руки.

– Вы не должны так говорить, вы не должны так думать, – мягко ответил Чарлз. – Вы всегда были само совершенство. Другой вас мне не надо. Ах, дорогая, жизнь так коротка, любовь так преходяща. Трагедия в том, что иногда мы достигаем желаемого. Когда я оглядываюсь сейчас назад, я вижу, что вы были мудрее, чем я. «Какие мифы из тенистых рощ...» Вы помните, как там дальше? «Ты, юноша прекрасный, никогда не бросишь петь, как лавр не сбросит листьев; любовник смелый, ты не стиснешь в страсти возлюбленной своей – но не беда: она неувядаема, и счастье с тобой, пока ты вечен и неистов».

(«Ну и идиотство!»)

– Какие прелестные строки, – вздохнула Джулия. – Возможно, вы и правы. Хей-хоу!

Чарлз продолжал читать наизусть. Эту его привычку Джулия всегда находила несколько утомительной.

– «Ах, счастлива весенняя листва, которая не знает увяданья, и счастлив тот, чья музыка нова и так же бесконечна, как свиданье»^[70].

Но сейчас это давало ей возможность подумать. Джулия уставилась немигающим взором на незажженный камин, словно замороженная совершенной красотой стихов. Чарлз просто ничего не понял, это видно невооруженным глазом. И чему тут удивляться? Она была глуха к его страстным мольбам в течение двадцати лет, вполне естественно, если он решил, что все его упования тщетны. Все равно что покорить Эверест. Если бы эти стойкие альпинисты, так долго и безуспешно пытавшиеся добраться до его вершины, вдруг обнаруживали пологую лестницу, которая туда ведет, они бы просто не поверили своим глазам; они бы подумали, что перед ними ловушка. Джулия почувствовала, что надо поставить точки хоть над несколькими «i». Она должна, так сказать, подать руку помощи усталому пилигриму.

– Уже поздно, – мягко сказала она. – Покажите мне новый рисунок, и я поеду домой.

Чарлз встал, и она протянула ему обе руки, чтобы он помог ей

подняться с дивана. Они пошли вверх. Пижама и халат Чарлза лежали аккуратно сложенные на стуле.

– Как вы, холостяки, хорошо устраиваетесь. Такая уютная, симпатичная спальня.

Чарлз снял оправленный в рамку рисунок со стены и поднес его к свету, чтобы Джулия могла лучше его рассмотреть. Это был сделанный карандашом портрет полноватой женщины в чепчике и платье с низким вырезом и рукавами с буфами. Женщина показалась Джулии некрасивой, платье – смешным.

– Восхитительно! – вскричала она.

– Я знал, что вам понравится. Хороший рисунок, верно?

– Поразительный.

Чарлз повесил картинку обратно на гвоздь. Когда он снова обернулся к Джулии, она стояла у кровати, как черкешенка-полонянка, которую главный евнух привел на обозрение великому визирю; в ее позе была прелестная нерешительность – казалось, она вот-вот отпрянет назад – и вместе с тем ожидание непорочной девы, стоящей на пороге своего королевства. Джулия испустила томный вздох.

– Дорогой, это был такой замечательный вечер. Я еще никогда не чувствовала себя такой близкой вам.

Джулия медленно подняла руки из-за спины и с тем поразительным чувством ритма, которое было даровано ей природой, протянула их вперед, вверх ладонями, словно держала невидимое взору роскошное блюдо, а на блюде – свое отданное ему сердце. Ее прекрасные глаза были нежны и покорны, на губах порхала робкая улыбка: она сдавалась.

Джулия увидела, что лицо Чарлза застыло. Теперь-то он наконец понял, и еще как!

(«Боже, я ему не нужна! Это все было блефом».)

В первый момент это открытие совершенно ее потрясло.

(«Господи, как мне из этого выпутаться? Какой идиоткой я, верно, выгляжу!»)

Джулия чуть не потеряла равновесие, и душевное и физическое. Надо было что-то придумать, да побыстрее. Чарлз стоял перед ней, глядя на нее с плохо скрытым замешательством. Джулия была в панике. Что ей делать с этими держащими роскошное блюдо руками? Видит бог, они невелики, но сейчас они казались ей окороками, висящими на крюке в колбасной лавке. И что ему сказать? С каждой секундой ее поза и вся ситуация становились все более невыносимы.

(«Дрянь, паршивая дрянь! Так дурачить меня все эти годы!»)

Джулия приняла единственно возможное решение. Она сохранила свою позу. Считая про себя, чтобы не спешить, она соединила ладони и, сцепив пальцы и откинув голову назад, очень медленно подняла руки к шее. Эта поза была так же прелестна, как и прежняя, и она подсказала Джулии нужные слова. Ее глубокий полновзвучный голос слегка дрожал от избытка чувств.

– Когда я думаю о нашем прошлом, я радуюсь, что нам не в чем себя упрекнуть. Горечь жизни не в том, что мы смертны, а в том, что умирает любовь. («Что-то в этом роде произносилось в какой-то пьесе»). Если бы мы стали любовниками, я бы вам давным-давно надоела, и что бы нам теперь осталось? Только сожалеть о своей слабости. Повторите эту строчку из Шелли – «...она неувядаема...», – которую вы мне только что читали.

– Из Китса, – поправил он, – «...она неувядаема, и счастье...»

– Вот, вот. И дальше.

Ей надо было выиграть время.

– «...с тобой, пока ты вечен и неистов».

Джулия раскинула руки в стороны широким жестом и встряхнула кудрями. То самое, что ей надо.

– И это правда. Какие бы мы были глупцы, если бы, поддавшись минутному безумию, лишили себя величайшего счастья, которое принесла нам дружба. Нам нечего стыдиться. Мы чисты. Мы можем ходить с поднятой головой и всему свету честно глядеть в глаза.

Джулия нутром чувствовала, что эта реплика – под занавес, и, подкрепляя слова жестом, высоко держа голову, отступила к двери и распахнула ее настежь.

Сила ее таланта была так велика, что она сохранила настроение мизансцены до нижней ступеньки лестницы. Там она сбросила его и, обернувшись к Чарлзу, идущему за ней по пятам, сказала донельзя просто:

– Мою накидку.

– Машина ждет, – сказал он, закутывая ее. – Я отвезу вас домой.

– Нет, разрешите мне уехать одной. Я хочу запечатлеть этот вечер в своем сердце. Поцелуйте меня на прощание.

Она протянула ему губы. Чарлз поцеловал их, Джулия, подавив рыдание, вырвалась от него и, одним движением растворив входную дверь, побежала к ожидавшему ее автомобилю.

Когда она добралась домой и очутилась в собственной спальне, она издала хриплый вопль облегчения.

«Дура чертова. Так попасться. Слава богу, я благополучно выпуталась. Он такой осел, что, верно, даже не додумался, куда я клоню». Но его

застывшая улыбка все же приводила ее в смущение. «Ну, может, он и заподозрил, что тут нечисто, точно-то он знать не мог, а уж потом и совсем убедился, что ошибся. Господи, что я несла! Но все сошло в наилучшем виде, он все проглотил. Хорошо, что я вовремя спохватилась. Еще минута, и я бы скинула платье. Тут было бы не до шуток».

Джулия захихикала. Конечно, ситуация была унижительная, она оказалась в дурацком положении, но если у тебя есть хоть какое-то чувство юмора, во всем найдешь свою смешную сторону. Как жаль, что никому нельзя ничего рассказать! Пусть даже она выставила бы себя на посмеище, это такая великолепная история! Смириться она не могла с одним – с тем, что поверила всей этой комедии о нетленной любви, которую он разыгрывал столько лет. Конечно, это была только поза, ему нравилось выступать в роли верного воздыхателя, и, по-видимому, меньше всего он хотел, чтобы его верность была вознаграждена.

«Обвел меня вокруг пальца, втер очки, замазал глаза!»

Но тут Джулии пришла в голову мысль, стершая улыбку с ее лица. Если мужчина отвергает авансы, которые делает ему женщина, она склонна приходить к одному из двух заключений: или он гомосексуалист, или импотент. Джулия задумчиво зажгла сигарету. Она спрашивала себя, не использовал ли ее Чарлз как ширму для прикрытия иных склонностей. Она покачала головой. Нет, уж на это кто-нибудь ей да намекнул бы. После войны в обществе практически не говорили ни о чем другом. А вот импотентом он вполне мог быть. Она подсчитала его годы. Бедный Чарлз! Джулия снова улыбнулась. Если таково положение вещей, не она, а он оказался в неловком и даже смешном положении. Он, должно быть, до смерти перепугался, бедный ягненочек. Ясно, это не из тех вещей, в которых мужчина охотно признается женщине, особенно если он безумно в нее влюблен. Чем больше Джулия об этом думала, тем более вероятным казалось ей это объяснение. Она почувствовала к Чарлзу прямо-таки материнскую жалость.

«Я знаю, что я сделаю, – сказала она, начиная раздеваться. – Я пошлю ему завтра большой букет белых лилий».

Глава двадцать пятая

На следующее утро Джулия некоторое время лежала в постели, прежде чем позвонить. Она думала. Вспоминая свое вчерашнее приключение, она похвалила себя за то, что проявила такое присутствие духа. Сказать, что она вырвала победу из рук поражения, было бы преувеличением, но как стратегический маневр отход ее был мастерским. При всем том у нее на сердце кошки скребли. Могло быть еще одно объяснение странному поведению Чарлза. Вполне возможно, что она не соблазнила его просто потому, что больше не была соблазнительна. Джулия вдруг подумала об этом ночью. Тогда она тут же выбросила эту мысль из головы: нет, это невероятно; однако приходилось признать, что утром она показалась куда серьезней. Джулия позвонила. Поскольку Майкл часто заходил к ней в комнату, когда она завтракала в постели, Эви, раздвинув занавески, обычно подавала ей зеркальце, гребень, помаду и пудреницу. Сегодня, вместо того чтобы провести гребнем по волосам и почти не глядя обмахнуть лицо пуховкой, Джулия не пожалела труда. Она тщательно подкрасила губы, поддурмянилась, привела в порядок волосы.

– Говоря бесстрастно и беспристрастно, – сказала она, все еще глядя в зеркало, в то время как Эви ставила на постель поднос с завтраком, – как по-твоему, Эви, я – красивая женщина?

– Я должна знать, как это мне отойдет, прежде чем отвечать на такой вопрос.

– Ах ты, чертовка! – вскричала Джулия.

– Ну, знаете, ведь красавицей вас не назовешь.

– Ни одна великая актриса не была красавицей.

– Ну, как вы вырядитесь в пух и прах, вроде как вчера вечером, да еще свет будет сзади, так и похуже вас найдутся.

(«Черта лысого это мне вчера помогло!»)

– Мне вот что интересно: если я вдруг очень захочу закрутить роман с мужчиной, как ты думаешь, я смогу?

– Зная, что такое мужчины, я бы не удивилась. А с кем вы сейчас хотите закрутить?

– Ни с кем. Я говорила вообще.

Эви шмыгнула носом.

– Не шмыгай носом. Если у тебя насморк, высморкайся.

Джулия медленно ела крутое яйцо. Ее голова была занята одной

мыслью. Она посмотрела на Эви. Старое пугало, но – кто знает?...

– А к тебе когда-нибудь приставали на улице, Эви?

– Ко мне? Пусть бы попробовали!

– Сказать по правде, я бы тоже хотела, чтобы кто-нибудь попробовал.

Женщины вечно рассказывают, как мужчины преследуют их на улице, а если они останавливаются у витрины, подходят и стараются перехватить их взгляд. Иногда от них очень трудно отделаться.

– Мерзость, вот как я это называю.

– Ну, не знаю, по-моему, скорее лестно. И понимаешь, странно, но меня никто никогда не преследовал. Не помню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь пытался ко мне приставать.

– Прогуляйтесь как-нибудь вечером по Эдвард-роуд. Не отвяжетесь.

– И что мне тогда делать?

– Позвать полисмена, – мрачно ответила Эви.

– Я знаю одну девушку, так она стояла у витрины шляпного магазина на Бонд-стрит, и к ней подошел мужчина и спросил, не хочется ли ей купить шляпку. Очень, ответила она, и они вошли внутрь. Она выбрала себе шляпку, дала продавцу свое имя и адрес, и мужчина тут же расплатился наличными. Тогда она сказала ему: «Большое спасибо», – и вышла, пока он дожидался сдачи.

– Это она вам так сказала. – Эви скептически шмыгнула носом, затем с удивлением поглядела на Джулию. – К чему вы все это клоните?

– Да ни к чему. Просто я подумала, почему это мужчины ко мне не пристают? Вроде бы «секс эпила» во мне достаточно.

А вдруг его и правда нет? Джулия решила проверить это на опыте.

В тот же день, после того как отдохнула, Джулия встала, нарядилась немного сильнее, чем обычно, и, не позвав Эви, надела платье не совсем уж простое, но и не дорогое на вид и широкополую шляпу из красной соломы.

«Я не хочу быть похожей на уличную девку, – сказала она себе, глядя в зеркало. – С другой стороны, слишком респектабельный вид тоже не подойдет».

Она на цыпочках спустилась по лестнице, чтобы ее никто не услышал, тихонько прикрыла за собой входную дверь. Джулия немного нервничала, но волнение это было ей приятно; она чувствовала: то, что она затеяла, не лезет ни в какие ворота. Джулия пересекла Конот-сквер и вышла на Эдвард-роуд. Было около пяти часов дня. Сплошной лентой тянулись автобусы, такси, грузовики, мимо них с риском для жизни прокладывали себе путь велосипедисты. Тротуары были забиты людьми. Джулия

медленно двинулась в северном направлении. Сперва она шла, глядя прямо перед собой, не оборачиваясь ни направо, ни налево, но вскоре поняла, что так она ничего не добьется. Надо смотреть на людей, если хочешь, чтобы они смотрели на тебя. Два или три раза, увидев, что перед витриной стоят несколько человек, Джулия тоже останавливалась, но никто из них не обращал на нее никакого внимания. Она двигалась дальше. Прохожие обгоняли ее, шли навстречу. Казалось, все они куда-то спешат. Ее никто не замечал. Увидев одинокого мужчину, приближающегося к ней, Джулия смело посмотрела ему прямо в глаза, но он прошел мимо с каменным лицом. Может быть, у нее слишком суровое выражение? На губах Джулии запорхала легкая улыбка. Двое или трое мужчин подумали, что она улыбается им, и быстро отвели глаза. Джулия оглянулась на одного из них, он тоже оглянулся, но тут же ускорил шаг. Джулия почувствовала себя уязвленной и решила не глазеть больше по сторонам. Она шла все дальше и дальше. Ей часто приходилось слышать, что лондонская толпа самая приличная в мире, но в данном случае это уж чересчур!

«На улицах Парижа, Рима или Берлина такое было бы невозможно», – подумала Джулия.

Джулия решила дойти до Мэрилибоун-роуд и повернуть обратно. Слишком унижительно возвращаться домой, когда на тебя ни разу никто даже не взглянул. Джулия шла так медленно, что прохожие иногда ее задевали. Это вывело ее из себя.

«Надо было пойти на Оксфорд-стрит, – подумала она. – Эта дура Эви! На Эдвард-роуд толку не будет».

Внезапно сердце Джулии торжественно подпрыгнуло. Она поймала взгляд какого-то молодого человека, и ей показалось, что она заметила в нем огонек. Молодой человек прошел мимо, и она с трудом удержалась, чтобы не оглянуться. Джулия вздрогнула, так как через минуту он ее обогнал – на этот раз он уставился прямо на нее. Джулия скромно опустила ресницы. Он отстал на несколько шагов, но она чувствовала, что он следует за ней по пятам. Все в порядке. Джулия остановилась перед витриной, молодой человек – тоже. Теперь она знала, как себя вести. Джулия сделала вид, будто всецело поглощена товарами, выставленными на витрине, но, прежде чем двинуться дальше, сверкнула на него своими слегка улыбающимися глазами. Молодой человек был невысок, в сером костюме и мягкой коричневой шляпе. Клерк или продавец скорее всего. Если бы Джулии предложили выбрать мужчину, который бы к ней пристал, она вряд ли остановила бы свой выбор на этом человеке, но что поделаешь, на безрыбье и рак рыба – пристать к ней собирался именно он. Джулия забыла

про усталость. Ну а что теперь? Конечно, она не собирается заходить слишком далеко, но все же любопытно, какой будет его следующий шаг. Что он ей скажет? Джулия была в приятном возбуждении, у нее прямо камень с души свалился. Она медленно шла вперед, молодой человек – за ней. Джулия остановилась у витрины, на этот раз он остановился прямо позади нее. Ее сердце неистово билось. Похоже, что ее ждет настоящее приключение.

«Куда он меня поведет? В гостиницу? Вряд ли, это ему не по карману. Скорее, в кино. Вот будет забавно!»

Джулия посмотрела ему прямо в лицо, ее губы слегка улыбались. Молодой человек снял шляпу.

– Мисс Лэмберт, если не ошибаюсь?

Она так и подскочила. Сказать по правде, она была захвачена врасплох и так растерялась, что даже не подумала это отрицать.

– Мне показалось, что я сразу узнал вас, вот почему я вернулся, чтобы убедиться наверняка. Я сказал себе: я буду не я, если это не Джулия Лэмберт. А тут мне совсем подвезло – вы остановились у витрины, и я смог вас разглядеть. Я почему только сомневался? Что встретил вас тут, на Эдвард-роуд. Не очень-то подходящее место для чистой публики. Вы понимаете, что я хочу сказать?

Дело было еще более нечисто, чем он думал. Однако, раз он догадался, кто она, это теперь не имеет значения. И как она не подумала, что рано или поздно ее обязательно узнают. Судя по манере говорить, молодой человек – кокни; у него было бледное одутловатое лицо, но Джулия улыбнулась ему веселой дружеской улыбкой. Пусть не подумает, что она задирает нос.

– Простите, что я заговорил с вами, когда мы не знакомы и вообще, но я не мог упустить эту возможность. Не дадите ли вы мне ваш автограф?

У Джулии перехватило дыхание. И ради этого он следовал за ней целых десять минут! Быть не может. Это просто предлог, чтобы с ней заговорить. Что ж, она ему подыграет.

– С удовольствием. Но не могу же я писать на улице. Люди начнут пялить глаза.

– Верно. Слушайте, я как раз шел пить чай. В кондитерскую Лайонза, на следующем углу. Почему бы вам тоже не зайти выпить чашечку чаю?

Что ж, все идет как по маслу. Когда они выпьют чай, он, вероятно, пригласит ее в кино.

– Хорошо, – сказала Джулия.

Они двинулись по улице и вскоре подошли к кондитерской, сели за столик.

– Две чашки чаю, пожалуйста, мисс, – сказал молодой человек официантке и обратился к Джулии: – Может быть, съедите чего-нибудь? – И когда Джулия отказалась, добавил: – И одну ячменную лепешку, мисс.

Теперь Джулия могла как следует его рассмотреть. Низкий и коренастый, с прилизанными черными волосами, он был, однако, недурен, особенно хороши ей показались глаза; однако зубы у него были плохие, а бледная кожа придавала лицу нездоровый вид. Держался он довольно развязно, что не особенно-то нравилось Джулии, но, как она разумно рассудила, вряд ли можно ожидать особой скромности от человека, который пристаёт к женщинам на Эдвард-роуд.

– Давайте прежде всего напишем этот автограф, э? «Не отходя от кассы» – вот мой девиз.

Он вынул из кармана перо, а из пухлого бумажника карточку.

– Карточка нашей фирмы, – сказал он. – Ничего, сойдет.

Джулии казалось глупым, что он все еще продолжает ломать комедию, но она благодушно расписалась на обратной стороне карточки.

– Вы собираете автографы? – спросила она с легкой усмешкой.

– Я? Нет. Чушь это, я так считаю. Моя невеста собирает. У нее уже есть Чарли Чаплин, Дуглас Фербенкс и бог весть кто еще. Хотите посмотреть на ее фото?

Молодой человек извлек из бумажника моментальный снимок девицы довольно дерзкого вида, показывающей все свои зубы в ослепительной кинематографической улыбке.

– Хорошенькая, – сказала Джулия.

– Еще бы! Идем с ней сегодня в кино. Вот удивится, когда я ей покажу ваш автограф. Как я вас узнал на улице, так перво-наперво сказал себе: умру, а достану для Гвен автограф Джулии Лэмберт. Мы с ней поженимся в августе, когда у меня будет отпуск, поедem на остров Уайт на медовый месяц. Ну и повеселюсь я сегодня. Она ни в жисть не поверит, что мы с вами пили чай, а тут я покажу ей автограф. Ясно?

Джулия вежливо слушала его, но улыбка с ее лица исчезла.

– Боюсь, мне пора идти, – сказала она. – Я и так задержалась.

– У меня и самого немного времени. Раз я иду на свидание, хочу уйти из магазина минута в минуту.

Официантка принесла чек вместе с чаем, и, вставая из-за стола, Джулия вынула шиллинг.

– Это еще к чему? Неужто думаете, я дам вам платить? Я вас пригласил.

– Очень любезно с вашей стороны.

– Но я вам вот что скажу: разрешите мне привести мою невесту как-нибудь к вам в уборную. Просто поздоровайтесь с ней, и все. Она с ума сойдет от радости. Будет рассказывать всем встречным и поперечным до самой смерти.

За последние минуты обращение Джулии делалось все холоднее, а сейчас, хотя все еще любезное, казалось чуть ли не высокомерным.

– Я очень сожалею, но мы не пускаем посторонних людей за кулисы.

– Простите. Вы не в обиде, что я спросил, нет? Я хочу сказать, я ведь не для себя.

– Ничуть. Я вполне вас понимаю.

Джулия подозвала такси, медленно ползущее вдоль обочины, и подала руку молодому человеку.

– До свидания, мисс Лэмберт. Всего хорошего, желаю успеха и все такое. Спасибо за автограф.

Джулия сидела в уголке такси вне себя от ярости.

«Вульгарная скотина. Пропади он пропадом вместе со своей... невестой! Какая наглость! Спросить, нельзя ли привести ее за кулисы, и к кому? Ко мне!»

Дома она сразу поднялась к себе в комнату. Сорвала шляпу с головы и в сердцах швырнула ее на кровать. Подошла стремительно к туалетному столику и пристально посмотрела на себя в зеркало.

– Старуха, старуха, – пробормотала она. – С какой стороны ни посмотришь: у меня абсолютно нет «секс эпила». Невероятно, да? Противоречит здравому смыслу? Но как же иначе все это объяснить? Я вышагиваю из конца в конец всю Эдвард-роуд, и одетая, как надо для роли, и хоть бы один мужчина на меня взглянул, кроме этого мерзкого продавца, которому понадобился для его барышни мой автограф. Это нелепо. Бесполье ублюдки! Не представляю, куда катится Англия. Британская империя, ха!

Последние слова были произнесены с таким презрением, которое могло бы испепелить весь кабинет министров. Джулия начала подкреплять слова жестами.

– Смешно предполагать, что я достигла бы своего положения, если бы во мне не было «секс эпила». Почему люди приходят в театр смотреть на актрису? Да потому, что им хотелось бы с ней переспать. Думаете, публика ходила бы три месяца подряд на эту дрянную пьесу, да так, что в зале яблоку упасть негде, если бы у меня не было «секс эпила»? Что такое, в конце концов, этот «секс эпил»?

Джулия приостановилась, задумчиво посмотрела на свое отражение.

«Бесспорно, я могу изобразить „секс эпил“. Я могу изобразить все».

Джулия принялась перебирать в памяти актрис, которые пользовались скандальной славой секс-бомб.

Особенно хорошо она помнила одну из них, Лидию Мейн, которую всегда ангажировали на амплуа обольстительниц-«вамп». Актриса она была неважная, но в определенных ролях производила огромный эффект. Джулия всегда прекрасно подражала, и вот она принялась копировать Лидию Мейн. Веки ее опустились, сладострастно прикрыли глаза, тело под платьем начало извиваться волнообразным движением. Взгляд стал соблазнительно бесстыдным, как у Лидии, змеившиеся жесты – манящими. Она заговорила, как и та, слегка растягивая слова, отчего каждая ее фраза казалась чуть непристойной.

– Ах, мой дорогой, я так часто слышу подобные вещи. Я не хочу вносить раздор в вашу семью. Почему мужчины не могут оставить меня в покое?

Это была безжалостная карикатура. Джулия не знала пощады. Ей стало так смешно, что она расхохоталась.

«Что ж, одно не вызывает сомнений: может, у меня и нет „секс эпила“, но кто увидел бы, как я копирую Лидию Мейн, не нашел бы его потом и у нее».

У Джулии стало куда легче на душе.

Глава двадцать шестая

Начались репетиции и отвлекли растревоженные мысли Джулии в другую сторону. Старая пьеса, которую Майкл поставил, когда Джулия уезжала за границу, давала весьма средние сборы, но он предпочитал, чем закрывать театр, не снимать ее с репертуара, пока не будет готов их новый спектакль «Нынешние времена». Поскольку сам он два раза в неделю выступал днем, Майкл решил, что они не будут репетировать до упаду. У них был впереди целый месяц.

Хотя Джулия уже много лет играла в театре, репетиции по-прежнему приводили ее в радостный трепет, а на первой репетиции она так волновалась, что чуть не заболела. Это было началом нового приключения. Она в это время совсем не ощущала себя ведущей актрисой театра, ей было тревожно и весело, словно она вновь молоденькая девушка, исполняющая свою первую крошечную роль. И вместе с тем она испытывала восхитительное чувство собственного могущества. Ей вновь предоставлялась возможность его проявить.

В одиннадцать часов Джулия поднялась на сцену. Актеры празднично стояли кто где. Джулия расцеловалась с теми актрисами и пожала руки тем актерам, с которыми была знакома, Майкл учтиво представил ей тех, кого она не знала. Джулия сердечно приветствовала Эвис Крайтон. Сказала ей, какая она хорошенькая и как ей, Джулии, нравится ее новая шляпка, поведала о тех костюмах, которые выбрала для нее в Париже.

- Вы видели Тома в последнее время?
- Нет. Он уехал в отпуск.
- Ах так? Славный мальчик, правда?
- Душка.

Обе женщины улыбнулись, глядя в глаза друг другу. Джулия внимательно следила за Эвис, когда та читала свою роль, вслушивалась в ее интонации. Она хмуро улыбнулась. Конечно, другого она и не ждала. Эвис была из тех актрис, которые абсолютно уверены в себе с первой репетиции. Она и не догадывалась, что ей предстоит. Том теперь ничего не значил для Джулии, но с Эвис она собиралась свести счеты и сведет. Потаскушка!

Пьеса была современной версией «Второй миссис Тэнкори»^[71], но поскольку у нового поколения были и нравы другие, автор сделал из нее комедию. В нее были введены некоторые старые персонажи, во втором акте появлялся, уже дряхлым стариком, Обри Тэнкори. После смерти Полы он

женится в третий раз. Миссис Кортельон решила вознаградить его за злосчастный второй брак; сама она превратилась к этому времени в сварливую и высокомерную старую даму. Элин, его дочь, и Хью Ардейл решили забыть прошлое – кто старое помянет, тому глаз вон – и заключили супружеский союз; казалось, трагическая смерть Полы стерла воспоминания о его экстрабрачных отношениях. Хью в этой пьесе был бригадный генерал в отставке, который играл в гольф и сетовал по поводу упадка Британской империи («Черт побери, сэр, была бы на то моя воля, я поставил бы всех этих проклятых социалистов к стенке»), а Элин, теперь уже далеко не молодая, превратилась из жеманной барышни в веселую, современную, злую на язык женщину. Персонажа, которого играл Майкл, звали Роберт Хамфри. Подобно Обри из пьесы Пинеро, он был вдовец и жил с единственной дочерью. В течение многих лет он был консулом в Китае; разбогатев, вышел в отставку и поселился в поместье, оставленном ему в наследство, неподалеку от того места, где по-прежнему жили Тэнкори. Его дочь Онор (на роль которой как раз и взяли Эвис Крайтон) изучала медицину с целью практиковать в Индии. Растеряв всех старых друзей за много лет пребывания за границей и не заведя новых, Роберт Хамфри знакомится в Лондоне с известной дамой полусвета по имени миссис Мартен. Это была женщина того же пошиба, что Пола, но менее разборчивая; она «работала» летний и зимний сезоны в Канне, а в промежутках жила в квартирке на Элбе-Марл-стрит, где принимала офицеров бригады его величества. Она хорошо играла в бридж и еще лучше в гольф. Роль прекрасно подходила Джулии.

Автор почти не отходил от старого текста. Онор объявляет мистеру Хамфри, что отказывается от медицинской карьеры, так как она только что обручилась с молодым гвардейцем, сыном Элин, и до своего замужества собирается жить с отцом. В некотором замешательстве тот открывает ей свое намерение жениться на миссис Мартен. Онор принимает сообщение с полным спокойствием.

«Ты, конечно, знаешь, что она шлюха?» – хладнокровно произносит она.

Отец, еще более смущенный, говорит о несчастной жизни миссис Мартен и о том, как он хочет вознаградить ее за страдания.

«Ах, не болтай чепухи, – отвечает ему дочь, – это великолепная работа, если только можешь ее иметь».

Сын Элин был одним из бесчисленных любовников миссис Мартен, точно так же, как муж Элин был в свое время любовником Полы Тэнкори. Когда Роберт Хамфри привозит свою новую жену в загородное поместье и

этот факт обнаруживается, они решают, что следует сообщить обо всем Онор. К их ужасу, она и бровью не повела: ей уже было об этом известно.

«Я была страшно рада, когда узнала, – сказала она своей мачехе. – Понимаете, душечка, теперь вы можете сказать мне, хорош ли он в постели».

Это была лучшая мизансцена Эвис Крайтон: она продолжалась целых десять минут, и Майкл с самого начала понял, как она важна и эффектна. Холодная, сухая, миловидная Эвис – то самое, что здесь нужно. Но после нескольких репетиций Майкл стал подозревать, что ничего, кроме этого, она дать не сможет, и решил посоветоваться с Джулией.

– Как, по-твоему, Эвис?

– Трудно сказать. Еще слишком рано.

– Я расстроен из-за нее. Ты говорила, она актриса. Пока я этого не вижу.

– Да это готовая роль. Ее просто невозможно испортить.

– Ты знаешь не хуже меня, что нет такой вещи, как готовая роль. Как бы роль ни была хороша, ее надо сыграть, из нее надо извлечь все, что в ней заложено. Может быть, лучше расстаться с Эвис, пока не поздно, и взять вместо нее кого-нибудь другого?

– Это не так просто. Я все же думаю, надо дать ей возможность себя показать.

– Она так неуклюжа, ее жесты так бессмысленны!

Джулия задумалась. У нее были все основания желать, чтобы Эвис осталась в числе исполнителей пьесы. Она уже достаточно ее изучила и была уверена, что, если ее уволить, она скажет Тому, будто Джулия сделала это из ревности. Том ее любит и поверит каждому ее слову. Еще, чего доброго, подумает, что Джулия преднамеренно нанесла ей оскорбление в отместку за его уход. Нет, нет, Эвис должна остаться. Она должна исполнить свою роль и провалить ее. Том должен собственными глазами увидеть, какая она никудышная актриса. Они с Эвис думали, будто пьеса поможет ей «выплыть на поверхность». Дураки! Пьеса утопит ее.

– Ты же умелый режиссер, Майкл. Я уверена, ты сумеешь ее натаскать, если постараться.

– В том-то и беда: она совсем не слушает указаний. Я объясняю ей, как надо произнести реплику, и – нате вам! – она опять говорит ее на свой лад. Ты не поверишь, но иногда у меня создается впечатление, что она воображает, будто все знает лучше меня.

– Ты ее нервируешь. Когда ты велишь ей что-нибудь сделать, она пугается и просто перестает соображать.

– Господи, да с кем легче работать, чем со мной! Я ни разу не сказал ей ни одного резкого слова.

Джулия нежно улыбнулась ему:

– И ты хочешь уверить меня, будто не догадываешься, что с ней?

– Нет. А что?

Майкл глядел на Джулию недоумевающим взглядом.

– Брось притворяться, милый. Она по уши в тебя влюблена.

– В меня? Да я думал, она помолвлена с Томом. Глупости. Твои вечные фантазии.

– Но это же видно невооруженным глазом. В конце концов, она не первая жертва твоей роковой красоты и, думаю, не последняя.

– Видит бог, я не хочу подкладывать свинью бедняге Тому.

– Ты-то в чем виноват?

– Так как же, по-твоему, мне поступить?

– Будь с ней ласков. Она еще так молода, бедняжка. Ей нужна рука помощи. Если бы ты прошел несколько раз роль только с ней одной, я уверена, вы сотворили бы чудеса. Почему бы тебе как-нибудь не пригласить ее к ленчу и не поговорить наедине?

Джулия увидела, что глаза Майкла чуть заблестели, на губах появилась тень улыбки: он обдумывал ее слова.

– Конечно, главное – чтобы пьеса прошла как можно лучше.

– Я понимаю, что для тебя это обуза, но ради пьесы... Право, стоит того.

– Ты же знаешь, Джулия, я ни за что на свете не хотел бы тебя расстраивать. Я бы с удовольствием выставил ее и взял кого-нибудь другого.

– Я думаю, это будет большой ошибкой. Я убеждена, что, если ты поработаешь с Эвис как следует, она прекрасно сыграет.

Майкл прошелся раза два взад-вперед по комнате. Казалось, он рассматривает вопрос со всех сторон.

– Что ж, моя работа в том и заключается, чтобы заставить каждого исполнителя играть как можно лучше. И в каждом конкретном случае приходится искать самый правильный подход.

Майкл выдвинул подбородок и втянул живот. Выпрямил спину. Джулия поняла, что Эвис Крайтон останется в труппе. На следующий день на репетиции Майкл отвел Эвис в сторонку и долго с ней говорил. По его манере Джулия в точности знала, что именно, и, поглядывая искоса, вскоре заметила, как Эвис Крайтон улыбнулась и кивнула головой. Майкл пригласил ее на ленч. Джулия, успокоенная, углубилась в собственную

роль.

Глава двадцать седьмая

Репетиции шли уже две недели, когда Роджер вернулся из Австрии. Он провел несколько недель на Коринфском озере и собирался пробыть в Лондоне день-два, а затем ехать к друзьям в Шотландию. Майкл должен был пообедать пораньше и уйти в театр, и встречала Роджера одна Джулия. Когда она одевалась, Эви, шмыгая, по обыкновению, носом, заметила, что уж она так старается, так старается выглядеть покрасивее, словно идет на свидание. Джулии хотелось, чтобы Роджер ею гордился, и действительно, она выглядела молоденькой и хорошенькой в своем летнем платье, когда ходила взад-вперед по платформе. Можно было подумать – и напрасно, – что она не замечает взглядов, обращенных на нее. Роджер, проведя месяц на солнце, сильно загорел, но от прыщей так и не избавился и казался еще более худым, чем когда уезжал из Лондона на Новый год. Джулия обняла его с преувеличенной нежностью. Он слегка улыбнулся.

Обедать они должны были вдвоем. Джулия спросила, куда он хочет потом пойти: в театр или в кино. Роджер ответил, что предпочел бы остаться дома.

– Чудесно, – сказала она, – посидим с тобой, поболтаем.

У нее и правда был один предмет на уме, который Майкл просил ее обсудить с Роджером, если представится такая возможность. Совсем скоро он поступит в Кембридж, пора уже было решать, чем он хочет заняться. Майкл боялся, как бы он не потратил там попусту время, а потом пошел служить в маклерскую контору или еще, чего доброго, на сцену. Считая, что Джулия сумеет сделать это тактичнее и что она имеет больше влияния на сына, Майкл настоятельно просил ее нарисовать Роджеру, какие блестящие возможности откроются перед ним, если он пойдет на дипломатическую службу или займется юриспруденцией. Джулия была уверена, что на протяжении двух-трех часов разговора сумеет навести Роджера на эту важную тему. За обедом она пыталась расспросить сына о Вене, но он отмалчивался.

– Ну что я делал? То, что делают все остальные. Осматривал достопримечательности и усердно изучал немецкий. Шатался по пивным. Часто бывал в опере.

Джулия спросила себя, не было ли у него там интрижек.

– Во всяком случае, невесты ты себе там не завел, – сказала она, надеясь вызвать его на откровенность.

Роджер кинул на нее задумчивый, чуть иронический взгляд. Можно было подумать, что он разгадал, что у нее на уме. Странно: родной сын, а ей с ним не по себе.

– Нет, – ответил он, – я был слишком занят, чтобы тратить время на такие вещи.

– Ты, верно, перебивал во всех театрах.

– Ходил раза два-три.

– Ничего не видел, что могло бы нам пригодиться?

– Знаешь, я совершенно забыл об этом.

Слова его могли показаться весьма нелюбезными, если бы не сопровождалась улыбкой, а улыбка у него была прелесть. Джулия снова с удивлением подумала, как это вышло, что сын унаследовал так мало от красоты отца и очарования матери. Рыжие волосы были хороши, но светлые ресницы лишали лицо выразительности. Один бог знает, как он умудрился при таких родителях иметь неуклюжую, даже грузноватую фигуру. Ему исполнилось восемнадцать, пора бы уже ему стать стройнее. Он казался немного апатичным, в нем не было ни капли ее бьющей через край энергии и искрящейся жизнерадостности. Джулия представляла, как живо и ярко она рассказывала бы о пребывании в Вене, проведи она там полгода. Даже из поездки на Сен-Мало к матери и тетушке Кэрри она сострепала такую историю, что люди плакали от хохота. Они говорили, что ее рассказ ничуть не хуже любой пьесы, а сама Джулия скромно полагала, что он куда лучше большинства из них. Она расписала свое пребывание в Сен-Мало Роджеру. Он слушал ее со своей медленной спокойной улыбкой, но у Джулии возникло неловкое чувство, что ему все это кажется не таким забавным, как ей. Джулия вздохнула про себя. Бедный ягненок, у него, видно, совсем нет чувства юмора. Роджер сделал какое-то замечание, позволившее Джулии заговорить о «Нынешних временах». Она изложила ему сюжет пьесы, объяснила, как она мыслит себе свою роль, обрисовала занятых в ней актеров и декорации. В конце обеда ей вдруг пришло в голову, что она говорит только о своем. Как это вышло? У нее закралось подозрение, что Роджер сознательно направил разговор в эту сторону, чтобы избежать расспросов о себе и собственных делах. Нет, вряд ли. Он для этого недостаточно умен. Позднее, когда они сидели в гостиной, курили и слушали радио, Джулия умудрилась наконец задать ему самым естественным тоном приготовленный заранее вопрос:

– Ты уже решил, кем ты хочешь быть?

– Нет еще. А что – это спешно?

– Ты знаешь, я сама в этом ничего не смыслю, но твой отец говорит,

что, если ты намерен быть адвокатом, тебе надо изучать в Кембридже юриспруденцию. С другой стороны, если тебе больше по вкусу дипломатическая служба, надо браться за современные языки.

Роджер так долго глядел на нее с привычной спокойной задумчивостью, что Джулии с трудом удалось удержать на лице шутливое, беспечное и вместе с тем нежное выражение.

– Если бы я верил в Бога, я стал бы священником, – сказал наконец Роджер.

– Священником?

Джулия подумала, что она ослышалась. Ее охватило острое чувство неловкости. Но его ответ проник в сознание, и, словно при вспышке молнии, она увидела сына кардиналом, в окружении подобострастных прелатов, обитающих в роскошном палаццо в Риме, где по стенам висят великолепные картины, затем – в образе святого в митре и вышитой золотом ризе, милостиво раздающим хлеб беднякам. Она увидела себя в парчовом платье и жемчужном ожерелье. Мать Борджиа.

– Это годилось для шестнадцатого века, – сказала она. – Ты немножко опоздал.

– Да. Ты права.

– Не представляю, как это пришло тебе в голову. – Роджер не ответил. Джулия была вынуждена продолжать сама: – Ты счастлив?

– Вполне, – улыбнулся он.

– Чего же ты хочешь?

Он опять поглядел на мать приводящим ее в замешательство взглядом. Трудно было сказать, говорит ли он на самом деле всерьез, потому что в глазах у него поблескивали огоньки.

– Правды.

– Что, ради всего святого, ты имеешь в виду?

– Понимаешь, я прожил всю жизнь в атмосфере притворства. Я хочу добраться до истинной сути вещей. Вам с отцом не вредит тот воздух, которым вы дышите, вы и не знаете другого и думаете, что это воздух райских куш. Я в нем задыхаюсь.

Джулия внимательно слушала, стараясь понять, о чем говорит сын.

– Мы – актеры, преуспевающие актеры, вот почему мы смогли окружить тебя роскошью с первого дня твоей жизни. Тебе хватит одной руки, чтобы сосчитать по пальцам, сколько актеров отправляли своих детей в Итон.

– Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали.

– Тогда за что же ты нас упрекаешь?

– Я не упрекаю вас. Вы дали мне все, что могли. К несчастью, вы отняли у меня веру.

– Мы никогда не вмешивались в твою веру. Я знаю, мы не религиозны. Мы актеры, и после восьми спектаклей в неделю хочешь хотя бы в воскресенье быть свободным. Я, естественно, ожидала, что всем этим займутся в школе.

Роджер помолчал. Можно было подумать, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать.

– Однажды – мне было тогда четырнадцать, я был еще совсем мальчишкой – я стоял за кулисами и смотрел, как ты играла. Это была, наверное, очень хорошая сцена, твои слова звучали так искренно, так трогательно, что я не удержался и заплакал. Все во мне горело, не знаю, как тебе это лучше объяснить. Я чувствовал необыкновенный душевный подъем. Мне было так жаль тебя, я был готов на любой подвиг. Мне казалось, я никогда больше не смогу совершить подлость или учинить что-нибудь тайком. И надо же было тебе подойти к заднику сцены, как раз к тому месту, где я стоял. Ты повернулась спиной к залу – слезы все еще струились у тебя по лицу – и самым будничным голосом сказала режиссеру: «Что этот чертов осветитель делает с софитами? Я велела ему не включать синий». А затем, не переводя дыхания, снова повернулась к зрителям с громким криком, исторгнутым душевной болью, и продолжала сцену.

– Но, милый, это и есть игра. Если бы актриса испытывала все те эмоции, которые она изображает, она бы просто разорвала в клочья свое сердце. Я хорошо помню эту сцену. Она всегда вызывала оглушительные аплодисменты. В жизни не слышала, чтобы так хлопали.

– Да, я был, наверное, глуп, что попался на твою удочку. Я верил: ты думаешь то, что говоришь. Когда я понял, что это одно притворство, во мне что-то надломилось. С тех пор я перестал тебе верить. Во всем. Один раз меня оставили в дураках; я твердо решил, что больше одурачить себя не позволю.

Джулия улыбнулась ему прелестной обезоруживающей улыбкой:

– Милый, тебе не кажется, что ты болтаешь чепуху?

– А тебе, конечно, это кажется. Для тебя нет разницы между правдой и выдумкой. Ты всегда играешь. Эта привычка – твоя вторая натура. Ты играешь, когда принимаешь гостей. Ты играешь перед слугами, перед отцом, передо мной. Передо мной ты играешь роль нежной, снисходительной, знаменитой матери. Ты не существуешь. Ты – это только бесчисленные роли, которые ты исполняла. Я часто спрашиваю себя: была

ли ты когда-нибудь сама собой или с самого начала служила лишь средством воплощения в жизнь всех тех персонажей, которые ты изображала. Когда ты заходишь в пустую комнату, мне иногда хочется внезапно распахнуть дверь туда, но я ни разу не решился на это – боюсь, что никого там не найду.

Джулия быстро взглянула на сына. Ее била дрожь, от слов Роджера ей стало жутко. Она слушала внимательно, даже с некоторым волнением: он был так серьезен. Она поняла, что он пытается выразить то, что гнетет его много лет. Никогда в жизни еще Роджер не говорил с ней так долго.

– Значит, по-твоему, я просто подделка? Или шарлатан?

– Не совсем. Потому что это и есть ты. Подделка для тебя правда. Как маргарин – масло для людей, которые не пробовали настоящего масла.

У Джулии возникло ощущение, что она в чем-то виновата. Королева в «Гамлете»: «Готов свое я сердце растерзать, когда бы можно в грудь твою проникнуть». Мысли ее отвлеклись. («Да, наверное, я уже слишком стара, чтобы сыграть Гамлета. Сиддонс и Сара Бернар его играли. Таких ног, как у меня, не было ни у одного актера, которых я видела в этой роли. Надо спросить Чарлза, как он думает. Да, но там тоже этот проклятый белый стих. Глупо не написать „Гамлета“ прозой. Конечно, я могла бы сыграть его по-французски в Comédie-Française. Вот был бы номер!»)

Она увидела себя в черном камзоле и длинных шелковых чулках. «Увы, бедный Йорик». Но Джулия тут же очнулась.

– Ну, про отца ты вряд ли можешь сказать, что он не существует. Вот уже двадцать лет он играет самого себя. («Майкл подошел бы для роли короля, не во Франции, конечно, а если бы мы рискнули поставить „Гамлета“ в Лондоне».)

– Бедный отец. Я полагаю, дело он свое знает, но он не больно-то умен. И слишком занят тем, чтобы оставаться самым красивым мужчиной в Англии.

– Не очень это хорошо с твоей стороны так говорить о своем отце.

– Я сказал тебе что-нибудь, чего ты не знаешь? – невозмутимо спросил Роджер.

Джулии хотелось улыбнуться, но она продолжала хранить вид оскорбленного достоинства.

– Наши слабости, а не наши достоинства делают нас дорогими нашим близким, – сказала она.

– Из какой это пьесы?

Джулия с трудом удержалась от раздраженного жеста. Слова сами собой слетели с ее губ, но, произнеся их, она вспомнила, что они

действительно из какой-то пьесы. Поросенок! Они были так уместны здесь.

– Ты жесток, – грустно сказала Джулия. Она все больше ощущала себя королевой Гертрудой. – Ты совсем меня не любишь.

– Я бы любил, если бы мог тебя найти. Но где ты? Если содрать с тебя твой эксгибиционизм, забрать твое мастерство, снять, как снимают шелуху с луковицы, слой за слоем притворство, неискренность, избитые цитаты из старых ролей и обрывки поддельных чувств, доберешься ли наконец до твоей души? – Роджер посмотрел на нее серьезно и печально, затем слегка улыбнулся. – Но ты мне очень нравишься.

– Ты веришь, что я тебя люблю?

– Да. По-своему.

На лице Джулии внезапно отразилось волнение.

– Если бы ты только знал, как я страдала, когда ты болел. Не представляю, что бы со мной было, если бы ты умер.

– Ты продемонстрировала бы великолепное исполнение роли осиротевшей матери у гроба своего единственного сына.

– Ну, для великолепного исполнения мне нужно хоть несколько репетиций, – парировала она. – Ты не понимаешь одного: актерская игра не жизнь, это искусство, искусство же – то, что ты сам творишь. Настоящее горе уродливо; задача актера представить его не только правдиво, но и красиво. Если бы я действительно умирала, как умираю в полдюжине пьес, думаешь, меня заботило бы, достаточно ли изящны мои жесты и слышны ли мои бессвязные слова в последнем ряду галерки? Коль это подделка, то не больше, чем соната Бетховена, и я такой же шарлатан, как пианист, который играет ее. Жестоко говорить, что я тебя не люблю. Я привязана к тебе. Тебя одного я только и любила в жизни.

– Нет, ты была привязана ко мне, когда я был малышом и ты могла со мной фотографироваться. Получался прелестный снимок, который служил превосходной рекламой. Но с тех пор ты не очень много обо мне беспокоилась. Я скорее был для тебя обузой. Ты всегда была рада видеть меня, но тебя вполне устраивало, что я могу сам себя занять и тебе не надо тратить на меня время. Я тебя не виню: у тебя никогда не было времени ни на кого, кроме самой себя.

Джулия начала терять терпение. Роджер был слишком близок к истине, чтобы это доставляло ей удовольствие.

– Ты забываешь, что дети довольно надоедливы.

– И шумны, – улыбнулся он. – Но тогда зачем же притворяться, что ты не можешь разлучаться со мной? Это тоже игра.

– Мне очень тяжело все это слышать. У меня такое чувство, будто я не

выполнила своего долга перед тобой.

– Это неверно. Ты была очень хорошей матерью. Ты сделала то, за что я всегда буду тебе благодарен: ты оставила меня в покое.

– Не понимаю все же, чего ты хочешь.

– Я тебе сказал: правды.

– Но где ты ее найдешь?

– Не знаю. Возможно, ее вообще нет. Я еще молод и невежествен. Возможно, в Кембридже, читая книги, встречаясь с людьми, я выясню, где ее надо искать. Если окажется, что она только в религии, я пропал.

Джулия обеспокоилась. То, что говорил Роджер, не проникало по-настоящему в ее сознание, его слова нанизывались в строки, и важен был не смысл их, а доходили они или нет, но Джулия ощущала его глубокое волнение. Конечно, ему всего восемнадцать, было бы глупо принимать его слишком всерьез, она невольно думала, что он набрался этого у кого-нибудь из друзей и во всем этом много позы. А у кого есть собственные представления и кто не позирует, хоть самую чуточку? Но, вполне возможно, сейчас он ощущает все, о чем говорит, и с ее стороны будет нехорошо отнестись к его словам слишком легко.

– Теперь мне ясно, что ты имеешь в виду, – сказала она. – Мое самое большое желание – чтобы ты был счастлив. С отцом я управлюсь – поступай как хочешь. Ты должен сам искать спасения своей души, это я понимаю. Но может быть, твои мысли просто вызваны плохим самочувствием и склонностью к меланхолии? Ты был совсем один в Вене и, наверное, слишком много читал. Конечно, мы с отцом принадлежим к другому поколению и вряд ли во многом сумеем тебе помочь. Почему бы тебе не обсудить все эти вещи с кем-нибудь из ровесников? С Томом, например?

– С Томом? С этим несчастным снобом? Его единственная мечта в жизни – стать джентльменом, и он не видит, что чем больше он старается, тем меньше у него на это шансов.

– А я думала, он тебе нравится. Прошлым летом в Тэплоу ты бегал за ним как собачонка.

– Я ничего не имею против него. И он был мне полезен. Он рассказал мне кучу вещей, которые я хотел знать. Но я считаю его глупым и ничтожным.

Джулия вспомнила, какую безумную ревность вызывала в ней их дружба. Даже обидно, сколько муки она приняла зря.

– Ты порвала с ним, да? – неожиданно спросил Роджер.

Джулия чуть не подскочила.

– Более или менее.

– И правильно сделала. Он тебе не пара.

Роджер глядел на Джулию спокойными задумчивыми глазами, и ей чуть не стало дурно от страха: а вдруг он знает, что Том был ее любовником. Невозможно, говорила она себе, ей внушает это нечистая совесть. В Тэплоу между ними ничего не было. Невероятно, чтобы до ушей сына дошли какие-нибудь мерзкие слухи; и все же выражение его лица неуловимо говорило о том, что он знает. Джулии стало стыдно.

– Я пригласила Тома в Тэплоу только потому, что думала – тебе будет приятно иметь товарища твоего возраста.

– Мне и было приятно.

В глазах Роджера вспыхнули насмешливые огоньки. Джулия была в отчаянии. Ей бы хотелось спросить его, что его забавляет, но она не осмеливалась. Джулия была оскорблена в лучших чувствах. Она бы заплакала, но Роджер только рассмеется. И что она может ему сказать? Он не верит ни единому ее слову. Игра! С ней никогда этого не бывало, но на этот раз Джулия не смогла найти выхода из положения. Она столкнулась с чем-то, чего она не знала, чем-то таинственным и пугающим. Может, это и есть правда? И тут она услышала, что к дому подъехала машина.

– Твой отец! – воскликнула Джулия.

Какое облегчение! Вся эта сцена была невыносима, благодарение богу, приезд Майкла положил ей конец. Через минуту в комнату стремительно вошел Майкл – подбородок выдвинут, живот втянут, – невероятно красивый для своих пятидесяти с лишним лет, и с радушной улыбкой протянул руку – как мужчина мужчине – своему единственному сыну, вернувшемуся домой после шестимесячной отлучки.

Глава двадцать восьмая

Через три дня Роджер уехал в Шотландию. Джулия приложила всю свою изобретательность, чтобы больше не оставаться надолго с ним наедине. Когда они случайно оказывались вместе на несколько минут, они говорили о посторонних вещах. В глубине души Джулия была рада, что он уезжает. Она не могла выкинуть из ума тот странный разговор, который произошел в день его возвращения. Особенно встревожили Джулию его слова о том, что, если она войдет в пустую комнату и кто-нибудь неожиданно откроет туда дверь, там никого не окажется. Ей было от этого не по себе.

«Я никогда не считала себя сногшибательной красавицей, но в одном мне никто не отказывал – в моем собственном „я“. Если я могу сыграть сто различных ролей на сто различных ладов, нелепо говорить, что у меня нет своего лица, индивидуальности. Я могу это сделать потому, что я – чертовски хорошая актриса».

Джулия попыталась вспомнить, что происходит, когда она входит одна в пустую комнату.

«Но я никогда не бываю одна, даже в пустой комнате. Рядом всегда Майкл, или Эви, или Чарлз, или зрители, не во плоти, конечно, а духовно. Надо поговорить о Роджере с Чарлзом...»

К сожалению, Чарлза Тэмерли не было в городе. Однако он скоро должен был вернуться – к генеральной репетиции и премьере; за двадцать лет он ни разу не пропустил этих событий, а после генеральной репетиции они всегда вместе ужинали. Майкл задержится в театре, занятый освещением и всем прочим, и они с Чарлзом будут одни. Они смогут как следует поговорить.

Джулия готовила свою роль. Она не то чтобы сознательно лепила персонаж, который должна была играть. У нее был дар влезть, так сказать, в шкуру своей героини, она начинала думать ее мыслями и чувствовать ее чувствами. Интуиция подсказывала Джулии сотни мелких штрихов, которые потом поражали зрителей своей правдивостью, но когда Джулию спрашивали, откуда она их взяла, она не могла ответить. Теперь ей хотелось показать, что миссис Мартен, которая любила гольф и была своей в мужской компании, при всем ее кураже и кажущейся беззаботности по сути – респектабельная женщина из средних слоев общества, страстно мечтающая о замужестве, которое позволит ей твердо стоять на ногах.

Майкл никогда не разрешал, чтобы на генеральную репетицию приходила толпа народу, а на этот раз, желая поразить публику во время премьеры, пустил в зал, кроме Чарлза, только тех людей – фотографа и костюмеров, – присутствие которых было абсолютно необходимо. Джулия играла вполсилы. Она не собиралась выкладываться и давать все, что она может, до премьеры. Сейчас достаточно, если ее исполнение будет просто профессионально. Под опытным руководством Майкла все шло без сучка без задоринки, и в десять вечера Джулия и Чарлз уже сидели в зале «Савоя». Первый вопрос, который она ему задала, касался Эвис Крайтон.

– Совсем недурна и на редкость хорошенькая. Во втором акте она прелестно выглядела в этом платье.

– Я не хочу надевать на премьеру то платье, в котором была сегодня. Чарли Деверил сшил мне другое.

Чарлз не видел злорадного огонька, который сверкнул при этом в ее глазах, а если бы и видел, не понял бы, что он значит. Майкл, последовав совету Джулии, не пожалел усилий, чтобы натаскать Эвис. Он репетировал с ней одной у себя в кабинете и вложил в нее каждую интонацию, каждый жест. У Джулии были все основания полагать, что он к тому же несколько раз приглашал ее к ленчу и возил ужинать. Все это дало свои результаты – Эвис играла на редкость хорошо. Майкл потирал руки.

– Я ею очень доволен. Уверен, что она будет иметь успех. Я уже подумываю, не заключить ли с ней постоянный контракт.

– Я бы пока не стала, – сказала Джулия. – Во всяком случае, подожди до премьеры. Никогда нельзя быть уверенным в том, как пойдет спектакль, пока не прокатишь его на публике.

– Она милая девушка и настоящая леди.

– «Милая девушка», вероятно, потому, что она от тебя без ума, а «настоящая леди» – так как отвергает твои ухаживания, пока ты не подпишешь с ней контракт?

– Ну, дорогая, не болтай глупостей. Да я ей в отцы гожусь!

Но при этом Майкл самодовольно улыбнулся. Джулия прекрасно знала, что все его ухаживания сводились к пожиманию ручек да одному-двум поцелуям в такси, но она знала также, что ему льстят ее подозрения в супружеской неверности.

Удовлетворив аппетит с соответствующей оглядкой на интересы своей фигуры, Джулия приступила к предмету, который был у нее на уме.

– Чарлз, милый, я хочу поговорить с вами о Роджере.

– О да, он на днях вернулся. Как он поживает?

– Ах, милый, случилась ужасная вещь. Он стал страшным резонером,

не знаю, как с ним и быть.

Джулия изобразила – в своей интерпретации – разговор с сыном. Опустила одну-две подробности, которые ей казалось неуместным упоминать, но в целом рассказ ее был точен.

– Самое трагическое в том, что у него абсолютно нет чувства юмора, – закончила она.

– Ну, в конце концов, ему всего восемнадцать.

– Вы представить себе не можете, я просто онемела от изумления, когда он все это мне выложил. Я чувствовала себя в точности как Валаам, когда его ослица завязала светскую беседу.

Джулия весело взглянула на него, но Чарлз даже не улыбнулся. Ее слова не показались ему такими уж смешными.

– Не представляю, где он всего этого набрался. Нелепо думать, будто он своим умом дошел до этих глупостей.

– А вам не кажется, что мальчишки этого возраста думают гораздо больше, чем представляем себе мы, старшее поколение? Своего рода духовное возмужание. Результаты, к которым оно приводит, часто бывают удивительными.

– Таить такие мысли все эти годы и даже словечком себя не выдать! В этом есть что-то вероломное. Он ведь обвиняет меня. – Джулия засмеялась. – Сказать по правде, когда Роджер говорил со мной, я чувствовала себя матерью Гамлета. – Затем, почти без паузы: – Интересно, я уже слишком стара, чтобы играть в «Гамлете»?

– Роль Гертруды не слишком выигрышная.

Джулия откровенно расхохоталась:

– Ну и дурачок вы, Чарлз. Я вовсе не собираюсь играть королеву. Я бы хотела сыграть Гамлета.

– А вы считаете, что это подходит женщине?

– Миссис Сиддонс играла его, и Сара Бернар. Это бы скрепило печатью мою карьеру. Вы понимаете, что я хочу сказать? Конечно, там есть своя трудность – белый стих.

– Я слышал, как некоторые актеры читают его, – не отличишь от прозы.

– Да, но это все же не одно и то же, не так ли?

– Вы были милы с Роджером?

Джулию удивило, что Чарлз вернулся к старой теме так внезапно, но она сказала с улыбкой:

– Обворожительна.

– Трудно относиться спокойно ко всем глупостям молодежи; они

сообщают, что дважды два – четыре, будто это для нас новость, и разочарованы, если мы не разделяем их удивления по поводу того, что курица несет яйца. В их тирадах полно ерунды, и все же там не только ерунда. Мы должны им сочувствовать, должны стараться их понять. Мы должны помнить, что многое нужно забыть и многому научиться, когда впервые лицом к лицу сталкиваешься с жизнью. Не так это легко – отказаться от своих идеалов, и жестокие факты нашего повседневного бытия – горькие пилюли. Душевные конфликты юности бывают очень жестоки, и мы так мало можем сделать, чтобы как-то помочь.

– Неужели вы действительно думаете, будто во всей этой чепухе, которую нес Роджер, хоть что-то есть? Я полагаю, это бредни; он наслушался их в Вене. Лучше бы мы его туда не отпускали.

– Возможно, вы и правы. Возможно, года через два он перестанет витать в облаках и стремиться к небесной славе, примирится с цепями. А возможно, найдет то, чего ищет, если не в религии, так в искусстве.

– Мне бы страшно не хотелось, чтобы Роджер пошел на сцену, если вы это имеете в виду.

– Нет, вряд ли это ему понравится.

– И само собой, он не может быть драматургом, у него совсем нет чувства юмора.

– Да, пожалуй, дипломатическая служба подошла бы Роджеру больше всего. Там это стало бы преимуществом.

– Так что вы мне советуете?

– Ничего. Не трогайте его. Это, вероятно, самое лучшее, что вы для него можете сделать.

– Но я не могу не волноваться.

– Для этого нет никаких оснований. Вы считали, что родили гадкого утенка; кто знает – настанет день, и он превратится в белокрылого лебедя.

Чарлз разочаровал Джулию, она хотела от него совсем другого. Она надеялась встретить у него сочувствие.

«Он стареет, бедняжка, – думала она. – Стал хуже разбираться в вещах и людях; он, наверное, уже много лет импотент. И как это я раньше не догадалась?»

Джулия спросила, который час.

– Пожалуй, мне пора идти. Надо как следует выспаться этой ночью.

Спала Джулия хорошо и проснулась с ощущением душевного подъема. Вечером премьеры. Она с радостным волнением вспомнила, что, когда она после репетиции уходила вчера из театра, у касс начали собираться люди, и сейчас, в десять часов утра, там, вероятно, уже стоят

длинные очереди.

«Им повезло сегодня с погодой».

В прежние, такие далекие теперь времена Джулия невыносимо нервничала перед премьерой. Уже с утра ее начинало подташнивать, и по мере того как день склонялся к вечеру, она приходила в такое состояние, что начинала подумывать, не оставить ли ей театр. Но сейчас, пройдя через это тяжкое испытание столько раз, Джулия в какой-то степени закалилась. В первую половину дня она чувствовала себя счастливой и чуть-чуть взволнованной, лишь под вечер ей делалось немного не по себе. Она становилась молчаливой и просила оставить ее одну. Она становилась также раздражительной, и Майкл знал по горькому опыту, что в это время лучше не попадаться ей на глаза. Руки и ноги у нее холодели, а когда Джулия приезжала в театр, они превращались в ледышки. И все же тревожное ожидание, томившее ее, было ей даже приятно.

Утро у нее было свободно – ехать в театр на прогон всего спектакля без костюмов надо было лишь в полдень, поэтому встала она поздно. Майкл не появился к ленчу, так как должен был еще повозиться с декорациями, и Джулия ела одна. Затем легла и проспала, не просыпаясь, целый час. Она намеревалась отдохнуть до самого спектакля. Мисс Филиппс придет в шесть, сделает ей легкий массаж; к семи Джулия хотела снова быть в театре. Но, проснувшись, она почувствовала себя такой свежей и отдохнувшей, что ей показалось скучно лежать в постели; она решила пойти погулять. Был прекрасный солнечный день. Так как городской пейзаж она предпочитала загородному и дома ей нравились больше, чем деревья, Джулия не пошла в парк, а стала медленно прогуливаться по соседним улицам, пустынным в это время года, глядя от нечего делать на особняки и думая, насколько их собственный нравится ей больше. У нее было спокойно и легко на душе. Наконец Джулия решила, что, пожалуй, пора возвращаться. Только она подошла к углу Стэнхоуп-плейс, как услышала голос, звавший ее по имени, не узнать который она не могла.

– Джулия!

Она обернулась, и Том, расплывшись в улыбке, догнал ее. Джулия не видела его еще после возвращения из Франции. Он был весьма элегантен, в нарядном сером костюме и коричневой шляпе. Лицо покрывал густой загар.

– Я думала, тебя нет в Лондоне.

– Вернулся в понедельник. Не звонил, так как знал, что ты занята на последних репетициях. Я сегодня буду в театре. Майкл дал мне кресло в

партере.

– Прекрасно.

Не вызывало сомнений, что он очень рад ее видеть. Он сиял, глаза его блестели. Джулия с удовлетворением отметила, что встреча с Томом не всколыхнула никаких чувств в ее душе. И в то время, как они продолжали разговор, задавалась про себя вопросом, что в нем раньше так глубоко волновало ее.

– С чего, ради всего святого, ты вздумала бродить одна по городу?

– Вышла подышать. Как раз собиралась возвращаться и выпить чаю.

– Пойдем выпьем чаю у меня.

Его квартира была за углом. Том заметил Джулию, когда подходил к своим дверям.

– Ты так рано вернулся с работы?

– Сейчас в конторе не особенно много дел. Знаешь, один из компаньонов умер около двух месяцев назад, и у меня увеличился пай. А это значит – мне все же удастся не расставаться с квартирой. Майкл вел себя на редкость порядочно, сказал, что я могу не платить до лучших времен. Мне ужасно не хотелось уезжать отсюда. Заходи. Я с удовольствием приготовлю тебе чашку чаю.

Том болтал так оживленно, что Джулии стало смешно. Слушая его, никому бы и в голову не пришло, что между ними когда-нибудь что-нибудь было. В нем не заметно было ни малейшего смущения.

– Хорошо. Но у меня есть всего одна минута.

– О'кей.

Они свернули к его дому, Джулия первой пошла по узкой лестнице наверх.

– Проходи дальше, в гостиную, а я поставлю воду на огонь.

Джулия вошла в комнату и села. Огляделась. В этих стенах разыгралась трагедия ее жизни. Здесь ничего не изменилось. Ее фотография стояла на старом месте, но на каминной полке появилась еще одна – большой снимок Эвис Крайтон. На ней было написано: «Тому от Эвис». Чтобы увидеть все это, Джулии хватило одного взгляда. Комната казалась ей декорацией, в которой она когда-то давно играла; была знакома, но ничего больше не значила для нее. Любовь, которая снедала ее, ревность, которую она подавляла, иступленный восторг поражения – все это было не более реально, чем любая из ее бесчисленных прошлых ролей. Джулия наслаждалась своим равнодушием. Вошел Том – в руках его была подаренная ею скатерть – и аккуратно расставил чайный сервиз, который тоже подарила она. Джулия и сама не понимала, почему при мысли, что он

так вот бездумно пользуется всеми ее подарками, ее начал разбирать смех. Том принес чай, и они выпили его, сидя бок о бок на диване. Он продолжал рассказывать ей, насколько улучшилось его положение. Как всегда, стараясь быть любезным, он признался, что большой пай в фирме ему дали за то, что он привлек туда много новых клиентов, а это ему удалось только благодаря ей, Джулии. Рассказал, как провел отпуск. Джулии было ясно, что Том даже не подозревает, какие жгучие страдания он некогда ей причинял. От этого ей тоже захотелось рассмеяться.

– Я слышал, тебя ждет сегодня колоссальный успех.

– Неплохо бы, правда?

– Эвис говорит, вы оба, ты и Майкл, замечательно относитесь к ней. Смотри, как бы она тебя не обошла.

Том хотел ее подразнить, но Джулия спросила себя, уж не обмолвилась ли ему Эвис, что надеется на это.

– Вы обручены?

– Нет. Эвис нужна свобода. Она говорит, что помолвка помешает ее карьере.

– Чему? – Слово само собой сорвалось у Джулии с губ, но она тут же поправилась: – Ах да, ясно.

– Естественно, я не хочу стоять у нее на пути. Вдруг после сегодняшней премьеры она получит приглашение в Америку? Конечно, я понимаю, ничто не должно помешать ей его принять.

Ее карьера! Джулия улыбнулась про себя.

– Знаешь, я и вправду думаю: ты молодец, что так ведешь себя по отношению к Эвис.

– Почему?

– Ну, тебе самой известно, что такое женщины.

Говоря это, Том обнял ее за талию и поцеловал.

Джулия рассмеялась ему в лицо:

– Ну и забавный ты мальчик!

– Может, позанимаемся немного любовью?

– Не болтай глупостей.

– Что в этом глупого? Тебе не кажется, что мы и так слишком долго были в разводе?

– Я за полный развод. И как же Эвис?

– Ну, это другое. Пойдем, а?

– У тебя совсем выскочило из памяти, что у меня сегодня премьеры?

– У нас еще куча времени.

Том привлек ее к себе и снова нежно поцеловал. Джулия глядела на

него насмешливыми глазами. Внезапно решилась:

– Хорошо.

Они поднялись и пошли в спальню. Джулия сняла шляпу и сбросила платье. Том обнял ее, как обнимал раньше. Он целовал ее закрытые глаза и маленькие груди, которыми она так гордилась. Джулия отдала ему свое тело – пусть делает с ним что хочет, – но душу ее это не затрагивало. Она возвращала ему поцелуи из дружелюбия, но поймала себя на том, что думает о роли, которую ей сегодня предстоит играть. В ней словно сочетались две женщины: любовница в объятиях своего возлюбленного и актриса, которая уже видела мысленным взором огромный полутемный зал и слышала взрывы аплодисментов при своем появлении. Когда немного позднее они лежали рядом друг с другом, ее голова на его руке, Джулия настолько забыла о Томе, что чуть не вздрогнула, когда он прервал затянувшееся молчание.

– Ты меня совсем не любишь больше?

Она слегка прижала его к себе:

– Конечно, люблю, милый. Души не чаю.

– Ты сегодня такая странная.

Джулия поняла, что он разочарован. Бедняжка, она вовсе не хочет его обижать. Право же, он очень милый.

– Я сама не своя, когда у меня впереди премьера. Не обращай внимания.

Окончательно убедившись, что ей ни жарко ни холодно от того, существует Том или нет, Джулия невольно почувствовала к нему жалость. Она ласково погладила его по щеке:

– Леденчик мой. («Интересно, не забыл ли Майкл послать тем, кто стоит в очереди, горячий чай? Стоит это недорого, а зрители так это ценят».) Знаешь, мне и правда пора. Мисс Филиппс придет ровно в шесть. Эвис с ума сойдет. Она и так, верно, голову себе ломает, что со мной стряслось.

Джулия весело болтала все время, пока одевалась. Она видела, не глядя на Тома, что он не в своей тарелке. Джулия надела шляпу, затем сжала его лицо обеими руками и дружески поцеловала.

– До свидания, мой ягненочек. Надеюсь, ты хорошо проведешь вечер.

– Ни пуха ни пера.

Он неловко улыбнулся. Она догадалась, что он не может ее понять. Джулия выскользнула из квартиры, и, если бы она не была ведущей английской актрисой и женщиной, которой далеко за сорок, она бы проскакала на одной ножке до самого дома. Она была страшно довольна.

Джулия открыла парадную дверь своим ключом и захлопнула ее за собой.

«А в словах Роджера, пожалуй, что-то есть. Любовь и вправду не стоит всего того шума, который вокруг нее поднимают».

Глава двадцать девятая

Четыре часа спустя все было уже позади. Пьесу прекрасно принимали с самого начала; публика, самый бомонд, несмотря на неподходящее время года, была рада после летнего перерыва вновь очутиться в театре, и ей нетрудно было угодить. Это было удачным началом театрального сезона. Каждый акт завершался бурными аплодисментами. После окончания спектакля было больше десяти вызовов. На последние два Джулия выходила одна, и даже она была поражена горячим приемом. Прерывающимся от волнения голосом она произнесла несколько слов, – приготовленных заранее, – которых требовал этот торжественный случай. Затем на сцену вышла вся труппа, и оркестр заиграл национальный гимн. Джулия, довольная, взволнованная, счастливая, вернулась к себе в уборную. Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе. Никогда еще не играла с таким блеском, разнообразием и изобретательностью. Пьеса кончалась длинным монологом, в котором Джулия – удалившаяся на покой проститутка – клеймит легкомыслие, никчемность и аморальность того круга бездельников, в который она попала благодаря замужеству. Монолог занимал в тексте целые две страницы, и вряд ли в Англии нашлась бы еще актриса, которая могла бы удержать внимание публики в течение такого долгого времени. Благодаря своему тончайшему чувству ритма, богатому оттенками прекрасному голосу, мастерскому владению всей палитрой чувств Джулия сумела, при ее блестящей актерской технике, сотворить чудо – превратить свой монолог в захватывающий, эффектный, чуть не зримый кульминационный пункт всей пьесы. Самые острые сюжетные ситуации не могли быть столь волнующими, никакая, самая неожиданная развязка – столь поразительной. Все актеры играли превосходно, за одним исключением – Эвис Крайтон.

Направляясь в уборную, Джулия весело мурлыкала что-то себе под нос.

Майкл зашел почти вслед за ней.

– Что ж, победа за нами, – сказал он и, обняв Джулию, поцеловал ее. – Господи, как ты играла!

– Ты и сам был очень хорош, милый.

– Ну, такую роль я могу сыграть, стоя на голове, – ответил он беззаботно, как всегда скромный в отношении собственных возможностей. – Ты слышала, какая тишина была в зале во время твоего

последнего монолога? Критики будут сражены.

– Ну, ты знаешь, что такое критики. Все внимание чертовой пьесе и три строчки под конец – мне.

– Ты – величайшая актриса Англии, любимая, но, клянусь богом, ты – ведьма.

Джулия широко открыла глаза, на ее лице было самое простодушное удивление.

– Что ты хочешь этим сказать, Майкл?

– Не изображай из себя невинность. Ты прекрасно знаешь. Старого воробья на мякине не проведешь.

Его глаза весело поблескивали, и Джулии было очень трудно удержаться от смеха.

– Я невинна, как новорожденный младенец.

– Брось. Если кто-нибудь когда-нибудь подставлял другому ножку, так это ты сегодня – Эвис. Я не мог на тебя сердиться, ты так красиво это сделала.

Тут уж Джулия была не в состоянии скрыть легкую улыбку. Похвала всегда приятна артисту. Единственная большая мизансцена Эвис была во втором акте. Кроме нее, в ней участвовала Джулия, и Майкл поставил сцену так, что все внимание зрителей должно было сосредоточиться на девушке. Это соответствовало и намерению драматурга. Джулия, как всегда, следовала на репетициях всем указаниям Майкла. Чтобы оттенить цвет глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. Для контраста Джулия выбрала себе желтое платье подходящего оттенка. В нем она и выступала на генеральной репетиции. Но одновременно с желтым Джулия заказала себе другое, из сверкающей серебряной парчи, и, к удивлению Майкла и ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере во втором акте. Его блеск и то, как оно отражало свет, отвлекало внимание зрителей. Голубое платье Эвис выглядело рядом с ним линиялой тряпкой. Когда они подошли к главной мизансцене, Джулия вынула откуда-то – как фокусник вынимает из шляпы кролика – большой платок из пунцового шифона и стала им играть. Она помахивала им, она расправляла его у себя на коленях, словно хотела получше рассмотреть, сворачивала его жгутом, вытирала им лоб, изящно сморкалась в него. Зрители, как замороженные, не могли оторвать глаз от красного лоскута. Джулия уходила в глубину сцены, так что, отвечая на ее реплики, Эвис приходилось обращаться к залу спиной, а когда они сидели вместе на диване, взяла девушку за руку, словно бы повинуюсь внутреннему порыву, совершенно естественным, как казалось зрителям, движением и,

откинувшись назад, вынудила Эвис повернуться в профиль к публике. Джулия еще на репетициях заметила, что в профиль Эвис немного похожа на овцу. Автор вложил в уста Эвис строки, которые были так забавны, что на первой репетиции все актеры покатились со смеху. Но сейчас Джулия не дала залу осознать, как они смешны, и тут же кинула ей ответную реплику; зрители, желая услышать ее, подавили свой смех. Сцена, задуманная как чисто комическая, приобрела сардонический оттенок, и персонаж, которого играла Эвис, стал выглядеть одиозным. Эвис, не слыша ожидаемого смеха, от неопытности испугалась и потеряла над собой контроль, голос ее зазвучал жестко, жесты стали неловкими. Джулия отобрала у Эвис мизансцену и сыграла ее с поразительной виртуозностью. Но ее последний удар был случаен. Эвис должна была произнести длинную речь, и Джулия нервно скомкала свой платочек; этот жест почти автоматически повлек за собой соответствующее выражение: она поглядела на Эвис встревоженными глазами, и две тяжелые слезы покатились по ее щекам. Вы чувствовали, что она сгорает со стыда за ветреную девицу, вы видели ее боль из-за того, что все ее скромные идеалы, ее жажда честной, добродетельной жизни осмеиваются столь жестоко. Весь эпизод продолжался не больше минуты, но за эту минуту Джулия сумела при помощи слез и муки, написанной на лице, показать все горести жалкой женской доли. С Эвис было покончено навсегда.

– А я, дурак, еще хотел подписать с ней контракт, – сказал Майкл.

– Почему бы и не подписать...

– Когда ты имеешь против нее зуб? Да ни за что. Ах ты, гадкая девчонка, – так ревновать! Неужели ты думаешь, Эвис что-нибудь для меня значит? Могла бы уже знать, что для меня нет на свете никого, кроме тебя.

Майкл вообразил, что Джулия сыграла свою злую шутку с Эвис в отместку за довольно бурный флирт, который он с ней завел, и хотя, конечно, сочувствовал Эвис – ей чертовски не повезло! – не мог не быть польщенным.

– Ах ты, старый осел, – улыбнулась Джулия, слово в слово читая его мысли и смеясь про себя над его заблуждением. – В конце концов, ты – самый красивый мужчина в Лондоне.

– Полно, полно. Но что скажет автор? Эта мартышка бог весть что мнит о себе, а то, что ты сегодня сыграла, и рядом не лежит с тем, что он написал.

– А, предоставь его мне! Я все улажу.

Послышался стук, и – легок на помине – в дверях возник автор собственной персоной. С восторженным криком Джулия подбежала к нему,

обвила его шею руками и поцеловала в обе щеки.

– Вы довольны?

– Похоже, что пьеса имела успех, – ответил он довольно холодно.

– Дорогой мой, она не сойдет со сцены и через год. – Джулия положила ладони ему на плечи и пристально посмотрела в лицо. – Но вы гадкий, гадкий человек!

– Я?

– Вы едва не погубили мое выступление. Когда я дошла до этого местечка во втором акте и вдруг поняла, что вы имели в виду, я чуть не растерялась. Вы же знали, что это за сцена, вы – автор, почему же вы позволили нам репетировать ее так, будто в ней нет ничего, кроме того, что лежит на поверхности? Мы только актеры, вы не можете ожидать от нас, чтобы мы... чтобы мы постигли всю вашу тонкость и глубину. Это лучшая мизансцена в пьесе, а я чуть было не испортила ее. Никто, кроме вас, не написал бы ничего подобного. Ваша пьеса великолепна, но в этой сцене виден не просто талант, в ней виден гений!

Автор покраснел. Джулия глядела на него с благоговением. Он чувствовал себя смущенным, счастливым и гордым.

(«Через сутки этот олух будет воображать, что он и впрямь именно так все и задумал».)

Майкл сиял.

– Зайдемте ко мне, выпьем по бокальчику виски с содовой. Не сомневаюсь, что вам нужно подкрепиться после всех этих переживаний.

В то время как они выходили из комнаты, вошел Том. Его лицо горело от возбуждения.

– Дорогая, это было великолепно! Ты поразительна! Черт, вот это спектакль!

– Тебе понравилось? Эвис была хороша, правда?

– Эвис? Ужасна.

– Милый, что ты хочешь этим сказать? Мне она показалась обворожительной.

– Да от нее осталось одно мокрое место! Во втором акте она даже не выглядела хорошенькой. («Карьера Эвис!») Послушай, что ты делаешь вечером?

– Долли устраивает прием в нашу честь.

– Ты не можешь как-нибудь от него отделаться и пойти ужинать со мной? Я с ума по тебе схожу.

– Что за чепуха! Не могу же я подложить Долли такую свинью.

– Ну пожалуйста!

В его глазах горел огонь. Джулия видела, что никогда еще не вызывала в нем такого желания, и порадовалась своему триумфу. Но она решительно покачала головой. В коридоре послышался шум множества голосов: они оба знали, что в уборную, обгоняя друг друга, спешат друзья, чтобы поздравить ее.

– Черт их всех подери! Как мне хочется тебя поцеловать! Я позвоню утром.

Дверь распахнулась, и Долли, толстая, потная, бурлящая энтузиазмом, ворвалась в уборную во главе толпы, забившей комнату так, что в ней нечем стало дышать. Джулия подставляла щеки для поцелуев всем подряд. Среди прочих присутствующих там были три или четыре известные актрисы, и они тоже не скупилась на похвалы. Джулия выдала прекрасное исполнение неподдельной скромности. Теперь уже и коридор был забит людьми, которые хотели взглянуть на нее хоть одним глазком. Долли пришлось локтями прокладывать себе дорогу к выходу.

– Постарайтесь прийти не очень поздно, – сказала она Джулии. – Вечер должен быть изумительным.

– Приду сразу же, как смогу.

Наконец удалось избавиться от последних посетителей, и Джулия, раздевшись, принялась снимать грим. Вошел Майкл в халате.

– Послушай, Джулия, придется тебе идти к Долли без меня. Мне надо повидаться с газетчиками, и я не успею управиться. Ну и наплету я им!

– Ладно.

– Меня уже ждут. Увидимся утром.

Майкл вышел, в комнате осталась одна Эви. На стуле лежало платье, которое Джулия собиралась надеть на прием. Джулия намазала лицо очищающим кремом.

– Эви, завтра утром мне будет звонить мистер Феннел. Скажи ему, пожалуйста, что меня нет дома.

Эви поймала в зеркале взгляд Джулии.

– А если он позвонит снова?

– Мне очень жаль обижать бедного ягненочка, но почему-то кажется, что все ближайшее время я буду очень занята.

Эви громко шмыгнула носом и подтерла его указательным пальцем. Отвратительная привычка!

– Понятно, – сухо сказала она.

– Я всегда говорила, что ты не так глупа, как кажешься. Зачем тут это платье?

– Это? Вы же говорили, что наденете его на прием.

– Убери его. Я не могу идти на прием без мистера Госселина.

– С каких это пор?

– Заткнись, старая карга. Позвони туда и скажи, что у меня ужасно разболелась голова и я вынуждена была уехать домой и лечь, а мистер Госселин придет попозже, если сможет.

– Прием устроен в вашу честь. Неужели вы так подведете несчастную старуху?

Джулия топнула ногой:

– Я не хочу идти на прием и не пойду!

– Дома пусто, вам нечего будет есть.

– Я не собираюсь ехать домой. Я поеду ужинать в ресторан.

– С кем?

– Одна.

Эви изумленно взглянула на нее.

– Но пьеса имела успех, так ведь?

– Да. Все было прекрасно. Я на седьмом небе от счастья. Мне очень хорошо. Я хочу быть одна и полностью этим насладиться. Позвони к Баркли и скажи, чтобы мне оставили столик на одного в малом зале. Они поймут.

– Что с вами такое?

– У меня в жизни больше не будет подобной минуты. Я ни с кем не намерена ее делить.

Сняв грим, Джулия не накрасила губы, не подрумянилась. Снова надела коричневый костюм, в котором пришла в театр, и ту же шляпу. Это была фетровая шляпа с полями, и Джулия низко надвинула ее, чтобы получше прикрыть лицо. Одевшись, посмотрела в зеркало.

– Я похожа на портниху со швейной фабрики, которую бросил муж, – и кто его обвинит? Не думаю, чтоб меня узнали.

Эви ходила звонить к служебному входу, и, когда она вернулась, Джулия спросила, много ли народу поджидает ее на улице.

– Сотни три.

– Черт! – Джулию охватило внезапное желание никого не видеть и ни с кем не встречаться. Захотелось хоть на один час скрыться от своей славы. – Попроси пожарника, чтобы выпустил меня с парадного входа. Я возьму такси, а как только я уеду, скажешь людям, что ждать бесполезно.

– Один бог знает, с чем только мне не приходится мириться, – туманно произнесла Эви.

– Ах ты, старая корова!

Джулия взяла лицо Эви обеими руками и поцеловала ее в испытые

щеки, затем выскользнула тихонько из комнаты на сцену, а оттуда – через пожарный ход в темный зал.

Незатейливый маскарадный костюм Джулии, по-видимому, оказался достаточным, потому что, когда она вошла в малый зал у Баркли, который особенно любила, метрдотель не сразу ее узнал.

– У вас не найдется уголка, куда бы вы могли меня сунуть? – неуверенно произнесла Джулия.

Ее голос и вторично брошенный взгляд сказали ему, кто она.

– Ваш столик ждет вас, мисс Лэмберт. Нам передали, что вы будете одни. – Джулия кивнула, и он провел ее к столику в углу зала. – Я слышал, что вы имели большой успех сегодня, мисс Лэмберт.

Хорошие вести не лежат на месте!

– Что будем заказывать?

Метрдотель был удивлен тем, что Джулия ужинала одна, но единственное чувство, которое он считал уместным показывать клиентам, было удовольствие, которое он испытывал, видя их.

– Я очень устала, Анджело.

– Немного икры для начала, мадам, или устрицы?

– Устрицы, Анджело, только жирные.

– Я собственноручно их отберу, мисс Лэмберт, а потом?

Джулия глубоко вздохнула – наконец-то она могла с чистой совестью заказать то, о чем мечтала с самого конца второго акта. Она чувствовала, что заслужила хорошее угощение, чтобы отпраздновать свой триумф, и собиралась в кои-то веки забыть о благоразумии.

– Бифштекс с луком, Анджело, жареный картофель и бутылку басса^[72]. Принесите его в серебряной кружке с крышкой.

Джулия не ела жареного картофеля, пожалуй, лет десять. Но этот день стоил того. Ей удалось утвердить свою власть над публикой, дав представление, которое она не могла назвать иначе как блестящим, свести старые счеты, одним остроумным ходом избавившись от Эвис и показав Тому, какого он свалил дурака, и – это было самое главное – доказать себе, что она свободна от раздражавших и подавлявших ее пут. Везет так уж везет. Мысли ее на миг задержались на Эвис.

– Дурочка, захотела сунуть мне палку в колеса. Ладно, завтра я позволю публике посмеяться.

Принесли устрицы; Джулия лакомилась ими с наслаждением. Она съела два куса черного хлеба с маслом с восхитительным чувством, что губит свою бессмертную душу, и отпила большой глоток из высокой пивной кружки.

– «О пиво, славное пиво!»^[73] – пробормотала Джулия.

Она представляла, как вытянулось бы у Майкла лицо, если бы он узнал, что она делает. Бедный Майкл! Воображает, будто она испортила мизансцену Эвис из-за того, что он проявил слишком большое внимание к этой блондиночке. Право, жалость берет, когда подумаешь, как глупы мужчины. Говорят, женщины тщеславны; да они просто сама скромность по сравнению с мужчинами. Джулия не могла без смеха думать о Томе. Он хотел ее сегодня днем и еще больше – сегодня вечером. Только подумать, что он значит теперь для нее не больше, чем один из рабочих сцены. Как замечательно чувствовать, что твое сердце принадлежит тебе одной, это вселяет такую веру в себя.

Зал, в котором она сидела, был соединен тремя арочными проходами с большим залом ресторана. Среди наполнявшей его толпы, несомненно, были люди, видевшие ее сегодня в театре. Вот бы удивились они, узнай, что тихая женщина, лицо которой наполовину скрыто полями фетровой шляпы, за столиком в уголке соседней комнаты, – Джулия Лэмберт. Было так приятно сидеть тут незамечаемой и неизвестной, это давало сладостное ощущение независимости. Теперь посетители ресторана были актерами, разыгрывающими перед ней пьесу, а она – зрителем. Джулия видела их мельком, когда они проходили мимо арок: молодые мужчины и молодые женщины; молодые мужчины и немолодые женщины; мужчины с лысиной, с брюшком; старые греховодницы, отчаянно цепляющиеся за раскрашенную личину юности, надетую ими на себя. Одни были влюблены, другие – равнодушны, третьи сгорали от ревности.

Подали бифштекс. Он был приготовлен точно по ее вкусу, с подрумяненным хрустящим луком. Джулия ела жареный картофель, деликатно держа его пальцами, смакуя каждый ломтик, с таким видом, словно хотела воскликнуть: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!»

«Что такое любовь по сравнению с бифштексом?» – спросила себя Джулия. Как восхитительно было сидеть одной и бесцельно переходить мыслями с предмета на предмет. Джулия вновь подумала о Томе и пожала в душе плечами: «Это было забавное приключение и кое-что мне дало». Несомненно, в будущем она извлечет из него пользу. Фигуры танцоров,двигающихся мимо полукруглых проходов, напоминали ей сцену из пьесы, и Джулия вновь подумала о том, что впервые пришло ей в голову, когда она гостила на Сен-Мало. Та мука, которая терзала ее, когда Том ее бросил, привела ей на память «Федру» Расина^[74], которую она разучивала в ранней

юности с Жанной Тэбу. Джулия перечитала трагедию. Страдания, поразившие супругу Тезея, были те же, что поразили и ее. Джулия не могла не видеть удивительного сходства между своей и ее судьбой. Эта роль была создана для нее; уж кому, как не ей, знать, что такое быть отвергнутой юношей намного моложе тебя, когда ты его любишь. Вот это было бы представление! Теперь Джулия понимала, почему весной играла так плохо, что Майкл предпочел снять пьесу и закрыть театр. Это произошло из-за того, что она на самом деле испытывала те чувства, которые должна была изображать. От этого мало проку. Сыграть чувства можно только после того, как преодолеешь их. Джулия вспомнила слова Чарлза, как-то сказавшего ей, что поэзия проистекает из чувств, которые понимаешь тогда, когда они позади, и становишься безмятежен. Она ничего не смыслит в поэзии, но в актерской игре дело обстоит именно так.

«Неглупо со стороны бедняжки Чарлза дойти до такой оригинальной мысли. Вот как неверно поспешно судить о людях. Думаешь, что аристократы – куча кретин, и вдруг один из них выдаст такое, что прямо дух захватывает, так это чертовски хорошо».

Но Джулия всегда считала, что Расин совершает большую ошибку, выводя свою героиню на сцену лишь в третьем акте.

«Конечно, я такой нелепости не потерплю, если возьмусь за эту роль. Пол-акта, чтобы подготовить мое появление, если хотите, но и этого более чем достаточно».

И правда, что ей мешает заказать кому-нибудь из драматургов вариант на эту тему, в прозе или в стихах, только чтобы строчки были короткие. С такими стихами она бы справилась, и с большим эффектом. Неплохая идея, спору нет, и она знает, какой костюм надела бы: не эту развевающуюся хламиду, которой обматывала себя Сара Бернар, а короткую греческую тунику, какую она видела однажды на барельефе, когда ходила с Чарлзом в Британский музей.

«Ну, не забавно ли? Идешь во все эти музеи и галереи и думаешь: ну и скучища, а потом, когда меньше всего этого ждешь, обнаруживаешь, что можешь использовать какую-нибудь вещь, которую ты там увидел. Это доказывает, что живопись и все эти музеи – не совсем пустая трата времени».

Конечно, с ее ногами только и надевать тунику, но удастся ли в ней выглядеть трагически? Джулия две-три минуты серьезно обдумывала этот вопрос. Когда она будет изнывать от тоски по равнодушному Ипполиту (Джулия хихикнула, представив себе Тома в его костюмах с Сэвил-роу, замаскированного под юного греческого охотника), удастся ли ей добиться

соответствующего эффекта без кучи тряпок? Эта трудность лишь подстегнула ее. Но тут Джулии пришла в голову мысль, от которой настроение ее сразу упало.

«Все это прекрасно, но где взять хорошего драматурга? У Сары был Сарду^[75], у Дузе – Д’Аннунцио^[76]. А кто есть у меня? „У королевы Шотландии прекрасный сын, а я – смоковница бесплодная“^[77].

Однако Джулия не допустила, чтобы эта печальная мысль надолго лишила ее безмятежности. Душевный подъем был так велик, что она чувствовала себя способной создавать драматургов из ничего, как Девкалион создавал людей из камней, валявшихся на поле^[78].

„О какой это ерунде толковал на днях Роджер? А бедный Чарлз еще так серьезно отнесся к этому. Глупый маленький резонер, вот он кто“.

Джулия протянула руку к большому залу. Там притушили огни, и с ее места он еще больше напоминал подмости, где разыгрывается представление.

„Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины – все актеры“^[79]. Но то, что я вижу через эту арку, всего-навсего иллюзия, лишь мы, артисты, реальны в этом мире. Вот в чем ответ Роджеру. Все люди – наше сырье. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства и преобразуем их в произведения искусства, мы создаем из них красоту, их жизненное назначение – быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они инструменты, на которых мы играем, а для чего нужен инструмент, если на нем некому играть?»

Эта мысль развеселила Джулию, и несколько минут она с удовольствием смаковала ее; собственный ум казался ей удивительно ясным.

«Роджер утверждает, что мы не существуем. Как раз наоборот, только мы и существуем. Они тени, мы вкладываем в них телесное содержание. Мы – символы всей этой беспорядочной, бесцельной борьбы, которая называется жизнью, а только символ реален. Говорят: игра – притворство. Это притворство и есть единственная реальность».

Так Джулия своим умом додумалась до платоновской теории «идей». Это преисполнило ее торжества. Джулия ощутила, как ее внезапно залила горячая волна симпатии к этой огромной безымянной толпе, к публике, которая существует лишь затем, чтобы дать ей возможность выразить себя. Вдали от всех, на вершине своей славы, она рассматривала кишащий у ее ног, далеко внизу, людской муравейник. У нее было удивительное чувство свободы от всех земных уз, и это наполняло ее таким экстазом, что все

остальное по сравнению с ним не имело цены. Джулия ощущала себя душой, витающей в райских кущах.

К ней подошел метрдотель и спросил с учтивой улыбкой:

– Все в порядке, мисс Лэмберт?

– Все великолепно. Знаете, просто удивительно, какие разные у людей вкусы. Миссис Сиддонс обожала отбивные котлеты; я в этом на нее ни капельки не похожа, я обожаю бифштекс.

Рождественские каникулы

Глава первая

Чарли Мейсону предстояла поездка, и мать уговаривала его как следует позавтракать, но слишком он был взволнован, какая уж тут еда. Был канун Рождества, и он ехал в Париж. К дню квартальных платежей им с отцом пришлось проделать уйму работы, и сегодня, когда отцу не было надобности идти в контору, он повез Чарли на вокзал Виктории. Уличная пробка на несколько минут задержала их у Гросвенор-Гарденс, и, опасаясь, как бы не опоздать на поезд, Чарли даже побледнел от тревоги. Отец посмеивался.

– У тебя еще добрых двадцать минут.

Но Чарли успокоился, только когда они приехали.

– Ну, счастливо, мой мальчик, – сказал отец. – Повеселись в свое удовольствие, да смотри не слишком проказничай.

Пароход, пятясь, кормой вперед вошел в гавань, и при виде высоких, серых, закопченных домов Кале Чарли возликовал. День был сырой, дул пронзительный ветер. Он шагал по перрону, будто по воздуху. «Золотая стрела», могучий, роскошный и величественный экспресс, который его поджидал, был не просто поездом, но романтическим символом. Пока не стемнело, Чарли смотрел в окно и про себя радостно смеялся – перед ним проносились картины, которые он уже видел в картинных галереях: песчаные дюны с лоскутами серой под свинцовым небом травы, селения, где жались друг к другу домишки бедняков под шиферными крышами, а потом широкие печальные просторы вспаханных полей и кое-где обнаженные деревья; но день, казалось, спешил покинуть эту безрадостную сцену, и вскоре, посмотрев в окно, Чарли только и увидел, что собственное отражение, а за ним полированное красное дерево пульмановского вагона. Он пожалел, что не полетел самолетом. Он хотел лететь, но мать решительно воспротивилась, убедила отца, что среди зимы это безрассудно и опасно, и отец, всегда такой здравомыслящий, на сей раз поставил условие, что увеселительная поездка состоится, только если сын отправится поездом.

Чарли, разумеется, уже бывал в Париже, раз пять-шесть, не меньше, но впервые ехал туда один. Поездка эта – подарок отца, и на то была особая причина: Чарли проработал год в отцовской конторе, сдал необходимые экзамены и мог теперь с успехом следовать по избранной стезе. Сколько он помнил, отец, мать, сестра Пэтси и он сам всегда проводили Рождество у

родных, Терри-Мейсонов, в Годэлминге; и чтобы объяснить, почему однажды вечером, обговорив все с женой, Лесли Мейсон, с улыбкой на добром лице, спросил сына, не хочет ли он вместо того, чтобы как обычно ехать с ним в Годэлминг, провести самостоятельно несколько дней в Париже, надо немного вернуться назад. Да, надо вернуться в середину девятнадцатого века, когда некто Сайберт Мейсон, человек работающий и толковый, старший садовник в большом имении в Сассексе, женился на кухарке, купил на свои и ее сбережения несколько акров земли севернее Лондона и стал выращивать овощи на продажу. Хотя ему было уже сорок и жене немногим меньше, они произвели на свет восемь детей. Мейсон преуспевал и на выручаемые деньги прикупал небольшие участки все еще свободных окрестных земель. Город разрастался, и огород приобрел ценность как место под застройку; заняв в банке деньги, Мейсон возвел целую улицу особнячков и в скором времени все их сдал в аренду. Подробно рассказывать о том, как успешно шли его дела, было бы скучно, довольно сказать, что, когда он умер в возрасте восьмидесяти четырех лет, та земля, которую он в свое время купил, чтобы выращивать овощи и продавать их на Ковентгарденском рынке, и участки, которые он неизменно приобретал при всякой возможности, отданы были под кирпич и известковый раствор. Сайберт Мейсон позаботился, чтобы его дети получили образование, в котором ему самому было отказано. Они поднимались по общественной лестнице. Он же преобразовал Владение Мейсона, как он, пожалуй, чересчур пышно его именовал, в Частную компанию, и после его смерти каждый из детей получил в наследство свою долю акций. Владение Мейсона отлично управлялось, и хотя ему не сравниться было ни с Вестминстерским, ни с Портсменским владением, ибо местоположение его было скромное и жить здесь давно уже не считалось почетным, но лавки, склады, фабрики, трущобы, длинные ряды закопченных двухэтажных домов приносили его владельцам довольно прибыли и позволяли, не прилагая особых усилий, жить как подобает джентльменам и леди, каковыми они теперь стали. И в самом деле, глава семьи, единственный оставшийся в живых сын старшего сына старого Сайберта, – брат его погиб на войне, а сестра упала с лошади во время охоты и разбилась насмерть, – был очень богат. Был он членом парламента и во время пятидесятилетнего юбилея короля Георга Пятого получил титул баронета. Он присоединил к своей фамилии фамилию жены и отныне звался сэром Уилфридом Терри-Мейсоном. Семья надеялась, что его неколебимая преданность партии тори и верное место в парламенте принесут ему в конце концов титул пэра.

Лесли Мейсона, младшего из многочисленных внуков Сайберта, послали учиться в закрытую частную школу для мальчиков, а потом и в Кембриджский университет. Его доля в компании приносила ему две тысячи фунтов стерлингов в год, и к этому прибавилась еще тысяча, которую он получал как секретарь Компании. Раз в год созывалось собрание под председательством сэра Уилфрида, – на нем присутствовали те члены семьи, которые оказывались в Англии, ибо кое-кто из третьего поколения служил своему отечеству в отдаленных пределах Империи, а кое-кто жил в праздности и часто проводил время за границей, – и Лесли читал в высшей степени благополучный отчет, составленный многоопытными бухгалтерами.

Лесли Мейсон был человеком весьма разнообразных интересов. Сейчас ему пятьдесят с небольшим, у него приятная наружность, он высокий, хорошо сложен, голубые глаза, красиво седеющие, довольно длинные волосы и яркий румянец. Он похож скорее на солдата или на приехавшего домой в отпуск губернатора какой-либо колонии, чем на комиссионера по продаже и сдаче внаем домов, и, глядя на него, никогда не скажешь, что его дед был садовником, а бабка – кухаркой. Он хорошо играет в гольф, на что не жалеет времени, и хорошо стреляет. Но Лесли Мейсон занимается не только гольфом и охотой, он еще и живо интересуется искусством. У остальных членов семьи никаких таких причуд не было, и они относились к склонностям Лесли со снисходительной улыбкой, но когда по той или иной причине кто-нибудь из них хотел купить мебель или картину, они спрашивали совета у Лесли и следовали ему. Вполне естественно, что Лесли разбирался в этих делах, ведь он женился на дочери художника. Джон Перон, отец его жены, художник, многие годы, между восьмидесятыми и концом века, был членом Королевской академии, заработал немалые деньги тем, что писал молодых женщин в костюмах восемнадцатого века, флиртующих с соответственно одетыми молодыми людьми. Он писал их в садах, среди цветов, которые сажали в те поры, в заплетенных листвою беседках и в гостиных, вполне правильно обставленных столами и стульями того периода. Но теперь, если его картины попадали на аукцион Кристи, они шли по тридцать шиллингов, от силы по два фунта. После смерти отца Винитии Мейсон досталось множество его картин, но они давно уже пылились в кладовке, лицом к стене, ибо по нынешним временам даже дочерняя любовь не могла помешать ей считать их никудышными. Чета Мейсонов нисколько не стыдилась того, что бабка Лесли была кухаркой, в дружеском кругу они склонны были шутить над этим, а вот о Джоне Пероне им упоминать было

неловко. Кое у кого из родственников Лесли Мейсона до сих пор висели его картины; Винитию это унижало.

– Я вижу, у вас там еще висит картина отца, – говорила она. – Вам не кажется, что она изрядно устарела? Почему бы вам не поместить ее в одну из свободных комнат?

– Мой тесть был прелестный человек, – говорил Лесли. – И манеры у него были прекрасные, но, боюсь, художник он был неважный.

– Видишь ли, мой папаша выложил за нее кругленькую сумму. Было бы нелепо вешать в запасной спальне картину, которая стоила триста фунтов, но, знаешь, если такое к ней твое отношение, я продам ее тебе за сто пятьдесят.

Ибо хотя за три поколения Мейсоны и превратились в леди и джентльменов, деловую хватку они не утратили.

За время брака художественный вкус четы Мейсонов весьма заметно изощрился, и на стенах их нового красивого дома на Порчестер-Клоуз висели картины Уилсона Стира и Огастеса Джона, Дункана Гранта и Ванессы Белл. Были у них и Утрилло, и Виллар, купленные, когда картины обоих мастеров еще продавались за умеренную цену, были и Дерен, и Марке, и Кирико. Стоило войти в их дом, ничуть не загроможденный мебелью, и сразу становилось ясно – они не отстают от жизни. Они старались не пропускать недоступные широкой публике закрытые выставки, а бывая в Париже, не упускали случая посетить галерею Розенберга и торговцев картинами на рю де Сен, чтобы взглянуть, что же здесь предлагают; они вправду любили картины, и если не покупали их до того, как нынешние знатоки сходились во мнении, что полотно заслуживает внимания, то отчасти из-за скромности и неуверенности в собственном суждении, а отчасти из-за опасения невыгодно вложить деньги. Ведь картины Джона Перона в свое время хвалили известнейшие критики и за каждую ему платили по несколько сот фунтов, а теперь сколько они стоят? Два-три фунта. Поневоле станешь осторожен. Но чету Мейсонов интересовала не одна только живопись. Они любили музыку, всю зиму посещали симфонические концерты, у них были любимые дирижеры, и никакие светские обязанности не заставили бы супругов пропустить их выступления. Раз в году они непременно слушали «Кольцо Нибелунгов». Обоим музыка доставляла истинное наслаждение. Они знали в ней толк и обладали хорошим вкусом. Они неизменно бывали на театральных премьерах и входили в общества, что ставят пьесы, которые считаются недоступными пониманию широкой публики. Они сразу же прочитывали книги, о которых говорят. И не только потому, что им это нравилось, но и

потому, что надо же идти в ногу со временем. Они искренне интересовались искусством, и малейшая попытка посмеяться над ними оттого, что им недоставало смелости, а их оценкам оригинальности, была бы несправедлива. Возможно, суждения их были традиционны, но то была традиционность высочайшей культуры их времени. Сами они неспособны были совершить открытие, зато живо откликались на открытия других. Предоставленные самим себе, они вряд ли особенно восхитились бы Сезанном, но едва им стало ясно, что он великий художник, и они со всей искренностью это признали. Своим вкусом они не гордились, и в их отношении к искусству не было ни тени снобизма.

– Мы просто самая заурядная публика, – говорила Винития.

– Как раз та, которую презирает художник, но которая знает, что ей нравится, – прибавлял Лесли.

По счастью и чистой случайности Дебюсси им нравился больше, чем Артур Салливен, а Вирджиния Вулф больше, чем Джон Голсуорси.

Эта поглощенность искусством почти не оставляла времени для светских развлечений; они не искали общества лиц высокопоставленных или знаменитых, друзья их были очень милые люди, состоятельные, но вовсе не богачи, которых отличало умеренное пристрастие к пище духовной. Они не очень-то любили званые обеды, сами давали их изредка и ходили на них не чаще, чем того требовали приличия; но они любили угощать друзей ужином, когда те заглядывали к ним воскресным вечером, одетые как кому угодно, и с удовольствием ели кеджери^[80] и сосиски с картофельным пюре. Гостей ждала хорошая музыка и приятная партия в бридж. И разумная беседа. Эти вечера отличались той же милой непритязательностью, как и сами супруги Мейсон, и хотя у всех гостей были собственные автомобили и лишь у немногих меньше пяти тысяч годового дохода, они льстили себя надеждой, что на их вечерах царил дух богемы.

Но счастливей всего Лесли Мейсон бывал, когда не надо было идти ни на концерт, ни на премьеру и можно было провести вечер в лоне семьи. С браком ему повезло. Жена его в молодости была хороша собой и сейчас, в зрелом возрасте, не утратила своей привлекательности. Была она почти такая же высокая, как он, глаза голубые, проседь в каштановых волосах пока еще не заметна. Склонная к полноте, она при своем росте носила ее с достоинством, а строгая диета помогала ей поддерживать форму, так что полнота ее не портила. Лицо у нее было открытое, высокий лоб и застенчивая улыбка. Одевалась она в Париже, правда, не у модных портних, а все-таки у мастерицы почти первой классной, но, однако же, в ней

всегда можно было признать англичанку. Она как бы подчиняла себе любой наряд, и если иной раз позволяла себе роскошь купить шляпу от Ребу, на ней эта шляпа казалась купленной в английском универмаге. По миссис Мейсон сразу видно было, что она женщина добропорядочная, интеллигентная и притом обеспеченная. Она вышла замуж по любви и до сих пор любила мужа. Их связывали еще и общие интересы, и неудивительно, что жили они в полном согласии. С самого начала было решено, что из них двоих она лучше разбирается в живописи, а он в музыке, и они доверяли суждениям друг друга. Когда заходил разговор, к примеру, о последней работе Пикассо, Лесли говорил:

– Что ж, сказать по совести, мне она не сразу пришлась по вкусу, а вот Винития ни минуты не сомневалась; при ее чутье она мигом оценила картину.

А миссис Мейсон признавалась, что прежде, чем по-настоящему понять утверждение мужа, будто Вторая симфония Сибелиуса на свой лад не хуже Бетховена, ей пришлось прослушать это произведение раза четыре.

– Но Лесли, разумеется, по-настоящему понимает музыку. По сравнению с ним я, можно сказать, профан.

Лесли и Винитии Мейсон повезло не только друг с другом, но и с детьми. Детей было двое, как раз столько, сколько нужно, ведь единственный ребенок может вырасти избалованным, а трое или четверо потребовали бы значительных расходов, так что уже невозможно было бы жить как хочется, не стесняя себя, и так обеспечить детей, чтобы не тревожиться за их будущее. К своим родительским обязанностям они отнеслись серьезно. Стены детской украсили не какими-нибудь глупыми картинками, предназначенными для детей, но репродукциями Ван Гога, Гогена и Мари Лорансен, чтобы с ранних лет у детей формировался вкус; столь же заботливо подобрали пластинки для патефона в детской, так что ни сын, ни дочь еще и на велосипеде не умели кататься, а уже знакомы были с Моцартом и Гайдном, с Бетховеном и Вагнером. Едва они подросли, превосходные учителя стали их обучать игре на фортепьяно, и Чарли оказался особенно способным. Брат и сестра очень любили бывать на концертах. Они приходили на воскресный дневной концерт и слушали музыку с партитурой в руках или часами дожидались места на галерке в «Ковент-Гардене», потому что родители не считали нужным покупать им дорогие билеты, полагая, что если готов слушать музыку без особых удобств, значит, ты истинный ее поклонник. Супруги Мейсон не очень жаловали старых мастеров и в Национальной галерее бывали редко, разве что газеты поднимут шум из-за какого-нибудь нового приобретения, однако

они полагали, что детям необходимо знакомиться с великим искусством прошлого, и когда те подросли, постоянно водили их в Национальную галерею, но скоро поняли, что, если хотят их порадовать, надо повести их в галерею Тейта, и с удовольствием убедились, что по-настоящему детей волнует искусство самое современное.

– Поневоле задумаешься, когда видишь, что два таких юных существа чувствуют себя в стихии Матисса, как рыба в воде, – говорил Лесли Мейсон жене, и в его добрых глазах сияла гордая улыбка.

В ее ответном взгляде читались и усмешка, и печаль.

– Они считают меня ужасно старомодной, оттого что мне все еще нравится Моне. Они говорят, его картины будто с шоколадной коробки.

– Что ж, мы сами воспитывали их вкус. Не стоит ворчать, если они нас обогнали и оставили позади.

Винития мило и ласково засмеялась.

– Видит бог, я нисколько на них не сержусь, пускай считают меня безнадежно старомодной. Что бы они ни говорили, все равно мне будут нравиться и Моне, и Мане, и Дега.

Но Мейсоны подумали не только о художественном образовании своих отпрысков. Они старались, чтобы те не выросли излишне чувствительными и достигли мастерства в спорте, в различных играх. Брат и сестра хорошо ездили верхом, и из Чарли получился совсем неплохой стрелок. Пэтси, которой исполнилось восемнадцать, училась в Королевской музыкальной академии. В мае она закончит курс, и тогда они устроят в ее честь бал в прекраснейшей гостинице «Кларидж». Леди Терри-Мейсон представит ее ко двору. Пэтси такая хорошенькая, голубоглазая, белокурая, стройненькая, веселая, с привлекательной улыбкой, ей, конечно же, обеспечен быстрый успех. Лесли хотел, чтобы она вышла за подающего надежды молодого адвоката, стремящегося сделать политическую карьеру. Столь утонченная и образованная девушка, да еще при деньгах, которые она со временем унаследует, Пэтси будет такому человеку замечательной женой. Но это означало бы конец дружной, уютной и счастливой жизни их семейства, какую они до сих пор наслаждаются. Конец приятнейшим вечерам, когда они обедают дома вчетвером в красиво обставленной столовой, где над чиппендейловским буфетом висит полотно Стира, за столом, сияющим уотерфордским стеклом и георгианским серебром, где прислуживают хорошо обученные служанки в ловко сидящих форменных платьях; простые английские блюда прекрасно приготовлены; а после обеда, за которым не умолкает беседа об искусстве, литературе, театре, – стакан портвейна, и потом в гостиную немного музыки и партия в бридж. Винития

боялась, что это с ее стороны чистейший эгоизм, а все же поневоле радовалась, что прежде, чем Чарли сможет позволить себе жениться, пройдет по крайней мере несколько лет.

Чарли родился во время войны, ему минуло двадцать три, и когда Лесли демобилизовался и поехал в Годэлминг к главе семьи, который был уже членом парламента, но имел еще только низшее дворянское звание, сэр Уилфрид посоветовал ему, когда придет время, отдать сына в Итон. Лесли и слышать об этом не хотел. И вовсе не из-за денег, которых бы это потребовало, – просто ему хватало здравого смысла не посылать мальчика в школу, где ему привьют экстравагантные вкусы и он наберется идей, никак не подходящих для предстоящей ему жизни.

– Сам я учился в Рагби, и, по-моему, для него будет лучше всего, если я пошлю его туда же.

– Я думаю, ты делаешь ошибку, Лесли. Своих я послал в Итон. Я, слава богу, не сноб, но и не дурак, в обществе Итон ценят, тут спорить не приходится.

– Да, еще бы, но мое положение не чета твоему. Ты очень богат, Уилфрид, и если все пойдет хорошо, ты в конце концов попадешь в палату лордов. Ты совершенно прав, тебе, конечно, следует предоставить сыновьям те возможности, которые позволят им занять в обществе подобающее положение, а я, хоть и секретарь компании «Мейсонское владение», что звучит весьма солидно, когда дело доходит до монеты, оказывается, я всего-навсего агент по продаже недвижимости, и не желаю я воспитывать сына важным господином, пускай пойдет по моей дорожке.

Такие речи Лесли были невинной хитростью. По завещанию старого Сайберта и из-за несчастий, приключившихся с братом и сестрой Уилфрида, о чем было уже рассказано, ему теперь принадлежали три восьмых Компании, это принесло ему значительный капитал, который будет становиться еще значительней благодаря доходам от арендаторов, возрастающей стоимости земли и умелому управлению. Человек толковый, деятельный, да притом богатый и с положением, он пользовался особым влиянием в семье, и хотя никто из родных не ставил это под сомнение, ему приятно было, когда это признавали вслух.

– Неужели ты хочешь сказать, что был бы доволен, если бы сын тоже стал агентом по продаже недвижимости?

– Мне это занятие подходит. Почему ж оно не подойдет ему? Никто не знает, к чему идет мир, и когда Чарли вырастет, может, он еще как будет рад тепленькому местечку на тысячу в год. Но хозяин, разумеется, ты.

Сэр Уилфрид повел рукой, давая понять, что скромность не позволяет

ему согласиться с такой своей ролью.

– Я такой же акционер, как и все вы, но что до меня, если ты хочешь, чтобы сын занял твое место, пускай займет. Все это, разумеется, еще не скоро, к тому времени я уже могу умереть.

– В нашей семье живут долго, ты проживешь не меньше Сайберта. Во всяком случае, будет неплохо, если ты дашь понять остальным, что это дело решенное: когда я отойду от дел, мое место займет мой сын.

Чтобы расширить кругозор детей, супруги Мейсоны проводили каникулы за границей – зимой там, где можно кататься на лыжах, а летом на морских курортах на юге Франции; и раза два они с той же похвальной целью совершали путешествия в Италию и в Голландию. Когда Чарли окончил школу, отец решил, что, прежде чем поступать в Кембридж, мальчику полезно пожить полгода в Туре, изучить французский. Но его пребывание в этом славном городе обернулось совершенно неожиданно и могло бы привести к катастрофе, – ибо, вернувшись, он объявил, что желает ехать не в Кембридж, а в Париж, хочет стать художником. Родители были ошеломлены. Они любили искусство, часто говорили, что оно занимает весьма важное место в их жизни; Лесли, временами не чуждый философических размышлений, склонен был думать, что только искусство придает смысл человеческому существованию, и с величайшим уважением относился к его творцам; но никогда он не мог себе представить, что кто-либо из его семьи, а тем более его родной сын, изберет путь столь неопределенный, необычный и в большинстве случаев отнюдь не доходный. Да и Винития не могла забыть судьбу своего отца. Было бы несправедливо сказать, что оттого, как серьезно, серьезнее, чем им хотелось бы, сын воспринял их увлеченность искусством, родители растерялись; они и вправду были серьезно увлечены, но как покровители, меценаты; хоть и приверженные богеме, они владели акциями Компании Мейсон, а это, как понятно каждому, ставило их совсем в другое положение. К словам Чарли они отнеслись вполне недвусмысленно, но сознавали, нелегко будет выразить это так, чтобы сын не счел их неискренними.

– Не понимаю, с чего ему это взбрело в голову, – сказал Лесли, обсуждая новость с женой.

– Я думаю, он это унаследовал. Все-таки мой отец был художник.

– Он занимался живописью, дорогая. Он был истинный джентльмен и поразительный рассказчик, но ни один разумный человек не назвал бы его художником.

Винития вспыхнула, и Лесли почувствовал, что обидел ее. И поспешил

исправить свою оплошность.

– Если он унаследовал призвание к искусству, то куда скорей от моей бабки. Помню, старик Сайберт говаривал: тот не знает вкуса рубца с луком, кто не отведал бабкиной стряпни. Когда она ушла из кухарок и стала женой садовника, мир потерял замечательную мастерицу своего дела.

Винития прыснула и простила его.

Слишком хорошо они друг друга знали, им не требовалось обсуждать возникающие недоразумения. Дети любили их и смотрели на них снизу вверх; и супруги согласились, что было бы безмерно жаль каким-нибудь неверным шагом поколебать веру Чарли в мудрость и честность родителей. Молодые нетерпимы, скажи им то, что диктует здравый смысл, они тут же сочтут тебя старым обманщиком.

– По-моему, не стоит запрещать ему это слишком решительно, – сказала Винития. – Он только заупрямится.

– Тут поначалу требуется осмотрительность. Не спору.

Положение осложнялось еще тем, что Чарли привез из Тура несколько полотен и, когда показал их, родители отозвались о них в таких выражениях, которые теперь было бы трудно взять обратно. Они хвалили его работы не как знатоки, а как любящие родители.

– Может быть, тебе стоило бы как-нибудь утром позвать Чарли в кладовку, и пускай посмотрит полотна твоего отца. Ничего не навязывай, лучше, чтоб это получилось будто невзначай. А я при случае с ним поговорю.

Случай представился. Лесли сидел в малой гостиной, которую они отвели детям, чтобы те свободно ею располагали. На стенах красовались репродукции Гогена и Ван Гога, которые прежде украшали детскую. Чарли писал пестрый букет в зеленой вазе.

– По-моему, лучше вставить в рамы картины, что ты привез из Франции, и повесить их вместо этих репродукций. Давай-ка еще разок на них взглянем.

На одной из них были изображены три яблока на белой с синим тарелке.

– По-моему, она очень хороша, – сказал Лесли. – Я видел сотни картин с тремя яблоками на белой с синим тарелке, твоя им не уступит. – Он усмехнулся. – Бедняга Сезанн, интересно, что бы он сказал, знай он, сколько тысяч раз люди писали эту его картину.

Был и еще один натюрморт – бутылка красного вина, пачка французского табака в синей обертке, пара белых перчаток, сложенная газета и скрипка. Все эти предметы лежали на столе, покрытом скатертью в

белую и зеленую клетку.

– Очень хорош. Многообещающая работа.

– Ты правда так думаешь, папа?

– Ну конечно. Видишь ли, работа не сказать чтоб оригинальная, у агентов по продаже картин таких на складе десятки, но ведь ты в жизни не взял ни единого урока, и работа поистине делает тебе честь. Ты, видно, отчасти унаследовал талант дедушки. Ты его картины видел, нет?!

– Я много лет их не видел. А тут мама что-то искала в кладовке и показала их мне. Страх и ужас.

– По-моему, тоже. Но в его время их воспринимали иначе. Их вовсю расхваливали и покупали. Вот и множество вещей, которыми мы сейчас восхищаемся, через пятьдесят лет будут казаться ужасными. Это самое страшное в искусстве – в нем нет места посредственности.

– Но ведь пока не попробуешь, не поймешь, кто ты.

– Разумеется, и если ты хочешь профессионально заняться живописью, кому-кому, а уж не нам с матерью становиться тебе поперек дороги. Сам знаешь, как много для нас значит искусство.

– Мне больше всего на свете хотелось бы заниматься живописью.

– Если жить скромно, при той доле Компании Мейсон, которая тебе отойдет, тебе всегда хватит. И я знаю любителей, которые создали себе вполне милое и негромкое имя.

– Но я вовсе не желаю быть любителем.

– Но с твоей тысячей-полутора в год вряд ли можно достичь большего. Не скрою, я буду несколько разочарован. Я держал для тебя место секретаря Компании, но кое-кто из твоих кузенов с радостью за него ухватится. Я-то полагал, что лучше быть умелым и знающим дельцом, чем посредственным художником, но это так, к слову. Главное, чтоб ты был счастлив, и нам остается только надеяться, что из тебя выйдет лучший художник, чем из твоего деда.

Они помолчали. Добрый взгляд Лесли был устремлен на сына.

– Только об одном я хотел бы тебя попросить. Мой дед поначалу был садовником, а его жена кухаркой. Я его едва помню, но, сдается мне, он был человек достойный, но грубоватый, неотесанный. Говорят, джентльменом можно стать лишь в третьем поколении, и во всяком случае я не ем горошек с ножа. Ты – четвертое поколение. Можешь считать меня снобом, но не улыбается мне мысль, что ты спустишься по общественной лестнице. Я бы хотел, чтобы ты поступил в Кембридж, получил степень, а потом, если захочешь поехать в Париж изучать живопись, езжай с богом.

Предложение отца показалось Чарли поистине великодушным, и он с

благодарностью его принял. В Кембридже он наслаждался вовсю. Ему не часто выпадал случай заняться живописью, но он вошел в круг людей, увлекающихся театром, и на первом курсе написал несколько одноактных пьес. Их поставили в Любительском театральном клубе, и Мейсоны-родители приехали в Кембридж их посмотреть. Потом Чарли свел знакомство с одним преподавателем, выдающимся музыкантом. Чарли играл на фортепьяно лучше большинства студентов, и они вместе исполняли дуэты. Он изучал гармонию и контрапункт. Поразмыслив, он решил, что лучше ему стать не художником, а музыкантом. Лесли Мейсон весьма добродушно на это согласился, но когда Чарли получил степень, отец на две недели повез его в Норвегию поудить рыбу. Дня за три до их возвращения Винития получила от мужа телеграмму, состоящую из одного-единственного слова – «Эврика». При всей их образованности ни он, ни она не знали, что это значит, но смысл его получательнице был совершенно ясен, а ведь для того и служат слова. Она вздохнула с облегчением. В сентябре Чарли на четыре месяца поступил в бухгалтерскую фирму, услугами которой пользовалась Компания Мейсон, стал учиться основам делопроизводства и в новом году присоединился к отцу.

Чтобы поощрить усердие, с каким сын работал первый год в Компании, Лесли и посылал его теперь в Париж порезвиться, снабдив двадцатью пятью фунтами. И уж Чарли намерен был порезвиться вовсю.

Глава вторая

Они уже почти приехали. Служители подносили багаж поближе к выходу, чтобы удобней было передать его носильщикам. Дамы делали последний мазок губной помадой, и им подавали меховые манто. Мужчины влезали в зимние пальто, нахлобучивали шапки. Близость, в которой все они просидели несколько часов, приятное тепло комфортабельного купе превратили их в некое содружество, отделило пассажиров пульмановского вагона с его особым номером от пассажиров всех остальных вагонов; но теперь общность распалась, и каждый человек или каждые двое-трое вновь обрели свое особое лицо, которое на время слилось со всеми остальными. В дымном воздухе, сдобренном запахом застоявшегося табака, резких духов, человеческого тела, в духоте парового отопления каждый вдруг напустил на себя некую загадочность. Вновь чужие, они смотрели друг на друга озабоченными невидящими глазами. Каждый ощущал смутную враждебность к соседу. Кое-кто уже выстраивался в очередь в коридоре, желая побыстрей выйти. От тепла в вагоне окна запотели, Чарли протер небольшой просвет и глянул за окно. Ничего он не увидел.

Поезд вкатил под своды вокзала. Чарли отдал саквояж носильщику и большими шагами зашагал по перрону; он надеялся, что его встретит его друг Саймон Фенимор. И огорчился, не увидев его у вагона; но у контрольного барьера толпился народ, и Чарли подумал, что Саймон ждет его там. Нетерпеливо, испытующе оглядел оживленные нетерпеливым ожиданием лица; прошел сквозь толпу; встречающие протягивали руки прибывшим; целовались женщины; его друга не было. Чарли так был уверен, что тот здесь, даже чуть замешкался, но носильщик явно спешил, и Чарли последовал за ним во двор. Он был несколько обескуражен. Носильщик взял ему такси, и Чарли назвал шоферу гостиницу, в которой Саймон заказал для него номер. Приезжая в Париж, Мейсоны всегда останавливались в гостинице на рю Сент-Оноре. Ее постояльцами были исключительно американцы и англичане, но через двадцать лет Мейсоны все тешили себя иллюзией, будто это они ее отыскивали, настоящую французскую гостиницу, и когда видели на лестничной площадке американский багаж или поднимались в лифте с людьми, которые могли быть только англичанами, они не переставали удивляться.

– Интересно, их-то как сюда занесло? – говорили Мейсоны.

Сами они были осмотрительны, никогда не называли эту гостиницу

своим друзьям; они набрели на уголок старой Франции и не собирались рисковать, не желали, чтоб его испортили. Хотя директор и портье свободно говорили по-английски, Мейсоны объяснялись с ними на своем прихрамывающем французском, уверенные, что только французский те и знают. Но, отправляясь в Париж один, Чарли решил не останавливаться в этой гостинице уже хотя бы потому, что столько раз бывал в ней со всем семейством. Он ехал в поисках приключений, и почтенная семейная гостиница, где, по словам родителей, останавливались одни лишь французские аристократы из провинции, вряд ли подходила для восхитительных, необузданных и романтических походов, что проносились в его воображении последний месяц. Вот он и написал Саймону и попросил найти ему комнату где-нибудь в Латинском квартале; что касается удобств, он был непривередлив и о чистоте не очень беспокоился, была бы там подходящая атмосфера; и в должный срок Саймон написал ему, что заказал номер в гостинице близ вокзала Монпарнас. Она была расположена на тихой улочке чуть в стороне от рю де Ренн и в удобной близости от улицы Кампань-Премьер, где жил он сам.

Чарли быстро справился с разочарованием от того, что Саймон его не встретил, – он не сомневался, что тот либо ждет его в гостинице, либо звонил, что будет с минуты на минуту, – и, пока ехал по людным улицам, ведущим от Gare du Nord к Сене, настроение у него улучшилось. Приехать в Париж вечером – это же замечательно. Моросит дождик, и улицы кажутся волнующе таинственными. Магазины ярко освещены. По тротуарам движется великое множество зонтов, с них капает вода, поблескивает в свете фонарей. Чарли вспомнилась одна из картин Ренуара. Время от времени налетает порыв ветра, и женщины съезжаются под зонтами, юбки закручиваются вокруг ног. По благоразумным английским представлениям такси мчится с неистовой скоростью, и всякий раз, как, стараясь избежать столкновения, шофер вдруг нажимает на тормоза, у Чарли перехватывает дыхание. Красный свет задержал их на перекрестке, и в обе стороны хлынул поток людей, будто перепуганные толпы, убегающие от теснящей их полиции. Взволнованному взгляду Чарли они казались совсем не похожими на английских пешеходов – живее, нетерпеливей; когда взгляд его случайно упал на девушку, которая шла сама по себе, швею ли, машинистку, возвращавшуюся со службы, он с удовольствием представил, что она спешит на свидание с любовником; а когда увидел парочку, идущую под руку под одним зонтом, – бородатого молодого человека в широкополой шляпе и девушку с мехом вокруг шеи, идущих так, словно быть вместе такое блаженство, что и дождь им нипочем, и

толчею они не замечают, – его пронизала острая радость сопереживания. На одном углу из-за пробки его такси оказалось бок о бок с роскошным лимузином. В нем сидела женщина в собольем манто, нарумяненная, губы накрашены, профиль безупречнейший. Она вполне могла быть герцогиней Германт, что возвращается со званого чаепития к себе домой на бульвар Сен-Жермен. Замечательно, что ему двадцать три и он самостоятельно в Париже.

– Ох и проведу же я времечко!

Гостиница оказалась шикарней, чем он ожидал. Ее пышный фасад наводил на мысль об изысканном вкусе покойного барона Хаусмана. Оказалось, комната для него заказана, но ни письма Саймон ему не оставил, ни на словах ничего не передал. И наверх его провел не плохо выбритый мрачноватый тип в стоптанных башмаках и грязном фартуке, но любезный администратор в визитке, прекрасно говорящий по-английски. Просто обставленная комната отличалась чистотой, и в ней было две кровати, но администратор заверил Чарли, что будет брать с него только за одну. И с гордостью показал ему прилегающую к номеру ванную комнату. Когда тот ушел, Чарли огляделся. Он ожидал, что комната будет небольшая, с тяжелыми блеклыми репсовыми гардинами, с деревянной кроватью, большущим пуховым стеганым одеялом и со старым зеркальным шкафом красного дерева; он ожидал найти на туалетном столике чьи-то шпильки, а в ящике тумбочки у кровати наполовину использованный тюбик губной помады и расческу со сломанными зубьями и застрявшими в ней крашеными волосками. Такой рисовалась в его романтическом воображении студенческая комната в Латинском квартале. Ванная! Вот уж чего он никак не ожидал. Такая комната могла быть в одной из тех недорогих гостиниц в Швейцарии, где он бывал с родителями. Чистая, давно не отремонтированная и убогая. Даже при своем пылком воображении Чарли не находил в ней ничего таинственного. Уныло распаковал он свой саквояж. Принял ванну. И подумал, ну что за необязательность, ведь даже если Саймон не побеспокоился его встретить, мог бы оставить записку. Если он так и не подаст признаков жизни, придется обедать в одиночестве. Отец, мать и Пэтси уже, наверно, приехали в Годэлминг; там будет весело, соберутся два сына сэра Уилфрида с женами и две племянницы леди Терри-Мейсон. Будет музыка, игры, танцы. Чарли даже пожалел было, что ухватился за предложение отца провести каникулы в Париже. Вдруг ему подумалось, что Саймону, возможно, неожиданно пришлось поехать по делам газеты и в спешке он забыл его известить. Вот незадача...

Саймон Фенимор был самым давним другом Чарли, и чтобы провести

с ним несколько дней, Чарли так рвался в Париж. Они учились в одной частной школе, вместе были и в Рагби, и в Кембридже тоже, но оттуда Саймон ушел не доучившись, даже не закончил второй курс, решил, что зря теряет время; и не кто иной, как отец Чарли, устроил его в одну лондонскую газету, парижским корреспондентом которой он и был этот последний год. Не было у Саймона никого на свете. Отец его служил в Индии в Лесном управлении и, когда Саймон был еще совсем малыш, развелся с его матерью, которая ему изменяла. Она уехала из Индии, а Саймона, которого суд оставил на попечении отца, тот отправил в Англию в семейство некоего священника, где ему предстояло жить до поступления в школу. Мать как сквозь землю провалилась. Саймон не знал, жива она или умерла. Отец умер от цирроза печени, когда мальчику было двенадцать, и он лишь смутно помнил молчаливого, сухощавого, хрупкого человека с болезненным, морщинистым лицом. Оставленных им денег только и хватило, что на образование сына. Одиночество мальчика тронуло чету Мейсон, и они взяли за правило приглашать его чуть не на каждые каникулы. Мальчишкой он был долговязый, тощий, черные глаза на бледном лице казались огромными, копна прямых темных волос вечно нечесана, рот большой, чувственный. Он был разговорчив, не по годам развит, начитан и умен. У него и в помине не было застенчивости, что так привлекала в Чарли. Винития Мейсон не могла его полюбить, хотя по чувству долга и старалась изо всех сил. Она никак не могла взять в толк, почему сын привязался к Саймону, который так на него не похож. Ведь этот Саймон такой самодовольный, он нечувствителен к доброте, и что для него ни делаешь, принимает это как само собой разумеющееся. Похоже, он не очень-то высокого мнения и о ней и о Лесли. Иной раз, когда Лесли толково, с присущим ему здравым смыслом говорил о чем-то интересном, в больших черных глазах Саймона, обращенных к нему, мелькала насмешка, а чувственные губы язвительно морщились. Можно было подумать, будто Лесли скучен и туповат. Время от времени, в какой-нибудь из их милых мирных вечеров, когда все были дома и болтали о том о сем, Саймон впадал в мрачное раздумье – сидел, уставясь в пустоту, словно мысли его далеко отсюда, и случалось, чуть погодя брал какую-нибудь книгу и принимался читать, как если бы никого тут кроме него не было. Будто беседу их и слушать не стоит. Это было просто даже невежливо. Но Винития Мейсон укоряла себя.

– Бедный малыш, где ж ему было научиться хорошим манерам. Я непременно буду очень хорошо с ним обходиться. Непременно его полюблю.

Ее взгляд покоился на Чарли – такой он красивый, тоненький («а как быстро он из всего вырастает, рукава смокинга уже коротки»), каштановые волосы вьются, глаза синие, длинные ресницы и такая чистая кожа. Хотя он, быть может, и не блистает, как Саймон, но он способный и до кончиков пальцев артистичен. Но как знать, каким бы он стал, если бы она сбежала от Лесли и Лесли стал бы пить, и вместо того, чтобы наслаждаться утонченной атмосферой славного дома, ощущать ее благотворное влияние, он, как Саймон, вынужден был бы заботиться о себе сам? Бедняжка Саймон! На другой день она пошла и купила ему полдюжины галстуков. Он, кажется, обрадовался.

– До чего мило с вашей стороны. У меня в жизни не было больше двух галстуков сразу.

Винития так была растрогана собственной неожиданной щедростью, ее даже обдало волной сочувствия.

– Какой же ты одинокий, бедняжка! – воскликнула она. – Так ужасно, что у тебя нет родителей.

– Ну, поскольку моя мать была шлюха, а отец пьяница, смею сказать, я не очень по ним тоскую.

В семнадцать лет это было сказано.

Ну что поделаешь, не могла Винития его полюбить. Уж очень он резкий, циничный, бессовестный. Ее выводило из себя, что Чарли так им восхищается; Чарли считал, что у него выдающийся ум и его ждет блестящее будущее. Даже Лесли поражался его начитанностью и тем, с какой ясностью он совсем еще мальчишкой выражал свои мысли. В школе он уже был горячим сторонником социализма, а в Кембридже стал коммунистом. Лесли слушал его нелепые теории с добродушной терпимостью. По его мнению, то были всего-навсего слова, а слова – они слова и есть; самого существа жизни они не задевали.

– И если он и в самом деле станет известным журналистом или войдет в парламент, что ж, совсем не вредно иметь друга во вражеском стане.

Лесли придерживался либеральных взглядов, весьма либеральных, даже не прочь был признать, что против иных убеждений социалистов не станет возражать ни один здравомыслящий человек; теоретически он и сам был за национализацию шахт, полагал также, что государство может управлять коммунальным обслуживанием не хуже частных компаний; но считал, что тут не следует заходить слишком далеко. К примеру, земельная рента – это уж никак не дело государства; или трущобы – в больших городах без них никак не обойтись, низшие классы, в сущности, предпочитают их образцовым жилым домам – Компания Мейсон чего тут

только не делала; но не может землевладелец позволить, чтоб в его домах жили бесплатно, он должен получать приличный доход со своего капитала, это только справедливо.

Саймон Фенимор решил, что несколько лет ему следует поработать иностранным корреспондентом, – он научится разбираться в политике европейских стран и, когда войдет в палату общин, будет уже знатоком, а ведь большинство лейбористов ничего в ней не смыслят; но когда Лесли повел его к владельцу газеты, который готов был предоставить блестящему молодому человеку эту возможность, он предупредил Саймона, что владелец газеты человек очень богатый, и если показать ему свои революционные пристрастия, нечего надеяться произвести на него благоприятное впечатление. Однако своими скромными манерами, исходящей от него энергией и непринужденным разговором Саймон произвел на магната наилучшее впечатление.

– Он прекрасно держался, – говорил потом Лесли жене. – У этого молодца хорошая голова на плечах. Я всегда тебе говорил, слова еще ничего не значат. Когда дело доходит до получения места и приличного заработка, он, как всякий разумный человек, готов забыть о своих теориях.

Винития с ним согласилась. Что ж, вполне возможно, тому пример их собственный опыт – они по-настоящему любят красоту и в то же время прекрасно понимают, как важна материальная обеспеченность. Взять хотя бы Лоренцо Медичи – он был преуспевающий банкир и до кончиков ногтей художник. Как это хорошо со стороны Лесли, что он так старается оказать услугу человеку, от которого нечего ждать благодарности, думала Винития. Во всяком случае, работа, полученная Саймоном, потребует его пребывания в Вене, и тем самым Чарли будет избавлен от влияния, которое всегда ее беспокоило. Именно из-за нелепых разговоров Саймона Чарли забрал себе в голову, что хочет быть художником. Это все прекрасно для Саймона, ведь у него ни денег, ни родства, а для Чарли подготовлено тепленькое местечко. Художников и без него хватает. Чарли так чист душой, такой у него прелестный характер, не поддастся он никакому дурному влиянию, – только это ее и утешало.

В эти самые минуты Чарли в полном одиночестве одевался, недоумевая, как же ему провести вечер. Он надел брюки, позвонил в редакцию газеты, где работал Саймон, и сам Саймон ему и ответил.

– Саймон.

– Привет, уже приехал? Ты где?

Так он небрежно разговаривал, Чарли просто опешил.

– В гостинице.

– А, вот как? Нынче вечером занят?

– Нет.

– Тогда давай пообедаем вместе, согласен? Я за тобой зайду.

И повесил трубку. Чарли был подавлен. Он-то ждал, что Саймону так же не терпится увидеться, как и ему, но по словам Саймона, по его тону можно было подумать, будто они только случайные знакомые и тому решительно все равно, встретятся они или нет. Конечно, они не виделись уже два года, и за это время Саймон мог измениться до неузнаваемости. Чарли вдруг испугался, как бы поездка в Париж не оказалась неудачной, и так волновался, ожидая Саймона, что его даже досада взяла. Но когда тот наконец вошел в комнату, Чарли увидел, что внешне он во всяком случае остался почти таким, как был. Сейчас, в двадцать три года, он был тощий и так и остался среднего роста. Одет убого, в коричневой тужурке и серых фланелевых брюках, без пальто, без шляпы. Длинное лицо похудело и побледнело, и черные глаза казались еще больше. Ни минуты не были они в покое. Холодные, блестящие, пытливые, подозрительные, они словно выражали характер таящегося за ними интеллекта. Рот большой, насмешливый и мелкие неровные зубы, напоминающие какого-нибудь мелкого хищного зверька. Со своим острым подбородком и выдающимися скулами он отнюдь не хорош собой, но лицо такое нервное, такое странно тревожное, что невольно привлечет внимание любого встречного. В иные мгновения была в нем своего рода мучительная красота, не красота черт, но красота беспокойного, чего-то взыскующего духа. Тревожное чувство вызывала его улыбка, в ней не было веселья, она походила скорее на язвительную гримасу, а когда он смеялся, лицо страдальчески искажалось, словно от острой боли. Голос был высокий и, казалось, не вполне ему подчинялся, а в минуты волнения нередко становился визгливым.

Чарли подавил естественный порыв кинуться навстречу другу, со свойственной его счастливой натуре непосредственностью горячо пожать руку, и встретил его сдержанно. Услышав стук в дверь, крикнул «войдите» и продолжал шлифовать ногти. А Саймон даже не протянул ему руку. Лишь кивнул, будто они уже сегодня виделись.

– Привет! – сказал он. – Комната хорошая?

– О да. Гостиница, пожалуй, роскошней, чем я ожидал.

– Она удобная. И можно кого угодно привести. Я помираю с голоду. Пойдем пообедаем?

– Хорошо.

– Давай пойдем в «Куполь».

Они прошли наверх, сели напротив друг друга за столик и заказали

обед. Саймон окинул Чарли оценивающим взглядом.

– Я смотрю, ты все такой же красавчик, Чарли, – сказал он, криво усмехнувшись.

– К счастью, для меня красота не главное.

Чарли слегка робел. Время разрушило прежнюю многолетнюю близость, так по крайней мере он чувствовал сейчас. Он хорошо умел слушать, научился этому с раннего детства, бывало, он охотно сидел и молча слушал, когда Саймон красноречиво и путано изливал ему свои мысли. Чарли всегда бескорыстно им восхищался; он считал Саймона гением, и ему казалась вполне естественной роль второй скрипки. Он был привязан к Саймону, ведь тот совсем один на свете и никто особенно его не жаловал, тогда как сам он живет в любящей семье и в достатке; и ему приятно было, что Саймон, почти ко всем равнодушный, к нему привязан. Саймон часто бывал ожесточенным, язвительным, а вот с ним мог быть на удивление мягок. В одну из редких минут откровенности Саймон сказал ему, что он, Чарли, единственный человек, который хоть что-то для него значит. А вот сейчас Чарли с огорчением почувствовал, что между ними выросла перегородка. Беспокойный взгляд Саймона перебегал с его лица на руки, застыв на миг на его новом костюме, потом устремлялся на воротничок и галстук; он чувствовал, что Саймон не предается ему, как только ему и предавался в былые времена, он закрыт, держится недоброжелательно и отчужденно; казалось, он присматривается к нему как к незнакомому, пытается понять, что перед ним за человек. Чарли стало не по себе, сердце его сжалось.

– Как тебе нравится быть дельцом? – спросил Саймон.

Чарли слегка покраснел. После всех их бесед в прошлом он был готов к тому, что Саймон его высмеет, раз он в конце концов уступил желанию отца, но слишком он был честен и не мог утаить правду.

– Нравится куда больше, чем я ожидал. Работа оказалась очень интересная и не слишком трудная. Остается вдоволь свободного времени.

– По-моему, ты поступил вполне разумно, – к его удивлению, сказал Саймон. – Чего ради было становиться живописцем или пианистом? В мире и так избыток искусства. Да и вообще искусство – это сущий вздор.

– Ох, Саймон!

– Ты все еще веришь в якобы истинную увлеченность искусством твоих высокочтимых родителей. Пора повзрослеть, Чарли. Искусство! Это лишь забавное развлечение для праздных богачей. В нашем мире, в мире, в котором мы живем, для подобной чепухи нет времени.

– По-моему...

– Знаю я, что по-твоему. По-твоему, оно несет красоту, придает смысл существованию. По-твоему, оно утешает уставших и удрученных и вдохновляет на более благородную и полную жизнь. Чушь! В будущем нам, возможно, опять понадобится искусство, но не для тебя, а для народа.

– О господи!

– Народу нужен дурман, и, пожалуй, искусство лучшая форма, в какой его можно людям преподнести. Но они еще не готовы к этому. Сейчас им нужен другой наркотик.

– Какой же?

– Слова.

Чарли Мейсона поразило, с какой язвительной силой Саймон это произнес. Он улыбался, и хотя губы его кривились, Чарли заметил – в глазах на миг промелькнуло добродушное дружелюбие, которое он когда-то привык в них встречать.

– Нет, мой милый, – продолжал Саймон, – у тебя сейчас хорошее время, ходи каждый день в свою контору и радуйся. Это ненадолго, так что извлекай пока из этого побольше удовольствия.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Не важно. Поговорим об этом в другой раз. Скажи мне, что привело тебя в Париж?

– Ну, главное, я хотел повидать тебя.

Саймон густо покраснел. Доброе слово, – а когда Чарли говорил, можно было не сомневаться, что он говорит от чистого сердца, – кажется, отчаянно смутило Саймона.

– А кроме?

– Хочу посмотреть кое-какие картины, и если что-нибудь идет интересное в театре, я бы посмотрел. Ну и вообще неплохо бы позабавиться.

– Надо думать, это значит – ты не прочь заполучить женщину.

– Ты ведь знаешь, в Лондоне мне это не очень-то легко.

– Позднее я поведу тебя в Serail^[81].

– Что это такое?

– Увидишь. Это недурное развлечение.

Они заговорили о жизни Саймона в Вене, но он не слишком распространялся о ней.

– Я не сразу освоился. Понимаешь, я ведь никогда прежде не был за границей. Я занимался немецким. Много читал. Думал. Встречался со многими интересными людьми.

– А потом, в Париже?

– Жил более или менее так же. Приводил в порядок свои мысли. Я еще молод. Впереди масса времени. Когда мой срок в Париже кончится, поеду в Рим, в Берлин, а может, в Москву. Если не найду работу в газете, займусь чем-нибудь еще. Всегда можно преподавать английский, с голоду не помру. Я родился не в роскоши, как-нибудь перебьюсь. В Вене я провел опыт самоограничения, месяц жил на хлебе и молоке. И вовсе это было не трудно. Теперь я умею обходиться одной трапезой в день.

– Как, ты сегодня ничего еще не ел?

– Когда встал, выпил чашку кофе, а в час – стакан молока.

– Но чего ради? Ты же достаточно зарабатываешь в своей редакции, разве нет?

– Только-только хватает на жизнь. Разумеется, достаточно, чтобы есть трижды в день. Но кто сумеет властвовать другими, если не научился властвовать собой?

Чарли усмехнулся. Он уже начинал чувствовать себя свободнее.

– Это звучит как крылатая фраза из цитатника.

– Возможно, – равнодушно отозвался Саймон. – Je prends mon bien o je le trouve^[82]. Поговорка заключает в себе самую суть вековой мудрости, и только дурак презирает банальности. Не думаешь же ты, будто я намерен всю жизнь быть иностранным корреспондентом лондонской газеты или учителем английского. Это мои Wanderjahre^[83]. Я намерен потратить их на то, чтобы получить образование, мне его не дали ни дурацкая школа, в которой мы с тобой учились, ни это провинциальное кладбище, что зовется Кембриджским университетом. Но я хочу достичь не только знания людей и книг; это всего лишь инструмент; мне нужно иное, чего достичь много трудней и что куда важнее: несокрушимая сила воли. Я хочу выковать себя сам, как железной дисциплиной выковывают послушника в ордене иезуитов. Мне кажется, я всегда себя знал; когда ты один на свете, и всем чужой, и всю жизнь живешь с людьми, для которых ничего не значишь, верней всего научишься понимать, что ты такое. Но мое знание родилось из чутья. А за эти два года за границей я узнал себя, как знаю пятую теорему Евклида. Знаю свою силу и свою слабость, и следующие пять-шесть лет готов потратить на то, чтобы развивать силу и избавиться от слабости. Я хочу властвовать собой, как тренер властвует спортсменом, чтобы сделать из него чемпиона. У меня хорошая голова. У меня собачий нюх, и можешь мне поверить, в нашем мире это огромное преимущество. Я умею говорить. Людей можно заставить действовать не логикой, а искусными речами. Всеобщая глупость человечества такова, что им можно управлять словами,

и как это ни унижительно, в настоящее время приходится с этим мириться, как миришься в кино с тем, что фильм пользуется успехом, только если у него счастливый конец. Я сейчас многого могу добиться словами, а скоро для меня вообще не будет невозможного.

Саймон отхлебнул белого вина, которое они пили, и, откинувшись на спинку стула, засмеялся. Лицо его исказилось нестерпимым страданием.

– Надо рассказать тебе, какой тут несколько месяцев назад вышел случай. Было собрание Британского легиона или что-то в этом роде, не помню в честь чего, в память павших воинов, что ли; должен был выступить мой шеф, но он простудился и послал меня. Нашу газету ты знаешь, уж до того патриотическая, не чураемся никакой грязи, только бы увеличить тираж, а морализируем вовсю. Мой шеф тут как раз на месте. За двадцать лет у него не было ни единой собственной мысли. Изрекает одни избитые истины, а когда рассказывает какую-нибудь непристойную историю, то уж такую протухшую, что она даже и не смердит. Но свое дело знает лучше некуда. Отлично понимает, что требуется владельцу газеты, и рад стараться. Ну, произнес я речь, какую он бы и сам произнес. Так и сыпал банальностями. Такие запускать трескучие фразы, аж все грохотало. Остроты выдавал с такой длинной бородой, что и записной остряк постыдился бы их произнести. А все так и покатывались со смеху. Такую разводил фальшивую чувствительность, я думал, их стошнит. А у них слезы текли ручьем. Я так бил в барабан патриотизма, будто девица из Армии спасения, берущая реванш за свое подавленное женское естество. А мне устроили бурную овацию. Да, то была всем речам речь. Когда вечер кончился, ихние заправилы от избытка чувств жали мне руку. Я их пронял. И знаешь, каждое сказанное мной слово было суццей галиматьей, я прекрасно это понимал. Слова, слова, слова! Бедняга Гамлет.

– По-моему, ты поступил просто бессовестно, – сказал Чарли. – Сколько я понимаю, там ведь собрались самые обыкновенные, вполне приличные люди, чтобы совершить то, что им казалось правильным, и более того, чтобы доказать искренность своих убеждений, они готовы были раскошелиться.

– Надо думать. И по правде сказать, они выложили куда больше денег, чем когда-либо, и устроители сказали моему шефу – это благодаря моей блестящей речи.

Чарли с его чистым сердцем стало не по себе. Перед ним сейчас сидел совсем не тот Саймон, какого он знал столько лет. Прежде, при всей нелепости его теорий и как бы вызывающе он их ни излагал, было в них своего рода благородство. Он был бескорыстен. Негодование его было

направлено против угнетения и жестокости. Несправедливость приводила его в ярость. Но Саймон не заметил, какое впечатление он произвел на Чарли, а если заметил, остался к этому равнодушен. Он был поглощен собой.

– Но одного ума недостаточно, а красноречие, даже если оно и необходимо, в конечном счете презренный дар. Керенский обладал и тем и другим, а что они ему дали? Главное – это характер. Именно характер мне предстоит выковать. Я уверен, если постараться, можно сделать с собой что угодно. Все дело в силе воли. Мне надо так себя натренировать, чтобы меня не задевали ни оскорбление, ни равнодушие, ни насмешка. Мне надо достичь такой полной духовной отчужденности, чтобы, даже если меня посадят, я и в тюрьме чувствовал себя свободным как птица. Мне надо обрести такую силу, чтобы, совершая ошибки, я не пошатнулся, а учился на них. Мне надо обрести такую безжалостность, чтобы не только противостоять искушению пожалеть кого-то, но вовсе не испытывать жалости. Мне надо вырвать из сердца способность любить.

– Почему?

– Я не могу себе позволить, чтобы на мои суждения влияло какое бы то ни было чувство к кому-либо из людей. В целом свете только тебя я и любил, Чарли. И до тех пор не успокоюсь, пока до мозга костей не проникнусь уверенностью, что, если придет нужда поставить тебя к стенке и расстрелять, я сам без всяких колебаний и сожалений тебя пристрелю.

Глаза его словно затянула темная дымка, какая бывает на старом зеркале в покинутом доме; ртутная амальгама на нем потускнела, и когда смотришься в него, видишь не себя, но темную глубину, где словно таятся отражения событий и страстей далекого прошлого, давно уже отплавивших и, однако, неким пугающим образом доныне трепещущих загадочной заемной жизнью.

– Ты, наверно, недоумевал, почему я не встретил тебя на вокзале?

– Было бы славно, если б встретил. Ты, наверно, не мог вырваться.

– Я понимал, что ты огорчишься. У нас в редакции это рабочие часы, надо быть под рукой, передавать по телефону в Лондон новости, поступившие за день, но сегодня канун Рождества, завтра газета не выходит, и ничего не стоило улизнуть. Мне очень хотелось тебя встретить, оттого я и не пошел. С той минуты, как я получил письмо и узнал, что ты приезжаешь, я не находил себе места, до того хотелось тебя увидеть. В те минуты, когда должен был прибыть поезд и я понимал – ты бродишь по перрону, высматриваешь меня и растерян в толпе и толчее, я взялся за книжку и стал читать. Сидел, заставлял себя углубиться в книгу и не

позволял себе прислушиваться к телефону, который мог зазвонить в любую минуту. А когда он и вправду зазвонил, я не сомневался, это ты, и до того обрадовался, что дико озлился на себя. Даже готов был не снимать трубку. Ведь уже больше двух лет я боролся со своей привязанностью к тебе. Сказать, почему я хотел, чтобы ты приехал? Когда человека нет рядом, его идеализируешь, на расстоянии чувство обостряется, это верно, а увидишь его снова – и удивляешься, что ты в нем находил. Я думал, если что-то еще осталось от моей привязанности к тебе, тех нескольких дней, что ты тут проведешь, будет довольно, чтобы окончательно ее убить.

– Боюсь, ты сочтешь меня сущим тупицей, но я ума не приложу, зачем тебе это надо, – сказал Чарли, улыбаясь своей милой улыбкой.

– Ты и вправду туп.

– Пусть так, но все же в чем причина?

Саймон чуть нахмурился, и его беспокойный взгляд заметался, точно заяц, что пытается улизнуть от преследователя.

– Ты единственный на свете человек, которому я не безразличен.

– Неправда. Мои родители всегда были очень расположены к тебе.

– Чепуха. Твой отец был ко мне так же равнодушен, как к искусству, но ему было приятно и утешительно чувствовать себя благодетелем, приятно быть добрым к нищему сироте, опекать его и внушать ему почтение. Твоя мать считала меня бессовестным и своекорыстным. Ей ненавистно было то влияние, которое, как ей казалось, я оказываю на тебя, и она была оскорблена, потому что понимала, что я нахожу твоего отца закоренелым обманщиком, самым скверным обманщиком, – из тех, кто сам себя обманывает; только одно во мне ее устраивало – глядя на меня, она неизменно думала, слава богу, что ты совершенно на меня не похож.

– Не очень ты жалуешь моих родителей, – мягко сказал Чарли.

Саймон будто и не слышал.

– Мы мигом с тобой ладили. Этот зануда Гёте назвал бы наши отношения родством душ. Ты дал мне то, чего у меня никогда не было. Я никогда не знал, что значит быть мальчишкой, а с тобой я был мальчишкой. С тобой я забывался. Я тебя изводил и высмеивал, помыкал и пренебрегал тобой, но при этом обожал. С тобой я чувствовал себя на диво легко. С тобой я мог быть самим собой. Такой ты был непритязательный, веселый и добродушный, так легко было тебя обрадовать, рядом с тобой мои измученные нервы отдыхали, и та неистовая сила, что без конца меня погоняла, ненадолго меня отпускала. Но не хочу я отдыха, не хочу, чтобы меня отпускало. Когда я гляжу на твою милую, застенчивую улыбку, моя воля мне изменяет. Не могу я себе позволить быть податливым, не могу

себе позволить нежности. Когда я гляжу в твои синие глаза, такие дружелюбные, такие доверчивые, мне изменяет твердость, а я должен быть тверд. Ты мой враг, ненавижу тебя.

Иные слова Саймона сбивали Чарли с толку, вгоняли в краску, но сейчас он добродушно усмехнулся:

– Ох, Саймон, ну какую ерунду, какой вздор ты несешь.

Саймон пропустил его слова мимо ушей. Он впился в Чарли своими блестящими неистовыми глазами, будто хотел проникнуть в самые глубины его существа.

– Есть там что-нибудь? – сказал он, словно сам себе. – Просто уж такое у него выражение лица, что чудится, будто и душа у него особенная? – И продолжал, уже обращаясь к Чарли: – Я часто спрашивал себя, что же такое я нахожу в тебе. Дело не в том, что ты красавчик, хотя, смею сказать, и это тоже играет роль. И не в твоих способностях, способности как способности, ничего выдающегося. И не в твоей бесхитростной натуре и добром нраве. Но что же это в тебе с первого взгляда привлекает людей? Ты еще и пальцем не шевельнул, а уже наполовину одержал победу. Обаяние? Но что за штука обаяние? Вот одно из слов, значение которого всем нам известно, но никто не может точно его определить. Я знаю только, что, обладай я этим твоим даром, при моем уме и решительности я бы одолел любое препятствие. В тебе есть жизненная сила, и это часть твоего обаяния. Но у меня ее не меньше, я могу обходиться четырьмя часами сна и работать без усталости по шестнадцать часов в сутки. С первого взгляда я вызываю в людях неприязнь, мне приходится их завоевывать силой ума, приходится играть на их слабостях, как-то им угождать, приходится им льстить. Когда я приехал в Париж, мой шеф решил, что он в жизни не встречал такого противного молодого человека и такого самодовольного. Он, конечно, дурак. Ну как можно быть самодовольным, если знаешь свои недостатки, как я их знаю? Теперь он пляшет под мою дудку. Но чтобы достичь того, для чего тебе довольно одного взмаха твоих длинных ресниц, я должен работать как вол. Обаяние – важнейшая штука. За последние два года мне довелось познакомиться со многими выдающимися политическими деятелями, и оно присуще почти всем. У одних его больше, у других меньше. Но не может быть, чтобы всем оно было дано от природы. Выходит, его можно обрести. Оно ничего не значит, но возбуждает в последователях слепую преданность, они пляшут под твою дудку, и в награду им довольно доброго слова. Я наблюдал, как такие политики пользуются своим обаянием. Они могут его выпустить, будто воду из крана. Быстрая дружелюбная улыбка, рука, готовая пожать вам

руку. Теплые нотки в голосе, похоже, сулят вам благосклонность, столь явный интерес к вам заставляет вас вообразить, будто он только и делает, что печется о вашем благополучии, сердечность в обращении, которая ни о чем не говорит, внушает мысль, будто вы пользуетесь его доверием. Избитые фразы, несчетные обращения вроде «дорогой», «старина» или «дружище» очень лестны, когда их слышишь от влиятельного лица. Свобода и естественность, превосходная игра, которая выдается за проявление подлинной натуры, и проницательность, что видит тщеславие дурака и уж нипочем его не заденет. Всему этому я могу научиться, тут надо только еще немного поднатужиться и еще чуть лучше владеть собой. Иной раз они, разумеется, пересаливают, эти деятели, их обаяние становится чересчур механическим и вовсе перестает действовать; люди понимают, что к чему, чувствуют, что их провели, и возмущаются. – Саймон опять посмотрел на Чарли своим пронизывающим взглядом. – У тебя обаяние от природы, вот почему оно такое сокрушительное. Ну не дико ли, что из-за какой-то крохотной черточки в лице жизнь для тебя так легка?

– Да о чем это ты?

– Одна из причин, по которым я хотел, чтобы ты приехал, это возможность разобраться, в чем оно состоит, твое обаяние. Сколько могу судить, оно зависит от некоей мускульной особенности нижнего века. Я уверен, секрет в складочке под глазами, когда ты улыбаешься.

Чарли смутился оттого, что стал предметом столь пристального изучения, и, желая перевести разговор, спросил:

– Но все эти твои старания, ради чего они?

– Как знать? Пойдем выпьем кофе в Dôme.

– С удовольствием. Вот только позову официанта.

– За обед плачу я. Это впервые плачу я, когда мы едим вместе.

Он достал из кармана деньги, чтобы рассчитаться, и среди бумажек оказалось несколько пригласительных билетов.

– Смотри-ка, у меня есть для тебя билет на Полуночную мессу в Saint-Eustache. Это считается лучшей церковной музыкой в Париже, и тебе, наверно, захочется пойти.

– Ох, Саймон, как это мило с твоей стороны. Я буду очень рад. Ты ведь пойдешь со мной?

– Там видно будет поближе к делу. Во всяком случае, нá, возьми билеты.

Чарли положил билеты в карман. И они отправились к Dôme. Дождь перестал, но тротуары еще не высохли и поблескивали под светом,

падающим из витрины или от уличного фонаря. На улицах полно празднующихся. Они появляются из тени обнаженных деревьев, словно из-за кулис, проходят полосу света и вновь скрываются в провале тьмы. Подобострастные, но настойчивые алжирцы со свернутыми восточными коврами и переброшенными через плечо дешевыми мехами вглядываются в проходящих, выискивая возможных покупателей. Мальчишки с грубыми лицами, в фесках, с корзинами, полными арахиса, пронзительно и однообразно выкрикивают: «Cасаouettes, casaouettes!» На углу два негра, темные лица светло гримасой от холода, стоят и ждут, будто время остановилось и больше им делать нечего. Саймон и Чарли подошли к Dôme. Веранда, открытая летом, сейчас застеклена. Все столики на ней заняты, но когда друзья переступили порог, одна пара как раз поднялась уходить, и они заняли освободившиеся места. Было довольно прохладно, а Саймон вышел без пальто.

– Не замерзнешь? – спросил Чарли. – Может быть, пройдем внутрь?

– Нет, я научился не бояться простуды.

– А если простудишься, что делаешь?

– Не обращаю внимания.

Чарли много слышал об этом кафе, но никогда еще здесь не был и теперь с жадным любопытством рассматривал окружающих. Здесь были молодые люди в свитерах с высокими завернутыми воротами, иные с бородками, и девушки с непокрытыми головами и в плащах; наверно, художники и писатели, подумал Чарли и смотрел на них не без трепета.

– Англичане или американцы, – сказал Саймон, презрительно пожав плечами. – Почти сплошь бездельники и моты, вырядились для роли в спектакле, который давным-давно сошел со сцены.

Поодаль расположилась компания высоких светловолосых юнцов, похоже, скандинавы, а за другим столиком кружок смуглых, жестикулирующих, говорливых левантинцев. Но больше всего тут было французов, спокойных, прилично одетых лавочников, живущих по соседству, которые пришли сюда просто потому, что это удобно, и среди них вкраплены провинциалы, которые, как Чарли, все еще воображали, будто окажутся здесь среди художников и студентов.

– Дураки несчастные, у них кончились денежки, и теперь не по карману жить, как полагается в Латинском квартале. Живут впроголодь, а работают как проклятые. Ты, наверно, читал «Vie de Bohème»^[84]. Родольф теперь носит аккуратный синий костюм, купленный в магазине готового платья, и на ночь кладет брюки под матрац, чтобы не теряли складку. Он считает каждый грош и старается не делать ничего такого, что угрожало бы

его будущему. Мими и Мюзетта великие труженицы, состоят в профсоюзе, в свободный вечер ходят на партийные собрания и, даже если расстанутся с девичьей честью, головы не теряют.

– А с тобой живет подружка?

– Нет.

– Что ж так? По-моему, это должно быть очень приятно. За год в Париже у тебя, наверное, был миллион возможностей завести подружку.

– Да, были у меня две или три. Даже удивительно, если подумать. Знаешь, что у меня за дом? Кабинет и кухня. Ванной нет. Консьержка должна бы каждый день приходить и убирать, но у нее расширение вен, и ей совсем неохота подниматься по лестнице. Вот и все, что я могу предложить, и, однако, нашлись три девицы, которые хотели разделить со мной мою нищету. Одна была англичанка, служила здесь в Международном коммунистическом бюро, другая – норвежка, работает в Сорбонне, а еще одна – француженка, казалось бы, от нее можно было ждать больше здравого смысла; она была портниха, без места. Я познакомился с ней однажды вечером, когда вышел пообедать, она сказала, что весь день ничего не ела, ну, я ее угостил. Был субботний вечер, и она задержалась у меня до понедельника. Она хотела и дальше оставаться, но я велел ей уходить, и она ушла. Норвежка оказалась изрядной занудой. Хотела штопать мне носки, стряпать для меня и мыть пол. Когда я сказал, у нас дело не пойдет, она стала подкарауливать меня на улице, шла со мной рядом и говорила, что, если я не смягчусь, она покончит с собой. Она преподавала мне урок, и я его запомнил. В конце концов пришлось обойтись с ней поостроже.

– То есть?

– Однажды я ей сказал, надоели мне ее приставания. Сказал, если еще раз заговорит со мной на улице, я собою ее с ног. Она, тупица безмозглая, не поняла, что я говорю всерьез. На завтра выхожу я из дому часов в двенадцать, собрался в редакцию, смотрю, она стоит на другой стороне улицы. Подошла ко мне со своим обычным видом побитой собаки и заговаривает. Я и двух слов не дал ей сказать, двинул в подбородок, она и повалилась, будто кегля.

Глаза Саймона весело блеснули.

– И что потом?

– Не знаю. Наверно, поднялась. Я пошел своей дорогой и не обернулся. Во всяком случае, она поняла намек, больше я ее не видел.

Чарли стало и неловко и смешно. Но он устыдился и не дал себе воли.

– Одна была препотешная – английская коммунистка. Представляешь,

дочь священника. Училась в Оксфорде и защищала диплом по экономике. Ужасно была благовоспитанная, ну настоящая леди, но блудила почему зря, для нее это было самое святое дело. Всякий раз, как ложилась с товарищем в постель, чувствовала, что служит Общему делу. Нам предстояло стать добрыми приятелями, успешно бороться плечом к плечу и все такое прочее. Его преподобие давал ей какую-то сумму на содержание, мы должны были соединить наши капиталы, превратить мой кабинет в некий Центр, приглашать товарищей на чай и обсуждать животрепещущие проблемы дня. Я всего лишь сказал ей несколько горьких истин и на этом с ней покончил.

Саймон опять разжег трубку, тихо улыбаясь этой своей страдальческой улыбкой, словно радовался шутке, которая причиняла ему боль. Чарли хотел бы кое-что ему высказать, только не знал, как это сделать, чтобы слова не прозвучали фальшиво и не вызвали у Саймона насмешки.

– Ты что ж, намерен изгнать из своей жизни все человеческие отношения? – неуверенно спросил Чарли.

– Решительно все. Мне надо быть свободным. Я не могу себе позволить, чтобы кто-то взял надо мной власть. Вот почему я прогнал портнишку. Она была всех опасней. Такая нежная, ласковая. В ней была кротость бедняков, которым невдомек, что жизнь не обязательно должна быть трудной. Полюбить ее я бы не полюбил, но ее благодарность, обожание, готовность порадовать, ее простодушная веселость были опасны. Я понимал, что она может стать привычкой, от которой я не смогу отделаться. Нет ничего на свете коварней женской лести; потребность в этой лести так в нас велика, что можно стать ее рабом. Я должен быть глух к лести, как стал равнодушен к оскорблениям. Ничто не привязывает к женщине сильнее благ, которыми ее одаряешь. Эта девушка была бы обязана мне всем, и я никогда бы не смог от нее отделаться.

– Но, Саймон, ты же, как все мы, не чужд увлечений. Тебе ведь всего двадцать три.

– И меня одолевают сексуальные желания? Вовсе не так одолевают, как ты воображаешь. Когда работаешь двенадцать – шестнадцать часов в сутки и спишь в среднем шесть часов и ешь только один раз, как бы тебя это ни удивляло, но желания притупляются. Париж на редкость хорошо устроен, здесь легко удовлетворить сексуальный голод за умеренную плату и с наименьшей потерей времени, так что, когда я чувствую, что аппетит мешает мне работать, я пользуюсь женщиной, как слабительным при запоре.

Ясные синие глаза Чарли весело блеснули, и чудесная улыбка

обнажила его крепкие белые зубы.

– Боюсь, ты лишаешь себя истинных удовольствий. Знаешь, ведь молодость так коротка.

– Наверно. Но чего-то достичь в мире может только человек целеустремленный. Граф Честерфилд лучше всех сказал о занятии любовью: удовольствие мимолетное, положение смехотворное, а плата черт-те какая. Это природный инстинкт, и его невозможно в себе задавить, но жалок и глуп тот, кто позволит ему сбить себя с избранного пути. Мне это уже не грозит. Еще через несколько лет я начисто избавлюсь от этого искушения.

– А если вдруг в один прекрасный день ты влюбишься, неужели сумеешь себе это запретить? Такое ведь случается даже с самыми рассудительными людьми.

Саймон бросил на него странный, пожалуй, даже враждебный взгляд.

– Я вырву любовь из своего сердца, как выдернул бы изо рта гнилой зуб.

– Это легче сказать, чем сделать.

– Знаю. Все, что чего-то стоит, сделать нелегко, но такова одна из странностей человеческой природы: когда это касается самосохранения, когда необходимо сделать что-то, от чего зависит само твое существование, нужные силы находятся.

Чарли промолчал. Если бы кто-нибудь другой говорил с ним, как говорил в этот вечер Саймон, он счел бы это позой, желанием пустить пыль в глаза. За три года в Кембридже он наслушался вдоволь сумасбродных речей и при своем здравомыслии и спокойном юморе научился придавать им не больше значения, чем они того заслуживали. Но он знал, Саймон никогда не говорил, лишь бы поразить собеседника. Слишком он презирал мнение окружающих и ради того, чтобы вызвать у них восхищение, не стал бы говорить не то, что думает. Он искренен и бесстрашен. Если он сказал, что думает то-то и то-то, без сомнения, так оно и есть, а если сказал, что поступил так или эдак, можно без колебаний ему поверить. Но и образ жизни Саймона, только что им описанный, показался Чарли ужасным и неестественным, и его идеи, изложенные столь подробно, что ясно было, как хорошо они продуманы, показались ему чудовищными и возмутительными. Он заметил, что Саймон избегал говорить о цели, ради которой столь сурово себя тренировал; но в Кембридже он был ярким коммунистом, и естественно было предположить, что он готовился сыграть роль в революции, которую все они тогда предвкушали в ближайшем будущем. Чарли, больше всего поглощенный искусством, слушал горячие

споры, гремевшие в комнате Саймона, с интересом, но вовсе не чувствовал, будто это касается и его. Если бы ему пришлось высказать свой взгляд на предмет споров, о котором он никогда всерьез не задумывался, он согласился бы со своим отцом: что бы ни происходило на континенте, а уж Англии-то коммунизм не грозит; от каши, которую заварили в России, толку явно нет; в мире всегда были и всегда будут богатые и бедные; английский рабочий слишком трезво мыслит, он не позволит безответственным агитаторам себя провести, и притом ему совсем неплохо живется.

А Саймон все говорил. Ему не терпелось высказаться, ведь долгие месяцы он держал свои соображения под спудом, и к тому же, сколько он себя помнил, он всегда делился с Чарли. Хотя его размышлениям была присуща редкая глубина – одно из величайших его достоинств, он увидел, что они обрели большую ясность и силу, когда он смог высказать их этому превосходному слушателю.

– Знаешь, о любви говорится столько всякой чуши. Ей придают совершенно непомерное значение. Люди так говорят, будто само собой разумеется, что она величайшая ценность в жизни. Но вовсе это не само собой разумеется. С тех пор как Платон облек свою сентиментальную чувственность в пленительную литературную форму, древние уделяли ей не больше внимания, чем уделять разумно; мусульмане, здравые реалисты, всегда считали ее лишь физической потребностью; это христианство, подкрепляя свои эмоциональные увлечения неоплатонизмом, сделали ее целью, смыслом, основой и оправданием жизни. Но христианство – религия рабов. Измученным и угнетенным оно сулит небеса, дабы вознаградить их в будущем за их страдания на земле, и предлагает любовный дурман, чтобы они в состоянии были вынести страдания в настоящем. И этот наркотик, как всякий другой, расслабляет и губит тех, кто не может без него обходиться. Две тысячи лет христианство душило нас. Ослабляло нашу волю, лишало мужества. В нашем современном мире мы понимаем, что для нас очень-очень многое куда важнее любви, понимаем, что только простак и тупица позволяют любви влиять на их поступки, и, однако, на словах мы по-дурацки ее превозносим. В книгах, на театре, в церкви и с трибуны провозглашается все тот же сентиментальный вздор, которым одурачивали рабов Александрии.

– Но, Саймон, рабы в древнем мире – это тот же сегодняшний пролетариат.

Губы Саймона дрогнули в улыбке, а взгляд, устремленный на Чарли, заставил того почувствовать, что он сморозил глупость.

– Знаю, – невозмутимо сказал Саймон.

На какое-то время его беспокойный взгляд перестал метаться, но хотя глаза его остановились на Чарли, казалось, они смотрели куда-то вдаль. Чарли не знал, о чем мысли Саймона, но чувствовал, что-то в них есть болезненное.

– Возможно, за две тысячи лет привычка сделала любовь необходимой человеку, и в этом случае ее следует принять в расчет. Но если уж наркотик надо пустить в ход, наилучшим образом это сделает как раз не наркоман. Если любовь можно поставить на службу какой-то стоящей цели, это по силам тому, кто сам к ней не восприимчив.

– Похоже, ты не хочешь мне сказать, чего ты надеешься достичь, отказывая себе во всем, что делает жизнь приятной. Уж не знаю, есть ли такая цель, которая стоит подобной жертвы.

– Что ты делал последний год, Чарли?

Внезапный вопрос этот казался неуместным, но Чарли ответил с присущей ему скромной откровенностью:

– Боюсь, ничего особенного. Почти всякий день ходил в контору, немало времени проводил на наших земельных угодьях, знакомясь с землями и всем прочим, играл в гольф с отцом. Он рад сыграть партию раза три в неделю. Еще продолжал занятия на фортепьяно. Бывал на многих концертах. Старался не пропускать художественные выставки. Иной раз бывал в опере и довольно часто в драматических театрах.

– Отлично проводил время?

– Недурно. Получал удовольствие.

– А на будущий год что намерен делать?

– Думаю, более или менее то же самое.

– А еще через год и еще?

– Через несколько лет я, вероятно, женюсь, и тогда отец удалится от дел и передаст свое место мне. Оно будет приносить мне тысячу в год, по нашему времени не так плохо, а рано или поздно мне достанется половина отцовской доли в Компании Мейсон.

– И тогда будешь жить примерно так, как жил до тебя твой отец?

– Разве только лейбористская партия конфискует «Владение Мейсон». Тогда, конечно, мне придется нелегко. А до тех пор я вполне готов заниматься моим скромным делом и получать от жизни побольше удовольствия, насколько позволит мой доход.

– А когда умрешь, не все ли равно будет, жил ты на свете или не жил?

На миг от этого неожиданного вопроса Чарли растерялся, он вспыхнул.

- Пожалуй, все равно.
- И тебя это устраивает?

– По правде сказать, никогда об этом не задумывался. Но если ты спрашиваешь напрямую, думаю, было бы глупо, если б не устраивало. Большого художника из меня никогда бы не вышло. Я обсуждал это с отцом, в то лето, когда мы ездили с ним в Норвегию удить рыбу. Он очень мило к этому отнесся. Славный мой старик, он отчаянно боялся меня обидеть, но я не мог не признать, что его слова справедливы. Природа наделила меня способностями, я могу сносно рисовать, сносно писать, сносно играть на сцене. Возможно, займись я чем-нибудь одним, я бы чего-то достиг. Но это всего лишь способности. Отец сказал, что этого еще недостаточно, и он был совершенно прав, и опять же он прав, что лучше быть хорошим дельцом, чем второсортным живописцем. В конце концов мне повезло, что старина Сайберт Мейсон женился на кухарке и принялся выращивать овощи на клочке земли, который благодаря тому, что Лондон разросся, стал большой ценностью. Тебе не кажется, что вполне довольно, если я исполню свой долг в той роли, какую мне, можно сказать, отвели провидение или случай?

Саймон улыбнулся самой снисходительной из всех улыбок, что кривила его губы в тот вечер.

– Наверно, так, Чарли. Но это не для меня. Лучше пусть бы меня сбил на улице автобус и раздавил в лепешку, чем ждать для себя такой жизни, какую рисуешь себе ты.

Чарли спокойно на него посмотрел.

– Видишь ли, Саймон, у меня счастливый характер, а у тебя нет.

Саймон усмехнулся.

– Надо поглядеть, нельзя ли это изменить. Давай пройдемся. Я поведу тебя в Serail.

Глава третья

Парадную дверь в весьма респектабельном доме, никак не бросающуюся в глаза, им открыл негр в турецком одеянии, и когда они вошли в неширокий, слабо освещенный коридор, навстречу вышла какая-то женщина. Она смерила их быстрым неприветливым взглядом, но едва узнала Саймона, лицо ее приняло радужное выражение. Они обменялись дружеским рукопожатием.

– Это мадемуазель Эрнестина, – сказал он Чарли, а потом ей: – Мой друг сегодня вечером приехал из Лондона. Хочет вкусить жизнь.

– Вы не ошиблись адресом.

Она окинула Чарли оценивающим взглядом. Чарли увидел женщину лет под сорок, красивую холодной строгой красотой, с прямым носом, тонкими накрашенными губами и твердым подбородком; она была изящно одета, в темном костюме почти мужского покроя. С воротником, в галстук, с булавкой в форме эмблемы знаменитого английского полка.

– Он хорош собой, – сказала она. – Наши дамы будут ему рады.

– А где нынче вечером мадам?

– Уехала домой провести праздники с семьей. Я вместо нее.

– Можно войти?

– Дорога вам известна.

Молодые люди прошли по коридору и, отворив дверь, оказались в просторной комнате, крикливо разубранной под турецкую баню. Вдоль стен стояли диванчики, а перед ними невысокие столики и стулья. Повсюду сидело немало народу, по большей части не в вечерних нарядах, но многие и в смокингах; мужчины сидели по двое, по трое, а за одним столиком смешанная компания, женщины в вечерних туалетах, видно, пришли посмотреть одну из достопримечательностей Парижа. Повсюду официанты в турецком одеянии принимали и выполняли заказы. На эстраде расположился оркестр, состоящий из пианиста, скрипача и саксофониста. Две скамьи, обращенные друг к другу, вдавались в площадку для танцев, и на них сидели десять или двенадцать молодых женщин. Они были в турецких комнатных туфельках, но на высоких каблуках, в широких шальварах до щиколоток из какой-то блестящей мерцающей ткани, а на голове небольшой тюрбан. До пояса они были обнажены. Другие девушки, в таком же наряде, сидели с мужчинами, которые угощали их вином. Саймон и Чарли сели и заказали бутылку шампанского. Заиграл оркестр.

Трое или четверо мужчин поднялись, направились к скамьям и выбрали партнерш для танца. Остальные девушки вяло танцевали друг с дружкой. Изредка они переговаривались, испытующе поглядывали на сидящих за столиками мужчин. Компания любителей достопримечательностей, с элегантными женщинами из иного мира, явно их занимала. Кроме того, что девушки были до пояса обнажены, на первый взгляд казалось, что заведение ничем не отличается от любого ночного клуба, разве что хватало места, чтобы с удобством потанцевать. Чарли заметил, что за соседним столиком двое мужчин с папками, из которых они по ходу разговора извлекали бумаги, вели деловую беседу так же естественно, как если бы сидели в кафе. Вот один из компании любителей достопримечательностей подошел к двум танцующим друг с другом девушкам, заговорил с ними, и они остановились, а потом подошли к его столику; одна из женщин, очень нарядная, в черном, с ниткой изумрудов на шее, встала и начала танцевать с одной из этих двух девушек. Вторая вернулась к скамье и села. *Sous-maitresse*^[85] в костюме мужского покроя подошла к Саймону и Чарли.

– Ну как, приглянулась какая-нибудь из девушек вашему другу?

– Присядь с нами и выпей. Он осматривается. Ночь еще только начинается.

Она села и, когда Саймон подозвал официанта, заказала оранжад.

– Жаль, что он впервые пришел сюда в такой тихий вечер. Понимаете, канун Рождества, многим приходится сидеть дома. Но скоро будет веселей. На праздники в Париж съехалась уйма англичан. Я читала в газете, они заняли в «Золотой стреле» три купе. Великая нация англичане, у них есть деньги.

Чарли несколько робел и сидел молча, и она спросила Саймона, понимает ли он по-французски.

– Конечно, понимает. Он провел полгода в Турени, изучал язык.

– Дивный край! Прошлым летом во время отпуска я проехала по всему Шато. Анджела родом из Турени. Может, ваш друг захочет с ней потанцевать. – Она обернулась к Чарли: – Вы ведь танцуете, правда?

– Да, я люблю танцевать.

– Она очень образованная, из прекрасной семьи. Когда я была в Турени, я их навестила, и они благодарили меня за все, что я сделала для их дочери. Они весьма почтенные люди. Не думайте, будто мы берем кого попало. Мадам очень разборчива. У нас есть репутация, и мы ею дорожим. Родители этих барышень у себя в городе люди очень уважаемые. Поэтому дочкам и нравится работать в Париже. Понятно, им не хочется ставить своих родных в неловкое положение. Жизнь тяжела, и каждому приходится

зарабатывать свой хлеб кто как может. Я, конечно, не хочу сказать, что они по происхождению аристократки, но во Франции аристократия совершенно развращена, и что до меня, я куда больше ценю добропорядочных французских буржуа. Они опора страны.

Мадемуазель Эрнестина производила впечатление разумной женщины с твердыми принципами. Нельзя было не почувствовать, что ее взгляды на общественные вопросы современности вполне стоило бы послушать. Она похлопала Саймона по руке и опять обратилась к Чарли:

– Мне всегда приятно видеть месье Саймона. Он добрый друг нашего дома... Он не слишком часто у нас бывает, но уж когда приходит, ведет себя как истый джентльмен. Никогда не напивается, как некоторые ваши соотечественники, и с ним очень интересно побеседовать. Мы здесь всегда рады журналистам. Иной раз мне кажется, мы ведем довольно замкнутую жизнь и нам полезно поговорить с кем-то, кто в центре событий. Это выводит из привычной колеи. Он нам сочувствует.

В этом окружении Саймон, как ни странно, похоже, чувствовал себя будто рыба в воде и потому держался весело и непринужденно. Если то была игра, она отлично ему удавалась. Можно было подумать, он ощущает некое своеобразное родство с этой *sous-maitresse* публичного дома.

– Однажды он меня пригласил на генеральную репетицию в «Комеди Франсез». Там был весь Париж. Академики, министры, генералы. Я была ошеломлена.

– Могу прибавить, ты выглядела изысканней всех женщин. Оттого, что меня увидели с тобой, моя репутация очень выиграла.

– Вы бы видели лица некоторых важных господ, которые у нас бывают, когда они увидели меня под руку с месье Саймоном.

Чарли понимал, что, отправляясь на столь важную церемонию с подобной спутницей, Саймон сыграл с обществом своего рода шутку, вполне в духе его язвительного ума. Они еще поговорили, потом Саймон сказал:

– Послушай, дорогуша, я думаю, надо, чтоб наш молодой друг мог гордиться своим первым посещением этого дома. Не представить ли его княжне? Она ему понравится, как по-твоему?

Суровые черты мадемуазель Эрнестины смягчились улыбкой, и она весело взглянула на Чарли.

– Это мысль. Во всяком случае, такого опыта у него еще не было. У княжны прелестная фигурка.

– Давайте пригласим ее и угостим вином.

Мадемуазель Эрнестина подозвала официанта.

– Скажи княжне Ольге, пусть подойдет к нам. – Потом обратилась к Чарли: – Она русская. Конечно, со времени революции русские заполонили Париж, мы сыты по горло и ими самими, и их славянским нравом. Поначалу клиентов это забавляло, но теперь уже стало надоедать. Русские слишком шумные и вздорные. Сказать по правде, они варвары и не умеют себя вести. Но княжна Ольга не такая. У нее есть принципы. Сразу видно, получила хорошее воспитание. Что-то в ней есть, в этом ей не откажешь.

Тем временем Чарли видел, как официант подошел к одной из девушек, сидящих на скамье, и заговорил с ней. Взгляд Чарли и прежде блуждал по залу, и эту девушку он приметил. Она сидела странно тихая, будто отрешенная от всего вокруг. Теперь она встала, бросила взгляд в их сторону и медленно направилась к ним. Была в ее походке своеобразная небрежность. Подойдя, она чуть улыбнулась Саймону, и они обменялись рукопожатием.

– Я видела, вы только пришли, – сказала она и села.

Саймон спросил, налить ли ей шампанского.

– Не откажусь.

– Это мой приятель, он хочет с тобой познакомиться.

– Я польщена. – Она без улыбки обратила взгляд на Чарли. Слишком долгий, как ему показалось, взгляд его смутил, но в ее глазах не было ни приветствия, ни приглашения; ее полнейшее безразличие даже уязвляло. – Он красивый. – Чарли робко улыбнулся, тогда и ее губы шевельнуло подобие улыбки. – Похоже, он добрый.

Ее кисейные бледно-голубые шальвары и тюрбан были густо усеяны серебряными звездочками. Роста она была не слишком высокого, лицо сильно накрашено – щеки чересчур нарумянены, губы ярко-алые, веки голубые, брови и ресницы начернены тушью. О ней безусловно не скажешь, что она хороша собой, всего лишь миловидна, слишком выдаются скулы, нос небольшой, мясистый, а глаза и не глубоко сидят в глазницах и не навывкате, но вровень с лицом, будто окна в стене. Большие глаза, голубые, и голубизна, подчеркнутая и цветом тюрбана и тушью, точно пламя. Фигурка изящная, хрупкая, тоненькая, и кожа тела цвета светлого янтаря, на вид нежная и шелковистая. Грудь маленькая, круглая, девичья, и розовые хорошей формы соски.

– Почему ты не приглашаешь княжну потанцевать? – спросил Саймон.

– Вы позволите? – сказал Чарли.

Она едва заметно пожала плечом и без единого слова поднялась. А мадемуазель Эрнестина, сказав, что ее призывают дела, оставила их. Никогда еще Чарли не танцевал с девушкой, раздетой до пояса, и

ощущение было волнующее. Оттого, что его рука покоилась на ее обнаженном теле и он чувствовал прикосновение ее голой груди, у него перехватывало дыхание. Рука, которую он держал в своей, была маленькая и мягкая. Но он был воспитанный молодой человек с хорошими манерами и, полагая, что учтивость требует поддерживать беседу, говорил с нею в точности так, как если бы танцевал с незнакомой девушкой в Лондоне. Она отвечала довольно вежливо, но, казалось, не очень его слушала. Взгляд ее рассеянно блуждал по комнате и, похоже, не находил ничего интересного. Чарли чуть крепче прижал ее к себе, она же ничем не показала, что заметила это более тесное объятие. Приняла его молча. Оркестр перестал играть, и они вернулись к своему столику. Саймон сидел там один.

– Ну как, хорошо она танцует?

– Не очень.

И тут она рассмеялась. Наконец-то она оживилась, и смех был искренний, веселый.

– Прошу прощения, – сказала она по-английски. – Я была невнимательна. Я могу танцевать лучше, вот увидите.

Чарли вспыхнул.

– Я не знал, что вы говорите по-английски. Иначе я бы так не сказал.

– Но это же чистая правда. И вы сами так хорошо танцуете, вы заслуживаете искусной партнерши.

До сих пор они разговаривали по-французски. Чарли говорил не очень правильно, но бегло, и произношение у него было хорошее. Княжна же отлично владела французским, только с протяжной русской интонацией, что придавало ее речи чуждую французам монотонность. Ее английский был совсем недурен.

– Княжна получила образование в Англии, – сказал Саймон.

– Я жила там с двух лет до четырнадцати. С тех пор я редко говорила по-английски и забыла его.

– А где вы жили?

– В Лондоне. На Лэдброук-Гроув. На Шарлот-стрит. Где подешевле.

– Ну, я вас оставлю, молодежь, – сказал Саймон. – Увидимся завтра, Чарли.

– На мессу ты не пойдешь?

– Нет.

И, небрежно кивнув, он ушел.

– Вы давно знаете месье Саймона? – спросила княжна.

– Он самый давний мой друг.

– Он вам нравится?

– Конечно.

– Он совсем на вас не похож. Никогда бы не подумала, что он может вас привлечь.

– У него блестящий ум. И он был мне очень хорошим другом.

Она приоткрыла рот, готовая заговорить, но, видно, передумала и промолчала. Опять заиграла музыка.

– Потанцуете со мной еще раз? – спросила она. – Хочу показать вам, что умею танцевать, когда хочу.

Быть может, оттого, что ушел Саймон и она почувствовала себя свободнее, быть может, что-то было в поведении Чарли, его смущение, когда он понял, что она говорит по-английски, но она наконец-то его заметила, ее обращение с ним переменилось. Появилась в ней доброта, неожиданная и привлекательная. Они танцевали, и она разговаривала почти весело. Вернулась к своему детству, не без мрачноватого юмора описывала нищету, в которой жила вместе с родителями в дешевых лондонских меблирашках. И сейчас, приноравливаясь к Чарли, она танцевала хорошо. Они снова сели, и Чарли взглянул на часы; дело шло к полуночи. Чарли не знал, как быть. Дома он часто слышал разговоры о церковной музыке в Saint-Eustache, и нельзя же упустить случай послушать там мессу в канун Рождества. Волнение, связанное с приездом в Париж, разговор с Саймоном, новые ощущения, что пробудили в нем Serail и выпитое шампанское, – все это взбудоражило его, и ему отчаянно хотелось послушать музыку; это желание было ничуть не слабей, чем физическое желание, что вызывала в нем девушка, с которой он танцевал. Казалось, при том, как все складывается, уходить глупо; но его влекло туда, и в конце концов кому какое дело.

– Послушайте, – сказал он с премиллой улыбкой. – У меня свидание. Мне сейчас надо уйти, но через часок я вернусь. Я вас застаю, да?

– Я всю ночь тут.

– Но вы не будете с кем-нибудь заняты?

– Почему вам надо уйти?

Он улыбнулся не без робости.

– Боюсь, это прозвучит нелепо, но приятель дал мне два билета на мессу в Saint-Eustache, и может случиться, у меня никогда больше не будет такой возможности.

– С кем вы идете?

– Ни с кем.

– Можно мне пойти с вами?

– Вам? Но вы разве можете уйти?

– Я договорюсь с мадемуазель. Дайте мне две-три сотни франков, и я все устрою.

Он глянул на нее с сомнением. Наполовину раздетая, в зеленовато-голубом тюрбане и шальварах, сильно накрашенная, не тот у нее вид, чтоб идти с ней в церковь. Она заметила его взгляд и засмеялась.

– Я все на свете готова отдать, только бы пойти. Позвольте мне пойти, пожалуйста. Я за десять минут переоденусь. Это будет для меня такая радость.

– Хорошо.

Он дал ей денег, и, сказав, чтобы он ждал ее в парадном, она поспешила прочь.

Чарли заплатил за вино и через десять минут по часам вышел.

Едва он появился в коридоре, к нему подошла какая-то девушка.

– Видите, я не заставила вас ждать. Я объяснила мадемуазель. Да она все равно считает русских помешанными.

Он ее узнал, только когда она заговорила. На ней было коричневое пальто, юбка и фетровая шляпа. Она стерла весь грим, даже помаду с губ, и под тонкой светлой линией подбритых бровей глаза уже не казались ни такими большими, ни такими голубыми. В своем коричневом, изящном, но дешевом костюме она казалась невзрачной. Ее можно было принять за продавщицу, одну из тех, кого видишь в обеденный перерыв, когда они выплескиваются на боковые улочки из черного хода универсального магазина. Ее нельзя было назвать даже хорошенькой, но выглядела она совсем юной, и какое-то было смирение в ее облике, отчего у Чарли сжалось сердце.

– Вы любите музыку, княжна? – спросил он, когда они сели в такси.

Он не понимал, как ее называть. Даже пускай она проститутка, он чувствовал, что было бы грубо при таком недавнем знакомстве и при ее титуле называть ее Ольга, а если волею обстоятельств она оказалась в таком унижительном положении, тем более следует обходиться с ней уважительно.

– Знаете, я не княжна, и зовут меня не Ольга. В Serail меня так называют, потому что клиентам лестно думать, будто они ложатся в постель с княжной, а Ольгой зовут потому, что это единственное, кроме Саши, русское имя, которое им известно. Мой отец был профессором экономики в Ленинградском университете, а мать – дочь таможенного чиновника.

– Как же тогда вас зовут?

– Лидия.

Они приехали как раз к началу. Народу тьма, никакой надежды сесть. Было очень холодно, и Чарли предложил Лидии свое пальто. Она молча покачала головой. Боковые приделы были освещены ничем не затемненными круглыми плафонами, резкий свет бил в своды, в колонны, в темную толпу молящихся. Ярко освещены были и хоры. Чарли и Лидия нашли место у колонны; укрывшись в ее тени, можно было чувствовать себя отделенными от остальных. На возвышении расположился оркестр. У алтаря – священнослужители в великолепном облачении. Музыка казалась Чарли несколько напыщенной, и он слушал слегка разочарованный. Вопреки ожиданию она его не трогала, и солисты с их металлическими оперными голосами оставляли его равнодушным. Чувство такое, словно присутствуешь на спектакле, а не на религиозном действе, не ощущаешь ни малейшего благоговения. Но все равно он был рад, что пришел. От темноты, которую электрический свет прорезает, будто блестящий нож, готические линии храма кажутся еще суровей; мягкий блеск алтаря, где горит множество свечей, где священники свершают действия, значение которых ему неведомо; молчащая толпа, которая, кажется, ни в чем не принимает участия, но тревожно замерла в ожидании, будто на вокзале у барьера, в ожидании, когда откроют проход; тяжелый запах мокрой одежды, сливающийся с благоуханием ладана; жестокий холод, что сковывает, словно чье-то незримое грозное присутствие; совсем не религиозные чувства рождало все это, но ощущение тайны, корнями уходящей в истоки человечества. Нервы молодого человека напряглись, и когда хор вдруг грянул в сопровождении оркестра *Adeste Fidelis*, его неведомо почему охватило ликование. Потом мальчик запел гимн – высокий чистый голос серебром зазвучал в тишине, и звуки струились, поначалу чуть колеблясь, словно певец был не совсем в себе уверен, струились, точно кристально чистая вода по белому каменистому ложу ручья, а потом певец обрел уверенность, огромные темные ладони подхватили мелодию и подняли к замысловатым изгибам арок и еще выше, в ночь под купол свода. Чарли вдруг осознал, что стоящая рядом с ним Лидия всхлипывает. Он огорчился, но, воспитанный и по-английски сдержанный, сделал вид, будто ничего не заметил; он подумал, что в темной церкви, слушая этот чистый мальчишеский голос, она вдруг устыдилась. Чарли был впечатлительный юноша и прочел много романов. Ему казалось, он догадывается, что она чувствует, и стало бесконечно жаль ее. Странно только, что ее так взволновала отнюдь не лучшая музыка. Но Лидия уже по-настоящему расплакалась, и теперь нельзя было делать вид, будто он ничего не замечает. Он протянул руку, взял ее руку в свою, надеясь

таким образом выразить сочувствие и утешить, но она почти грубо вырвала руку. Теперь ему сделалось неловко. Лидия плакала так отчаянно, что стоящим поблизости, конечно, было слышно. В какое нелепое положение она себя поставила, от стыда Чарли бросило в жар.

– Может быть, выйдем? – шепотом спросил он.

Лидия сердито помотала головой. Рыдания сотрясали ее все сильнее и сильнее, и вдруг она опустилась на колени, уткнулась лицом в ладони и неудержимо разрыдалась. Она странно скорчилась, стала похожа на грудку сброшенной одежды, и, не вздрагивая у нее плечи, можно было подумать, что она в глубоком обмороке. Она лежала у основания высокой колонны, и Чарли, безмерно смущенный, стоял подле нее, стараясь заслонить ее от чужих взглядов. Многие с любопытством посматривали на нее, потом на него. Он злился, представляя, что они думают. Музыку приглушили, хор умолк, установилась благоговейная волнующая тишина. Причащающиеся ряд за рядом продвигались к алтарю, поднимались по ступеням, чтобы принять частицу тела Христова, которую давал им священник. Деликатность мешала Чарли посмотреть на Лидию, и он не отрывал глаз от ярко освещенного алтаря. Но когда она чуть приподнялась, тотчас это заметил. Она повернулась к колонне и, опершись о нее рукой, спрятала лицо в изгибе локтя. Безудержные слезы измучили ее, но в том, как она прислонилась, припала к холодному камню, упираясь коленями в каменные плиты, такое было безысходное горе, что видеть ее сейчас было еще невыносимей, чем скорчившуюся на полу, сокрушенную, точно застигнутую неестественной, насильственной смертью.

Служба подошла к концу. Орган присоединился к оркестру, чтобы в заключение исполнить соло, и увеличивающийся поток людей, спешащих сесть в свои автомобили или поймать такси, устремился к выходу. Но вот все кончилось, и огромная толпа хлынула из церкви. Чарли подождал, пока они с Лидией остались одни у колонны и последняя волна уже катилась к дверям. И положил руку на плечо девушки.

– Идемте. Надо уходить.

Он обхватил ее рукой и поставил на ноги. Она покорно подчинилась. Только глаза отвела. Чарли взял ее под руку и повел по проходу между рядами, потом опять чуть задержался, пока в церкви не осталось всего человек десять – двенадцать.

– Хотите немного пройти пешком?

– Нет, я так устала. Лучше сядем в такси.

Но все равно несколько шагов пройти пришлось – такси подвернулось не сразу. Когда они оказались подле уличного фонаря, Лидия остановилась,

вынула из сумки зеркало и посмотрелась. Глаза распухли. Она достала пуховку и припудрилась.

– Сейчас ничем не поможешь, – сказал Чарли с доброй улыбкой. – Лучше зайдем куда-нибудь, выпьем. В таком виде вы не можете вернуться в Serail.

– Я если плачу, глаза всегда распухают. Чтоб все прошло, нужно несколько часов.

В эту минуту показалось такси, и Чарли его подозвал.

– Куда поедем?

– Все равно. В «Селект». Бульвар Монпарнас.

Чарли дал шоферу адрес, и они поехали вдоль реки.

Когда подъехали, он заколебался – казалось, выбранный Лидией ресторан переполнен, но она вышла из такси, и он последовал за ней. Несмотря на холод, много народу сидело на террасе. Они нашли столик в помещении.

– Я пройду в дамскую комнату, вымою глаза.

Через несколько минут она вернулась и села рядом.

Она понизе надвинула шляпу, чтобы скрыть распухшие веки, и припудрилась, но не нарумянилась, лицо очень бледное. Сейчас она была совсем спокойна. О приступе рыданий, случившемся с ней, не сказала ни слова, и можно было подумать, она считает его вполне естественным и не требующим извинения.

– Я очень голодная, – сказала она. – Вы, наверно, тоже.

Чарли был голоден как волк и, ожидая Лидию, спрашивал себя, не слишком ли будет вульгарно, если он при таких обстоятельствах закажет себе яичницу с беконом. После ее слов он вздохнул с облегчением. Оказалось, она тоже мечтает о яичнице с беконом. Он хотел заказать бутылку шампанского, думал, ей надо подбодриться, но она не позволила.

– Чего ради вам тратиться? Лучше выпьем пива.

Они с аппетитом уплетали нехитрую еду. Немного поговорили. Воспитанный Чарли попытался вести учтивую беседу, но Лидия не поддержала ее, и вскоре они замолчали. Когда покончили с едой и выпили кофе, Чарли спросил ее, что она хочет делать дальше.

– Я бы еще посидела здесь. Мне в «Селекте» очень нравится. Тут уютно и по-домашнему. Мне нравится смотреть на людей, которые сюда приходят.

– Ладно, посидим тут.

Не сказать, чтоб он так предполагал провести первую ночь в Париже. Надо ж было сделать такую глупость – повести ее на рождественскую

мессу. У него не доставало мужества обойтись с ней не по-доброму. Но, видно, что-то в его тоне ее насторожило, потому что она полуобернулась, заглянула ему в лицо. И опять улыбнулась той улыбкой, которая уже раза три освещала ее лицо. Странная то была улыбка. Она едва тронула губы, не веселая, но не лишенная доброты, скорее ироническая, чем веселая, она появлялась редко и как бы нехотя, были в ней терпение и разочарование.

– Что вам за удовольствие здесь сидеть. Может быть, оставите меня здесь, а сами вернетесь в Serail?

– Нет, это не годится.

– Знаете, я ведь не прочь посидеть одна. Бывает, прихожу сюда сама и сижу часами. Вы приехали в Париж развлечься. И глупо было бы иначе.

– Если я вам не наскучил, я бы хотел посидеть тут с вами.

– Но почему? – Она бросила на него презрительный взгляд. – Вы что, считаете нужным разыгрывать благородство и жертвовать собой? Или вам жаль меня? Или просто любопытно?

Чарли не понимал ее – почему она будто сердится на него, почему старается уязвить?

– Отчего же мне жалеть вас? Или любопытничать?

Он хотел дать ей понять, что она не первая проститутка в его жизни и что на него вряд ли произведет впечатление рассказ о ее судьбе, вероятно, грязный и скорее всего далекий от правды. Лидия уставилась на него с откровенным безмерным изумлением.

– Что вам рассказал обо мне ваш друг Саймон?

– Ничего.

– Почему же тогда вы сейчас покраснели?

– Я не знал, что покраснел, – улыбнулся Чарли.

На самом деле Саймон сказал, что с ней можно неплохо позабавиться, она своих денег стоит, но не те это были слова, чтоб повторить ей сейчас. Бледная, с опухшими веками, в дешевом коричневом платье и черной фетровой шляпе, она совсем не походила на обнаженное до пояса существо в голубых шальварах, в котором была какая-то экзотическая, вызывающая любопытство привлекательность. Сейчас перед ним сидела совсем другая женщина, скромная, благопристойная, серьезная, Чарли и помыслить не мог о том, чтобы лечь с ней в постель, все равно как с какой-нибудь из младших учительниц в Пэтсиной школе. Лидия снова умолкла. Кажется, замечталась. А когда наконец заговорила, можно было подумать, она не к Чарли обращается, а продолжает ход своих размышлений:

– Если я сейчас плакала в церкви, то вовсе не из-за того, о чем вы подумали. Из-за того, видит бог, я уже довольно наплакалась, а теперь

совсем из-за другого. Мне так стало одиноко. Все эти люди, они у себя на родине, и у них есть дом, завтра они будут праздновать Рождество со своими родными, с отцом и матерью, с детьми; некоторые, как вы, пришли просто послушать музыку, а некоторые – неверующие, но в те минуты их всех соединяло общее чувство; этот обряд они знали всю жизнь, его смысл у них в крови, каждое слово священника и каждое его движение им знакомы, и даже если умом они не веруют, благоговение, чувство тайны у них в крови, и они веруют в сердце своем; это часть воспоминаний о детстве, о садах, где они играли, о жизни на природе, о городских улицах. Это связывает их друг с другом, они становятся единым целым, и тайное чутье подсказывает им, что они родные друг другу. А я чужая. У меня нет родины, нет дома, нет языка. Я сама по себе. Я отверженная.

У нее вырвался печальный смешок.

– Я русская, а я только то и знаю о России, что читала. Я тоскую по бескрайним полям золотых хлебов, по серебристым березовым рощам, о которых читала в книгах, но, как ни стараюсь, не могу себе их представить. Москву я знаю такой, какой видела ее в кино. Иногда ломаю голову, пытаюсь вообразить себя в русской деревне, в беспорядочном селении, где дома сложены из бревен, а крыши соломенные, я читала о них у Чехова, и не могу, и знаю, мне видится совсем не то, что на самом деле. Я русская, а на своем родном языке говорю хуже, чем по-английски и по-французски. Толстого и Достоевского мне легче читать в переводе. Для своих соотечественников я такая же чужая, как для англичан и французов. Вы, у кого есть дом, и родина, и любящие вас люди, и еще другие, у кого те же обычаи, что и у вас, и вы их понимаете, даже если с ними незнакомы, – разве вы можете сказать, что значит быть одной в целом свете?

– И у вас совсем нет родных?

– Никого. Мой отец был социалист, но он был тихий, мирный человек, поглощенный своими учеными занятиями, и не участвовал в политике. Он приветствовал революцию и думал, что она откроет для России новую эру. Он принял большевиков. Только просил, чтобы ему позволили продолжать работать в университете. Но его уволили, а потом он узнал, что ему грозит арест. Мы бежали через Финляндию, отец, мать и я. Мне было два года. Двенадцать лет мы жили в Англии. Как жили, одному богу известно. Иногда отцу перепадала кой-какая работа, иногда люди нам помогали, но отец тосковал по родине. Прежде, кроме студенческих лет в Берлине, он никогда не уезжал из России; он не мог привыкнуть к английскому образу жизни и наконец почувствовал, что должен вернуться. Мать умоляла его не ехать. Он ничего не мог с собой поделать, не мог он не поехать, слишком

сильно было желание; он связался с людьми из русского посольства в Лондоне, сказал, что готов выполнять любую работу, какую бы ему ни предложили большевики; в России у него было имя, в свое время книги его удостаивались всяческих похвал, в своей области он был признанным авторитетом. Ему чего только не наобещали, и он отправился. Едва пароход пристал, отца схватили агенты Чека. Мы слышали, что его посадили в тюремную камеру на четвертом этаже и потом выбросили из окна. А сказали, что он покончил с собой.

Лидия коротко вздохнула и зажгла очередную сигарету. После ужина она курила без передышки.

– Отец был мягкий, кроткий. В жизни никого не обидел. Мама мне говорила, что за все годы их семейной жизни он ни разу ей резкого слова не сказал. Оттого что он помирился с большевиками, люди, которые до этого нам помогали, перестали помогать. Мама решила, нам лучше уехать в Париж. У нее здесь были друзья. Они нашли ей работу – она отправляла письма. Я стала ученицей портнихи. Мама умерла, потому что на двоих еды не хватало, и она отказывала себе, чтобы я не ходила голодная. Я нашла работу у одной портнихи, она платила мне половину обычного жалованья, потому что я русская. Если бы те мамины друзья, Алексей и Евгения, не приютили меня, я бы тоже голодала. Алексей играл на скрипке в оркестре в русском ресторане, а Евгения работала в дамской уборной. У них было трое детей, и мы шестером жили в двух комнатах. Алексей по профессии адвокат, он был одним из папиных учеников в университете.

– Вы и сейчас не потеряли их из виду?

– Нет, конечно. Теперь они очень бедствуют. Понимаете, всем обрыдли русские, обрыдли русские рестораны и русские оркестры. Алексей уже четыре года без работы. Он ожесточился, стал вздорным, много пьет. Одну их дочь взяла на попечение тетушка, живущая в Ницце, а другая пошла в услужение, сын теперь наемный танцор и промышляет в ночных клубах на Монмартре; он часто бывает здесь, не знаю, почему сегодня его нет, может, с кем-то поладил. Отец, когда пьян, бьет его и проклиняет, но сотня франков, которые он приносит в дом, если ему повезет найти пару, помогает сводить концы с концами. Я до сих пор живу у них.

– Вот как? – удивился Чарли.

– Надо же мне где-то жить. В Serail я ухожу только вечером, и если дела там идут вяло, в четыре-пять утра уже возвращаюсь. Но они живут ужасно далеко.

Они немного помолчали.

– Что вы имели в виду, когда сказали, что плакали не из-за того, о чем

я подумал? – спросил наконец Чарли.

Она опять глянула на него подозрительно и с любопытством.

– Вы хотите сказать, что и вправду не знаете, кто я? Я думала, ваш друг Саймон потому и послал за мной.

– Ничего он мне не говорил... сказал только, что с вами я не зря потрачу время.

– Я жена Робера Берже. Вот почему меня взяли в Serail, хоть я и русская. Это приятно возбуждает клиентов.

– Боюсь, я совершенный тупица, но, право, я не понимаю, о чем вы толкуете.

У Лидии вырвался короткий, резкий смешок.

– Такова слава. Имя, которое у всех на устах, ничего не значит там, куда можно доехать за один день. Робер Берже убил английского букмекера Тедди Джордана. Его приговорили к пятнадцати годам каторжных работ. Он в Сен-Лоране, во Французской Гвиане.

Сказала она это так буднично, что Чарли ушам своим не поверил. Слова Лидии привели его в ужас, испугали, потрясли.

– Неужели вы правда не знали?

– Даю вам слово. Сейчас, когда вы об этом заговорили, мне вспоминается, я читал об этом в английских газетах. Это произвело изрядную сенсацию, ведь... ведь жертвой был англичанин, вот только я забыл имя... имя... вашего мужа.

– Во Франции это тоже произвело сенсацию. Суд длился три дня. Люди рвались туда. Газеты отвели ему целиком первые полосы. Все только об этом и говорили. Да, была настоящая сенсация. Вот тогда я впервые увидела вашего друга Саймона, во всяком случае он впервые увидел меня, он давал материалы об этом деле в свою газету, а я была в суде. Захватывающий получился процесс, журналистам было на чем показать себя. Попросите Саймона, пускай он вам расскажет. Он гордится статьями, которые тогда написал. Они были до того умные, отрывки из них перевели и напечатали во французских газетах. Саймон очень на этом выдвинулся.

Чарли не знал, что сказать. Он злился; это вполне в духе Саймона – разыграть такую вот злую шутку и поставить приятеля в дурацкое положение.

– Для вас все это, наверно, было ужасно, – запинаясь, сказал он.

Лидия чуть повернулась, заглянула ему в глаза. Чарли, чья жизнь всегда проходила в приятном окружении, никогда еще ни на одном лице не видел такого чудовищного отчаяния. В лице Лидии сейчас не осталось почти ничего человеческого, оно скорее походило на одну из японских

масок, какие художник создает, чтобы выразить то или иное чувство. Чарли бросило в дрожь. До сих пор ради него Лидия почти все время говорила по-английски, лишь изредка переходя на французский, когда ей трудно было что-то выразить на непривычном языке, но теперь она совсем перешла на французский. Протяжная русская интонация окрашивала ее речь обычной печалью и в то же время придавала словам какую-то нереальность. Будто человек говорит во сне.

– Мы были женаты всего полгода. Я ждала ребенка. Может быть, именно это спасло Роберу жизнь. Это и его молодость. Ему был только двадцать один год. Ребенок родился мертвым. Слишком я перестрадала. Понимаете, я любила мужа. Он был моей первой и единственной любовью. Когда его осудили, хотели, чтоб я с ним развелась, – по французским законам ссылка на каторгу достаточное для этого основание; мне говорили, мол, жены каторжников всегда с ними разводятся, и злились, что я не захотела. Защитник Робера был ко мне очень добр. Он говорил, я сделала все, что было в моих силах, у меня было трудное время, но я до конца поддерживала мужа, а теперь должна подумать о себе, я молода и должна начать новую жизнь, а если я останусь связанной с каторжником, моя жизнь станет еще трудней. Он возмущался, когда я говорила, что люблю Робера, что кроме Робера для меня ничего не существует, что бы он ни сделал, все равно его люблю, и если б было можно и если б он захотел, я с радостью к нему бы поехала. Наконец защитник пожал плечами, сказал, что с русскими ничего нельзя поделать, но если я когда-нибудь передумаю и захочу получить развод, пускай я к нему приду, и он мне поможет. И Евгения и Алексей, бедняга Алексей, никчемный пьяница, оба не давали мне покоя. Говорили, мол, Робер подлец, безнравственный человек, говорили, это позор, что я его люблю. Как будто можно разлюбить, потому что любить его позорно! Назвать человека подлецом проще простого. А что это значит? Он убил и пострадал за свое преступление. Никто из них не знал его, как я. Понимаете, он меня любил. Они не знали, какой он нежный, какой обаятельный, какой веселый, ребячливый. Говорили, он чуть меня не убил, как убил Тедди Джордана. Они не понимают, что от этого я его только больше люблю.

Чарли, который ничего не знал об обстоятельствах дела, по речам Лидии ни в чем не мог толком разобраться. И спросил:

– Почему он должен был вас убить?

– Когда он вернулся домой... после того, как убил Джордана... было очень поздно, и я уже легла, а его мать его дожидалась. Мы жили вместе с ней. Он был в отличном настроении, но мать с первого взгляда поняла, что

он совершил что-то ужасное. Понимаете, она уже много недель это предчувствовала и была вне себя от тревоги.

«Ты где так задержался?» – спросила она.

«Я-то? А нигде, – ответил он. – Тут недалеко, с ребятами. – Он усмехнулся и потрепал ее по щеке. – Так легко убить человека, мама, – сказал он. – Так легко, ну прямо смех».

Тут она поняла, что он натворил, и расплакалась.

«Бедная твоя жена, – сказала она. – Какой же несчастной она теперь из-за тебя станет».

Он понурился и вздохнул.

«Может, лучше убить и ее тоже», – сказал он.

«Робер!» – крикнула мать.

Он покачал головой.

«Не бойся, у меня бы не хватило мужества, – сказал он. – А все-таки, если б я убил ее, пока она спит, она бы ничего не узнала».

«Боже мой, ну почему ты это сделал?» – воскликнула мать.

Он вдруг засмеялся. У него был удивительно веселый, заразительный смех. Услышишь, и сразу делается радостно.

«Не дури, мать, я просто шучу, – сказал он. – Ничего я такого не сделал. Иди ложись спать».

Мать понимала, что он врет. Но только это он и сказал. Наконец она ушла к себе. Домик был крохотный, в Нейи, но при нем был садик и в конце его небольшой флигель. Когда мы поженились, она отдала нам дом, а сама переехала во флигель, чтоб быть рядом с сыном, но не стеснять нас. Робер вошел в нашу комнату и разбудил меня поцелуем в губы. Глаза его сияли. У него глаза голубые, не такие голубые, как ваши, скорее серые, но большие и очень блестящие. Они почти всегда улыбались. И были поразительно живые.

Постепенно речь Лидии замедлилась. Словно пришла ей на ум какая-то мысль, и теперь она взвешивала каждое слово. Со странным выражением она посмотрела на Чарли.

– Ваши глаза чем-то напоминают мне о Робере, и овал лица у вас такой же. Он пониже ростом, и не было у него этого типично английского цвета лица. Красивый он был, очень. – Она чуть помолчала. – Какой же злой шут этот ваш Саймон.

– Что вы хотите этим сказать?

– Ничего.

Лидия облокотилась на стол, подалась вперед, уперлась подбородком в ладони и продолжала на одной ноте, будто под гипнозом рассказывала о

чем-то, что проходило перед ее отсутствующим взглядом.

– Я проснулась, открыла глаза и улыбнулась.

«Как ты поздно, – говорю. – Скорей ложись».

«Мне сейчас не уснуть, – сказал он. – Я слишком взвинчен. И голодный. В кухне есть яйца?»

К тому времени я уже совсем проснулась. Вы не представляете, как он был хорош, когда сидел на кровати в своем новом сером костюме. Он всегда со вкусом одевался и замечательно умел носить вещи. Волосы у него были очень красивые, темные, вьющиеся и длинные, он зачесывал их назад.

«Я надену халат, и пойдем посмотрим», – сказала я.

Мы прошли в кухню, я достала яйца и лук. Поджарила яичницу с луком. Сделала несколько тостов. Иногда, возвратясь домой после театра или концерта, мы сами что-нибудь себе готовили. Он любил яичницу с луком, и я готовила ее в точности как ему нравилось. Мы любили вот так скромно поужинать вдвоем, в кухне. Робер спустился в погреб и принес бутылку шампанского. Я знала, его мать рассердится, то была последняя бутылка из полудюжины, которую Роберу подарил один его приятель по скачкам, но он сказал, ему сейчас требуется шампанское, и открыл бутылку. Он с жадностью ел яичницу и залпом осушил бокал шампанского. В ту ночь какое-то в нем было неистовство. Когда мы только вошли в кухню, я заметила, что он очень бледен, хотя глаза у него ярко блестели, и не зная я, что это совсем не в его духе, я бы подумала, что он выпил, но скоро бледность прошла. Я решила, он просто устал и проголодался. Конечно же, он весь день носился сломя голову, и, возможно, у него маковой росинки во рту не было. Хотя мы расстались всего несколько часов назад, он был вне себя от радости, что мы опять вместе. Он без конца меня целовал, а когда я жарила яичницу, хотел меня обнять, и пришлось его оттолкнуть, а то вдруг бы я испортила свою стряпню. Но я не могла удержаться от смеха. Мы сели за кухонный столик рядышком, ближе некуда. Какими только ласковыми любовными именами он меня не называл и все не мог оторвать от меня рук, будто мы женаты не полгода, а всего неделю. Мы поужинали, и я хотела вымыть посуду, чтоб утром, когда придет мать, она не застала никакого беспорядка, но он мне не позволил. Ему не терпелось со мной лечь.

Он был будто одержимый. Никогда я не думала, что мужчина может так любить женщину, как он любил меня той ночью. Каким обожанием я была полна, я не знала, что женщина способна на такое.

Он был ненасытен. Казалось, его страсть невозможно утолить. Ни у одной женщины никогда не было такого любовника, как у меня в ту ночь. И

он был моим мужем. Он был мой! Мой! Я его боготворила. Позволь он мне, я бы целовала ему ноги. Когда, измучась, он наконец уснул, в просвет между занавесями заглянула утренняя заря. Но я уснуть не могла. Светало, и я не сводила с него глаз; на его мальчишеском лице не было ни морщинки. Он спал, заключив меня в объятия, и его губы чуть улыбались счастливой улыбкой. Наконец я тоже уснула.

Когда я проснулась, он еще спал, я тихонько вылезла из постели, чтобы его не потревожить. И пошла в кухню сварить ему кофе. Мы были очень бедны. Раньше Робер служил в одной маклерской конторе, но поссорился с хозяином и ушел от него, и с тех пор постоянной работы у него не было. Он был без ума от скачек, и иногда ему кое-что перепало, хотя мать терпеть не могла это его занятие, а иной раз он немного подрабатывал, перепродавая подержанные автомобили, но, по сути, мы жили на пенсию его матери, она была вдова военного доктора и еще кое-что сумела отложить. Служанки у нас не было, и всю домашнюю работу мы делали вдвоем со свекровью. Я застала ее на кухне, она чистила к обеду картошку.

«Как Робер?» – спросила она.

«Он еще спит. Видели бы вы, какой он сейчас. Волосы взъерошены, и он будто мальчишка шестнадцати лет».

Кофе стоял на полке в камине, молоко было теплое. Я его вскипятила, выпила чашку, потом на цыпочках поднялась наверх и взяла одежду Робера. Он любил франтить, и я научилась гладить его вещи. Мне хотелось все ему приготовить и аккуратно сложить на стуле до того, как он проснется. Я принесла их в кухню, почистила и поставила разогреть утюг. Когда я положила на кухонный стол брюки, я увидела на одной штанине пятна.

«Да что ж это такое? – воскликнула я. – Робер чем-то перепачкал брюки».

Мадам Берже так поспешно вскочила со стула, даже опрокинула картошку. Схватила брюки, глянула на них. И ее стала бить дрожь.

«Интересно, чем он их вымазал, – сказала я. – Робер будет вне себя. Его новый костюм».

Я видела, она огорчилась, но, знаете, французы в некоторых отношениях странные. Какое-нибудь пятно на платье для них событие, не то что для русских. Не знаю, сколько сотен франков Робер заплатил за этот костюм, но если костюм погублен, свекровь целую неделю не сможет спать, все будет думать о зря потраченных деньгах.

«Я отчищу», – сказала я.

«Отнеси Роберу кофе, – резко сказала она. – Уже двенадцатый час,

пора ему встать. Брюки оставь мне. Я знаю, что с ними сделать».

Я налила ему чашку кофе и собралась идти наверх, но тут мы услышали, что он в тапочках сбегает по лестнице. Он кивнул матери и попросил газету.

«Выпей кофе, пока не остыл», – сказала я.

Он пропустил мои слова мимо ушей. Развернул газету и углубился в последние новости.

«Ничего нет», – сказала мать.

Я не поняла, о чем она. Робер пробежал взглядом по колонкам, потом не спеша отхлебнул кофе. Он был непривычно молчалив. Я взяла его пиджак и стала чистить щеткой.

«Ты вчера вечером сильно запачкал брюки, – сказала я. – Придется тебе сегодня надеть синий костюм».

Мадам Берже прежде повесила испачканные брюки на спинку стула. Теперь она их сняла и показала ему пятна. Он с минуту их разглядывал, а она молча за ним наблюдала. Казалось, он не может отвести от них глаз. Я не понимала их молчание. Странное оно было. Мне казалось, они отнеслись к этому пустяковому случаю до смешного трагически. Но конечно, у французов бережливость в крови.

«Дома есть немного бензина, – сказала я. – Им можно вывести пятна. Или отдадим брюки в чистку».

Они не ответили. Робер сидел хмурый, не поднимая глаз. Мать перевернула брюки, наверно, хотела посмотреть, есть ли пятна сзади, а потом нащупала что-то в карманах.

«Что у тебя там?»

Робер вскочил.

«Не трогай. Нечего шарить по моим карманам».

Он попытался вырвать у нее брюки, но прежде она успела сунуть руку в задний карман и достала пачку банкнот. Увидев у нее деньги, Робер замер. Она уронила брюки на пол и со стоном прижала руку к груди, словно ее ударили ножом. Тут я заметила, что оба они бледные как смерть. Меня вдруг осенило, Робер часто мне говорил, что у матери наверняка есть кое-какие сбережения и она прячет их где-то в доме. Последнее время мы отчаянно нуждались. Роберу безумно хотелось поехать на Ривьеру; я там никогда не была, и он неделями твердил, что если б только ему раздобыть немного денег, мы бы туда поехали и наконец-то отпраздновали бы медовый месяц. Понимаете, когда мы поженились, он работал у того маклера и не мог уехать. У меня мелькнула мысль, что он нашел сбережения матери. Я подумала, что он украл их, покраснела до корней

волос и, однако, не удивилась. Не зря я прожила с ним полгода, я знала, что ему это покажется забавной проделкой. Я видела у нее в руках билеты по тысяче франков. Потом оказалось их семь. Мать так на него посмотрела, что казалось, глаза у нее выскочат из орбит.

«Где ты их взял, Робер?» – спросила она.

Он ответил смешком, но я видела, он нервничает.

«Я вчера выиграл пари», – ответил он.

«Ох, Робер, – воскликнула я, – ты же обещал маме больше никогда не играть на бегах».

«Тут дело было верное, – сказал он. – Я не мог устоять. Теперь мы сможем поехать на Ривьеру, лапочка. Возьми деньги и сохрани, не то у меня они пролетят между пальцев».

«Нет-нет, не надо ей этих денег! – крикнула мадам Берже. И с таким ужасом посмотрела на Робера, я даже поразились, потом она повернулась ко мне: – Поди приberi у вас в комнате. Не годится, чтоб комнаты весь день стояли неубранные».

Я поняла, что она не хочет говорить при мне, и подумала, что, если они сейчас станут ссориться, лучше мне и вправду уйти. У невестки положение щекотливое. Мать обожала Робера, но он был легкомысленный, и ее это страшно беспокоило. Время от времени она устраивала сцены. Иногда они запирались в ее флигельке в конце сада и яростно спорили, до меня доносились их голоса. Он выходил оттуда мрачный, раздраженный, а по ней было видно, что она плакала. Я пошла наверх. Потом вернулась, и они тотчас замолчали, и мадам Берже велела мне пойти купить яиц. Робер обычно уходил из дому около полудня и возвращался только вечером, обычно очень поздно, но в тот день он остался дома. Читал, играл на фортепьяно. Я спросила, что у него произошло с матерью, но он не стал рассказывать, сказал, что это не мое дело. Мне кажется, за весь день ни он, ни она не обменялись и десятком слов. Я думала, этому не будет конца. Когда мы легли, я притулилась к Роберу, обняла его за шею, я ведь чувствовала, что он тревожится, и мне хотелось его утешить, но он меня оттолкнул.

«Бога ради, оставь меня в покое, – сказал он. – Мне сегодня не до занятий любовью. У меня другие заботы».

Я была жестоко уязвлена, но ничего не сказала. Только отодвинулась от него. Он понял, что обидел меня, немного погодя протянул руку и чуть коснулся моего лица.

«Усни, лапочка, – сказал он. – Не огорчайся из-за моего дурного настроения. Слишком много я вчера выпил. Завтра я опять стану самым

собой».

«Это деньги твоей матери?» – шепотом спросила я.

Он сперва не ответил. Потом наконец сказал – да.

«Ох, Робер, как ты мог?» – воскликнула я.

Он опять ответил не сразу. Мне так было худо. Думала, заплачу. Он сказал:

«Если кто-нибудь о чем-нибудь тебя спросит, ты у меня денег не видела. Ты понятия не имела, что у меня есть деньги».

«Как ты мог подумать, что я тебя предам?» – воскликнула я.

«И еще брюки. Мама не смогла их отчистить. Она их выбросила».

Я вдруг вспомнила, что днем, когда Робер играл на пианино, а я сидела с ним рядом, пахло горелым. Я встала, хотела пойти посмотреть, что там случилось.

«Не ходи», – сказал Робер.

«Но в кухне что-то горит», – сказала я.

«Наверно, мама жжет старое тряпье. Она сегодня встала с левой ноги, если ты вмешаешься, она тебя отругает».

И тут я поняла, что не старые тряпки она жгла; она сжигала брюки, она их не выбросила. Я страшно перепугалась, но ничего не сказала. Робер взял меня за руку.

«Если тебя станут про них спрашивать, – сказал он, – говори, что я их перемазал, когда мыл машину, вот и пришлось их отдать. Позавчера мать отдала их какому-то бродяге. Клянешься?»

«Да», – ответила я, насилу выговорила.

И тут он сказал ужасные слова:

«Может, от этого зависит моя жизнь».

Я до того перепугалась, так была ошеломлена, просто онемела от страха. И голова разболелась, прямо раскалывалась. Мне кажется, я всю ночь не сомкнула глаз. Робер то засыпал, то просыпался. И даже когда спал, беспокойно ворочался с боку на бок. Мы спустились рано, но моя свекровь была уже в кухне. Обычно она была одета очень прилично, а когда выходила из дому, выглядела даже элегантно. Она была вдовой доктора и дочерью штабного офицера; всегда помнила, кто она такая, и старалась, чтоб никто не понял, как жестоко она экономит ради того, чтобы достойно выглядеть, навещая старых армейских друзей. В этих случаях она подвивала волосы, делала маникюр, румянилась, бывало, никак не дашь ей больше сорока; а тут растрепанная, в халате, без румян она походила на старую отставную сводню, живущую на свои сбережения. Она не поздоровалась с Робером. Без единого слова она протянула ему газету. Я

смотрела, как он читает, и увидела, что он переменился в лице. Он почувствовал на себе мой взгляд и улыбнулся.

«Ну что, малышка, – весело сказал он, – как насчет кофе? Ты что же, собираешься стоять так все утро, не сводя глаз со своего господина и повелителя, или накормишь его?»

Я поняла, в газете что-то есть, и я узнаю то, что непременно должна узнать. Робер позавтракал и пошел наверх одеваться. Когда он спустился, готовый выйти на улицу, я чуть не ахнула, – на нем был тот самый светло-серый костюм, в котором он ходил позавчера, те самые брюки. Но потом я, конечно, вспомнила, что, когда он заказывал костюм, брюк он заказал две пары. Об этом костюме было много разговоров. Мадам Берже ворчала, мол, слишком дорого, но он настоял на своем, сказал, если он не будет прилично одет, ему нечего и надеяться найти работу, и она наконец уступила, как всегда, только настояла, чтобы он заказал вторую пару брюк, брюки раньше обтрепываются, и экономнее заказать сразу две пары. Робер сказал, что к обеду не вернется, и вышел. Свекровь тоже скоро ушла за покупками, и едва я осталась одна, я схватила газету. И увидела: в своей квартире убит букмекер англичанин по имени Тедди Джордан. Его ударили ножом в спину. Робер часто о нем говорил, я слышала. Я поняла, что убил его Робер. У меня так заболело сердце, я думала, умру. Я была в ужасе. Не знаю, сколько времени я там сидела. Не могла шевельнуться. Наконец услышала – открывают ключом дверь, и поняла, что возвращается мадам Берже. Я положила газету на место и опять принялась хозяйничать.

Лидия тяжело перевела дух. Они приехали в ресторан не раньше часу, пожалуй, даже в начале второго, и кончили ужинать в два. Когда они входили, все столики были заняты и у стойки полно народу. Лидия рассказывала долго, а посетители мало-помалу расходились. Толпа у стойки редела. Теперь там сидели только двое, и кроме столика Чарли с Лидией был занят только еще один. Официанты нетерпеливо переминались с ноги на ногу.

– По-моему, пора уходить, – сказал Чарли. – Они явно уже хотят от нас избавиться.

В эту минуту люди за соседним столиком встали, собираясь уходить. Женщина, которая принесла им с вешалки пальто, принесла и пальто Чарли и положила на соседний столик. Чарли спросил счет.

– Наверно, можно пойти куда-нибудь еще?

– Можно на Монмартр. У Граафа открыто всю ночь. Я ужасно устала.

– Что ж, если хотите, я отвезу вас домой.

– К Алексею и Евгении? Туда я сейчас не могу. Он наверняка пьян. Он

будет всю ночь поносить Евгению за то, чем стали дети, мол, это она их такими воспитала, будет хныкать из-за своих горестей. В Serail мне не хочется. Лучше пойдемте к Граафу. Там по крайней мере тепло.

Казалось, она так удручена и вправду так измучена, что Чарли, не без колебаний, предложил поступить иначе. Он вспомнил слова Саймона, что в эту гостиницу можно привести кого угодно.

– Послушайте, у меня в номере две кровати. Почему бы вам не пойти со мной?

Она бросила на него подозрительный взгляд, но он с улыбкой покачал головой.

– Просто чтоб выспаться, – прибавил он. – Понимаете, я сегодня с дороги, взволнован, то, другое, в общем, я совершенно выдохся.

– Ладно.

Они вышли на улицу, такси поблизости не оказалось, но до гостиницы было недалеко, и они отправились пешком. Сонный ночной привратник открыл им дверь и поднял их на лифте. Лидия сняла шляпу. У нее был высокий белый лоб. Ее волос он прежде не видел. Она оказалась светлой шатенкой, короткие волосы вились у шеи. Она скинула туфли, выскользнула из платья. Когда, облачившись в пижаму, Чарли вышел из ванной, Лидия уже не только лежала в постели, но спала. Чарли лег в свою постель и погасил свет. С тех пор как они вышли из ресторана, они не обменялись ни единым словом.

Так Чарли провел свой первый вечер в Париже.

Глава четвертая

Проснулся Чарли поздно. В первую минуту не мог сообразить, где он. Потом увидел Лидию. Они не задернули занавеси, и сквозь ставни пробивался серый свет. Комната, обставленная грязно-желтой мебелью, выглядела убого. Лидия лежала в двуспальной постели на спине, с открытыми глазами, уставясь в грязный потолок. Чарли глянул на часы. Он стеснялся этой чужой женщины в соседней кровати.

– Уже около двенадцати, – сказал он. – Давайте сразу выпьем по чашечке кофе, а потом, если хотите, я поведу вас куда-нибудь завтракать.

Она обратила на него серьезный, но и добрый взгляд:

– Я смотрела на вас спящего. Вы спали так мирно, так глубоко, точно дитя. У вас было такое невинное выражение лица, меня это сокрушило.

– Но я до неприличия небритый, – сказал Чарли.

Он по телефону заказал кофе, и его принесла дородная немолодая горничная; она бросила взгляд на Лидию, но на ее лице решительно ничего не выразилось. Чарли курил трубку, Лидия – сигарету за сигаретой. Они почти не разговаривали. Чарли не знал, как себя вести в этом своеобразном положении, а Лидия, казалось, погружена была в мысли, не имеющие к нему никакого касательства. Потом он прошел в ванную, чтобы помыться и побриться. Когда вернулся, Лидия в его халате сидела в кресле у окна. Окно выходило во двор, там только и видно было, что окна номеров напротив, этаж за этажом. В серое рождественское утро вид был на редкость безрадостный. Она обернулась к Чарли:

– А нельзя нам никуда не ходить, позавтракать здесь?

– То есть тут, внизу? Как вам угодно. Не знаю только, как здесь кормят.

– Это не важно. Нет, прямо здесь, в номере. Так славно на несколько часов отгородиться от всего света. Отдых, покой, тишина, одиночество. Похоже, такую роскошь могут себе позволить только очень богатые, а ведь это ничего не стоит. Странно, что так трудно этого достичь.

– Если хотите, я закажу вам завтрак в номер, а сам уйду.

Долгую минуту она смотрела на Чарли, глаза ее чуть насмешливо улыбались.

– Я ничего не имею против вас. Наверно, вы очень милый и славный. По мне, лучше, чтоб вы остались. Какой-то вы уютный, с вами отдыхаешь душой.

Чарли был не из тех молодых людей, которые много мнят о себе, но

все-таки сейчас ему стало досадно; право, это уж слишком, она и за мужчину его не считает. Но он был поистине человек воспитанный и ничем не выдал свои чувства. К тому же положение, в котором он оказался, было достаточно необычно, и хотя не ради такого поворота событий ехал он в Париж, ничего не скажешь, получается прелюбопытно. Чарли оглядел комнату. Кровати не застелены; шляпа Лидии, жакет, юбка, туфли, чулки кое-как свалены на стуле.

– Тут ужасный беспорядок, – сказал Чарли. – По-вашему, в этом хаосе будет так уж приятно завтракать?

– Не все ли равно? – ответила Лидия и впервые за все время засмеялась. – Но если это оскорбляет ваше английское чувство приличия, я застелю постели, или, пока я буду мыться, это может сделать горничная.

Лидия прошла в ванную, а Чарли позвонил, чтобы принесли завтрак. Он заказал яйца, мясо, сыр, фрукты и бутылку вина. Потом вызвал горничную. Хотя комната отапливалась, тут был и камин, и Чарли подумал, если затопить камин, будет веселее. Пока горничная укладывала поленья, он оделся, а потом, когда она приводила комнату в порядок, он сидел и смотрел в окно на мрачный двор. И с тоской думал о том, как весело сейчас у Терри-Мейсонов. В этот час, перед тем как сесть за праздничный обед, за индейку и рождественский пудинг, они выпьют по стаканчику хереса, и все будут радостные, довольные рождественскими подарками, шумные и веселые. Немного погодя вернулась Лидия. Она не накрасилась, но аккуратно причесалась, веки уже не были опухшими, и она была сейчас молоденькая и хорошенькая; но ее миловидность не вызывала плотских желаний, и Чарли, по природе восприимчивый к женским чарам, увидев Лидию, не взволновался.

– О, вы оделись, – сказала она. – Тогда я останусь в вашем халате, можно? Дайте мне ваши шлепанцы. Я в них потону, но это не важно.

Этот халат из синего расшитого шелка ему подарила на день рождения мать; Лидии он был слишком длинен, но она так в нем задрапировалась, что выглядела вполне мило. Огонь в камине ее обрадовал, и она села в пододвинутое ей кресло. Закурила сигарету. Чарли странно было, что она принимает все происходящее так, будто это было в порядке вещей. Она держалась так непринужденно, словно знала его всю жизнь; если требовалось что-то еще, чтобы он начисто отказался от намерений, которые у него могли бы быть на ее счет, ничто не подействовало бы на него верней совершенно определенного впечатления, что Лидия отказалась от мысли, будто ему может прийти охота лечь с нею в постель. Его удивило, с каким аппетитом она ест. По ее рассказу накануне вечером ему представлялось,

что она слишком угнетена, ей не до еды, и при его романтически-чувствительной натуре он поразился, увидев, что она ест не меньше, чем он, и с явным удовольствием.

Они пили кофе, и тут зазвонил телефон. Звонил Саймон.

– Чарли? Как насчет того, чтобы прийти ко мне поболтать?

– Боюсь, сейчас не смогу.

– Это почему? – резко спросил Саймон.

Так на него похоже – воображать, что каждый готов по первому его зову бросить все свои дела. Как бы мало что-то для него ни значило, если ему этого захотелось, а ему перечат, каприз тотчас приобретал первостепенное значение.

– У меня Лидия.

– Какая такая Лидия?

Чарли на миг замялся.

– Ну, княжна Ольга.

Молчание, потом Саймон разразился недобрым хохотом.

– Поздравляю, дружище. Я знал, что вы придетесь друг другу по вкусу. Что ж, найдется свободная минутка для старого приятеля, звякни.

Он повесил трубку. Чарли опять повернулся к Лидии, она пристально смотрела в огонь. По бесстрастному лицу ее нельзя было понять, слышала ли она разговор. Чарли чуть отодвинул от себя столик, за которым они завтракали, и как мог удобнее расположился в неглубоком кресле. Лидия перегнулась, подложила в камин еще одно полено. Была в этом движении отнюдь не неприятная Чарли интимность. Потом она поворочалась, усаживаясь поуютнее, точно собачонка, что покрутится раза три на подушке вокруг своей оси и лишь тогда свернется калачиком в образовавшемся углублении. Почти до вечера они оставались в номере. Безрадостный свет зимнего дня постепенно истаивал, и они сидели при свете горящих поленьев. В комнатах напротив кое-где зажегся свет, и тускло светящиеся незанавешенные окна казались неестественными, точно на декорациях, изображающих вечернюю улицу. Но Чарли думалось, что положение, в котором очутился он сам, – сидит в убогой комнате перед пылающим камином и слушает душераздирающий рассказ незнакомой женщины о ее жизни, – пожалуй, еще неправдоподобней. Похоже, Лидии и в голову не пришло, что ему, быть может, вовсе не хочется ее слушать. Сколько он мог судить, она не задумалась ни о том, что он, возможно, совсем по-иному собирался провести время, ни о том, что, изливая перед ним душу, делясь своими страданиями, она возлагает на него бремя, которым никто не вправе отягощать чужого человека. Означало ли это, что

она ищет его сочувствия? Бог весть. Она ничего о нем не знает и не хочет знать. Она просто воспользовалась его добротой, и если бы не присущее ему чувство юмора, равнодушие Лидии его бы раздосадовало. Ближе к вечеру она замолчала, и по ее спокойному дыханию Чарли понял, что она уснула. Он встал, ощутив, как от долгой неподвижности заныли ноги; стараясь ее не разбудить, на цыпочках прошел к окну, сел на стул и посмотрел во двор. Время от времени за освещенными окнами кто-то появлялся и исчезал; вот пожилая женщина поливает комнатные цветы; вот мужчина лежит без пиджака на кровати и читает; интересно, что это за люди, кто они. Вероятно, обыкновенные люди среднего достатка, ведь гостиница дешевая и квартал не из лучших; но увиденные вот так, за окном, словно в кинетоскоп, они казались почти призрачными. Кто знает, каков человек на самом деле, какие недобрые страсти, какие преступления таятся за его заурядной внешностью? В иных комнатах занавеси задернуты, и лишь пробивающаяся между ними полоска света говорила, что там кто-то есть. Иные окна темные, но эти комнаты не пустуют, гостиница полным-полна, просто постояльцы ушли. По каким загадочным делам? Чарли, выбитому из колеи, вдруг стало страшно за всех этих незнакомых людей, чья жизнь, конечно, чужда и неведома; почудилось, будто спокойная видимость скрывает что-то смутное, темное, уродливое, внушающее страх.

Нахмутив брови, Чарли сосредоточенно размышлял о длинной горестной истории, которую слушал всю вторую половину дня. Лидия пересказывала с одного на другое – то рассказывала о своей борьбе за существование, когда работала у портнихи за жалкие гроши, то о каком-нибудь случае из своего нищего детства в Лондоне; потом новые подробности о мучительных днях после убийства, о том, как боялась ареста Робера, как страдала на суде. Чарли читал детективы, читал газеты, знал, что совершаются преступления, знал, что люди живут в нужде, но знал все это, так сказать, со стороны; и теперь странно и страшно ему было оттого, что жизнь столкнула его с человеком, который сам пережил все эти ужасы. Сам не зная почему, он вдруг вспомнил картину Мане, на которой взвод солдат кого-то расстреливает... Максимилиана? Эта картина всегда производила на него сильное впечатление. Теперь его ошеломило сознание, что на картине изображено действительное событие. Император и вправду стоял на том месте, и когда солдаты направили на него ружья, ему, должно быть, казалось невероятным, что вот он живой, а через мгновение его не станет.

И теперь, после того как он познакомился с Лидией, как слушал ее прошлой ночью и сегодня днем, как ужинал с ней, и завтракал, и танцевал,

после того, как они столько часов провели под одной крышей в такой близости, с трудом верилось, что ей пришлось такое пережить.

Если что и могло показаться чистой случайностью, так это само знакомство Лидии и Робера Берже. Через друзей, у которых она жила и которые работали в русском ресторане, Лидии иногда перепадал билет на концерт, а если таким образом билет получить не удавалось, а исполнялись что-то, что ей очень хотелось послушать, она наскребала гроши из своего недельного жалованья и покупала билет на стоячее место. То была единственная роскошь, которую она себе позволяла, а концерт был ее единственным отдыхом. Любила она все больше русскую музыку. Слушая ее, чувствовала, что проникает в душу страны, которую никогда не видела, но по которой обречена была вечно тосковать. Она только и знала о России, что со слов отца и матери, из разговоров Евгении с Алексеем, когда они вспоминали прошлое, да из прочитанных книг. Именно когда она слушала музыку Римского-Корсакова и Глазунова, колоритные и надрывающие душу сочинения Стравинского, полученные ею впечатления обретали форму и содержание. Эти безудержные мелодии, эти спотыкающиеся ритмы, в которых было что-то столь чуждое Европе, уводили ее от самой себя, от убогого существования, наполняли такой страстной любовью, что по щекам катились счастливые слезы облегчения. Но все, что представлялось, она воочию не видела, все она получала из вторых рук или это было плодом ее лихорадочного воображения, а потому все виделось ей странно искаженным; Кремль с золотыми, в звездах, куполами, и Красная площадь, и Китай-город были для нее словно из сказки; чудилось, будто князь Андрей и очаровательная Наташа и сегодня ходят по хлопотливым московским улицам, Дмитрий Карамазов после безумной ночи у цыган встречается на Москворецком мосту милого Алешу, купец Рогожин проносится в санях с Настасьей Филипповной, и, точно опавшие листья под ветром, гонит по жизни покорных обстоятельствам грустных героев чеховских рассказов; Летний сад и Невский проспект – эти названия для нее по-прежнему звучали как магические заклинания; все едет в своей карете Анна Каренина, элегантный Вронский в новом мундире взбегаёт по лестнице в домах знати на Фонтанке, а незаконнорожденный Раскольников бредет по Литейному. В буре чувств и тоске, вызванными этой музыкой, в глубине ее сознания всплывает Тургенев, и она видит просторные обветшалые усадьбы, где среди благоухания всю ночь напролет ведутся разговоры; в бледный рассветный час, в безветрии, когда ничто не шелохнется, стреляют на болоте диких уток; потом всплывает Горький – и ей видятся нищие деревни, где отчаянно пьют, и зверски любят, и убивают;

и стремится свои воды Волга, и высятся уступы Кавказа, и чарует ослепительный Крым. Исполненная тоски, исполненная сожаления о навсегда ушедшей жизни, истосковавшаяся по дому, которого у нее никогда не было, всем чужая во враждебном мире, Лидия в эти минуты ощущала себя неотделимой от этой огромной загадочной страны. Хотя она говорила по-русски запинаясь, она была русская и любила свою родную землю; в такие минуты она ощущала, что именно там ее корни, и понимала, почему отец, несмотря на предостережения, даже на грозящую смерть, не мог туда не вернуться.

Случилось так, что на одном из концертов, где исполнялась только русская музыка, Лидия стояла рядом с молодым человеком, который, как она заметила, порой с любопытством на нее посматривал. А в какую-то минуту она сама поглядела на него и поразились, как страстно он, видимо, захвачен тем, что слушает; руки стиснуты, рот приоткрыт, словно ему не хватает дыхания. Им владел исступленный восторг. У него были приятные черты, и казалось, он человек воспитанный. Лидия лишь мельком глянула на него и опять вернулась к музыке и к пробужденным ею мечтам. Слушая музыку, она тоже позабыла обо всем на свете и едва ли заметила, что негромко всхлипнула. И вдруг с испугом почувствовала, что небольшая мягкая рука слегка пожала ей руку. Она мигом вырвала руку. Эта музыкальная пьеса оказалась последней перед антрактом, и когда она кончилась, молодой человек повернулся к Лидии. У него были чудесные серые глаза под густыми бровями и необыкновенно ласковые.

– Вы плачете, мадемуазель.

Лидии сперва подумалось, что, может быть, он русский, но выговор у него оказался истинно французский. Она поняла, что он пожал ей руку из безотчетного сочувствия, и была тронута.

– Не оттого, что несчастлива, – чуть улыбнувшись, отвечала она.

Он улыбнулся в ответ, улыбка была чарующая.

– Знаю. Эта русская музыка, она невероятно волнует и при этом надрывает душу.

– Но ведь вы француз. Что она может для вас значить?

– Да, я француз. Не знаю, что она для меня значит. Но только эту музыку я и хочу слушать. В ней сила и страсть, кровь и гибель. У меня от нее каждый нерв трепещет. – Он посмеялся над собой. – Иной раз я ее слушаю и чувствую, все я могу сделать, что только в силах человеческих.

Лидия не отозвалась. Удивительно, какие разные чувства вызывает в разных людях одна и та же музыка. Музыка, которую они только что слушали, говорила ей о трагедии человеческой доли, о бесплодности

борьбы с судьбой, о радости и покое смирения и покорности.

– На следующей неделе вы идете на концерт? – спросил он потом. – Там тоже будет сплошь русская музыка.

– Вряд ли.

– Почему же?

Он был очень молод, должно быть, не старше ее, и простодушен, что не позволило Лидии ответить слишком холодно на вопрос, который нескромно было задавать незнакомому человеку. Что-то в его манере убеждало ее, что с его стороны это не попытка завязать знакомство. Она улыбнулась:

– Я не миллионерша. Среди русских они, знаете ли, сейчас редки.

– Я знаю кое-кого из тех, кто устраивает эти концерты. У меня контрамарка на двоих. Если вы пожелаете встретиться со мной у входа в следующее воскресенье, вы тоже сможете пройти.

– Боюсь, для меня это невозможно.

– Вам кажется, вас это скомпрометирует? – улыбнулся он. – Толпа вполне заменит дуэнью.

– Я работаю в швейной мастерской. Меня скомпрометировать трудно. Но я не могу себе позволить оказаться в долгу у совершенно незнакомого человека.

– Вы, конечно, очень хорошо воспитаны, мадемуазель, но к чему такие предрассудки.

Лидии не захотелось спорить.

– Хорошо, там видно будет. Во всяком случае, спасибо за предложение.

Они разговаривали о том о сем, пока дирижер снова не поднял палочку. По окончании концерта молодой человек повернулся к Лидии, чтобы попрощаться.

– Итак, до следующего воскресенья? – сказал он.

– Там видно будет. Не ждите меня.

Они потеряли друг друга в толпе, стремящейся к выходам. На неделе Лидия несколько раз вспоминала красивого молодого человека с большими серыми глазами. Вспоминала с удовольствием. Она дожила до своих лет не без того, чтобы порой противиться ухаживаниям мужчин. Оба – и Алексей и его сын, наемный танцор, пытались к ней приставать, но она без труда их отвадила. Звонкая пощечина дала понять слезливому пьянице, что он тут ничего не добьется, а мальчишку она поставила на место разумным сочетанием насмешки и беспощадных слов. Довольно часто мужчины пытались заигрывать с ней на улице, но она всегда была слишком усталая и нередко слишком голодная, так что их заигрывания ее не соблазняли; с

невеселой усмешкой она думала, что, предложи они ей сытный обед, это соблазнило бы ее куда скорей, чем любящее сердце. Женское чутье подсказывало ей, что ее концертный знакомый на них не похож. Как всякий юнец, он, конечно, не упустит случая позабавиться с девчонкой, но не ради этого пригласил он ее на воскресный концерт. Идти она не собиралась, но ее тронуло, что он ее позвал. Что-то в нем было очень милое, что-то простодушное, искреннее. Она чувствовала, ему можно доверять. Она посмотрела на программу. Давали Патетическую симфонию, которую она не очень-то жаловала, на ее вкус Чайковский был слишком европеец, но в программе и «Весна священная», и Струнный квартет Бородина. Лидия сомневалась, можно ли принять за чистую монету слова этого молодого человека. Вполне возможно, что он пригласил ее под влиянием минуты, а спустя полчаса и думать про это забыл. Настало воскресенье, и она не прочь была пойти посмотреть; послушать концерт очень хотелось, а в кармане ни гроша сверх того, что необходимо на неделю на метро и обед – все остальное пришлось отдать Евгении, чтоб было чем кормить семью; если того молодого человека там не окажется, не беда, а если он там и у него вправду контрамарка на двоих, что ж, его это не введет в расход, и она не будет у него в долгу.

В конце концов она поддалась внезапному порыву и оказалась у Salle Pleyel, и вот он стоит там, где сказал, и ждет ее. Глаза его радостно блеснули, и он горячо пожал ей руку, словно они старые друзья.

– Я так рад, что вы пришли, – сказал он. – Я жду уже двадцать минут. Очень боялся вас пропустить.

Она покраснела и улыбнулась. Они вошли в зал, и оказалось, что билеты у него в пятый ряд.

– Это вам дали такие места? – удивилась Лидия.

– Нет, я их купил. Я подумал, что на удобных местах слушать музыку будет так славно.

– Вот безумие! Я вполне привыкла стоять.

Но его щедрость польстила Лидии, и когда он вскоре взял ее за руку, она руки не отняла. Ему, наверно, приятно держать ее руку, а ей от этого никакого вреда, и ведь она его должница. В антракте он сказал ей свое имя, Робер Берже, а она ему – свое. Он прибавил, что живет с матерью в Нейи и служит маклером в конторе. Разговаривал он как человек грамотный, с мальчишеским воодушевлением, которое смешило Лидию, и была в нем живость, которая хочешь не хочешь показалась привлекательной. Его сияющие глаза, поминутно меняющееся выражение лица выдавали пылкую натуру. Сидеть с ним рядом было все равно что сидеть у костра – его

юность источала жар. После концерта они пошли вместе по Елисейским полям, а потом он спросил, не хочет ли она выпить чаю. Отказа он бы не принял. Лидии впервые выпала роскошь сидеть в шикарном кафе среди хорошо одетых людей; аппетитный запах пирожных, пьянящий аромат женских духов, тепло, удобные стулья, шумный разговор – все это ударило ей в голову. Они просидели там час. Лидия рассказала ему о себе, о том, кем был ее отец и что с ним случилось, как она теперь живет и чем зарабатывает на жизнь; он слушал так же заинтересованно, как говорил. Серые глаза лучились ласковым сочувствием. Когда ей пришло время уходить, он спросил, не пойдет ли она как-нибудь с ним в кино. Лидия покачала головой.

– Почему нет?

– Вы богатый молодой человек, а я...

– Да нет, не богатый я. Ничего похожего. У моей матери совсем немного денег, сверх ее пенсии, а у меня только то небольшое, что я получаю в конторе.

– Тогда нечего распивать чаи в дорогих кафе. Так или иначе я бедная работница. Благодарю вас за всю вашу доброту, но я не дура. Вы были милы со мной, и я думаю, с моей стороны было бы нехорошо и дальше пользоваться вашей добротой, ведь мне нечем вам отплатить.

– Но мне ничего не нужно. Вы мне нравитесь. Мне нравится быть с вами. В то воскресенье, когда вы плакали, у вас такой был трогательный вид, у меня сердце разрывалось. Вы одиноки на свете, и я... я тоже по-своему одинок. Я надеялся, мы станем друзьями.

Лидия холодно, оценивающе посмотрела на него. Они одних лет, но, по сути, она много старше; на его лице написано такое чистосердечие, она не сомневалась, он верит в то, что говорит, но ей хватало мудрости понять, что он болтает вздор.

– Позвольте быть с вами совершенно откровенной, – сказала она. – Я знаю, я не бог весть какая красавица, но все же я молода, и есть немало людей, которые находят меня хорошенькой, те, кому нравится русский тип; было бы слишком, если бы я поверила, что вы ищете моего общества только ради удовольствия беседовать со мной. Я еще не ложилась в постель с мужчиной. Думаю, было бы не очень честно с моей стороны позволить вам тратить на меня время и деньги при том, что лечь с вами в постель я не собираюсь.

– Что и говорить, откровенно сказано, – улыбнулся он, да какой обаятельной улыбкой. – Но, видите ли, я это понимал. Не зря я всю жизнь прожил в Париже, чему-то и научился. Я мигом чую, готова девушка

поразвлечься или не готова. Я сразу понял, что вы девушка добропорядочная. На концерте я взял вас за руку только потому, что вы чувствовали музыку так же глубоко, как я, и прикосновение вашей руки... как бы лучше это объяснить... я ощущал, как ваше волнение передается мне и делает мое восприятие богаче, полней. Так или иначе в моем чувстве вовсе не было и намека на плотское желание.

– И однако, мы ощущали музыку очень по-разному, – задумчиво сказала Лидия. – В какой-то миг я взглянула на ваше лицо и испугалась. Оно было безжалостное, свирепое. Будто вовсе и не человеческое лицо, но маска торжествующего зла. Мне стало страшно.

Он рассмеялся так весело, смех его был такой молодой, мелодичный, беспечный, взгляд такой мягкий и прямодушный, просто невозможно было поверить, что в какую-то минуту, пока он слушал ту волнующую музыку, лицо его выражало холодную жестокость.

– Ну и фантазия у вас! Уж не думаете ли вы, что я работорговец, прямо как в кино, и хочу вас заграбастать, а потом переправить пароходом в Буэнос-Айрес?

– Нет, – улыбнулась Лидия, – не думаю.

– Что вам сделается, если вы сходите со мной в кино? Вы очень ясно дали мне понять, каково положение, и я его принимаю.

Теперь рассмеялась она. Это ж нелепо так волноваться из-за пустяка. Не было у нее почти никаких удовольствий в жизни, и если он хочет ее развлечь и ему довольно просто посидеть с ней и поговорить, глупо от этого отказываться. Она ведь, в сущности, никто и никому не обязана давать отчет. Она может сама о себе позаботиться, а его она предупредила всеми словами.

– Что ж, ладно, – сказала она.

Они несколько раз ходили в кино, и после картины Робер провожал Лидию до ближайшей остановки трамвая, идущего к ее дому. По дороге он брал ее под руку, а в кино какое-то время держал ее руку, раз-другой при расставании легко целовал ее в обе щеки, но никаких других вольностей себе не позволял. Его общество было приятно Лидии. Он разговаривал шутливо, иронично, и Лидии это доставляло удовольствие. Он не делал вид, будто очень много читал, не было у него на это времени, сказал он, притом жизнь куда занятнее книг, но он был неглуп и о тех книгах, которые прочел, говорил умно. Лидия с интересом узнала, что он особенно восхищается Андре Жидом. Он увлеченно играл в теннис и говорил ей, что одно время ему советовали заняться теннисом всерьез; вершители судеб в теннисе полагали, что у него задатки чемпиона, и заинтересовались им. Но

ничего из этого не вышло.

– Чтобы на этом поприще добиться успеха, мне не доставало ни времени, ни денег, – сказал он.

Лидии казалось, что он влюблен в нее, но уверенности она себе не позволяла, боялась, что собственные чувства мешают ей беспристрастно судить. Он все больше и больше занимал ее мысли. Впервые у нее появился друг ее лет. Ему она была обязана счастливыми часами на концертах, куда он водил ее по воскресеньям днем, и счастливыми вечерами в кино. Благодаря ему в ее жизни появился интерес, радостное волнение, чего никогда прежде не было. Ради него она всячески старалась принарядиться. Она не имела обыкновения пользоваться косметикой, но, собираясь на четвертую или пятую встречу с ним, слегка наругивалась и чуть подвела глаза.

– Что это вы с собой сделали? – спросил он, когда они оказались на свету. – Зачем накрасились?

Лидия засмеялась и от смущения густо покраснела.

– Мне хотелось бы, чтоб вы могли мной гордиться. Неприятно, если люди подумают, будто с вами судомоечка, которая только что приехала в Париж из родной провинции.

– Но чуть ли не первое, что мне в вас понравилось, это ваша естественность. Мне надоели размалеванные физиономии. Не знаю почему, но меня тронуло, что на ваших бледных щеках, на губах, на бровях нет никакой краски. Это освежает, будто рощица, в которую попал после слепящего жара дороги. Без косметики от вас веет чистосердечием, и чувствуешь, что это и есть истинное выражение вашей честной натуры.

У Лидии заколотилось сердце, чуть ли не до боли, но то была та удивительная боль, что блаженней наслаждения.

– Что ж, если вам не нравится, я больше не стану краситься. В общем-то я накрасилась только ради вас.

Лидия рассеянно смотрела фильм, на который он ее привел. Все это время она не доверяла нежности в его мелодичном голосе, улыбчивой ласке взгляда, но после таких слов невозможно не поверить, что он ее любит. Она призвала на помощь все свое самообладание, чтобы удержаться и не влюбиться в него. Она продолжала твердить себе, что с его стороны это лишь мимолетный каприз и было бы безумием дать волю своим чувствам. Она решила ни в коем случае не становиться его любовницей. Слишком много она видела подобных историй среди русских, дочерей эмигрантов, которым с таким трудом хоть как-то удавалось заработать на жизнь; нередко от скуки или намаявшись из-за отчаянной бедности они вступали в

связь, но всегда она оказывалась недолгой; похоже, они неспособны удержать мужчину, по крайней мере француза, в кого они обычно влюблялись; они наскучивали своему любовнику или начинали его раздражать, и он их бросал; тогда они оказывались уж вовсе в бедственном положении, и часто им только и оставалось, что идти в публичный дом. Но на что еще могла она надеяться? Она прекрасно понимала, о женитьбе Робер не помышляет. У него и мысли такой не было. Она знала, как смотрят на брак французы. Его мать нипочем не согласится, чтоб он женился на русской портнихе, а она только портниха и есть, да к тому же без гроша за душой. Во Франции к браку относятся серьезно; жених и невеста должны быть людьми одного круга, и у невесты должно быть приданое, соответствующее положению жениха. Правда, ее отец был не вовсе безвестный профессор в университете, но это было в России, до революции, а с тех пор Париж наводнили князья, и графы, и гвардейцы – и либо стали таксистами, либо занялись физическим трудом. В русских все видели людей ленивых и ненадежных. Всем они надоели. Мать Лидии, чей отец был крепостной, и сама недалеко ушла от крестьянки, и профессор женился на ней, следуя своим либеральным воззрениям; но она была благочестива и воспитала дочь в строгих правилах. Напрасно Лидия пыталась себя переубедить – да, мир стал другим, и надо меняться вместе с ним, – но она ничего не могла с собой поделаться: стать любовницей – от этой мысли она поневоле приходила в ужас. И все же. Все же. На что еще ей рассчитывать? Не глупо ли упускать такой случай? Ведь ее миловидность всего лишь миловидность юности, и уже через несколько лет она подурнеет и станет невзрачной; вполне вероятно, что другая возможность ей уже не представится. Почему не дать себе волю? Стоит только чуть изменить привычной сдержанности, и она бы безумно в него влюбилась; какое было бы облегчение не держать в узде свои чувства, и ведь он ее любит, да, конечно, любит, от пламени его страсти у нее перехватывает дыхание, в его пылком взгляде, в живом лице – неистовое желание обладать ею; как чудесно быть любимой тем, кого любишь до безумия, и если бы он ее разлюбил, а он наверняка разлюбит, ей бы остался исступленный восторг, остались бы воспоминания, и разве они не стоят боли, мучительной боли, которую она испытает, когда он ее покинет? А когда все будет сказано, все кончено, если боль окажется нестерпимой, к ее услугам всегда будет Сена или газовая плита.

Но самое удивительное, непостижимое, что он вовсе не хотел, чтобы она стала его любовницей. Он обходился с ней с величайшим уважением. Вел себя так, словно она девушка из круга знакомых его семьи, чье

положение в обществе и состояние позволяют предположить, что их дружба кончится браком, желательным для обеих сторон. Лидия не могла этого понять. Как ни нелепо было так думать, но тайное чутье подсказывало ей, что Робер хотел бы на ней жениться. Она была тронута и польщена. Если она права, он такой один на тысячу, но она почти надеялась, что ошибается, было бы невыносимо, если б ему пришлось падать, а при таком желании это неизбежно; какие бы сумасбродные планы он ни строил, у него есть мать, рассудительная, практичная француженка, которая ни за что не позволит ему ставить под угрозу его будущее и которой он предан, как может быть предан матери только француз.

Но однажды вечером, после кино, когда они шли к станции метро, Робер сказал:

– В следующее воскресенье концерта нет. Не придете ли вы к нам на чай? Я столько рассказывал о вас матери, она хотела бы с вами познакомиться.

Сердце у Лидии замерло. Она тут же поняла, что означает это приглашение. Мадам Берже встревожена странной дружбой сына и хочет ее видеть, чтобы положить конец этой дружбе.

– Бедный мой Робер, я думаю, я вовсе не понравлюсь вашей матери. По-моему, нам с ней лучше не встречаться.

– Вы сильно ошибаетесь. Мама вам очень симпатизирует. Понимаете, она, бедняжка, любит меня, кроме меня у нее никого нет в целом свете, и она рада, что я подружился с воспитанной и достойной молоденькой девушкой.

Лидия улыбнулась. Как плохо он знает женщин, он воображает, будто любящая мать может питать добрые чувства к девушке, с которой ее сын случайно познакомился на концерте! Но он настойчиво уговаривал ее принять приглашение, которое, по его словам, исходило от матери, и она в конце концов согласилась. Подумалось, если она откажется прийти, это лишь усилит недоверие к ней мадам Берже. Они условились, что Робер встретит ее в воскресенье в четыре у Porte Saint-Denis. Он приехал на автомобиле.

– Какая роскошь! – сказала Лидия, садясь в машину.

– Видите ли, автомобиль не мой. Я взял его у приятеля.

Лидия нервничала из-за предстоящего ей испытания, и даже ласковое дружелюбие Робера не могло придать ей уверенности.

Они поехали в Нейи.

– Автомобиль оставим здесь, – сказал Робер, остановившись у тротуара на тихой улочке. – Не хочу ставить его у нашего дома. Соседям

незачем думать, будто у меня есть свой автомобиль, не объяснять же им, что я взял его у приятеля.

Они немного прошли пешком.

– Вот мы и дома.

Стоящий поодаль от других давно не крашенный домик оказался непригляднее, чем Лидии представлялось по рассказам Робера. Он ввел ее в гостиную. Комната была загромождена мебелью, везде безделушки, на стенах картины, написанные маслом, в золоченых рамах, и через арку вход в столовую, где накрыт стол. Мадам Берже отложила роман, который читала, и подошла поздороваться с гостьей. Лидия представляла ее довольно полной, невысокой, в трауре, как положено вдове, с кротким лицом, скромной, почтенной женщиной, по которой сразу видно, что она отрешилась от суетных желаний; она же оказалась совсем другой: худенькая и на высоких каблуках, ростом с Робера; элегантное черное в цветах шелковое платье, на шее нитка поддельного жемчуга; она темная шатенка, волосы подвиты, и хотя ей под пятьдесят, ни одного седого волоса. Бледное лицо сильно напудрено. Красивые глаза. Такой же, как у Робера, изящный, прямой нос, те же тонкие губы, только годы придали им некоторую суровость. Для своих лет и на свой лад она хороша собой и явно очень заботится о своей наружности, но нет в ней того обаяния, что так привлекает в Робере. В ее глазах, таких ярких и темных, холодность и настороженность. Лидия ощутила, каким острым испытующим взглядом окинула ее с ног до головы мадам Берже, когда она вошла, но тотчас настороженность сменилась радушной, приветливой улыбкой. Она рассыпалась в благодарностях за то, что Лидия проделала такой длинный путь ради того, чтобы повидаться с ней.

– Вы, разумеется, понимаете, как мне хотелось увидеть девушку, о которой сын столько мне рассказывал. Я была готова к неприятному сюрпризу. Сказать по правде, я не очень доверяю суждениям сына. И для меня истинное облегчение увидеть, что вы и вправду так милы, как он говорил.

Все это говорилось весьма оживленно, с улыбками, кивками, с желанием польстить, так говорит обычно хозяйка, привыкшая к приемам, стараясь, чтобы гостья почувствовала себя непринужденно. Лидия, тоже настороженная, отвечала с красящей ее застенчивостью. Мадам Берже выразительно, чуть принужденно засмеялась и даже всплеснула руками.

– Но вы очаровательны. Неудивительно, что мой сын забросил из-за вас старую мать.

Чай внесла девица с тупым лицом, и, продолжая жестикулировать и

осыпать гостью любезностями, мадам Берже следила за служанкой тревожным взглядом; Лидия поняла, что здесь не привыкли приглашать гостей на чай и хозяйка не уверена в умении служанки подать на стол как полагается. Они пошли в столовую и сели за стол. Тут же стоял кабинетный рояль.

– Рояль занимает место, – сказала мадам Берже, – но мой сын страстно увлечен музыкой. Бывает, он часами сидит за роялем. Он говорит, вы превосходная музыкантша.

– Он преувеличивает. Я очень люблю музыку, но совсем несведуща в ней.

– Вы слишком скромны, мадемуазель.

На столе стояли печенья из кондитерской и пирожные. Под каждой тарелочкой был узорчатый кружок, а на ней небольшая салфетка. Мадам Берже явно постаралась соблюсти все правила хорошего тона. С улыбкой в холодных глазах она спросила Лидию, с чем та предпочитает чай.

– Вы, русские, всегда пьете чай с лимоном, и я нарочно для вас поставила лимон. Может быть, начнете с пирожного?

Чай отдавал соломой.

– Я знаю, русские всегда курят за едой. Пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Робер, где сигареты?

Мадам Берже усиленно угощала Лидию пирожными, печеньем; она оказалась из тех хозяек, для которых гостеприимство заключается в том, чтобы даже вопреки желанию гостя непременно его накормить. Болтала она без умолку, а голос у нее был резкий, пронзительный, с лица ее не сходила улыбка, и любезности ее не было предела. Она задавала Лидии множество вопросов, как бы случайных, будто светская дама из сочувствия вежливо расспрашивает одинокую девушку, но Лидия понимала, они хорошо продуманы, чтобы узнать о ней все, что только возможно. Сердце у Лидии упало: не такая это женщина, чтобы из любви к сыну позволить ему поступить безрассудно; но эта мысль вернула ей уверенность в себе. Ведь ясно же, ей нечего терять; и скрывать нечего; и на вопросы мадам Берже Лидия отвечала с полной откровенностью. Рассказала ей, как уже рассказывала Роберу, о своих родителях, и как она жила в Лондоне, и как жила после смерти матери.

За горячим сочувствием мадам Берже, за ее потрясенно-сострадательными репликами Лидии даже забавно было подмечать проницательность, с какой она взвешивает каждое услышанное слово и делает свои заключения. После двух или трех безуспешных попыток уйти, о чем мадам Берже и слышать не хотела, Лидия наконец ухитрилась

вырваться из этой чересчур дружелюбной атмосферы. Робер собрался ее проводить. Когда она прощалась с мадам Берже, та схватила ее за руки, и ее красивые темные глаза лучились нежностью.

– Вы прелесть, – сказала она. – Дорогу вы теперь знаете. Приходите ко мне, приходите почаще. Вы всегда будете желанной гостьей.

Когда они шли к автомобилю, Робер ласково взял Лидию под руку, и было похоже, он хочет не защитить ее, а скорее найти у нее защиту, и этот жест совсем ее покори.

– Ну, дорогая, все прошло хорошо. Матери вы понравились. Вы ее сразу очаровали. Она вас будет обожать.

Лидия засмеялась:

– Какие глупости. Она меня возненавидела.

– Нет-нет, вы ошибаетесь. Вот увидите. Я ее знаю, я сразу увидел, что вы пришлись ей по душе.

Лидия пожала плечами и ничего не сказала. Расставаясь, они условились пойти во вторник в кино. Лидия согласилась, хотя почти не сомневалась, что мать постарается положить конец их знакомству. Теперь Робер знал ее адрес.

– Если что-нибудь вам помешает, вы мне пошлите petit bleu^[86].

– Ничто не может мне помешать, – нежно возразил Робер.

Грустно ей было в этот вечер. Окажись она в одиночестве, она бы непременно поплакала. Но наверно, и лучше, что не было у нее такой возможности; нечего расстраиваться. Напрасно она размечталась. Она справится со своим разочарованием, в конце концов не впервой. Было бы куда хуже, если б он стал ее любовником, а потом бросил.

Прошел понедельник. Наступил вторник, но petit bleu не пришла. Ничего, уж наверняка она найдет ее, когда вернется с работы. Нет, опять ничего. Остается еще час, когда можно не думать, что пора собираться, и Лидия провела его в мучительном, тревожном ожидании звонка у двери; она одевалась, а сама чувствовала, что глупо это, ведь почтальон придет еще раньше, чем она будет готова. Неужели Робер заставит ее прийти в кино, а сам не явится? Это было бы бессердечно, жестоко, но ведь он под каблуком у матери, и, пожалуй, слабый он, и, должно быть, ему кажется, что, если она придет на свидание, а он ее не встретит, как это ни грубо, это лучше всего, ведь тогда ей станет совершенно ясно, что он с ней порвал. Не успела у нее мелькнуть эта мысль, как Лидия уже не сомневалась, что так оно и есть, и уже почти решила не ходить. И однако, пошла. В сущности, если он способен на такую низость, это лишь докажет, что она легко от него отделалась.

Но нет, он ее ждал и, увидев, что она идет, нетерпеливо, с живостью пошел ей навстречу своим пружинистым шагом. Лицо его озаряла всегдашняя милая улыбка. Настроение у него было, кажется, еще лучше обычного.

– Мне сегодня не хочется в кино, – сказал он. – Зайдем к Фуке выпьем, а потом покатаемся. Автомобиль здесь, за углом.

– Как хотите.

Вечер был чудесный, сухой, хотя и холодный, и звезды в морозной выси будто добродушно потешались над слишком яркими огнями Елисейских полей. Лидия с Робером выпили пива, он все говорил, говорил без умолку, потом прошли на авеню Георга Пятого, где он оставил автомобиль. Лидия была озадачена. Разговаривал Робер вполне естественно, но, может быть, он умеет так хорошо притворяться, и невольно спрашивала себя, не для того ли он предложил покататься, чтобы сразить ее горькой вестью. Она уже знала, что порой он вдруг возбуждается, даже слегка актерствует, но ее это скорее забавляло, чем обижало, возможно, он хочет получше обставить трогательную сцену отказа от нее.

– Это не тот автомобиль, что был у вас в воскресенье, – сказала Лидия, когда они подошли к машине.

– Да. Это моего приятеля, он хочет его продать. Я обещал подыскать покупателя.

Они поехали к Триумфальной арке, потом по авеню Фош де Буа. Было темно, кроме мгновений, когда светили фары встречного автомобиля, и пустынно, кроме редких машин, что стояли у обочин, и там, по-видимому, парочки вели любовный разговор. Скоро Робер тоже остановился у тротуара.

– Давайте посидим и выкурим по сигаретке, – предложил он. – Вам не холодно?

– Нет.

Тут было безлюдно, и при других обстоятельствах Лидии стало бы не по себе. Но ей казалось, она достаточно знает Робера, он не злоупотребит ее доверием. Он ведь такой славный. Больше того, чутье подсказывало ей, он что-то задумал, и ей не терпелось узнать, что же это. Он поднес ей огонь, закурил сам и сидел молча. Видно было, что он смущен и не знает, как начать. У нее тревожно заколотилось сердце.

– Милая, я хочу вам кое-что сказать, – наконец заговорил он.

– Да?

– Ну даже не знаю, как начать. Я редко нервничаю, просто

удивительно, совсем я к этому не привык.

Сердце у Лидии упало, но она не желала показать, что страдает.

– Если что-то трудно сказать, по-моему, лучше сказать прямо, – беспечно отозвалась она. – Что толку ходить вокруг да около.

– Ловлю вас на слове. Будьте моей женой.

– Я?

Лидия ждала чего угодно, только не этого.

– Я безумно тебя люблю. Мне кажется, я влюбился с первого взгляда, когда мы стояли рядом на концерте и у тебя текли по щекам слезы.

– А как же твоя мать?

– Мама в восторге. Она нас ждет. Я сказал, что, если ты согласишься, я тебя привезу. Она хочет тебя обнять. Она рада, что я выбрал девушку, которая не вызывает у нее никаких возражений, и план у нас такой: все вместе поплачем, а потом разопьем бутылку шампанского.

– В прошлое воскресенье, когда ты меня пригласил познакомиться с матерью, ты ей сказал, что хочешь на мне жениться?

– Ну конечно. Мама отнюдь не глупая, она сразу все решила.

– Мне казалось, я ей не понравилась.

– Ты ошиблась.

Они улыбались друг другу, Лидия подняла к нему лицо. Впервые он поцеловал ее в губы.

– А ведь при правостороннем движении куда удобнее целовать девушку, чем при левостороннем.

– Глупый, – засмеялась Лидия.

– Значит, я тебе все-таки не безразличен?

– Я с первой минуты тебя обожаю.

– Но была сдержанна, как и полагается хорошо воспитанной особе, она не дает воли своим чувствам, пока не уверится, что это не противоречит благоразумию? – ласково поддразнил Робер.

Но Лидия ответила серьезно:

– За свою недолгую жизнь я так настрадалась, я не хотела новых страданий, которые, может быть, не перенесу.

– Я без ума от тебя.

Никогда еще Лидия не была так счастлива; право же, ей с трудом в это верилось; благодарность к жизни переполняла ее сердце. Она была бы рада так и остаться здесь, в его объятиях, навеки; в такую минуту и смерть не страшна. И все-таки она заставила себя оторваться от него.

– Едем к твоей маме, – сказала она.

Ее вдруг охватила нежность к этой женщине, ведь та едва ее знает и,

однако, против ожиданий, понимая, что ее сын полюбил ее, Лидию, и проникательным взглядом увидев, что и Лидия его всерьез любит, согласилась, даже с радостью, на их брак. Лидии казалось, во всей Франции не найдется другой женщины, способной на такую жертву.

Они поехали. Робер оставил автомобиль на улице, параллельно той, где жил. А когда подошли к дому, открыл дверь своим ключом и, порывисто опередив Лидию, поспешил в гостиную.

– Все хорошо, мама.

Лидия вошла тотчас следом, и мадам Берже, в том же черном в цветах шелковом платье, что и в воскресенье, шагнула ей навстречу и обняла.

– Милое мое дитя, – воскликнула она. – Я так счастлива!

Лидия расплакалась. Мадам Берже нежно ее целовала.

– Ну, ну, успокойтесь! Не надо плакать. Я от всей души отдаю вам сына. Я знаю, вы будете ему хорошей женой. Идите сюда, садитесь. Робер откроет бутылку шампанского.

Лидия овладела собой и утерла глаза.

– Вы слишком добры ко мне, мадам. Не знаю, чем я заслужила такое сердечное расположение.

Мадам Берже взяла ее за руку и ласково погладила.

– Вы полюбили моего сына, а он – вас.

Робер вышел из комнаты. Лидия чувствовала, что должна сказать его матери все как есть.

– Но, боюсь, вы не знаете моих обстоятельств, мадам. Те небольшие деньги, что отец смог вывезти из России, давным-давно кончились. У меня нет ничего, кроме моего заработка. Ничего, совсем ничего. И кроме вот этого платья, еще только два.

– Но, милое мое дитя, какое это имеет значение? Не скрою, я была бы рада, если бы вы принесли Роберу и недурное приданое, но деньги еще не все. Любовь важнее. А в наше время чего вообще стоят деньги? Лыщу себя надеждой, что умею разбираться в людях, и я сразу поняла, что у вас милая и честная натура. Я увидела, что вы хорошо воспитаны и несомненно человек твердых правил. А это и требуется от жены, и, знаете, мой Робер никогда не был бы счастлив с девушкой из среды мелких французских буржуа. Он романтик, и ему по душе, что вы русская. И ведь не кто-нибудь, а дочь профессора, это что-то да значит.

Вошел Робер с бокалами и с бутылкой шампанского. За разговором засиделись допоздна. У мадам Берже все уже было продумано, и им оставалось только согласиться; Лидия с Робером будут жить в доме, а она уютно устроится во флигельке в глубине сада. Есть они будут вместе, а

остальное время она будет проводить у себя. Молодых надо предоставить самим себе и не навязывать им свое общество, решила она.

– Я не хочу, чтобы вы считали меня свекровью, – сказала она Лидии. – Я хочу быть вам матерью, ведь родной матери вы лишились, но хочу стать и вашим другом.

Ей очень хотелось, чтобы свадьба состоялась как можно скорее. У Лидии был паспорт, выданный Лигой наций, и Carte de Séjour^[87], все бумаги в порядке, так что надо только подать заявление в мэрию и выждать положенный срок. Так как Робер был католик, а Лидия православная, они, к огорчению мадам Берже, отказались от церковного бракосочетания, оба не придавали этому значения. В ту ночь Лидии не спалось, слишком она была взволнована и растеряна.

Свадьбу сыграли более чем скромно. Присутствовали только мадам Берже и старый друг их семьи полковник Легран, военный врач, который служил вместе с отцом Робера, да еще Евгения с Алексеем и их детьми. Происходило это в пятницу, а так как в понедельник утром Роберу предстояло идти на службу, их медовый месяц был совсем короткий. На автомобиле, который Роберу дали в займы, он повез Лидию в Дьепп, а в воскресенье вечером привез ее назад.

Лидия не знала, что, как и прежние автомобили, тот, в котором он ее вез, был не взят в займы, а украден, вот почему Робер всегда оставлял их не у дома, а на какой-нибудь ближайшей улице; не знала, что несколько месяцев назад его приговорили к двум годам тюрьмы, но условно, поскольку это было его первое преступление; не знала, что затем его привлекали к судебной ответственности по обвинению в контрабанде наркотиков, и он чудом избежал обвинительного приговора; не знала, что мадам Берже так радовалась их браку в надежде, что теперь Робер остепенится, да это и вправду было для него единственной возможностью зажить жизнью честного человека.

Глава пятая

Чарли понятия не имел, сколько времени он просидел так у окна, рассеянно глядя в темный двор, пока в его смятенные, сумбурные мысли не ворвался голос Лидии.

– Я, кажется, спала, – сказала она.

– Еще как спали.

Чарли зажег свет, чего не делал прежде, боясь ее разбудить. В камине огонь догорал, и он положил еще одно полено.

– Я так хорошо отдохнула. Спала безо всяких снов.

– Вам снятся дурные сны?

– Ужасные.

– Если вы оденетесь, можно пойти пообедать.

Лидия глянула на него с чуть насмешливой, но и доброй улыбкой.

– Вы, наверно, совсем не так привыкли проводить Рождество.

– Признаться, вы правы, – ответил он, весело усмехнувшись.

Она ушла в ванную, и Чарли услышал, как она купалась. Вернулась она по-прежнему в его халате.

– Теперь, если вы пойдете мыться, я оденусь.

Чарли оставил ее в комнате. Ему казалось вполне естественным, что, хоть она и проспала всю ночь в соседней постели, ей неловко при нем переодеваться.

Лидия повела его в знакомый ей ресторан на авеню дю Мэн, где, по ее словам, хорошо кормили. Хотя чуть застенчиво старомодный, ресторанчик оказался очень славный – стены обшиты панелями, на окнах ситцевые занавески, кушанья подают на оловянных тарелках, – в нем было почти безлюдно: только две женщины средних лет в высоких воротничках и галстуках да трое молодых индийцев, которые ели в хмуром молчании. Казалось, все они одиноки, у них нет друзей, и они обедают здесь в этот вечер, оттого что им некуда пойти.

Лидия и Чарли сели в уголке, где никто не услышит их разговор. Лидия ела с большим аппетитом. Когда Чарли предложил ей добавки одного из заказанных блюд, она с готовностью протянула тарелку.

– Свекровь всегда жаловалась, что у меня слишком хороший аппетит. Она, бывало, говорила, что я так ем, будто никогда не наедалась досыта. Да ведь так оно и было.

Ее слова потрясли Чарли. Странное чувство – обедаешь с человеком,

который из года в год недоедал. И еще: оказывается, можно пройти через всевозможные несчастья и все-таки есть с отличным аппетитом. Это поколебало его прежние представления и вносило в ее трагедию что-то балаганное; Лидия – фигура отнюдь не романтическая, она самая обыкновенная молодая женщина, и почему-то все случившееся с ней казалось от этого еще ужасней.

– А с вашей свекровью вы ладили? – спросил Чарли.

– Да, более или менее. Она была неплохая женщина. Просто суховатая, расчетливая, практичная и скупая. Хорошая хозяйка, любила идеальный порядок в доме. Моя русская неряшливость ее возмущала, но она умела держать себя в руках и ни разу мне резкого слова не сказала. После Робера главной ее страстью была респектабельность. Она гордилась, что ее отец был штабной офицер, а муж – полковник медицинской службы. Оба они были кавалерами ордена Почетного легиона. Муж во время войны лишился ноги. Она очень гордилась их безупречной репутацией и весьма высоко ставила то положение в обществе, которое занимала благодаря им. Вы, наверно, скажете, она сноб, но в таких пустяках, что это не обижает, а только смешит. Ее представления о морали иностранец счел бы удивительными во французенке. Например, она не прощала женщин, которые изменяют мужьям, но ей казалось вполне естественным, что мужчины обманывают жен. Она нипочем не примет приглашения, если не может пригласить этих людей к себе. Если она о чем-то условилась, то уж непременно сдержит слово, даже если это окажется для нее невыгодно. Она считала каждый грош, но была безупречно честна, честна и из принципа и из уважения к своей семье. Ей было присуще глубокое чувство справедливости. Она понимала, что поступила со мной непорядочно, когда согласилась на наш с Робером брак, ведь я ничего про него не знала, и не следовало оставлять меня в неведении, тогда я хотя бы могла не вслепую решать, выходить за него или нет; я, конечно, ни минуты бы не колебалась, но она-то этого не знала и, когда мне все стало известно, считала, что у меня есть все основания ее винить, а оправдаться она могла бы лишь тем, что ради Робера готова была кого угодно принести в жертву; вот почему она заставляла себя терпеть многое, что ей не нравилось во мне. Со всей решительностью, со всем своим самообладанием и тактом она старалась, чтобы наш брак был удачным. Она чувствовала, только счастливый брак и может исправить Робера, и так велика была ее любовь к сыну, что она готова была отдать его мне. Даже готова была утратить свое влияние на него, а этим женщина, по-моему, дорожит даже больше, чем любовью к ней, независимо от того, идет ли речь о сыне, о муже, о любовнике или о

ком-то еще. Она сказала, что не станет вмешиваться в нашу жизнь, и не вмешивалась. Мы почти и не видели ее, только в кухне, когда какое-то время спустя отказались от служанки, да за столом. Все время, когда она бывала дома, она проводила во флигельке в глубине сада, а если нам казалось, что ей одиноко, и мы звали ее посидеть с нами, она отказывалась под каким-нибудь предлогом: то у нее работа, то надо написать письма, то хочется дочитать книжку. Ее трудно было любить, но невозможно не уважать.

– Что с ней теперь? – спросил Чарли.

– Суд над сыном ее разорил. Большая часть ее скромных сбережений пошла на то, чтобы уберечь Робера от тюрьмы, а остальное – на адвокатов. Ей пришлось продать дом, на который опиралась гордость офицерской вдовы, и заложить свою пенсию. Она всегда прекрасно стряпала, вот и пошла служанкой к одному американцу, у которого студия в Отейле.

– Вы с ней когда-нибудь видитеесь?

– Нет. Чего ради? У нас с ней нет ничего общего. Раз я не смогла удержать Робера на пути праведном, я ей стала ни к чему.

Лидия продолжала рассказывать Чарли о своем замужестве. Ей приятно было обрести дом, а какое блаженство не ходить каждое утро на работу. Она скоро увидела, что на всякие транжирства денег нет, но по сравнению с тем, к чему она привыкла, они жили богато. И во всяком случае, у нее появилась уверенность в завтрашнем дне. Робер был нежен, жить с ним было легко, ему нравилось, когда она ему прислуживала, но она так его любила, что и прислуживать было радостью. Ее смешил его веселый, дерзкий, бесшабашный цинизм, и жизнь была в нем ключом. При их довольно скудных средствах он был чрезмерно щедр. Подарил ей золотые ручные часы и сумочку для косметики, которые уж наверно стоили не одну тысячу франков, и сумку крокодиловой кожи. Лидия с удивлением обнаружила в одном из ее отделений трамвайный билет, и когда спросила Робера, как он туда попал, тот в ответ засмеялся. Сказал, что купил сумку у девушки, которая проигралась на бегах. Девушка только что получила ее в подарок от любовника и продавала так дешево, что он просто не мог ее не купить. Иногда Робер водил Лидию в кино, а потом они шли на Монмартр танцевать. Ей хотелось знать, откуда у него деньги на такое мотовство, и Робер весело отвечал, что мир полон дураков и умному человеку нелепо было бы порой этим не воспользоваться. Но свои походы они скрывали от мадам Берже. Лидии казалось, что невозможно любить Робера больше, когда она выходила за него замуж, но с каждым днем чувство ее крепло. Он был не только чудесный любовник, но и восхитительный спутник жизни.

Месяца через четыре после женитьбы Робер лишился работы. Дома это вызвало бурю, Лидии непонятную, ведь жалованье Робер получал мизерное; но он надолго заперся с матерью во флигеле, и когда Лидия потом увидела свекровь, стало ясно, что та плакала. Лицо у нее было измученное, и она так мрачно и зло глянула на Лидию, будто винила ее. Лидия не могла взять этого в толк. Потом пришел старый доктор, друг семьи полковник Легран, и они втроем опять заперлись у мадам Берже. Дня три Робер был молчалив и впервые за все время их знакомства даже раздражен; на вопрос Лидии, что с ним происходит, резко ответил, чтобы не приставала. Потом, должно быть, подумав, что надо все-таки что-то ей объяснить, сказал, что сыр-бор разгорелся из-за материной скупости. Лидия знала, что, хотя свекровь не бросает деньги на ветер, она никогда не экономит на сыне, ничего для него не жалеет; но Робер был сильно на взводе, и она предпочла промолчать. Дня три мадам Берже была вне себя от тревоги, но потом, что бы там ни было причиной, тревога улеглась; правда, она уволила служанку, а держать служанку было для нее делом принципа, ведь пока у тебя есть прислуга, можно смотреть на себя как на истинную даму. Но теперь мадам Берже сказала Лидии, что это пустая трата денег, они вдвоем вполне справятся с таким скромным хозяйством, а покупая сама провизию, она будет уверена, что ее не обкрадывают; и ведь дел у нее особых нет, и она с удовольствием станет стряпать. Ну а Лидия охотно взяла на себя уборку дома.

И жизнь потекла почти совсем как прежде. К Роберу скоро вернулось хорошее настроение, и он опять стал веселым, любящим и очаровательным. Он вставал поздно и отправлялся на поиски работы и часто возвращался только поздним вечером. У мадам Берже всегда было припасено для него что-нибудь повкуснее, но без него трапеза двух женщин бывала скудной: чашка некрепкого бульона, салат и немного сыру. Все это время мадам Берже явно была встревожена. Не раз, заходя в кухню, Лидия заставала ее стоящей без дела, на лице смятение, словно ею владела нестерпимая тревога, но стоило Лидии войти, выражение ее менялось и она принималась за прерванную работу. Она по-прежнему следила за собой и в «приемные дни» своих старых друзей одевалась во все лучшее, слегка румянила щеки и, высоко подняв голову – воплощенная респектабельность среднего сословия, – отправлялась с визитом. Хотя Робер был все еще без работы, денег на карманные расходы у него вскоре стало не меньше, чем прежде. Он сказал Лидии, что сумел в качестве посредника продать два-три подержанных автомобиля; а еще завязал знакомства на скачках, ему подсказали, на какую лошадь ставить, и он кое-что выиграл. Сама не зная

почему, Лидия невольно заподозрила, что тут не все чисто. Был даже случай, когда она по-настоящему встревожилась. Однажды в воскресенье Робер сказал матери, что человек, который, как он надеется, возьмет его на службу, пригласил его с Лидией на обед у себя дома, неподалеку от Шартра, и он повезет ее туда на автомобиле; но когда они сели в автомобиль, что стоял за две улицы от их дома, и поехали, Робер сказал, что все это выдумка. В прошлый четверг ему повезло на скачках, и они едут обедать к Жуи. А матери он солгал, не то она сочла бы, что тратить деньги на ресторан непростительное транжирство. День был великолепный, теплый. Обед подавали в саду, и народу было полным-полно. Они отыскиали два места за столиком, где уже сидели четыре человека. Вся эта компания отобедала и ушла, когда Робер и Лидия едва добрались до середины трапезы.

– Ой, смотри, – сказал Робер, – одна дама забыла свою сумочку.

Он взял сумочку и, к удивлению Лидии, открыл. Она увидела там деньги. Робер кинул быстрый взгляд налево, направо, быстро, хитро и недобро глянул на жену. У Лидии упало сердце. Сейчас он вынет деньги и сунет в карман. От ужаса перехватило дыхание. И в этот миг вернулся один из сидевших за столиком мужчин и увидел сумочку в руках Робера.

– Что вы делаете с этой сумкой? – спросил он.

Робер улыбнулся своей открытой обаятельной улыбкой.

– Ее забыли. Хотел посмотреть, не узнаю ли, чья она.

Мужчина посмотрел на него сурово, подозрительно.

– Надо было просто отдать ее хозяину ресторана.

– И вы думаете, вам бы ее вернули? – учтиво ответил Робер, возвращая сумочку.

Тот молча ее взял и пошел прочь.

– Женщины преступно беспечно обращаются со своими сумочками, – сказал Робер.

У Лидии вырвался вздох облегчения. Какое нелепое подозрение. Вокруг люди, ну у кого бы хватило наглости украсть деньги из забытой сумки, слишком велик был риск. Но она знала все выражения лица Робера, и как это ни невероятно, не сомневалась, что он намерен был взять деньги. И счел бы это преотличной шуткой.

Она решительно вычеркнула из памяти этот случай. Но он вспомнился ей в то страшное утро, когда она прочла в газете, что убит англичанин – букмекер Тедди Джордан. В памяти всплыл тогдашний взгляд Робера. В страшный миг озарения она поняла, он способен на все. Теперь она поняла, что за пятна оказались на его брюках. Кровь! И поняла, откуда брались

тысячи франков. Поняла также, почему так мрачен был Робер, когда лишился работы, почему была в таком отчаянии его мать и почему мать и сын заперлись с полковником Леграном и долгие часы там шел взволнованный разговор. Потому что Робер украл деньги. И мадам Берже уволила служанку и с тех пор во всем себе отказывала и откладывала каждый грош, чтобы выплатить непосильную для нее сумму и уберечь сына от тюрьмы. Лидия перечитала сообщение об убийстве. Тедди Джордан жил один в квартире на первом этаже, убирала у него консьержка. Ел он не дома, но каждое утро в девять консьержка приносила ему кофе. Так она его и обнаружила. Увидела его на полу, без пиджака, в спине ножевая рана, лежал он у патефона, на разбитой пластинке, похоже, нож всадили, когда он менял пластинку. На полке над камином – пустой бумажник. Рядом с креслом, на столике, недопитый стакан виски с содовой и второй стакан, непочатый, на подносе, там же бутылка виски, сифон для сельтерской воды и ненарезанный кекс. Он явно ждал гостя, но гость не захотел выпить. Смерть наступила за несколько часов до прихода консьержки. Репортер, очевидно, сам провел небольшое расследование, но сколько в этом отчете было правды, а сколько выдумки, сказать трудно. Он расспросил консьержку и узнал, что, насколько ей известно, женщины у покойника не бывали, лишь несколько мужчин, больше все молодые, из чего она сделала свои выводы. Тедди Джордан был хороший жилец, не доставлял никаких хлопот, а когда бывал при деньгах, не скупился. Нож всадили в спину с огромной силой, и, по словам репортера, полиция убеждена, что убийца, должно быть, человек очень крепкий. В комнате никаких следов беспорядка, значит, нападение было внезапным и Джордан не мог защищаться. Ножа не нашли, но, судя по пятнам на гардинах, нож о них вытерли. Далее репортер сообщал, что, хотя полиция все тщательно осмотрела, отпечатков пальцев не обнаружено; а значит, убийца либо их стер, либо был в перчатках. В первом случае можно говорить о величайшем хладнокровии, во втором – о преднамеренности.

Потом репортер отправился в бар Жожо. Это был небольшой бар на глухой улице за бульваром Мадлен, который облюбовали жокеи, букмекеры и те, кто играл на скачках. Здесь подавали простую пищу – яичницу с беконом, сосиски, отбивные котлеты, тут-то обычно и ел Джордан. Здесь по большей части и заключал сделки. Репортер узнал, что здешние завсегдатаи считали его славным малым. Бывали у него хорошие времена, бывали и плохие, но в удачные дни он денег не жалел. Всегда был готов любому поставить выпивку, все у него были приятели. И однако, знали, с ним надо держать ухо востро. Случалось, у него бывали полосы невезения, и тогда

счет его рос и рос, но в конце концов он расплачивался. Репортер поделился с Жожо, владельцем бара, подозрениями консьержки, но тот его заверил, что нет для этого никаких оснований. Красочный газетный отчет закончен был словами, что полиция усердно ведет расследование и надеется на протяжении суток арестовать убийцу.

Лидия была в ужасе. Она ни минуты не сомневалась, что преступление совершил Робер; так была в этом уверена, будто все произошло у нее на глазах.

«Как он мог? Как он мог?» – воскликнула она.

И тут же испугалась собственного голоса. Пусть даже в кухне никого и нет, нельзя высказывать вслух свои мысли. Надо непременно спасти Робера от грозящей ему опасности, это была ее первая, ее единственная мысль. Что он ни натворил, она его любит; пускай бы он сделал что угодно, она все равно любила бы его не меньше. Она вдруг представила, что его могут у нее отнять, и чуть не закричала от боли. Даже в такую минуту ее пьянило воспоминание о его нежных губах, она ощущала его стройное, все еще мальчишеское тело в своих объятиях. Было сказано, что нож всадили с огромной силой, и полиция ищет крупного, могучего человека. Робер крепкий, жилистый, но не крупный и не могучий. А потом, еще эти подозрения консьержки. Полиция будет рыскать по ночным клубам и кафе на Монмартре и на улице де Лапп, где постоянно бывают гомосексуалисты. Робер никогда не ходил в подобные заведения, и уж она-то лучше всех знала, как он далек от противоестественных наклонностей. Правда, он частенько захаживал в бар Жожо, но туда многие ходили; там он получал нужные ему сведения от жокеев и заключал пари с букмекерами повыгодней, чем в тотализаторе. Это было вполне законно. Нет никаких причин, чтобы подозрение пало на него. Улики уничтожены, и кому придет в голову, что мадам Берже, при ее бережливости, уговорила Робера заказать вторую пару таких же брюк? Если полиция узнает, что Робер был знаком с Джорданом (а Джордан был знаком со множеством народу), и произведет в доме обыск (это маловероятно, но, возможно, станут допрашивать всех, с кем, как известно, букмекер поддерживал приятельские отношения), ничего они не найдут. Кроме той небольшой пачки билетов по тысяче франков. При мысли об этих деньгах Лидию охватила паника. Проще простого узнать, что их семья находится в стесненных обстоятельствах. Робер и она всегда считали, что где-то во флигеле у матери припрятаны кое-какие деньжата, но когда Робер лишился работы, им наверняка пришел конец; если на него падет подозрение, полиция неизбежно узнает, что его уволили со службы; как же тогда объяснить, что у матери сохранилось несколько

тысяч франков? Лидия не знала, сколько билетов в той пачке. Наверно, восемь или десять. Для бедняков сумма изрядная. Даже зная, как Робер ее добыл, мадам Берже никогда не отважится с ней расстаться. Решит, что у нее хватит хитрости запрятать деньги в такое место, куда никому и в голову не придет заглянуть. Лидия понимала, разговаривать с ней бесполезно. Никакие доводы на нее не подействуют. Только одно и остается: найти их и сжечь. До тех пор не будет у нее ни минуты покоя. А уж когда она это сделает, пускай полиция приходит, никаких улик не найдут. В безумной тревоге гадала она, куда бы могла спрятать деньги мадам Берже. Во флигеле Лидия бывала редко, мадам Берже сама прибирала у себя, но Лидии отчетливо запомнилось, где там что, и теперь мысленно она старательно обшаривала каждую вещь, каждое местечко, которые могут служить тайником. При первом же удобном случае Лидия решила отправиться туда на поиски.

Случай представился раньше, чем она могла предвидеть. В тот же самый день, после скудного обеда, за которым обе женщины не проронили ни слова, Лидия сидела в гостиной и шила. Читать она была не в силах, а что-то надо было делать, чтобы успокоить снедающую ее ужасную тревогу. Она услышала, как в дом вошла мадам Берже, и решила, что та, наверно, идет в кухню, но свекровь заглянула в гостиную.

– Если вернется Робер, скажи ему, что я буду в начале шестого.

С изумлением Лидия увидела, что свекровь нарядилась во все самое лучшее. На ней было черное в цветах шелковое платье, черный атласный ток, а вокруг шеи черно-бурая лиса.

– Вы идете в гости? – воскликнула Лидия.

– Да, сегодня у генеральши последний приемный день. Если я не покажусь, она оскорбится. И она и генерал были очень расположены к моему бедному мужу.

Лидия поняла. В предвидении того, что может случиться, мадам Берже решила, что уж в этот-то день она должна вести себя как ни в чем не бывало. Пренебречь светскими обязанностями – значило бы выказать страх, что ее сын замешан в убийстве букмекера. А вот исполнить долг приличия – значит доказать, что такая возможность ей и в голову не приходила. Мадам Берже была женщиной неукротимого мужества. Рядом с ней Лидия чувствовала себя слабой, истинно по-женски беспомощной.

Как только свекровь ушла, Лидия заперла парадную дверь так, чтоб без звонка никто не мог войти, и поспешила в глубину сада. Она окинула его беглым взглядом: неухоженный газон, заросший тощей травкой, сбоку вьется песчаная дорожка, а посредине клумба, и на ней высажены

хризантемы, что расцветут осенью. Свекровь, конечно, прятала деньги скорее не здесь, а у себя в жилище. Весь-то флигель – одна довольно просторная комната да смежный с ней чулан, который мадам Берже превратила в гардеробную. Обстановку комнаты составляют резной спальный гарнитур красного дерева, диван, кресло и письменный столик. На стенах увеличенные фотографии хозяйки и ее покойного мужа, фотография его могилы, под ней – его медали и орден Почетного легиона, а еще немало фотографий Робера, начиная с детских лет. Лидия задумалась, где такая женщина, как мадам Берже, станет что-нибудь прятать. Несомненно, у нее есть какой-то тайничок, ведь ей годами приходилось скрывать деньги от Робера. Слишком она сообразительна, чтобы пользоваться обычными для таких случаев местами – кроватью, потайным ящичком в письменном столе, углублениями у боковин кресла или у спинки дивана. Камина в комнате нет, но есть газовая плита с железной трубой. Лидия глянула в ту сторону. Нет, там ничего не спрячешь; к тому же зимой плиту зажигают, а свекровь из тех, кто, раз присмотрев тайничок, его и станет держаться. Лидия растерянно озиралась. Ничего другого ей не приходило в голову, и она раскрыла постель, вынула подушку из наволочки. Внимательно осмотрела, ощупала. Матрац был покрыт очень плотной материей, мадам Берже уж наверно было бы не под силу распороть и снова зашить один из швов. Раз она пользуется тайником долгое время, он должен быть легко доступен, чтобы можно было быстро достать деньги и сразу же все привести в порядок. Для проформы Лидия пересмотрела ящики комода и письменного стола. Ни один ящик не заперт, и все в них аккуратно уложено. Заглянула в платяной шкаф. И все время мысль лихорадочно работала. Лидия наслушалась всяких рассказов про то, как русские прятали свое добро, деньги и драгоценности, чтобы уберечь их от большевиков. Рассказывали, как не помогала и самая невероятная изобретательность и, напротив, как чудом ничего не находили. Ей вспомнилось, как одну женщину обыскивали в поезде между Ленинградом и Москвой. Ее раздели донага, но бриллиантовое ожерелье упрятано было в шов мехового манто, и хотя его старательно осмотрели, бриллиантов не нашли. У мадам Берже тоже было меховое манто, старое каракулевое, купленное давным-давно, оно висело в шкафу. Лидия его достала, старательно осмотрела и прощупала, но тщетно. Никаких следов недавнего шва. Лидия повесила шубу на место и одно за другим вынула три-четыре платья, небогатый гардероб мадам Берже. Нет, ни в одно из них невозможно было зашить пачку банкнот. Сердце у Лидии упало. Она испугалась, что свекровь слишком хорошо спрятала деньги, ей их не найти.

И вдруг ее осенило. Говорят, лучший тайник – самое заметное место, где никто не подумает искать. Например, в рабочей корзинке, вроде той, что стоит у мадам Берже на столике подле кресла. Лидия глянула на часы, время шло, нельзя здесь слишком задерживаться; приуныв, она стала рыться в корзинке. Вот чулок, который штопает мадам Берже, ножницы, иголки, всякие обрезки, катушки бумажных и шелковых ниток. А вот наполовину связанный черный шерстяной шарф, мадам Берже вязала его, чтобы накидывать на плечи, когда идет из флигеля в дом. Среди катушек и белых и черных ниток Лидия с удивлением увидела одну с желтыми. Интересно, зачем они свекрови? А потом она случайно глянула на гардины, и сердце у нее екнуло. Свет в комнату проникал только через стеклянную дверь, и одна пара гардин висела на этой двери, а другой завешена была дверь в гардеробную. Мадам Берже очень гордилась этими гардинами, они принадлежали ее отцу, полковнику, и она помнила их с детства. Роскошные, тяжелые, с ламбрекеном, отделанным бахромой и фестонами, были они из желтой камчатной ткани. Лидия сперва подошла к тем, что висели на стеклянной двери, отвернула подпушку. Они предназначались для более высокой комнаты, но у мадам Берже не хватило мужества их обрезать, и она внизу их подогнула. Лидия тщательно просмотрела шов; строчила профессиональная портниха, и нитка уже выцвела. Потом она посмотрела на гардины по обе стороны двери в гардеробную. И у нее вырвался глубокий вздох. В углу, у стены фасада, а значит, в самом темном, кусочек дюйма в четыре зашит был свежей ниткой, стало быть, недавно. Лидия взяла из корзинки ножницы и быстро подпорол шов; сунула руку в отверстие и вытащила банкноты. Спрятала деньги за пазуху, и ей потребовалось всего несколько минут, чтобы взять иголку, желтую нитку и все снова зашить. Теперь никто не догадался бы, что в этом месте шов сделан заново. Она осмотрела комнату – не осталось ли здесь следов ее пребывания. Вернулась в дом, поднялась в ванную, разорвала деньги на мелкие кусочки, кинула в унитаз и спустила воду. Потом сошла вниз, отодвинула засов на парадной двери и снова села за шитье... Сердце у нее готово было выскочить из груди, но насколько же легче стало на душе. Пускай теперь приходит полиция, ничего они не найдут.

Вскоре вернулась мадам Берже. Вошла в гостиную и опустилась на диван. Усилие, которое она над собой сделала, измотало ее, и она совсем выдохлась. Она осунулась и сейчас казалась старухой. Лидия глянула на нее, но ничего не сказала. Через несколько минут мадам Берже с усталым вздохом поднялась и пошла к себе. Она сняла свой элегантный наряд и вернулась в войлочных шлепанцах и поношенном черном платье. Несмотря

на завитые волосы, помаду и румяна, она была сейчас похожа на старую поденщицу.

– Я займусь обедом, – сказала она.

– Помочь вам? – спросила Лидия.

– Нет, я предпочитаю побыть одна.

Лидия продолжала шить. В домике стояла зловещая тишина. Такая она была напряженная, что, когда недолго спустя Робер стал открывать замок своим ключом, звук этот показался Лидии грозным шумом. Она стиснула руки, чтобы не расплакаться. Войдя в дом, Робер, по обыкновению, негромко свистнул, и Лидия, овладев собой, вышла в коридор. В руках у него было несколько газет.

– Я принес тебе вечерние газеты! – весело крикнул он. – Они полны этим убийством.

Он прошел в кухню, где, он знал, найдет мать, и кинул газеты на стол. Лидия прошла за ним. Без единого слова Берже взяла одну газету и стала читать. Заголовки набраны крупно. Этой новости отвели первые полосы.

– Я заходил в бар Жожо. Там только и разговора, что об этом убийстве. Джордан был постоянным клиентом бара, его там все знают. Я и сам с ним разговаривал в вечер убийства. У него был неплохой день на скачках, и он всем ставил выпивку.

Робер болтал так непринужденно, естественно, будто ничто на свете его не тревожило. Глаза его блестели, а всегда довольно бледные щеки слегка разрумянились. Он был возбужден, но не выказывал ни малейшего волнения. Стараясь, чтобы и ее голос звучал так же беззаботно, как его, Лидия спросила:

– Они уже кого-то подозревают в убийстве?

– Думают, это матрос. Консьержка сказала, что она неделю назад видела, как Джордан возвратился домой с каким-то матросом. Но конечно, кто-то мог просто вырядиться матросом. Полиция устраивает облавы на всех посетителей сомнительных баров на Монмартре. Судя по виду кожи вокруг раны, ударили, похоже, с огромной силой. Ищут рослого человека могучего сложения. Известны, конечно, два-три боксера, о которых идет дурная слава.

Мадам Берже, ни слова не сказав, отложила газету.

– Обед будет готов через несколько минут, – сказала она. – Лидия, ты скатерть постелила?

– Пойду постелю.

В дни, когда Робер бывал дома, обедали и ужинали в столовой, хотя это и хлопотней. Но мадам Берже сказала:

– Нельзя жить как дикари. Робер получил хорошее воспитание и привык, чтобы все делалось как положено.

Робер пошел наверх переменить пиджак и надеть шлепанцы. Мадам Берже не позволяла ему носить дома выходной костюм. Лидия стала накрывать на стол. И вдруг содрогнулась от ужаса, пораженная неожиданной мыслью, и ухватила за спинку стула, чтобы не упасть. Ведь две ночи назад, как раз когда был убит Тедди Джордан, Робер разбудил ее среди ночи, попросил накормить его ужином и поспешил лечь с ней в постель. Он кинулся к ней в объятия сразу после того, как совершил это чудовищное преступление; и источником его страсти, его ненасытного желания, его безумных ласк была пролитая им кровь. «А если я той ночью зачала?»

Вниз по лестнице прошлепал Робер.

– Я готов, ма! – крикнул он.

– Иду.

Он вошел в столовую и сел на свое обычное место. Вынул салфетку из кольца, разложил и взял ломоть хлеба с тарелки, на которую Лидия его положила.

– Ну как, наша старушка сегодня хорошо нас покормит? Я нагулял отличный аппетит. У Жожо я в обед только и съел, что сандвич.

Мадам Берже внесла супницу, села во главе стола и разлила всем троим бульон. Робер был превосходно настроен. Он весело болтал. Но женщины едва отвечали. С первым покончили.

– Что дальше? – спросил Робер.

– Мясная запеканка с картофелем.

– Не самое мое любимое блюдо.

– Скажи спасибо, что у тебя есть хоть какая-то еда, – резко отозвалась мать.

Робер пожал плечами и весело подмигнул Лидии. Мадам Берже пошла в кухню за запеканкой.

– Похоже, наша старушка не в настроении. Чем она сегодня занималась?

– Сегодня у генеральши последний приемный день сезона. Она туда ходила.

– Эта старая зануда кого хочешь выведет из себя.

Мадам Берже внесла запеканку и разложила по тарелкам. Робер выпил вина с водой. Как всегда иронично и довольно забавно, он продолжал болтать о том о сем, но в конце концов вынужден был заметить, как неразговорчивы женщины.

– Да что с вами нынче? – сердито прервал он себя. – Сидите надутые,

будто двое немых на похоронах.

Мать все время ела через силу, уставясь в тарелку, но теперь подняла глаза и молча, в упор посмотрела на сына.

– Ну, что еще? – дерзко воскликнул он.

Она не ответила, но все смотрела на него. Лидия глянула на свекровь. В ее темных, выразительных, как у Робера, глазах она прочла упрек, страх, гнев, но и горе, безмерное горе, видеть это было нестерпимо. Робер не выдержал силы этого страдальческого взгляда и опустил глаза. Обед закончили в молчании. Робер закурил и дал сигарету Лидии. Она пошла в кухню и принесла кофе. Выпили его в молчании.

В дверь позвонили. Мадам Берже вскрикнула. Все трое не шевельнулись, словно парализованные. Еще звонок.

– Кто это? – прошептала мадам Берже.

– Пойду посмотрю, – сказал Робер. Потом прибавил, посуровев: – Возьми себя в руки, мать. Не из-за чего тебе расстраиваться.

Он пошел к парадной двери. Послышались незнакомые голоса, но Робер закрыл за собой дверь гостиной, и нельзя было разобрать, о чем там разговор. Через минуту-другую он вернулся. За ним следовали двое мужчин.

– Вы обе пройдите, пожалуйста, в кухню, – сказал Робер. – Эти господа хотят со мной побеседовать.

– Что им нужно?

– Как раз это они и собираются мне сказать, – спокойно ответил Робер.

Женщины встали и вышли. Лидия украдкой глянула на мужа. Казалось, он ничуть не волнуется. Нельзя было не догадаться, что эти незваные гости – сыщики. Мадам Берже оставила дверь кухни открытой, надеясь услышать, какой пойдет разговор, но через коридор и из-за закрытой двери слов было не разобрать. Чуть не час длилась беседа, потом дверь отворили.

– Лидия, поди принеси мне пиджак и ботинки! – крикнул Робер. – Эти господа хотят, чтоб я пошел с ними.

Он сказал это беспечно, весело, словно по-прежнему был в себе уверен, но у Лидии упало сердце. Она пошла наверх за его вещами. Мадам Берже не произнесла ни слова. Робер переменял пиджак, переобулся.

– Я вернусь через час-другой, – сказал он. – Но вы ложитесь, не ждите меня.

– Куда ты? – спросила мать.

– Они хотят, чтоб я прошел в комиссариат. Полицейский комиссар думает, я могу пролить кое-какой свет на убийство бедняги Тедди

Джордана.

– Какое это имеет отношение к тебе?

– Просто я, как и многие другие, его знал.

Робер ушел с двумя сыщиками.

– Собери-ка со стола и помоги мне вымыть посуду, – сказала мадам Берже.

Они все вымыли и убрали. Потом сели по обе стороны кухонного стола и принялись ждать. Не разговаривали. Избегали смотреть друг другу в глаза. Бесконечно долго они так сидели. Зловещую тишину нарушал лишь бой часов-кукушки в коридоре. Когда пробило три, мадам Берже поднялась.

– Сегодня он не вернется. Давай ляжем.

– Я не усну. Лучше посижу здесь.

– Что толку? Только зря жечь электричество. У тебя ведь найдется какое-нибудь снотворное? Возьми парочку таблеток.

Лидия со вздохом поднялась. Мадам Берже хмуро на нее посмотрела и сердито выпалила:

– Нечего вешать нос, будто настал конец света. Нет у тебя причин киснуть. Ничего такого Робер не сделал, ему ничто не грозит. Уж и не знаю, что ты подозреваешь.

Лидия не ответила, но во взгляде, которым она посмотрела на мадам Берже, такая была боль, что та опустила глаза.

– Иди ложись, иди ложись! – сердито крикнула она.

Лидия вышла, поднялась в спальню. Всю ночь не смыкала она глаз, ждала Робера, но он не вернулся. Когда утром она сошла вниз, оказалось, мадам Берже уже выходила купить газеты. Убийство Джордана все еще занимало первые полосы, но сообщений об аресте там не было; полицейский комиссар продолжал расследование. Едва выпив кофе, мадам Берже ушла из дому. И вернулась уже только в одиннадцать. При виде мрачного лица свекрови у Лидии упало сердце.

– Ну что?

– Ничего не хотят говорить. Я связалась с адвокатом, и он пошел в полицию.

Они заканчивали свой жалкий обед, и тут в дверь позвонили. Лидия открыла, на пороге стоял полковник Легран и с ним человек, которого она видела впервые. За ними оказались еще двое мужчин – она сразу узнала в них тех полицейских, что приходили накануне вечером, – и женщина с суровым лицом. Полковник Легран спросил, нельзя ли видеть мадам Берже. Она в тревоге уже подошла к дверям кухни, и, увидев ее, человек, что пришел с полковником, протиснулся мимо Лидии.

– Это вы мадам Леонтин Берже?

– Я.

– Я Лукас, полицейский комиссар. У меня ордер на обыск вашего дома. – Он протянул бумажку. – Ваш сын, Робер Берже, уполномочил полковника Леграна представлять его интересы во время обыска.

– Почему вам понадобился обыск в моем доме?

– Надеюсь, вы не станете препятствовать мне исполнить мой долг?

Она бросила на комиссара гневный, презрительный взгляд:

– Раз у вас есть ордер, я не вправе вам препятствовать.

Комиссар в сопровождении полковника и обоих сыщиков поднялся по лестнице, а их спутница осталась в кухне с мадам Берже и Лидией. Наверху были две комнаты, одна, довольно большая, служила спальней Роберу с женой, другая поменьше, там он спал холостяком. Еще там была ванная с газовой колонкой. Незванные гости провели там чуть не два часа, и когда комиссар сошел вниз, он держал в руках сумочку Лидии.

– Откуда она у вас? – спросил он.

– Муж подарил.

– Откуда она у него?

– Он купил у женщины, которая осталась без денег.

Комиссар испытующе на нее посмотрел. Заметил часы у нее на руке, показал на них и спросил:

– Это тоже подарок мужа?

– Да.

Больше он ничего не сказал. Положил сумочку и присоединился к остальным, прошедшим в сдвоенную комнату, часть которой служила столовой, а часть – гостиной. Но через минуту-другую хлопнула входная дверь. Лидия выглянула из окна и увидела, что один из полицейских направился к воротам, сел в стоящий у обочины автомобиль и уехал. С внезапным дурным предчувствием она посмотрела на красивую сумочку. Вскоре, чтобы произвести обыск в кухне, Лидию и мадам Берже пригласили перейти в гостиную. Там все было вверх дном. Обыск явно был тщательным. Снятые гардины валялись на полу. Взгляд мадам Берже упал на них, она вздрогнула, хотела было что-то сказать, однако заставила себя промолчать. Но когда немного погодя, выйдя из кухни, мужчины прошли через садик к флигелю, она не удержалась, подошла к окну, посмотрела им вслед. Лидия заметила, что она дрожит, и испугалась, вдруг оставшаяся с ними женщина тоже это заметит. Но та лениво листала газету автолюбителя. Лидия подошла к окну, взяла свекровь за руку. Но не решилась шепнуть, что опасности нет. Когда мадам Берже увидела, как во

флигеле содрали с окна желтые камчатные гардины, она судорожно стиснула руку Лидии. И Лидия только могла попытаться ответным пожатием показать, что бояться нечего. Мужчины пробыли во флигеле почти так же долго, как наверху.

Тем временем вернулся полицейский, который уезжал. Скоро он опять прошел к автомобилю и достал оттуда две лопаты. Двое младших чинов, под присмотром полковника Леграна, стали вскапывать цветочную клумбу. Комиссар вошел в гостиную.

– Вы не возражаете, если эта женщина вас обыщет?

– Не возражаю.

– Не возражаю.

Он повернулся к Лидии:

– Тогда, может быть, мадам пройдет с ней в свою комнату.

Наверху Лидия поняла, почему они оставались здесь так долго. Казалось, в комнате рылись грабители. На кровати валялась одежда Робера, и Лидия догадалась, что каждую вещь подвергли весьма тщательному осмотру. Наконец тяжкое испытание окончено, комиссар принялся задавать Лидии вопросы, касающиеся гардероба мужа. Отвечать было нетрудно, весь-то гардероб Робера – две пары теннисных брюк, два костюма, кроме того, что на нем, смокинг да брюки гольф, и не было причины говорить неправду. Когда обыск наконец завершился, шел уже восьмой час. Но у комиссара оказалось и еще дело. Он взял со стола сумочку Лидии, которую она принесла из кухни.

– Я беру ее с собой и ваши часы тоже, будьте добры, снимите их, мадам.

– Почему?

– У меня есть основания полагать, что они краденые.

Лидия растерянно на него уставилась. Но тут вмешался полковник Легран:

– Вы не имеете права их забирать. Ваш ордер на обыск в доме не дает вам разрешения уносить отсюда ни единой вещи.

Комиссар любезно улыбнулся:

– Совершенно верно, месье, но я распорядился, и мой коллега привез соответствующее разрешение.

Комиссар протянул руку полицейскому, который уезжал в автомобиле, – теперь стало ясно, по какому делу, – и тот достал из кармана бумагу и подал комиссару. А комиссар передал ее полковнику Леграну. Полковник прочел ее и повернулся к Лидии:

– Придется вам выполнить требование комиссара.

Лидия сняла с руки часы. Комиссар сунул их вместе с сумочкой к себе в карман.

– Если мои подозрения окажутся безосновательными, вам, конечно, все вернут.

Наконец все ушли, Лидия заперла за ними дверь на засов, и мадам Берже поспешила во флигель. Лидия пошла за ней. Увидев, что творится в комнате, мадам Берже вскрикнула:

– Скоты!

Она кинулась к гардинам. Они лежали на полу. Она увидела, что швы распороты, и у нее вырвался пронзительный вопль. Она обратила к Лидии перекошенное от страха лицо.

– Не бойтесь, – сказала Лидия. – Деньги они не нашли. Я нашла их раньше и уничтожила. Я знала, вы на это не решитесь.

Она протянула свекрови руку и помогла подняться. Берже смотрела на Лидию во все глаза. Они ни разу не заговаривали друг с другом о том, о чем каждая неотступно и мучительно думала эти двое суток. Но теперь пришел конец. Мадам Берже сильно, до боли стиснула руку Лидии и резко, напористо произнесла:

– Клянусь тебе всей силой моей любви к Роберу, не убивал он англичанина.

– Зачем так говорить, ведь вы, как и я, уверены, что он убил?

– Ты пойдешь против него?

– С чего вы взяли? Зачем, по-вашему, я уничтожила деньги? Вы, видно, совсем потеряли голову, вообразили, что полиция их не найдет. Да разве опытный сыщик упустит такое подходящее для тайничка место?

Пальцы мадам Берже, впившиеся в руку Лидии, разжались. Выражение лица ее изменилось, она громко всхлипнула. Потом вдруг обняла Лидию, прижала к груди.

– Бедное мое дитя, какую беду, какое несчастье я навлекла на тебя.

Впервые мадам Берже дала волю чувствам при Лидии. Впервые обнаружила, что способна любить нерасчетливо, бескорыстно. Тяжкие, мучительные рыдания сотрясали ее, она отчаянно припала к Лидии. Лидия была глубоко тронута. Страшно было видеть, как эта сдержанная, гордая женщина с железной волей потеряла самообладание.

– Ни за что нельзя было позволить ему жениться на тебе, – рыдая, говорила она. – Это было преступно. Нечестно по отношению к тебе. Но мне казалось, только это может его спасти. Ни за что, ни за что, ни за что не должна была я это допустить.

– Но я его любила.

– Знаю. Но простишь ли ты его когда-нибудь? Простишь ли меня? Я его мать, я люблю его несмотря ни на что, а твоя любовь разве может выдержать такое?

Лидия вырвалась из объятий свекрови, схватила ее за плечи. Встряхнула.

– Послушайте меня. Я полюбила не на месяц и не на год. Я полюбила навсегда. Его единственного я полюбила. И никого другого уже не полюблю. Что бы он ни сделал, что бы ни ждало нас в будущем, я его люблю. Ничто не заставит меня любить его меньше. Я его обожаю.

Назавтра вечерние газеты сообщили, что за убийство Тедди Джордана арестован Робер Берже.

Несколько недель спустя Лидия узнала, что ждет ребенка, и с ужасом поняла, что зачала в ту самую ночь, ночь зверского убийства.

За столиком, где сидели Лидия и Чарли, воцарилось молчание. Они давно уже отужинали, все остальные посетители ушли. Чарли, который слушал Лидию без единого слова, поглощенный ее рассказом как никогда и ничем в жизни, все-таки сознавал, что ресторан опустел, а официанты жаждут от них избавиться, и раза два чуть не сказал Лидии, что им пора уходить. Но нелегко это было, она говорила, словно в трансе, и хотя их взгляды временами встречались, у него было жутковатое ощущение, что она его не видит. А потом вошла компания американцев, трое мужчин и три девицы, и спросили, не слишком ли поздно, накормят ли их. Предвидя выгодный заказ, так как компания была очень веселая, patronne^[88] заверила американцев, что повар здесь ее супруг, и если они не прочь обождать, он состряпает все, что они пожелают. Они заказали коктейли с шампанским. Они заявили сюда, чтобы приятно провести время, и ресторанчик наполнился их беззаботным смехом. Но трагический рассказ Лидии, казалось, окружил столик, за которым она сидела с Чарли, таинственной и зловещей дымкой, и приподнятое настроение веселой компании не проникало сквозь нее; Лидия и Чарли сидели в уголке одни, словно огражденные невидимой стеной.

– И вы все еще его любите? – спросил наконец Чарли.

– Всем сердцем.

С такой страстной искренностью она ответила, что не поверить он не мог. Удивительно это было, Чарли даже растерянно поежился. Казалось, Лидия – существо совсем иной человеческой породы. Это неистовство чувств пугало Чарли, и неуютно ему стало с нею. Ощущение возникло такое, словно он проболтал с кем-то час-другой и вдруг понял, что разговаривает с привидением. Но одно не давало Чарли покоя. Мысль эта

не шла у него из головы последние двадцать четыре часа, однако ему не хотелось, чтобы Лидия сочла его блюстителем нравов, и до сих пор он молчал.

– Не могу взять в толк, как же при этом вы можете быть в таком месте, как Serail. Разве нельзя было найти какой-то иной способ зарабатывать на жизнь?

– С легкостью.

– Тогда я не понимаю.

– После суда все были очень добры ко мне. Я могла стать продавщицей в одном большом магазине. Я хорошая швея, была в учении у портнихи, могла бы получить работу по этой части. Нашелся даже человек, который хотел на мне жениться, если я разведусь с Робером.

Казалось, что тут еще скажешь, и Чарли молчал. Лидия поставила локти на стол, покрытый скатертью в красную и белую клетку, уперлась подбородком в ладони. Чарли сидел напротив нее; долгим, задумчивым взглядом, который, казалось, проникал в самые глубины его существа, Лидия смотрела ему в глаза.

– Я искала искупления.

Чарли уставился на нее, ничего не понимая. Чуть слышно произнесенные слова эти его потрясли. Никогда еще он ничего подобного не испытывал – будто вдруг разодрали пелену, которая придавала миру знакомые приятные краски, и он заглянул в сотрясаемую корчами тьму.

– Бога ради, что вы хотите этим сказать?

– Хотя я люблю Робера всем сердцем, всей душой, я знаю, он согрешил. Я чувствовала, только тем я и могу ему послужить, что подвергну себя унижению, самому чудовищному из всех, какие могла себе представить. Сперва я решила пойти в какой-нибудь публичный дом, где бывают солдаты, рабочие и всякие отбросы большого города, но побоялась, что стану жалеть этих несчастных, ведь поспешные и редкие посещения этих мест – единственное удовольствие в их ужасной жизни. А посетители Serail – богатые, праздные развратники. К тем скотам, которые покупают там мое тело, я не могу испытывать ничего, кроме ненависти и презрения. Там мое унижение, точно гноящаяся незаживающая рана. Из-за грубой непристойности одежд, которые я вынуждена носить, меня жжет стыд, к нему не привыкаешь. Я радуюсь страданию. Радуюсь презрению, с каким мужчины относятся к тому, что служит их похоти. Радуюсь их скотству. Я в аду, как и Робер, мои страдания соединяются с его страданиями, и, быть может, мои страдания помогают ему переносить те, что выпали на его долю.

– Но он-то страдает, потому что совершил преступление. А вы и так настрадались, хотя ни в чем не виноваты. Чего же подвергать себя излишнему страданию?

– За грех надо платить страданием. Где вам с вашей холодной английской натурой понять, что такое любовь, которая и есть моя жизнь? Я принадлежу Роберу, а он – мне. Если бы я не решилась разделить его страдания, я была бы так же отвратительна, как его преступление. Я знаю, чтобы искупить его грех, мне так же необходимо страдать, как ему.

Чарли засомневался. Он не был глубоко верующим человеком. Его воспитали в вере в Бога, но не в мыслях о нем. Думать о Боге – ну, это не то что дурной тон, но некая крайность. Ему трудно сейчас было разобраться в своих мыслях, но казалось чуть ли не естественным высказывать самые неестественные суждения.

– Ваш муж совершил преступление и за это наказан. Смею сказать, это справедливо. Но нельзя же думать, что... что всемилостивый Бог требует, чтобы вы расплачивались за чьи-то злодеяния.

– Бог? При чем тут Бог? По-вашему, я могу видеть, в каких мучениях живет огромное большинство людей, и верить в Бога? По-вашему, я верю в Бога, который допустил, чтобы большевики убили моего несчастного простодушного отца? Знаете, что я думаю? Я думаю, Бог мертв уже миллионы миллионов лет. Я думаю, он умер, когда объял бесконечность и положил начало образованию Вселенной, он умер, а люди из века в век продолжают взывать к нему, который перестал существовать, когда сотворил то, что сделало возможным их существование.

– Но если вы не верите в Бога, я не вижу смысла в том, что вы делаете. Я мог бы это понять, если бы вы верили в жестокого Бога, который требует око за око и зуб за зуб. Если Бога нет, такое искупление, на какое вы решились, теряет всякий смысл.

– Вам так кажется, да? Нет в моем поведении логики. Нет смысла. И однако, в самой глубине моего сердца, нет, больше того, всеми фибрами своей души я знаю, что должна искупить грех Робера. Знаю, только через это он освободится от владеющего им зла. Я не прошу вас считать меня разумной. Прошу лишь понять, что ничего не могу с собой поделать. Я верю, что как-то – сама не знаю как – мое унижение, поругание, жестокая, непрестанная боль омоет, очистит его душу, и даже если мы никогда больше не увидимся, он будет мне возвращен.

Чарли вздохнул. Все это было ему странно, странно и чуждо, и приводило в замешательство. Не понимал он, как с этим быть. Сейчас ему было особенно не по себе с этой чужой женщиной, одержимой безумными

фантазиями; а ведь на вид она такая заурядная, смазливенькая, неважно одетая; ее можно принять за машинистку или работницу почты. А у Терри-Мейсонов сейчас как раз, наверно, начинаются танцы; все в бумажных колпаках, которые им достались за праздничным столом. Кое-кто из молодых людей под мухой, но, черт возьми, на Рождество это не зазорно. А сколько будет поцелуев под омелой, сколько шуток, розыгрышей, смеха; все веселятся в свое удовольствие. Казалось, это так далеко, но, слава богу, оно есть, оно существует, нормальное, достойное, разумное поведение, а не этот кошмар. Кошмар? А может быть, все-таки эта женщина с ее трагической историей, с ее ужасной жизнью была не так уж не права, когда сказала, что Господь, сотворив наш мир, умер, может быть, он покоится мертвый где-то на горном хребте какой-нибудь погасшей звезды или его поглотила Вселенная, им созданная? Забавно это, если подумать о леди Терри-Мейсон, которая рождественским утром собирает всех гостей и ведет в церковь. И его, Чарли, отец ее поддерживает. «Не стану уверять, будто я очень уж часто хожу в церковь, но на Рождество это, по-моему, необходимо. Я хочу сказать, мы тем самым подаем хороший пример». Так, наверно, он бы сказал.

– Не будьте так серьезны, – сказала Лидия. – Идемте.

Они прошли по мрачной, грязной улице, что ведет от авеню дю Мэн к Плас де Ренн, и Лидия предложила пойти на часок в кинохронику. Это был последний сеанс. Потом они выпили по кружке пива и вернулись в гостиницу. Лидия сняла шляпу и мех. И задумчиво посмотрела на Чарли.

– Если вы хотите со мной лечь, я не против, – сказала она совершенно тем же тоном, как если бы спрашивала, предпочитает он пойти в Ротонду или в Дом инвалидов.

У Чарли перехватило дыхание. Все в нем взбунтовалось. После всего, что она ему рассказала, он и помыслить не мог ее коснуться. На миг он гневно сжал губы; не хватало еще и ему унижать ее плоть. Но врожденная вежливость помешала ему произнести слова, что готовы были сорваться с языка.

– Нет-нет, не думаю, благодарю вас.

– Почему же? Я там именно для этого, и за этим вы и приехали в Париж, разве не так? Разве не за этим вы, англичане, приезжаете в Париж?

– Не знаю. Во всяком случае, я не за этим.

– Тогда чего ради?

– Ну, отчасти чтобы посмотреть некоторые картины.

Лидия пожала плечами.

– Что ж, как хотите.

Лидия пошла в ванную. Чарли был несколько уязвлен тем, как равнодушно она восприняла его отказ. Ему казалось, что она по крайней мере могла бы отдать ему должное за такую деликатность. Ведь кое-чем она, пожалуй, ему обязана, хотя бы за стол и кров в эти сутки, и потому он мог бы счесть себя вправе воспользоваться ее предложением; так что ей бы в самый раз поблагодарить его за бескорыстие. Он готов был разобидеться. Он разделся и, когда Лидия вышла из ванной в его халате, пошел почистить зубы. Возвратясь, он застал ее уже в постели.

– Вам не помешает, если я перед сном немного почитаю? – спросил он.

– Нет. Я повернусь спиной к свету.

Чарли привез с собой томик Блейка. И принялся читать. Вскоре по спокойному дыханию Лидии в соседней постели он понял, что она уснула. Он еще немного почитал и выключил свет. Так Чарли Мейсон провел Рождество в Париже.

Глава шестая

Наутро они проснулись так поздно, что к тому времени, когда выпили кофе, прочли газеты (будто супруги, женатые уже не один год), вымылись и оделись, было уже около часа.

– Можно пойти выпить коктейль в Доме инвалидов, а потом пообедать, – сказал Чарли. – Куда бы вы хотели пойти?

– На бульварах, по другую сторону от кафе «Куполь», есть очень хороший ресторан. Только он довольно дорогой.

– Ну, это не важно.

– Вы уверены? – Лидия с сомнением на него посмотрела. – Мне не хочется, чтобы вы тратили больше, чем можете себе позволить. Вы были ко мне так предупредительны. Боюсь, я злоупотребила вашей добротой.

– Чепуха, – вспыхнув, отозвался Чарли.

– Вы не знаете, что значили для меня эти два дня. Такой отдых. Прошлую ночь я впервые за много месяцев спала не просыпаясь и без снов. Я прямо ожила. Совсем по-другому себя чувствую.

В это утро она и вправду выглядела много лучше. Кожа не такая тусклая, глаза ясные. И голову она держала выше.

– Вы устроили мне замечательные каникулы. Они так мне помогли. Но не годится быть вам в тягость.

– А вы и не были мне в тягость.

Она улыбнулась чуть насмешливо:

– Вы очень хорошо воспитаны, мой дорогой. Это очень мило, что вы так говорите, я совсем не привыкла, чтобы со мной так мило разговаривали, мне даже плакать хочется. Но ведь вы приехали в Париж поразвлечься, а со мной не поразвлечешся, вы уже знаете. Вы молоды и должны наслаждаться своей молодостью. Молодость так недолговечна. Накормите меня сегодня обедом, если хотите, а потом я вернусь к Алексею.

– А вечером в Serail?

– Надо думать.

У Лидии вырвался было вздох, но она сдержалась, беспечно пожала плечами и весело ему улыбнулась. В нерешительности хмурясь, Чарли с грустью смотрел на Лидию. Большим и нескладным чувствовал он себя, и его цветущее здоровье, сознание своего благополучия, неизменная радость жизни странным образом казались ему сейчас оскорбительными. Он был точно богач, который грубо похваляется своим богатством перед бедным

родственником. В этом поношенном коричневом платье хрупкая тоненькая Лидия словно помолодела после хорошего ночного сна и казалась сейчас совсем девчонкой. Ну как было ее не пожалеть? А когда подумаешь о ее трагической судьбе, – против воли подумаешь, потому что думать об этом и страшно и бессмысленно, а все равно тревожишься, и мысль эта не отпускает, – о ее безумной идее втоптать себя в грязь, чтобы искупить преступление мужа, больно сжимается сердце. И чувствуешь, что сам ты ничего не значишь, и если каникулы в Париже, которые предвкушал с таким волнением, не удались, что ж, ничего не поделаешь. Казалось, слова, что с запинкой срывались у него с языка, произносит не он, а какая-то сила в нем, не зависевшая от его воли. Слушая их, он даже в те минуты не понимал, почему говорит такое.

– Мне надо вернуться в контору только в понедельник утром, и я пробуду в Париже до воскресенья. Если вы не против, до тех пор оставайтесь здесь.

Лидия вся просияла, будто случайный луч зимнего солнца проник в комнату.

– Вы это серьезно?

– Не всерьез я бы не предложил.

У нее вдруг будто подкосились ноги, и она упала в кресло.

– Ох, это было бы такое блаженство. Я бы так отдохнула. Набралась мужества. Но не могу я, не могу.

– Почему же? Из-за Serail?

– Нет, нет, тут другое. Им я бы могла послать телеграмму, мол, у меня грипп. Но это нехорошо по отношению к вам.

– А это уже моя забота.

Не слишком приятно было ему уговаривать Лидию поступить так, как ей, конечно же, очень хотелось поступить, ведь он предпочел бы, чтобы она отказалась. Но не мог он вести себя иначе. Лидия испытующе на него посмотрела.

– Чего ради вы это делаете? Вы ведь не желаете меня, нет?

Чарли покачал головой.

– Не все ли вам равно, живу я или умру, счастлива или нет? Вы еще и двух суток со мной не знакомы. Из дружеских чувств? Но я вам чужая. Из жалости? Да разве в ваши годы умеют жалеть?

– Не надо задавать мне вопросов, которые меня смущают, – усмехнулся Чарли.

– Наверно, вы просто по природе великодушны. Недаром говорят, англичане добры к животным. Помню, одна из наших квартирных хозяек,

которая вечно крала у нас чай, подобрала бездомную шелудивую дворнягу.

– Не будь вы такая крошечная, не миновать бы вам пощечины, – весело отозвался Чарли. – Ну, договорились?

– Идемте пообедаем. Я голодна.

За столом они болтали о том о сем, но когда отобедали и Чарли, заплатив по счету, ждал сдачу, Лидия спросила:

– Так вы всерьез предлагаете мне остаться с вами до вашего отъезда?

– Безусловно.

– Вы не представляете, какое это было бы для меня благо. Не могу сказать, как бы я рада поймать вас на слове.

– Что же вам мешает?

– Вам будет мало радости от меня.

– Что ж, согласен, – честно, но с обаятельной улыбкой признался Чарли. – Зато будет интересно.

Лидия рассмеялась:

– Тогда я зайду к Алексею и кое-что возьму. Хотя бы зубную щетку и чистые чулки.

Они расстались у станции метро, и Лидия уехала. А Чарли решил повидать Саймона, если его застанет. Он раза три спрашивал дорогу и наконец оказался на улице Кампань-Премьер. Саймон жил в высоком закопченном доме, на ставнях кое-где облупилась краска и виднелось серое дерево. Чарли сунул голову в каморку консьержки, и в носшибануло таким затхлым, густым запахом еды и пота, что он едва устоял на ногах. Старушонка в необъятных юбках, голова укутана грязным красным шарфом, скрипучим голосом сердито сказала ему, где живет Саймон, а на вопрос, дома ли он, предложила Чарли пройти да посмотреть самому. Следуя старухиным объяснениям, он прошел через грязный двор и поднялся по узкой лестнице, где пахло застоялой мочой. Саймон жил на третьем этаже и в ответ на звонок Чарли открыл дверь.

– Гм. А я все думал, куда ты подевался.

– Я помешал?

– Нет. Входи. Пальто лучше не снимай. Здесь не очень-то тепло.

Что правда, то правда. В комнате холодина. Это была студия с большим, выходящим на север окном, с печкой, но Саймон, который, видимо, работал, так как стоящий посередине стол был завален исписанными листами, забыл поддержать огонь, и он едва тлел. Саймон пододвинул к печке обшарпанное кресло и пригласил Чарли сесть.

– Я подкину угля. Скоро станет теплей. Сам я не чувствую холода.

Кресло со сломанной пружиной оказалось не слишком удобным.

Стены были грязно-серого цвета, похоже, их не красили годами. Единственным украшением служили большущие карты, прикрепленные к стене канцелярскими кнопками. Узкая железная кровать была не застелена.

– Консьержка еще сегодня не приходила, – сказал Саймон, заметив взгляд Чарли.

В комнате только и было, что большой подержанный обеденный стол, за которым Саймон писал, несколько полок с книгами, у стола стул, какими пользуются в конторах, две или три табуретки и груды книг на них да еще кусок потертого ковра у кровати. Безрадостный холодный зимний свет, проникавший сквозь северное окошко, делал убогое жилище еще безотрадней. Таким неприветливым не показался бы даже зал ожидания третьего класса на захолустной станции.

Саймон пододвинул к печке стул и закурил трубку. Далеко не дурак, он легко догадался, какое впечатление произвело на Чарли его жилище, и хмуро улыбнулся.

– Не больно роскошно? А к чему она мне, роскошь? – Чарли промолчал, и Саймон глянул на него холодно и презрительно. – Здесь даже и неудобно, но удобство мне ни к чему. Нельзя зависеть от удобств. Это ловушка, в нее попались многие, кто мог бы быть поумнее.

Чарли иной раз вполне способен был разозлиться и сейчас не пожелал спустить Саймону эти бредни.

– Судя по твоему виду, ты устал, замерз и проголодался, старина. Как насчет того, чтобы взять такси, махнуть в бар «Ритц» и, сидя в тепле, в удобных креслах, съесть яичницу с беконом?

– Иди к черту. А куда ты дел Ольгу?

– Ее зовут Лидия. Она пошла домой за зубной щеткой. Она пробудет со мной в гостинице до моего отъезда.

– Ох, и чертовка она. Малость зацепило, а? – Молодые люди впились друг в друга глазами. Потом Саймон подался вперед. – Ты, часом, не влюбился?

– Ты зачем нас свел?

– Я думал, это будет забавно. Думал, тебе будет в новинку переспать с женой известного убийцы. И сказать по правде, мне казалось, ты можешь прийти к ней по вкусу. Вот бы я тогда посмеялся. У тебя ведь тот же тип, что у Берже, только ты куда красивей.

Чарли вдруг вспомнились слова Лидии, когда они ужинали вдвоем после полуночной мессы. Теперь он понял, что она тогда имела в виду.

– Представь, она об этом догадалась. Так что, боюсь, не придется тебе злорадствовать.

– С кануна Рождества, когда я вас оставил, ты все время был с ней?

– Да.

– Похоже, тебе это на пользу. Ты отлично выглядишь. Разве что малость побледнел.

Чарли пытался скрыть смущение. Ему отнюдь не хотелось, чтобы Саймон узнал, что их отношения с Лидией были сугубо платонические. У того это только вызвало бы язвительный смех. Поведение Чарли Саймон счел бы чувствительностью, достойной одного лишь презрения.

– По-моему, это вовсе не забавно отправить меня с ней, не сказав, во что ты меня втравил, – сказал Чарли.

Лицо Саймона исказила кривая улыбка.

– Это отвечало моему чувству юмора. Будет что рассказать родителям, когда вернешься. Во всяком случае, тебе ворчать нет причины. Все удалось как нельзя лучше. Ольга знает свое дело и уж в этом смысле тебя ублажит на славу, вдобавок она не дура; много читала и разговаривает куда умней большинства женщин. Она кой-чему тебя научит, мой милый. Как по-твоему, она все так же влюблена в своего мужа?

– По-моему, да.

– Чудно устроен человек, ты не находишь? Этот Берже жуткая дрянь. Ты, наверно, уже знаешь, почему она в Serail? Она хочет накопить денег, чтобы заплатить за его побег, и тогда поедет к нему в Бразилию.

Чарли огорчился. Он поверил Лидии, будто она пошла в Serail, чтобы искупить грех Робера; идея эта, хоть и казалась нелепой, как ни странно, его тронула. Мысль, что Лидия ему солгала, потрясла его. Если Саймон говорит правду, Лидия его попросту дурачила.

– Знаешь, я писал об этом процессе в нашей газете, – продолжал Саймон. – В Англии статья произвела сенсацию, ведь этот малый, которого убил Берже, был англичанин, и газета не пожалела места. Мне повезло; во Франции я прежде не бывал на процессах об убийстве, а очень хотел на такое поглядеть. В Олд-Бейли^[89] я был, и мне любопытно было сравнить, как ведут такие дела французы и мы. Я написал о процессе очень подробный отчет, у меня он есть, если хочешь, дам почитать.

– Да, я прочел бы.

– Во Франции это убийство наделало шуму. Понимаешь, Робер Берже не бандит, ничего похожего. Он не из простых. Родители его порядочные люди. Он образован, вполне прилично говорит по-английски. Одна газета назвала его джентльменом-гангстером, и прозвище прикинулось; история захватила воображение публики, и он стал знаменитостью. К тому же он на свой лад красив, молод, ему всего двадцать два, как же им не

заинтересоваться. Женщины прямо с ума посходили. Господи, в суд было не протолкаться! Когда он вошел в зал, всех прямо затрясло. Два стража ввели его еще до появления судей, чтобы фотографии успели его запечатлеть. В жизни я не видал, чтобы человек был так спокоен. Одет он был вполне элегантно и вещи носить явно умеет. Свежевыбритый, аккуратно причесанный. Волосы темные, красивые. Он улыбался фотографам, по их просьбе поворачивался и так и эдак, чтобы лучше им позировать. Он походил на любого из молодых людей с большими деньгами, которых встречаешь в баре «Ритц» за стаканом вина и с девушкой. Меня даже забавляло, что он такой негодяй. Прирожденный преступник. Его родители, конечно, не были богаты, но они не голодали, и я думаю, уж сотня-то франков для него всегда находилась. Я написал о нем недурную статью для одного еженедельника, и французская пресса перепечатала из нее отрывки. Здесь это пошло мне на пользу. Я утверждал, что преступление для него своего рода спорт. Улавливаешь? Даже забавно, как я попал в точку. Он был, можно сказать, первоклассный теннисист, подумывали даже готовить его к состязаниям, но, странное дело, он отлично играл в обыкновенных матчах, у него была хорошая подача, и он отлично отбивал мяч, а вот когда доходило до турниров, он неизменно терпел неудачу. Что-то было не так. Ему не доставало силы сопротивления, решительности или чего-то еще, без чего теннисисту не стать чемпионом. Я подумал, есть тут какой-то занятный психологический сдвиг. Да и все равно его спортивной карьере пришел конец, так как каждый раз, как он появлялся в раздевалке теннисистов, у них стали пропадать деньги, и хотя улики против него не было, но все пострадавшие не сомневались, что виновник он.

Саймон снова зажег трубку.

– Одно меня особенно поразило в Робере Берже, это сочетание хладнокровия, самообладания и обаяния. Обаяние, конечно, бесценное свойство, но оно не часто встречается вместе с хладнокровием и самообладанием. Обаятельные люди обычно бесхарактерны и нерешительны, обаяние – оружие, которым природа возмещает их слабости. Такому человеку я никогда бы всерьез не доверился.

Чарли чуть насмешливо глянул на друга; тот всегда преуменьшал достоинства, которыми сам не обладал, ему необходимо было уверить себя, что эти чужие достоинства ничто по сравнению с теми, которыми обладает он. Но прерывать его Чарли не стал.

– Робер Берже оказался и не бесхарактерным, и не нерешительным. Он чуть не вышел сухим из воды. Надо отдать справедливость полиции, они

отлично потрудились, чтобы его уличить. Не было в их работе ничего сенсационного, захватывающего, просто они вели расследование дотошно и терпеливо. Возможно, им помог случай, но у них хватило ума не упустить его. Человек должен всегда быть к этому готов, только, знаешь ли, мало кому это дано.

Взгляд Саймона стал отсутствующий, и Чарли лишний раз убедился, что тот думает о себе.

– Вот чего Лидия мне не рассказала, это как полиция впервые его заподозрила, – сказал Чарли.

– Когда они впервые его допрашивали, у них и в мыслях не было, что он имеет какое-то отношение к убийству. Они искали человека куда более рослого и крепкого.

– А что из себя представлял этот Джордан?

– Я ни разу его не встречал. Негодяй он был, но по-своему славный малый. Все его любили. Всегда готов был любому поставить выпивку, а если кто оказался на мели, охотно открывал кошелек. Он был невелик ростом, в прошлом жокей, но в Англии ему предложили убраться подброду-поздорову, а потом выяснилось, что он отсидел девять месяцев в Уормуд Скрабз^[90] за подлог. Ему было тридцать шесть лет. В Париже он прожил десять лет. Полиция подозревала, что он замешан в торговле наркотиками, но уличить его не удалось ни разу.

– Но почему полиция вообще стала допрашивать Берже?

– Он был одним из завсегдатаев бара Жожо. Того, где Джордан обычно ел. Место это довольно подозрительное, его посещают жокеи, букмекеры, «жучки», контрабандисты и прочий люд сомнительной репутации, как это называем мы, журналисты, и полиция, понятно, беседовала с каждым из этой публики, кого ей удалось заполучить. Понимаешь, кого-то Джордан в тот вечер ждал, это ясно по тому, что на подносе стояли два стакана и кекс, и они думали, может, он кому-нибудь обмолвился, кого именно ждет. Не без оснований подозревали, что он гомосексуалист, и кто-нибудь из посетителей бара вполне мог видеть его поблизости в чьем-то обществе. Берже вроде водил с ним дружбу, и Жожо, владелец бара, сказал полицейским, что видел, как Берже несколько раз брал у того деньги. Берже однажды обвиняли в том, что он контрабандой провез из Бельгии во Францию героин, и двое парней, которые проходили по этому же делу, попали за решетку, он же как-то вывернулся. Полиция не сомневалась, что он виновен, и если Джордан имел отношение к наркотикам и из-за этого и погиб, Берже мог знать, чьих это рук дело. Берже темная личность. Его судили и еще за одно преступление – за кражу автомобиля, и он получил

два года условно.

– Это я знаю, – сказал Чарли.

– Прodelывал он это и очень просто, и на редкость хитроумно. Ждет, бывало, у какого-нибудь большого магазина, «Printemps» или «Bon Marché», видит, кто-то подъехал в «ситроене» и пошел за покупками, автомобиль оставил у обочины. Тогда он нахально шагает к автомобилю, будто только что вышел из магазина, вскакивает в него и отъезжает.

– А разве хозяева не запирают автомобили?

– Редко. А у него было несколько ключей к «ситроену». Он всегда держался одной марки. Попользуется автомобилем дня два-три, потом оставит его где-нибудь, а пожелав другой автомобиль, прodelывает все сначала. Он украл их десятки. Никогда не пытался их продавать, просто брал займы, когда ему для чего-нибудь бывал нужен автомобиль. Это и натолкнуло меня на идею моей статьи. Он их воровал просто для забавы, ради удовольствия применить свою дерзкую смекалку. Была у него и еще одна хитроумная прodelка, которая всплыла на суде. Он околачивался на автомобиле у автобусных остановок в часы, когда закрывались магазины, – заметит женщину, которая ждет автобуса, остановится и предложит подвезти ее. Я думаю, он неплохо разбирался в людях и знал, какого рода женщина скорее всего согласится проехаться с красивым молодым человеком. Итак, женщина садилась в автомобиль, он вез ее в ту сторону, куда она скажет, а на какой-нибудь сравнительно безлюдной улице останавливался, делал вид, что не может запустить мотор, просил женщину выйти, поднять капот и подкачать карбюратор, а он тем временем будет нажимать на автоматический стартер. Женщина исполняла его просьбу, оставив сумочку и свертки в автомобиле, вот уже мотор заработал, она собирается вновь сесть в автомобиль, и тут-то Берже включает скорость и, не давая ей опомниться, уносится прочь, только его и видели. Многие женщины, конечно, обращались в полицию, но видели они его в темноте и только и могли сказать, что за рулем «ситроена» был красивый, приличный на вид молодой человек с приятным голосом, а полиция только и могла, что объяснять им, как неразумно женщине соглашаться на предложение красивого, приличного на вид молодого человека ее подвезти. Берже ни разу не поймали. На суде обнаружилось, что он, должно быть, зачастую неплохо зарабатывал на этих прodelках.

В общем, парочка полицейских явилась к нему домой. Он не отрицал, что в тот вечер был в баре Жожо и посидел там с Джорданом, но ушел около десяти и после его не видел. Немного поговорив с Берже, полицейские предложили ему поехать с ними в комиссариат. Причем

заметить, у полицейского комиссара, который занимался расследованием убийства, и в мыслях не было, что Берже убийца. Он полагал, что Джордана с одинаковым успехом мог убить и какой-нибудь бандит, которого он привел к себе домой, и кто-то, связанный с торговлей наркотиками, кого он надул. В последнем случае комиссар надеялся уговорами, запугиванием, угрозами, не мытьем, так катаньем вынудить Берже сообщить полиции что-то, что поможет поймать человека, за которым она охотится.

Мне удалось взять у комиссара интервью. Этого малого зовут Лукас. Он несколько не похож на хорошо нам известный тип полицейского комиссара. Рослый здоровяк, краснощекий, густые усищи, большие блестящие черные глаза. Весельчак и, пари держу, превеликий любитель хорошо пообедать и выпить бутылочку вина. Он родом с Юга, и его южный выговор вовек не выкорчует. Смеется он таким дурацким смехом. По всем признакам, он добродушный весельчак, из тех, что хлопают тебя по спине и внушают полное доверие. Надо сказать, он на диво успешно добивался признания у подозреваемых. На редкость физически выносливый, он мог вести допрос шестнадцать часов подряд. Во Франции не существует допросов с пристрастием на американский лад, я хочу сказать, никаких побоев, зуботычин и прочего, лишь бы вырвать признание; тут просто вводят человека в комнату и заставляют стоять, не позволяют курить и не дают сесть и знай задают вопросы; спрашивают, спрашивают, спрашивают, сами курят, а если проголодаются, велют принести им еду; так продолжается всю ночь, они ведь знают, что ночью человеку всего трудней сопротивляться; и если он виновен, у него должна быть ох какая выдержка, чтобы ради чашки кофе и сигареты к утру не признаться. Но от Берже комиссар ничего не добился. Тот признал, что одно время был в приятельских отношениях с контрабандистами, перевозившими героин, но когда его обвинили, доказал свою невиновность и был оправдан. Сказал, что в юности наделал глупостей, за что получил урок, который пошел ему на пользу, в конце концов он всего лишь брал автомобиль взаймы на два-три дня, чтобы прокатиться с девушкой, не слишком это серьезное преступление, а теперь, когда он женился, он ведет добропорядочную жизнь. А что до торговцев наркотиками, он после того давнего суда начисто с ними порвал и понятия не имел, что Тедди Джордан с ними связан. Он был очень откровенен. Сказал комиссару, что страстно влюблен в жену и больше всего боится, как бы она не узнала о его прошлом. Ради нее, а также и ради себя самого и своей матери он твердо намерен впредь вести достойную жизнь порядочного человека. Веселый

толстяк все задавал вопрос за вопросом, но дружелюбно, сочувственно, и в мысль не придет, будто он желает тебе зла. Он приветствовал добрые намерения Берже, поздравил его с женитьбой по любви на бедной девушке, понадеялся, что у них будут дети, а это не только украшение дома, но и утешение родителей. Но он читал досье Берже; он знал, что в той истории с героинном Берже несомненно был виновен, хотя суд и не пожелал его осудить, в тот день он знал также, что из посреднической фирмы Берже уволили и судебного преследования он избежал только благодаря матери, она возместила убытки, вернула присвоенные им деньги. И, уверяя, будто после женитьбы он ведет честную жизнь, он солгал. Комиссар поинтересовался, как у него с деньгами. Берже признался, что он в стесненных обстоятельствах, но кое-что есть у матери, а сам он скоро наверняка получит работу, и тогда все будет в порядке. А деньги на карманные расходы? Время от времени он по мелочам играет на скачках и подыскивает клиентов букмекерам, так он и с Джорданом подружился, и получает комиссионные. А случается, и ходит с пустым кошельком.

«En effet^[91], – сказал комиссар, – вы говорили, что накануне того дня, когда был убит Джордан, вы оказались без гроша и заняли у него пятьдесят франков».

«Он был хорош со мной. Бедняга. Мне будет его не доставать».

Комиссар смотрел на Берже своими дружелюбными блестящими глазами, и ему подумалось, что совсем он не гнусен. Возможно ли это? Да нет, чепуха. Врет он, говоря, что порвал отношения с торговцами наркотиками. Ведь ему нужны деньги, а там можно хорошо заработать; Берже вращался среди той самой публики, которая употребляет наркотики. Комиссару казалось, хотя он и сам не знал, откуда у него такая мысль, что если Берже и не знает наверняка, кто убийца, то кого-то подозревает; конечно, он ничего не скажет, но если у него дома, в Нейи, найти героин, его можно будет и принудить. Комиссар превосходно разбирался в людях и не сомневался, что ради спасения собственной шкуры Берже выдаст дружка. Он решил задержать Берже в участке, и пускай в доме произведут обыск раньше, чем тот сумеет избавиться от всего, что там может храниться. С этой же мыслью он спросил, где и в какое время был Берже в вечер убийства. Тот сказал, что приехал из Нейи довольно поздно и пошел в бар Жожо; там было полно народу после скачек. Его угостили стаканчиком-другим, а Джордан, у которого выдался удачный день, сказал, что заплатит за его ужин. Он поел, послонялся по бару, но там было очень накурено, у него заболела голова, и он пошел пройтись по бульвару. Потом около одиннадцати вернулся к Жожо и оставался там до последнего поезда

метро в Нейи.

«Сказать по правде, вы отсутствовали достаточно долго, чтобы успеть убить англичанина», – шутливо заметил комиссар.

Берже расхохотался.

«Уж не собираетесь ли вы обвинить меня в этом?» – сказал он.

«Нет, в этом нет», – со смехом ответил комиссар Лукас.

«Поверьте, смерть Джордана для меня потеря. Пятьдесят франков он мне одолжил за день до того, как его убили, но это не первые деньги, которые я у него занимал. Может, оно и не очень по совести, но стоило ему выпить стаканчик-другой, и у него с легкостью можно было получить денежки».

«А все-таки в тот день он сорвал изрядный куш, и хотя уходил из бара незахмелевший, настроение у него было отличное. И вы могли подумать, а не лучше ли разом заполучить несколько тысяч франков, чем изредка получать по полсотни».

Комиссар сказал это скорее из желания подразнить Берже, на самом деле он вовсе так не думал. Но ему казалось, будет очень неплохо, если Берже испугается, что его подозревают в убийстве. В этом случае он охотнее назовет виновника, если у него есть на этот счет свои соображения. Берже вынул из кармана деньги и положил на стол. Там не было и десяти франков.

«Вам не кажется, что, ограбь я беднягу Джордана, у меня в кармане было бы побольше денег?»

«Ничего мне не кажется, мой дорогой. Я только отметил, что у вас было время убить Джордана и что деньги были бы вам очень кстати».

Берже ответил ему открытой обезоруживающей улыбкой.

«Не отрицаю ни того, ни другого», – сказал он.

«Буду с вами совершенно откровенен, – сказал комиссар. – Я не думаю, будто Джордана убили вы, но уверен, что если вы и не знаете, кто убийца, то хотя бы кого-то подозреваете».

Берже это отрицал и, как комиссар ни настаивал, стоял на своем. Было уже поздно, и комиссар решил, что лучше возобновить беседу на другой день, да притом ночь в камере заставит Берже поразмыслить о своем положении. Берже, который уже дважды попадал за решетку, знал, что протестовать бесполезно.

Торговцы наркотиками, знаешь ли, на какие только хитрости не пускаются, чтобы скрыть свой товар. Прячут его в полых тростях, в каблуках, в подкладке старой одежды, в матрацах и подушках, в кроватином остоле и еще невесть где, но полиции известны все их фокусы, и даю

голову на отсечение, если бы в доме Берже в Нейи что-нибудь было бы, они непременно бы нашли. Не нашли ничего. Но когда комиссар обыскивал спальню Лидии, он наткнулся на сумочку и удивился, очень уж дорогая вещь у женщины такого скромного достатка. Были у нее и часы, которые явно стоили больших денег. Она сказала, что это подарки мужа, и комиссар подумал, что любопытно бы узнать, откуда у него взялись деньги на это. Вернувшись в участок, он велел навести кое-какие справки и очень быстро узнал, что несколько женщин обращались в полицию, так как у них украл сумочки молодой человек, который предлагал подвезти их в «ситроене». Одна женщина оставила описание похищенной таким образом сумочки, и оно совпадало с той сумочкой, которую комиссар нашел у Лидии; другая женщина заявила, что в ее сумочке лежали золотые часы работы такого-то мастера. Имя того же мастера стояло и на часах Лидии. Стало ясно, что таинственный молодой человек, которого полиции никак не удавалось изловить, и есть Робер Берже. Это никак не давало ключа к разгадке убийства Джордана, но комиссар обрел еще одну возможность вынудить Берже проговориться. Он велел ввести Берже и попросил того объяснить, как к нему попали сумочка и часы. Берже сказал, что сумочку купил у девушки, которой нужны были деньги, а часы у мужчины, которого встретил в баре. Имени ни той, ни другого он назвать не мог. То были случайные люди, он с ними поговорил, но больше их не встречал. Тогда комиссар на законном основании его арестовал и, обвинив в воровстве и посулив наутро очную ставку с женщинами, которым явно принадлежали эти вещи, попытался уговорить его признаться и тем избежать неприятностей. Но Берже настаивал на своих показаниях и отказался отвечать, пока не пригласят адвоката; по французским законам арестованный имеет право требовать присутствия адвоката при допросе. Пришлось комиссару согласиться и на ночь прервать разбирательство.

Наутро обеих женщин, о которых шла речь, пригласили в комиссариат, и обе с первого взгляда признали свои вещи. Берже ввели в кабинет, и одна из них тотчас узнала в нем того любезного молодого человека, который ее подвез. Другая сомневалась: она приняла предложение подвезти ее поздно вечером и не разглядела его лица, но думала, что узнает его голос. Берже велели прочесть вслух несколько фраз из газеты, и не прочел он и десятка слов, как женщина воскликнула, что уверена, это он и есть. Должен сказать, голос у Берже необычно мягкий, ласкающий. Женщин отпустили, а Берже отвели обратно в камеру. Сумочка и часы лежали перед комиссаром на столе, и его взгляд лениво скользил по ним. Вдруг выражение его лица стало напряженно-внимательным.

Чарли его перебил:

– Саймон, ну откуда тебе это известно? Ты фантазируешь.

Саймон рассмеялся:

– Я немного драматизирую. Я тебе пересказываю свою первую статью. Ты ведь понимаешь, мне надо было расписать все это как можно красочнее.

– Тогда продолжай.

– Так вот, он послал за одним из своих людей и спросил, были ли на руке у Берже часы при аресте, и если были, велел их принести. Помни, все это всплыло потом, на суде. Полицейский принес часы Берже. Это была подделка под золото, они были из металла, который называется, кажется, ауреум, с круглым циферблатом. В газетах сообщалось множество подробностей, связанных с убийством Джордана; писали, например, что нож, которым был нанесен удар, найти не удалось, кстати, его так и не нашли; писали, что и полиция не обнаружила отпечатков пальцев. А ведь они должны были остаться либо на кожаном бумажнике, в котором Джордан держал деньги, либо на ручке двери, – значит, заключила полиция, убийца был в перчатках. Но вот об одном газеты не сообщали, потому что об этом умолчала полиция: комнату Джордана обыскали тщательнейшим образом и обнаружили осколки часового стекла. Осколки явно не были от часов Джордана, и вовсе не обязательно они были от часов убийцы, ну а вдруг, так или иначе, в волнении и спешке убийца случайно стукнулся о мебель и разбил стекло своих часов. В такую минуту он вряд ли бы это заметил. Осколки нашлись не все, но их хватило, чтобы стало ясно, что часы были небольшие и прямоугольные. Комиссар спрятал осколки в конверт, аккуратно завернув их в папиросную бумагу, а теперь разложил перед собой. Они как раз подходили к часам Лидии. Это могло оказаться просто совпадением; существуют тысячи часов такого же размера и формы. У часов Лидии стекло в целости. Но комиссар размышлял. Прокручивал в уме разные возможности. Похоже было, все они притянуты за уши, и он только плечами пожал. Разумеется, за те по меньшей мере три четверти часа, когда, как заявлял Берже, он прогуливался по бульвару, у него вполне хватило бы времени дойти до квартиры Джордана – всего десять минут ходу от бара Жожо, – совершить убийство, вымыть руки, привести себя в порядок и вернуться в бар; но с чего б ему носить часы жены? У него же есть свои. Свои, разумеется, могли испортиться. Комиссар задумчиво кивнул.

Чарли прыснул.

– Ну знаешь, Саймон!

– Помолчи. Он распорядился, чтобы сыщики обошли часовых дел

мастеров в радиусе двух километров вокруг дома Берже в Нейи. Им велено было спрашивать, не приносили ли им в починку за последнюю неделю часы из поддельного золота или не вставляли ли они стекло в дамские часики с прямоугольным циферблатом. Неделю спустя один из сыщиков вернулся и сообщил, что в часовой мастерской, примерно в четверти мили от дома Берже, мастер сказал, что чинил подходящие по описанию часы, и когда клиентка их забирала, она попросила вставить стекло в другие часы. Он тотчас это сделал, и она через полчаса за ними зашла. Он не помнит ее лица, но говорила она вроде с русским акцентом. Обе пары часов показали часовщику, и он заявил, что это те самые часы и есть. Комиссар так расплылся, словно сидел в марсельском ресторане «Старый порт» и перед ним поставили большую тарелку bouillabaisse^[92]. Теперь он знал, преступник у него в руках.

– Каково же объяснение?

– Просто, как дважды два. У Берже испортились часы, и он взял часы Лидии. Она редко выходила из дому и могла обойтись без них. Не забудь, в ту пору она была тихая, скромная, довольно робкая, без друзей, я бы сказал, какая-то вялая. На суде двое мужчин заявили под присягой, что видели эти часы на руке у Берже. Жожо, который был осведомителем, знал, что Берже мошенник, и заинтересовался, откуда у него такие часы. Как бы случайно он заметил Берже, что у него новые часы, и Берже сказал, что это часы жены. Лидия пошла за часами мужа наутро после убийства и заодно попросила вставить новое стекло в свои часы. Ей не пришло в голову сказать Берже, что он разбил стекло, и он так и не узнал об этом.

– Неужели, по-твоему, на этом основании его обвинили?

– Нет. Но это уже давало комиссару право предъявить ему обвинение в убийстве. Он решил и, как показало дальнейшее, не ошибся, что не заставит себя ждать и другая улика. Во время допросов Берже вел себя с поразительной находчивостью и самообладанием. Он признал все, что могло быть доказано, и больше не пытался отрицать, что украл сумочки у всех тех женщин; он признался, что даже после того, как был обвинен, продолжал угонять автомобили всякий раз, как приходила охота; уж слишком это было легко и он не мог устоять – чересчур сильна в нем тяга к риску, но он начисто отрицал свою причастность к убийству. Что осколки стекла подходят к часам Лидии, ровно ничего не доказывает, утверждал он, а она клялась самыми страшными клятвами, что часы разбила сама. Судебный следователь, к которому, как и полагалось, под конец поступило дело, был озадачен тем, что никаких следов денег, по всей вероятности украденных Берже, найти не удалось. Еще одна странность – на одежде, в

которой Берже был в тот вечер, не нашли никаких следов крови. Не нашелся и нож. Было доказано, что нож у Берже имелся, в его среде это не редкость, но он утверждал, что потерял его за месяц до убийства. Я уже тебе говорил, что сыщики очень неплохо поработали. Отпечатков пальцев обнаружить не удавалось ни на украденных автомобилях, ни на украденных сумочках, – опустошив их, Берже попросту выбрасывал их на улице, и некоторые потом попадали в руки полиции; тем самым стало очевидно, что он надевал перчатки. Среди вещей Берже полиция нашла пару кожаных перчаток, но вряд ли он пошел в них к Джордану, а по тому, где обнаружено было тело, ясно, что удар был нанесен, когда Джордан менял пластинку, и, значит, Берже убил его не тогда, когда Джордан впустил его в комнату. К тому же перчатки слишком большие, в карман не положишь, а будь он в них в баре, кто-нибудь бы их да заметил. Фотографию Берже, разумеется, напечатали все газеты, – зайдя в тупик, полиция обратилась за помощью к прессе. Просили объявиться любого, кто помнит, что примерно такого-то числа продал пару перчаток, вероятно, серых, молодому человеку в сером костюме. Газеты лихо разыграли эту карту, опять опубликовали фотографию, на сей раз под заголовком «Не вы ли продали перчатки, в которых он убил Тедди Джордана?».

Знаешь, меня всегда поражает, с каким злобным рвением люди стремятся выдать кого угодно. Они притворяются, будто ими движет общественный дух, но нет, не верю я этому; не верю даже, что это жажда известности, во всяком случае, как правило; по-моему, причина в человеческой низости, в удовольствии, которое получает человек, кому-нибудь навредив. Как ты, конечно, знаешь, считается, что министерство финансов и высокий суд по делам о разводах создали замечательную систему шпионажа, чтобы обнаруживать тех, кто уклоняется от уплаты налогов, а также тех истцов и ответчиков, кто ради развода вступает в тайный сговор. Так вот, это все неправда. Они опираются на анонимные письма. Счету нет людям, которые всегда рады случаю дать подножку тому, кто пытается избежать наказания.

– Мрачный вывод, – сказал Чарли, но прибавил бодро: – Надеюсь только, что ты преувеличиваешь.

– Ну, короче говоря, отозвалась женщина из отдела перчаток в магазине «Труа Картье», она сказала, что помнит, как в день убийства продала молодому человеку серые замшевые перчатки. Женщине этой, лет сорока, покупатель приглянулся. Он был очень озабочен тем, чтобы перчатки подошли к его серому костюму, и хотел, чтобы они были не слишком маленькие и легко надевались. Берже провели перед ней вместе с

дюжиной других молодых людей, и она тотчас на него указала, но его адвокат заявил, что сделать это ей было проще простого, ведь она только что видела его фотографию в газете. Потом полиции подвернулась одна темная личность, приятель Берже, и он сказал, что в вечер убийства видел, как тот шел не к бульвару, а в другую сторону, как раз в ту, где находилась квартира Джордана. Они пожали друг другу руки, и он заметил, что Берже в перчатках. Но свидетель этот был отъявленный негодяй. Репутация у него была прескверная, и на суде защитник Берже яростно обрушился на него. Берже отрицал, что в тот самый вечер они виделись, и адвокат старался убедить суд, что это сфабриковано, тот все придумал, чтобы подольститься к полиции. Роковой уликой оказались брюки. В газетах чего только не писали об элегантности Берже, о гангстере-франте и прочее; читая все это, можно было подумать, будто он покупал костюмы на Сэвил-роу^[93], а галантерейные мелочи у Шарве. Обвинение жаждало доказать, что он отчаянно нуждался в деньгах, и они обошли все лавки, где делались покупки для самого Берже и для хозяйства, хотели узнать, не требовали ли от него срочно оплатить счета. Но оказалось, для дома все покупалось за наличные и никаких долгов за семьей не числится. Что же до одежды, выяснилось, что с тех пор, как Берже уволили со службы, он купил себе только один серый костюм. Сыщик, который расспрашивал портного, поинтересовался, когда за костюм было заплачено, и портной справился с записями в книге. То был портной, рекламирующий свои изделия, дело у него было поставлено на широкую ногу, и он шил костюмы на заказ по сходной цене. И тогда оказалось, что Берже заказал к костюму запасную пару брюк. У полиции был список всего принадлежащего ему гардероба, и эта пара брюк в нем не значилась. Они тотчас поняли, как важна эта подробность, и решили до суда хранить открытие в тайне.

Можешь мне поверить, захватывающая была минута, когда обвинение сказало об этом вслух. Нет сомнений, у Берже были две пары брюк к новому серому костюму, и одна пара исчезла. Его спросили об этом, но он даже не пытался дать объяснения. Казалось, он ничуть не смутился. Сказал, он и не знал, что они исчезли. Прибавил, что последние месяцы, сидя в тюрьме в ожидании суда, не имел случая разбираться в своем гардеробе, а на вопрос, как все-таки он может объяснить их исчезновение, дерзко предположил, что кому-нибудь из полицейских, которые производили в доме обыск, понадобились новые брюки, и он их присвоил. Зато у мадам Берже было наготове объяснение, и, должен сказать, мне оно показалось весьма хитроумным. Она сказала, что Лидия гладила брюки, она всегда их гладила после того, как Робер в них выходил, уют был

чересчур горячий, и она их сожгла. Робер крайне привередлив в одежде, а деньги на костюм он собрал не без труда, и дома знали, что он рассердится на жену; поэтому, желая избавить ее от упреков и видя, как она испугана, мадам Берже предложила ничего ему не говорить; она избежит от этих брюк, а Робер, возможно, никогда и не узнает, что они исчезли. На вопрос, куда же она их подевала, мадам Берже ответила, что в дверь как раз позвонил какой-то бродяга, просил денег, а она вместо денег отдала ему брюки. Заинтересовались размерами прожженной дыры. Она клялась, что брюки стали никуда не годны, а когда обвинитель заметил, что можно было отдать их в художественную штопку, она ответила, что это стоило бы дороже самих брюк. Далее обвинитель предположил, что при стесненных обстоятельствах семьи Берже вполне мог бы носить их дома; уж лучше бы стерпеть его неудовольствие, чем выбрасывать вещь, которая еще могла послужить. Мадам Берже сказала, ей это не пришло в голову, она отдала их бродяге, поддавшись желанию поскорей от них отделаться. А не потому ли она спешила от них отделаться, что на них оказались пятна крови, заметил прокурор, и, пожалуй, она не отдала их так кстати подвернувшемуся бродяге, а своими руками их уничтожила. Она горячо это отрицала. Ну а где ж тогда бродяга? Он должен был бы узнать об убийстве из газет и, зная, что на карту поставлена человеческая жизнь, должен был бы объявиться. Мадам Берже повернулась к корреспондентам, в волнении вскинула руки и воскликнула:

– Пускай эти господа повсюду об этом напишут, пускай заклинаят его объявиться и спасти моего сына!

В роли свидетеля она была великолепна. Прокурор подверг ее беспощадному допросу, она яростно отбивалась. Он провел ее по жизни сына, и она признала все его провинности от истории в теннисном клубе до краж в посреднической конторе, хозяин которой, после того как Берже сознался, из сострадания простил его. Вину за все она полностью взяла на себя. Во Франции свидетелю дана гораздо большая свобода высказываться, чем в английском уголовном суде, и, горько упрекая себя, мадам Берже признала, что во всех ошибках сына виновато полученное им воспитание – слишком она ему потакала. Он единственный ребенок, и она его избаловала. Ее муж лишился ноги на войне, когда под огнем оперировал раненых, и его плохое здоровье требовало от нее неослабного внимания и заботы, даже в ущерб материнским обязанностям. Безвременная кончина мужа оставила несчастного мальчика без наставника. Она взывала к чувствам судей, многословно рассказывая, какое горе обрушилось на нее и сына, когда смерть лишила главы их маленькую семью. После смерти мужа

сын остался единственным ее утешением. Он всегда был горяч, своеволен, легко поддавался дурным влияниям, говорила она, но он такой любящий, и, в чем бы он ни был виноват, он никак не способен убить человека, от которого не видел ничего, кроме добра.

Однако ей не удалось произвести на суд хорошее впечатление. Она так расписывала свою безукоризненную добропорядочность, что это резало слух. Защищая обожаемого сына, она не упустила случая напомнить суду, что она дочь штабного офицера. Она была вся в черном, но одета элегантно, пожалуй, чересчур элегантно, и производила впечатление женщины, которая пытается жить выше своих возможностей; а лицо жесткое, решительное, и видно, что она очень себе на уме; невозможно было поверить, что подаст нищему корку хлеба, не то что брюки, пусть даже и негодные.

– А Лидия?

– Лидия выглядела довольно трогательно. Было уже вполне естественно, что она всеми силами старается спасти мужа. Когда она рассказывала, какой он был с нею добрый и нежный, это звучало даже трогательно. Ясно было, что она безумно его любит. Взгляд, каким она на него посмотрела, когда шла давать показания, не мог никого оставить равнодушным. Из всей толпы свидетелей, полицейских и сыщиков, тюремщиков, завсегдатаев бара, осведомителей, проходимцев, психиатров-экспертов (суд пригласил и экспертов, они обследовали Берже, и уж такой представили его психологический портрет, не обрадуешься), из всей этой толпы, скажу тебе, казалось, одной ею и владело человеческое чувство.

Берже защищал один из лучших адвокатов по уголовным делам, мэтр Лемуан, очень высокий, худой, с длинным бледным лицом, огромными черными глазами и гривой угольно-черных волос. Таких красноречивых рук, как у него, я в жизни не видал. В адвокатской черной мантии с двумя белыми полосами, спускающимися из-под подбородка, он был весьма внушителен. У него был глубокий сильный голос. Не очень понимаю почему, но он напоминал одну из загадочных фигур на картине Лонги. Был он не только оратор, но и актер. По виду человека он мог определить его характер, а по тому, как он молчал, – понять, что показания не заслуживают доверия. Видел бы ты, как ловко он обходился с враждебными свидетелями, как вкрадчиво вынуждал их противоречить самим себе, с каким презрением выставлял напоказ их низость, как высмеивал их притворство. Он умел быть обезоруживающе убедителен и отвратительно груб. Когда эксперты-психологи, повторно освидетельствовав Берже в тюрьме, дали заключение, что он самовлюбленный, самонадеянный,

лживый, жестокий, не способен различать добро и зло, неразборчив в средствах, не знает угрызений совести, мэтр Лемуан спорил с ними так убедительно, словно был ученым-психологом. Наблюдать за работой его изошренного мозга было сущее наслаждение. Обычно он говорил непринужденно, словно просто беседуя, но беседу эту украшал приятный голос и великолепное владение словом; все, что он говорил, могло безо всяких изменений стать страницей книги; а уж в своей заключительной речи он пустил в ход все свои таланты и просто ошеломил слушателей. Он утверждал, что улики неубедительны; он облил презрением показания имеющих дурную репутацию свидетелей; он сбивал суд с толку; он заявлял, что прокурор не сумел доказать справедливость обвинения, на основании которого можно было бы осудить его подзащитного. Он то вдруг обращался к судьям запросто, как человек к человеку, то взволнованно взывал к их милосердию, и голос его становился все громче, громче, и скоро уже его речь гремела в зале заседаний, как раскаты грома. Потом вдруг замолкал, да так выразительно, что у тебя мурашки шли по коже. Резюме его было великолепно. Он сказал присяжным, что они должны исполнить свой долг и судить по совести, но при этом умолял их отказаться от предубеждения, вызванного преступлениями, в которых обвиняемый сознался, а потом негромко, дрожащим от волнения голосом – Господи, как же это впечатляло! – напомнил им, что человек, которому прокурор требовал вынести смертный приговор, сын вдовы, дочери солдата, у которого есть заслуги перед Францией, и офицера, отдавшего за нее жизнь; он напомнил, что подсудимый недавно женился, женился по любви, и его молодая жена носит под сердцем плод их союза. Неужели они позволят этому невинному агнцу войти в мир с клеймом позора, ибо родитель осужден за убийство? Трескучие фразы? Ну конечно, но если бы ты был там и слышал эти душераздирающие речи, ты бы так не подумал. Черт возьми! Как публика плакала. Я сам чуть не расплакался, да увидел, как по щекам Берже текут слезы и он утирает глаза платком, и так мне это показалось смешно, что я овладел собой. Но это было нелегко, и никакие судебные исполнители не смогли бы остановить аплодисменты, которые разразились в зале, когда мэтр Лемуан сел.

Прокурор был плотный румяный малый лет тридцати пяти – сорока, по виду фермер с севера Англии. Он источал самодовольство. Так и чувствовалось, что для него это замечательный случай произвести сенсацию и сделать карьеру. Он был многословен и разглагольствовал так путано, что, если бы председательствующий время от времени не приходил ему на помощь, присяжные едва ли поняли бы, к чему он клонит. Он не

чурался дешевого мелодраматизма. В какую-то минуту он повернулся к Берже, который как раз что-то говорил одному из стражей, сидящему рядом на скамейке, и сказал: «Улыбайтесь, улыбайтесь, но вот когда со связанными за спиной руками вас выведут и при сером холодном свете занимающегося дня вы увидите гильотину во всем ее ужасе, вам будет не до улыбок. Тогда уж вы не улыбнетесь, вас затрясет от страха, и раскаяние стиснет вам сердце».

Берже с усмешкой глянул на стражника, с таким явным презрением он слушал прокурора, что, не будь тот одержим тщеславием, он бы поневоле смешался. И одно удовольствие было видеть, как с прокурором обходится Лемуан. Он осыпал его комплиментами, но таким язвительным тоном, что при всем своем тщеславии тот не мог не понять, что его выставляют на посмеище. Лемуан был беспощаден, но безупречно вежлив и снисходительно любезен, и во взгляде председателя суда можно было подметить искорку восхищения. Сильно сомневаюсь, что поведение прокурора на этом процессе помогло ему продвинуться по службе.

Трое судей сидели в ряд на скамье. В своих алых мантиях и черных квадратных шапочках они выглядели весьма внушительно. Двое, мужчины средних лет, ни разу не раскрыли рта. А председательствовал старичок с морщинистым обезьяньим лицом и усталым глухим голосом, но зоркий и проницательный; слушал он внимательно, говорил не сурово, но с бесстрастным спокойствием, которое даже пугало. В нем чувствовалась редкостная рассудительность человека, чуждого иллюзий касательно человеческой натуры. Без сомнения, он давно понял, что человек способен на любую гнусность, и принял это как нечто вполне естественное, как то, что у него две руки и две ноги. Когда суд удалился на совещание, мы, журналисты, вышли поболтать, выпить по чашке кофе. Все мы надеялись, что приговор вынесут быстро, ведь было уже поздно, а нам хотелось успеть дать материал в номер. Мы не сомневались, что Берже признают виновным. Бывая на процессах об убийствах, я заметил одну особенность – как не похоже впечатление, которое получаешь, сидя в суде, на то, которое выносишь из газетных отчетов. Когда читаешь те или иные показания обвиняемого, они кажутся не слишком убедительными, а когда присутствуешь при слушании дела, начинаешь сомневаться в его вине. За рамками отчета остается атмосфера, царящая в суде, чувство, владеющее всеми присутствующими, и оттого показания предстают в ином свете. Прошел час, и вот нам сказали, что суд вынес приговор, все опять потянулись в зал заседаний. Из камеры привели Берже, мы все встали, один за другим показались судьи. В переполненном помещении вспыхнул свет,

что-то было в этом зловещее. Пробрала дрожь дурного предчувствия. Ты бывал когда-нибудь в Олд-Бейли?

– Нет, по правде говоря, не был, – сказал Чарли.

– Я, когда в Лондоне, часто туда хожу. Самое место, чтобы изучать человеческую натуру. В Олд-Бейли возникает иное чувство, чем во французском суде, который произвел на меня совсем особое впечатление. Сам не знаю почему. В Олд-Бейли арестанту противостоит его величество закон. Он имеет дело с чем-то безликим, с отвлеченным Правосудием. В сущности, с отвлеченным понятием. И само по себе это чудовищно. Но во французском суде за те два дня, что я там провел, меня одолело другое чувство, мне не казалось, будто там все пронизано какой-то возвышенной идеей, я чувствовал, что закон – это механизм, помогающий буржуазному обществу защитить себя, свое имущество, свои привилегии от преступника, который на них покушается. Я не хочу сказать, будто суд несправедлив или приговор неправомерен, но чувствуется, будто там правит не столько принцип, которым не следует поступать, сколько общество, которое испугалось и оттого пришло в негодование. Заключение противостоит людям, которые хотят себя оберечь, а не как у нас, некоей свято чтимой идее. Это было не столько чудовищно, сколько страшно. Приговор гласил: виновен в убийстве со смягчающими вину обстоятельствами.

– Какие же это были обстоятельства?

– Да никаких не было, но французские судьи не любят приговаривать человека к смерти, а по французскому закону, когда есть смягчающие обстоятельства, смертный приговор вынести нельзя. Берже отделался пятнадцатью годами каторжных работ.

Саймон взглянул на часы и поднялся.

– Мне надо идти. Я дам тебе свои материалы о процессе, можешь почитать на досуге. И вот посмотри, это моя статья о преступлении как одном из видов спорта. Я показывал ее твоей подружке, но, по-моему, ей не больно понравилось. Во всяком случае, она вернула статью без единого слова. Как опыт язвительного юмора это недурно.

Глава седьмая

Чарли не хотелось читать статью Саймона при Лидии, и потому, когда он расстался с другом, он пошел в Дом инвалидов, заказал чашку кофе и, усевшись поудобней, погрузился в чтение. Он рад был прочесть связный отчет об убийстве и процессе, так как отрывочные рассказы Лидии его несколько сбили с толку. Она рассказывала ему то об одном, то о другом, не по ходу событий, а как диктовало ей чувство. В трех больших статьях Саймона все изложено было связно, последовательно, некоторые подробности Чарли уже знал от Лидии, другие ему были внове, но Саймону удалось восстановить четкую канву, по которой было легко следовать. Он писал почти как говорил, в беглом журналистском стиле, но сумел весьма наглядно представить фон, на котором разворачивались описываемые события. Гнетущее впечатление оставлял гнусный, полный превратностей мир, в котором живут темной, опасной жизнью все эти гангстеры, торговцы наркотиками, букмекеры и ипподромные жучки. Отбросы большого города, они существуют на сомнительные доходы, не доверяют друг другу, готовы ради выгоды продать лучшего друга и притом щедры, общительны, весело циничны, даже добродушны и, похоже, наслаждаются таким существованием со всеми его опасностями и злоключениями, которые поддерживают их в хорошей форме и дают почувствовать, что они живут полной жизнью. В этом мире все против всех, но неизбежная при этом настороженность пьянит и возбуждает. Там стреляют друг в друга из-за сущего пустяка, но с такой же готовностью несут угодившему в больницу приятелю цветы и фрукты, выложив за них последние деньги. Атмосфера эта, довольно искусно воссозданная Саймоном в его отчете, вселила в Чарли странную тревогу. Мир, который знал он, знал только его спокойную, счастливую внешнюю сторону, был точно красивое озеро, в котором отражаются рассеянные облака и ветлы, растущие по берегам, где катаются в байдарках беспечные юнцы, а их подружки опускают пальцы в теплую воду. Страшно подумать, что чуть глубже под зеркальной гладью зловещие водоросли протягивают щупальца, чтобы ухватить тебя и опутать, и всевозможные диковинные чудовища, ядовитые змеи, рыбы со смертоносными челюстями беспрестанно тайно воюют меж собой. По иным словечкам в этих статьях у Чарли создалось впечатление, что Саймон завороченно всматривается в таинственные глубины, и он спрашивал себя, только ли любопытство или какое-то

пугающее влечение побуждало Саймона равнодушно и снисходительно наблюдать за проходимцами и негодяями.

В этом мире Робер Берже чувствовал себя в своей стихии. Принадлежа к более привилегированному сословию и более образованный, чем почти все здесь, он пользовался известным авторитетом. Его обаяние, непринужденность и положение в обществе привлекали к нему его сотоварищей, но и заставляли держаться на чеку. Они знали, что ему нельзя доверять, но, как ни странно, у них было превратное представление, что раз он *garçon de bonne famille*^[94], сын почтенных родителей, значит, таким он и должен быть. Действовал он по большей части один, без сообщников, и о своих делах помалкивал. Вся эта публика догадывалась, что он их презирает, но они невольно восхищались, что он ходит на концерты и рассказывает об услышанном пылко и, похоже, со знанием дела. Они не понимали, что в их компании он чувствовал себя на редкость легко и свободно. В доме матери, среди ее друзей ему было одиноко и не по себе; его раздражала бездеятельность добропорядочного существования. После того как его судили за кражу автомобиля, он как-то сказал Жожо в редкую минуту откровенности: «Теперь мне незачем больше притворяться. Вот был бы жив мой отец, он бы выгнал меня из дому, и тогда я волен был бы жить как хочу. Ну а бросить мать я ведь не могу. Кроме меня, у нее ничего и никого».

«Преступление – штука невыгодная», – сказал Жожо.

«Похоже, ты на нем неплохо наживаешься, – со смехом возразил Робер. – Но суть не в деньгах. Суть в другом – это встряска, испытываешь свою силу. Все равно как нырять с большой высоты. Кажется, вода страшно далеко, но ты прыгаешь, а когда выныриваешь, черт возьми, чувствуешь себя молодцом».

Чарли сунул в карман газетные вырезки и, чуть нахмурясь от усилия собрать воедино все, что узнал о Робере Берже, попытался окончательно представить, что же это за человек. Проще всего сказать, это ничтожество, дрянь, и слава богу, что общество от него избавилось; справедливо, конечно, но слишком простое, слишком огульное суждение, на нем не успокоишься; Чарли пришло на ум, что люди, должно быть, сложнее, чем он воображал, и если просто сказать, что человек такой или сякой, этого еще совсем недостаточно. Вот страсть Робера к музыке, особенно к русской музыке, что, на беду для Лидии, свела этих двоих. Чарли и сам очень любил музыку. Музыка дарила ему радость, наслаждение, отчасти чувственное, отчасти интеллектуальное, захлестывала и опьяняла красотой звуков, но это не мешало ему трезво оценивать мастерство, с каким

композитор воплощал свою идею. Быть может, впервые в жизни он заглядывал в себя, пытаясь понять, что же доподлинно он ощущает, когда слушает какую-нибудь прекрасную симфонию, и ему казалось, его охватывает множество чувств – волнение и в то же время покой, любовь к людям, готовность что-то для них сделать, желание быть хорошим, восхищение добром, приятная истома и странная отрешенность, словно он парит над миром, и что бы там ни происходило, не так уж это и важно; и, быть может, если бы собрать воедино все эти чувства и назвать целое по имени, имя ему будет счастье. Ну а Робер Берже, что испытывает он, когда слушает музыку? Явно ничего похожего. Или это несправедливо – думать, что в таком вот Берже музыка будит только чувства низкие и никчемные? А разве не может быть, что музыка его освобождает от власти дьявола, от дьявола, который много сильнее его самого, так что он не может ни избавиться, ни даже захотеть избавиться от жажды, влекущей его к преступлению, ибо в преступлении проявляет себя его извращенная натура, и, противоборствуя силам закона и порядка, он утверждает свою личность, – разве не может быть, что в музыке он обретает покой от этой движущей им силы, недолго отдыхает в чудесном согласии с миром, и в просвете между тучами ему видятся любовь и добро?

Чарли знал, что значит быть влюбленным. Знал, что, когда влюблен, люди становятся тебе милы, ради любимой ты готов на все, даже и помыслить не можешь причинить ей боль и не устаешь удивляться, что же она в тебе нашла, ведь она, конечно, чудо, а ты, если честен с собою, должен признать, что не стоишь ее мизинца. И если он сам так чувствовал, думалось Чарли, значит, и все остальные чувствуют так, не исключая и Робера Берже. Нет сомнений, он страстно любил Лидию, но если любовь наполняла его... тут Чарли споткнулся о слово, которое пришло ему на ум, едва не покраснел от смущения... ну да ладно, наполняла его святостью, тогда как же он мог совершать омерзительные, ужасные преступления. Значит, в нем два человека. Чарли был озадачен, да это и неудивительно в его двадцать три года, ведь люди и старше и мудрее не в состоянии понять, как негодяй, подобно святому, может любить чистой, бескорыстной любовью. И возможно ли, чтобы даже теперь Лидия любила его преданной, всепрощающей любовью? Зная, какое ее муж ничтожество.

– Человеческую натуру не так-то легко понять, – пробормотал Чарли.

Сам того не ведая, он сказал золотые слова.

Но когда он подумал, какой силы любовь владеет Лидией, какой любовью вызван каждый ее поступок, рождена каждая мысль, ему пришло на ум, что любовь подобна симфоническому сопровождению, что сообщает

глубину и значимость мелодии – ее повседневной жизни, он невольно отпрянул в благоговейном ужасе, как испуганный и зачарованный отпрянул бы при виде лесного пожара или буйно разлившейся реки. Не укладывалось это в его жизненный опыт. Рядом с такой любовью его влюбленность всего лишь легкий флирт, и чувство, что время от времени придавало очарование и веселье его довольно однообразной жизни, не более чем мальчишеская сентиментальность. Просто непостижимо, как уместается в этой заурядной, невзрачной маленькой женщине страсть такого накала. Ощущаешь ее не только в том, что Лидия говорила, но и, так сказать, чутьем в ее отчужденности, в том, что, несмотря на все доверие, с каким она к тебе отнеслась, она держит тебя на расстоянии; читаешь эту страсть в глубине прозрачных глаз Лидии, в пренебрежительной складке губ, когда она не знает, что на нее смотрят, слышишь в ее звучном певучем голосе. Любовь Лидии совсем не походила на знакомые Чарли цивилизованные чувства, было в ней что-то жуткое, отталкивающее, и, несмотря на высокие каблучки и шелковые чулки, жакет и юбку, Лидия казалась не современной женщиной, а дикаркой с первобытными инстинктами, в темных глубинах ее души затаилось обезьяноподобное существо, пращур человека.

– Господи! Во что же это я ввязался? – вырвалось у Чарли.

Он обратился к статье Саймона. Саймон явно поработал над ней, стиль статьи был куда отточенней, чем в его отчетах о суде. Она была пронизана иронией, написана без предубеждения, но за этой непредубежденностью чувствовалось тревожное любопытство, с каким он рассматривал характер человека, которого не обуздывали ни сомнения, ни страх перед последствиями его поступков. То было небольшое талантливое эссе, но такое бесчувственное, что даже становилось не по себе. Стараясь выжать все, что только можно, из оригинальной темы, Саймон забыл, что речь-то о живых людях и их чувствах; и если, читая, ты улыбался, – а эссе не лишено было горького остроумия, то улыбка выходила болезненная. Оказалось, Саймон каким-то образом ухитрился посетить домик в Нейи и, чтобы дать представление об обстановке, в которой жил Берже, с едким юмором описал безвкусную, душную и претенциозную комнату, куда его ввели. В обстановке гостиной смешались предметы двух разных гарнитуров, одни – в стиле Людовика Пятнадцатого, другие – в стиле ампир. Одни резного дерева с позолотой и обиты голубым шелком в розовых точках; другие – желтым атласом. Посреди комнаты стол искусной резьбы с мраморной столешницей. Оба гарнитура, должно быть, сработаны в какой-нибудь из мастерских стильной мебели, расположенных на бульваре Сент-Антуан, и

куплены на аукционе, когда первоначальные владельцы захотели от них избавиться. При двух диванах и множестве стульев там приходилось двигаться с осторожностью, и куда бы ни сел, сидеть было неудобно. На стенах большие, писанные маслом картины в тяжелых золоченых рамах, вероятно, купленные на аукционе, благо по дешевке.

Прокурор весьма правдоподобно воссоздал историю преступления. Джордан явно был неравнодушен к Роберу Берже. Тому доказательство обеда, которыми Джордан его угощал, победители на скачках, которых он ему загодя называл, и деньги, которыми его ссужал. Наконец Берже согласился прийти к нему домой, и чтобы их совместный уход из бара не привлёк внимания, они уговорились выйти врозь, сперва один, а через несколько минут другой. Потом, как и было условлено, они встретились, и в квартиру Джордана несомненно вошли вместе – ведь консьержка показывала, что в тот вечер она не впускала никого, кто бы спрашивал Джордана. Жил он на первом этаже. Берже, не снимая новых элегантных перчаток, сел и закурил, а Джордан достал виски, содовую, принес из кухоньки кекс. Пиджак он снял, такие, как он, дома обычно не ходят при полном параде. Поставил пластинку. Патефон был старомодный, дешёвый, без автоматической смены пластинок, и в ту самую минуту, когда он ставил другую пластинку, Берже подошел сзади, словно желая посмотреть, что это за пластинка, и вонзил ему в спину нож. Заявление защитника, будто Берже не мог нанести удар той силы, какую показало вскрытие трупа, сущая нелепость. Берже очень крепкий, жилистый. Люди, знавшие его в те времена, когда он играл в теннис, свидетельствуют, что он славился силой удара справа. Классным теннисистом он не стал не из-за его физических данных, а из-за некоей психологической уязвимости, ослабляющей волю к победе.

Саймон был согласен с точкой зрения прокурора. Считал, что обвинение изложило факты вполне точно и причина, по которой Джордан пригласил к себе молодого человека, указана правильно, но был убежден, что неверно полагать, будто Берже убил Джордана из-за денег, которыми он разжился в тот день. Прежде всего покупка перчаток показывает, что он задумал убить Джордана, еще не зная, что у того к вечеру окажется необычно крупная сумма. Хотя этих денег так и не нашли, Саймон все равно не сомневался, что Берже их взял, но просто заодно; как было не взять, когда они оказались под рукой, однако не ради них он убил Джордана. Полиция заявляла, что Берже украл от пятидесяти до шестидесяти автомобилей; и ни один даже не попытался продать; через несколько часов, самое большее через несколько дней просто бросал их на

улице. Он похищал машину, когда она бывала ему нужна, но еще того больше из желания испытать свою смелость и находчивость. Обкрадывая женщин с помощью своей нехитрой уловки, он не очень мог с этого разжиться; скорее то были розыгрыши, которые потрафляли его чувству юмора. Тут требовалось обаяние, и ему нравилось пускать его в ход. Он посмеивался, представляя онемевших, ошарашенных женщин, когда бросал их посреди безлюдных улиц, а сам уносился прочь. Короче говоря, то был своего рода спорт, и при каждой удаче Берже исполнялся самодовольства, словно, играя в теннис, благодаря ловкой свече или укороченному удару выиграл у противника очко. Успех придавал ему уверенность. Риск, необходимость хладнокровия, умение мигом принимать решения, когда уже кажется, тебя вот-вот разоблачат, привлекали его куда сильнее больших денег, ради которых он связался с контрабандой наркотиков. Эти его забавы были сродни скалолазанию: требовалась уверенность в каждом шаге, присутствие духа; жизнь зависела от твоего мужества, силы, от врожденного чутья; но когда преодолены все трудности и цель достигнута, как замечательно после безмерного напряжения почувствовать, что все уже позади, и как пьянит ощущение победы. Для Берже, при его скромном достатке, комиссионные, получаемые от букмекера, на которого он работал, были, разумеется, далеко не мелочью, но платил тот понемножку, а Берже все растратил, когда возил Лидию по ночным клубам да на экскурсии и загородные прогулки или прокутил с приятелями в баре Жожо. К тому времени, как его уличили, у него не осталось ни гроша; уличили же его по чистой случайности; он придумал такой хитрый способ обжуливать того букмекера, что это могло сходить ему с рук бесконечно. И опять получалось, что преступление он совершил не столько ради денег, сколько для забавы. Он вполне откровенно признался адвокату, что не мог устоять перед соблазном одурачить своего нанимателя, слишком уж большим умником тот себя воображал.

Но к тому времени, осуществляя свой план, Робер Берже почувствовал, что ему уже не доставляют удовольствия мелкие беззакония, продолжал Саймон. Когда-то, за одно из первых попав в тюрьму, в ожидании суда, он свел там дружбу со старым каторжником, и восторженно заслушивался его рассказами. То был вор-домушник, охотник за драгоценностями, и иные его подвиги на этом составили увлекательнейшую повесть. Прежде всего он избирал жертву, потом терпеливо наблюдал за ней, прослеживал ее привычки, тщательно изучал дом и все вокруг; надо было разведать, не только где хранятся драгоценности и как войти в дом, но и как в случае чего мигом оттуда

улизнуть; а уж когда тебе все известно, подолгу ждешь удобного случая. Задумаешь присвоить драгоценности, а покуда улучишь минуту цапнуть добычу, проходят месяцы. Неизбежность долгого ожидания отталкивала Берже; ему хватало отваги, и ловкости, и присутствия духа, но нипочем не хватило бы терпения, которое требовалось для сложной подготовки к ограблению.

Саймон уподоблял Робера Берже охотнику на куропаток и фазанов, которому за много лет наскучило искусство стрелять мелкую дичь, вот он и возжаждал заняться охотой, которая сопряжена с опасностью, и занялся крупной дичью. Никому не ведомо, когда Робером Берже завладела мысль об убийстве, но можно предположить, что она крепла у него постепенно. Точно художник, обремененный замыслом, что зреет в его душе и ищет выхода, который не будет знать покоя до тех пор, пока не освободится от своего бремени, Берже чувствовал, что, совершив убийство, он наконец состоится. До предела выразив таким образом свою личность, он успокоится и тогда сможет зажить с Лидией размеренной и благопристойной жизнью. Его инстинкты будут удовлетворены. Он понимал, преступление это чудовищное, понимал, что рискует головой, но как раз чудовищность и соблазняла его, а риск делал преступление таким привлекательным.

Дочитав до этого места, Чарли отложил статью. И подумал, что, право же, Саймон уж слишком расфантазировался. Можно представить, что человек убивает в минуту неукротимой ярости, но, как ни старайся, не вообразишь того, кто совершает убийство – причем даже не ради денег, но, по версии Саймона, из чисто спортивного интереса – потому что жаждет, кого-то убив, утвердить самого себя. Неужели Саймон и вправду верил в эту свою теорию или просто думал, что так статья произведет большее впечатление. Чарли принялся читать дальше, хотя его красивое лицо оставалось хмурым.

Если бы обстоятельства не предназначили Джордана в жертву, писал далее Саймон, вероятно, Робер Берже просто потешил бы себя таким замыслом да и успокоился. Наверно, не раз, выпивая с кем-нибудь из приятелей, он подумывал, не прикончить ли собутыльника, и отбрасывал эту мысль – слишком трудно было ее осуществить или слишком велика опасность разоблачения. Но когда случай свел его с Тедди Джорданом, он, должно быть, почувствовал, вот подходящая жертва! Джордан иностранец, у него тьма знакомых, но близких друзей нет, и живет он один в глухом закоулке. Он мошенник, связан с торговлей наркотиками, и если однажды его найдут мертвым, полиция скорее всего предположит, что он убит в

какой-нибудь сваре между гангстерами. Если полиция и не знает о его сексуальных вкусах, то наверняка узнает после его смерти и, вполне вероятно, предположит, что его убил какой-нибудь бандюга, который захотел получить с него больше денег, чем Джордан намерен был дать. Бандитов, вымогателей, торговцев наркотиками и прочих темных личностей, которые могли разделаться с убитым, великое множество, и полиция не будет знать, куда кидаться, и во всяком случае он нежелательная личность, иностранец и совсем не плохо, что он больше не будет путаться под ногами. Проведут расследование и, если вскорости ничего не выяснят, преспокойно поставят на нем крест. Берже понял, что Джордан положил на него глаз, и стал играть с ним, как удильщик с форелью. Назначал свидания и не приходил. Вроде бы давал обещания и не исполнял их. Если Джордан, заподозрив, что Берже водит его за нос, грозил с ним порвать, тот пускал в ход свое обаяние, чтобы вынудить Джордана набраться терпения. Джордан думал, это он преследует Берже, а тот убегает. А Берже втихомолку над ним потешался. Он выслеживал Джордана, как охотник изо дня в день выслеживает в джунглях пугливого и осторожного зверя и поджидает своего часа, зная, что, несмотря на все свое чутье и опаску, животное в конце концов попадет к нему в руки. Берже вовсе не чувствовал к Джордану враждебности, не питал к нему ни приязни, ни неприязни и потому без помех наслаждался охотой. Когда наконец дело было сделано и маленький букмекер мертвый лежал у его ног, не испытал он ни страха, ни угрызений совести, но лишь самозабвенный восторг.

Чарли дочитал эссе. И дрожь его пробрала. Он не знал, что больше его ужасало – бездушие и жестокое вероломство Берже или то, как невозмутимо, со вкусом описывал Саймон работу извращенного и порочного ума убийцы. Правда, описанное – плод его воображения, но как же страшны его собственные инстинкты, если он со вкусом заглядывает в эти мерзкие тайники? Саймон наклонился, вглядываясь в душу Берже, как можно наклониться над краем устрашающей бездны, и, похоже, увиденное вызвало в нем зависть. Чарли не понимал, откуда у него сложилось впечатление, что, когда Саймон писал, он спрашивал себя, а достало ли бы ему, Саймону Фенимору, бесстрашия и дерзости для такого ужасного, жестокого и бессмысленного шага – ведь ни в тщательно отделанных фразах, ни в отдающей легкомыслием иронии это никак не ощущалось. Чарли вздохнул.

«Я знаю Саймона почти пятнадцать лет. Мне казалось, я его знаю как облупленного. А теперь мне кажется, я совсем его не знаю».

И тут он радостно улыбнулся. Есть у него отец, мать, Пэтси. Завтра, усталые от заполненных весельем и смехом дней, они, должно быть, уедут от Терри-Мейсонов и с радостью вернутся в свой красивый, артистичный и уютный дом.

«Они, слава богу, обыкновенные порядочные люди. С ними знаешь, на каком ты свете».

Его вдруг захлестнуло волной любви к ним.

Но уже поздно; вот-вот вернется Лидия. Чарли не хотел, чтобы она ждала одна в этой убогой комнате, ей будет одиноко, бедняжке; он сунул эссе в карман вместе с другими вырезками и зашагал к гостинице. Он зря беспокоился. Лидия еще не пришла. Чарли взял «Мэнсфилд-парк», который вместе с томиком стихов Блейка только и прихватил с собой, и принялся читать. Чудесно оказаться в обществе воспитанных людей, и хотя их отделяло от него более сотни лет, они казались живыми, как любой, кого встречаешь сегодня. Была в их упорядоченной жизни изящная непринужденность, и горести, от которых они страдали, были не столь серьезны, чтобы из-за них расстраиваться. Правда, Золушка – ужасная маленькая резонерка, а Сказочный принц – несносный педант; правда, поневоле захочешь, чтобы она не отдавала свое добродетельное сердечко этому чопорному глупцу, а приняла предложение обаятельного и остроумного негодяя; и все же снисходительно миришься с намерением Джейн Остен вознаградить здравый смысл и наказать легкомыслие. Ничто не может притупить остроту наслаждения, которое испытываешь от ее мягкой иронии и язвительного юмора. Книга отвлекла мысли Чарли от истории порока и преступления, в которую он оказался так странно вовлечен. Из запущенной, унылой комнаты он мысленно перенесся на зеленую лужайку и приятным летним вечером сидел там под огромным кедром; а с лугов за парком доносился аромат скошенной травы. Но Чарли почувствовал, что проголодался, и взглянул на часы. Половина девятого. Лидия еще не вернулась. Быть может, она и не намерена возвращаться? Не очень-то было бы мило вот так его оставить, ничего не объяснив, не сказав ни словечка на прощание, при мысли об этом он даже рассердился, но потом пожал плечами.

«Не хочет возвращаться, ну и пусть ее».

Чего ради ее ждать? И он отправился ужинать, предупредив портье, где он будет, чтобы Лидия могла присоединиться к нему, если придет. Он сам не знал, льстило ли ему, забавляло или раздражало, что персонал гостиницы обходился с ним с некоей доверительной фамильярностью, словно его интрижка – а что у него интрижка, они, конечно, не

сомневались, – им тоже доставляла удовольствие. Портье благосклонно улыбался, а молоденькая кассирша была исполнена взволнованного любопытства. Чарли усмехнулся при мысли, как бы они изумились, узнай они, сколь невинны его отношения с Лидией. Он поужинал в одиночестве и вернулся, а она все еще не пришла. Он поднялся к себе в номер и опять раскрыл книгу, но теперь плохо удавалось сосредоточиться. Если к двенадцати она не вернется, решил он, он махнет на нее рукой и пустится в загул. Это же нелепо – провести в Париже чуть не неделю и не развлечься. Но в самом начале двенадцатого Лидия отворила дверь и вошла, при ней был изрядно потертый чемоданчик.

– Ох, устала, – сказала Лидия. – Я прихватила с собой кое-что из вещей. Сейчас вымоюсь, и пойдем ужинать.

– Вы не ужинали? А я уже.

– Уже?

Она, похоже, удивилась.

– Сейчас половина двенадцатого.

Лидия рассмеялась:

– До чего же вы англичанин! Вам необходимо ужинать всегда в одно и то же время?

– Я проголодался, – сухо ответил Чарли.

Ему казалось, не худо бы ей извиниться, что она заставила его так долго ждать. Но ей, конечно же, это и в голову не пришло.

– Ну да ладно, не важно. Не нужен мне никакой ужин. Ну и денек у меня выдался! Алексей был пьян, поругался с Полем, потому что Поль не ночевал дома, и Поль сбил его с ног. Евгения плакала и все повторяла: «Господь нас наказывает за наши грехи. До чего я дожила – мой сын ударил своего отца. Что с нами со всеми будет?» Алексей тоже плакал. «Всему конец, – сказал он. – Дети больше не уважают родителей. Ох, Россия, Россия!»

Чарли подмывало засмеяться, но он видел, что для Лидии все это очень серьезно.

– И вы тоже плакали?

– А как же, – с холодком в голосе ответила она.

Она переоделась, была сейчас в черном шелковом платье, довольно простом, но хорошо сшитом. Платье ей шло. В этом платье ее светлая кожа казалась еще нежнее и глаза еще голубее. А черная, довольно кокетливая шляпка с пером была ей куда больше к лицу, чем старая фетровая. Изящный наряд наложил на нее отпечаток – она выглядела элегантней и держалась с изящной уверенностью. Теперь она походила уже не на

продавщицу, но на молодую женщину из более почтенной среды, и такой хорошенькой Чарли ее еще не видел, однако сейчас еще ясней было, что с ней, так сказать, кашу не сваришь, если раньше она выглядела добропорядочной работницей, которая умеет за себя постоять, теперь, казалось, эта модная молодая женщина вполне способна поставить на место не в меру предприимчивого молодого человека.

– На вас другое платье, – сказал Чарли, он уже почти справился со своим дурным настроением.

– Да, единственное мое нарядное платье. Я подумала, что вам, должно быть, совестно появляться на людях с такой замухрышкой. Уж если красивый, хорошо одетый молодой человек идет в ресторан, он по меньшей мере должен быть уверен, что люди не станут недоумевать, с чего это он расхаживает с неряхой в обносках прислуги? Надо же мне постараться выглядеть хоть так, чтобы вас не осрамить.

Чарли рассмеялся. Право же, есть в ней что-то очень милое.

– Ну, пойдемте-ка я вас покормлю. И посижу с вами. Если я не ошибаюсь насчет вашего аппетита, вы сейчас готовы съесть быка.

И в отличном настроении они вышли из номера. Пока Лидия поглощала дюжину устриц, бифштекс и жареный картофель, Чарли пил виски с содовой и курил. Она подробнее рассказала ему о том, что увидела у своих русских друзей. Их положение ее очень тревожило. Денег нет, кроме той малости, что зарабатывают дети. Рано или поздно Полю надоест отдавать деньги родителям, и он исчезнет, окунется в подозрительную ночную жизнь Парижа, а когда потеряет молодость и красоту, кончит слугой в какой-нибудь гостинице с дурной славой, да и то если повезет. Алексей все больше спивается, и даже если ему случайно подвернется работа, он на ней не удержится. У Евгении больше не хватает мужества справляться с бесконечными трудностями, она отчаялась. Им всем не на что надеяться.

– Понимаете, они покинули Россию двадцать лет назад. Долгое время они думали, что там все переменится и они вернутся, но теперь понимают, что на это рассчитывать нечего. Революция тяжело ударила по таким людям; теперь им и всему их поколению только и остается умереть.

Но тут Лидия догадалась, что вряд ли ее слушателю так уж интересны люди, которых он в глаза не видал. Откуда ей было знать, что пока она рассказывала ему о своих друзьях, он внутренне поеживался от мысли, что, если он правильно понимает Саймона, как раз такую судьбу тот и готовит ему, его родителям, сестре и их друзьям. Лидия заговорила о другом.

– Чем же вы занимались сегодня? Пошли посмотрели какие-нибудь

картины?

– Нет. Я ходил к Саймону.

Лидия смотрела на него со снисходительным интересом, но, услышав его ответ, нахмурилась.

– Не нравится мне ваш приятель Саймон, – сказала она. – Что вы в нем находите?

– Я его знаю с детства. Мы вместе учились в школе, и в Кембридже тоже. Он всегда был моим другом. Чем он вам не нравится?

– Холодный он, расчетливый, бесчеловечный.

– Думаю, вы не правы. Я как никто знаю, что он способен горячо любить. Он очень одинок. Думаю, он тоскует по любви, но ни в ком ее не встречает.

В глазах Лидии сверкнул насмешливый огонек, но, как обычно, не лишенный печали.

– Вы чересчур сентиментальны. Как можно надеяться вызвать в ком-нибудь любовь, если не готов отдать себя? Хотя вы и знаете его столько лет, вряд ли вы знаете его так же хорошо, как я. Он много времени проводит в Serail; девушку он выбирает редко, да и то не от желания, а из любопытства. Мадам его привечает отчасти потому, что он журналист, а она хочет ладить с прессой, и еще потому, что иногда он приводит иностранцев, а они пьют много шампанского. Ему нравится с нами разговаривать, и ему не приходит в голову, что он нам мерзок.

– Имейте в виду, знай он об этом, он бы не обиделся. Просто полюбопытствовал бы почему. Он не самолюбив.

Лидия продолжала, будто и не слышала Чарли:

– Он едва ли считает нас за людей, он нас презирает и все же ищет нашего общества. С нами он не стесняется. По-моему, он считает, мы пали так низко, что он может быть самим собой, а перед всем прочим миром надо всегда появляться в маске. Он на удивление нечуткий. Думает, с нами можно позволить себе что угодно, задает нам вопросы, от которых нам стыдно, и совершенно не понимает, как больно он нас ранит.

Чарли молчал. Он отлично знал, что Саймон, при его ненасытном любопытстве, мог отчаянно смутить человека, а когда его вопросы возмущали людей, он лишь удивлялся и презирал их. Он-то был не прочь обнажить душу, и ему было невдомек, что сдержанность других людей вызвана не тупостью, как он воображал, а скромностью.

– И однако, он способен на такое, чего от него никак не ждешь, – продолжала Лидия. – Одна наша девушка вдруг заболела. Доктор сказал, что нужна немедленная операция, и Саймон сам отвез ее в частную

лечебницу, чтобы ей не пришлось ложиться в больницу для бедных, и заплатил за операцию, а потом устроил ее еще и в санаторий и тоже за это заплатил. А ведь он даже никогда с ней не спал.

– Меня это не удивляет. Деньги для него ничто. Так или иначе это показывает, что он может быть бескорыстным.

– А вам не кажется, что он хотел проверить на себе, что же это за чувство такое – доброта?

Чарли засмеялся:

– Я вижу, вы не больно жалуете беднягу Саймона.

– Он много со мной разговаривал. Хотел, чтобы я рассказала все, что знаю про русскую революцию, и свела бы его к Алексею и Евгении, хотел и их расспросить. Он ведь писал отчеты о суде над Робером. Пытался выудить из меня побольше подробностей. Он и спал-то со мной, потому что думал побольше от меня узнать. Он написал об этом статью. Вся та боль, весь ужас и позор были для него только поводом выстроить в ряд громкие, ничего не значащие слова. И он дал мне прочесть, ему любопытно было, как я отнесусь к его писанине. Никогда ему не прощу. Никогда.

Чарли вздохнул. Он понимал, что Саймон, с его поразительным безразличием к чувствам других людей, показал Лидии свое безжалостное эссе вовсе не из желания ее ранить, он вполне искренне хотел посмотреть, как она к нему отнесется, и узнать, насколько ее сокровенное знание подтвердит его измышления.

– Саймон – странное существо, – сказал Чарли. – Сказать по правде, у него немало таких свойств, которые мне не по душе, но есть у него и замечательные качества. Одно о нем, во всяком случае, можно сказать: он не щадит не только других, но и себя. Мы не виделись два года, он сильно изменился за это время, но, должен признаться, он личность незаурядная.

– Страшноватая, я бы сказала.

Чарли смущенно заерзал на плюшевом диване – к его огорчению, Саймон и ему казался страшноватым.

– Знаете, живет он удивительной жизнью. Работает по шестнадцать часов в сутки. Жилье у него неопишимо убогое и неудобное. Он приучил себя есть только один раз в день.

– А чего ради все это?

– Хочет выработать в себе более сильный и глубокий характер. Хочет научиться не зависеть от обстоятельств. Хочет подготовиться к роли, которую, как он рассчитывает, рано или поздно будет призван сыграть.

– А что за роль, он вам не говорил?

– Только примерно.

– Вы о Дзержинском когда-нибудь слышали?

– Нет.

– Саймон мне много о нем рассказывал. Алексей в прежние времена был адвокатом, талантливым адвокатом с либеральными принципами, и на одном процессе он защищал Дзержинского. Это не помешало Дзержинскому распорядиться, чтобы Алексея арестовали как контрреволюционера и сослали на три года в Александровск. Вот одна из причин, почему Саймон так хотел, чтобы я познакомила его с Алексеем. Я отказалась, мне было бы невыносимо, если бы он увидел, как опустился этот несчастный сломленный человек, и тогда Саймон поручил мне задать Алексею разные вопросы.

– А кто такой Дзержинский? – спросил Чарли.

– Он был главой Чека. Истинный хозяин России. У него была неограниченная власть над жизнью и смертью всего населения. Он был чудовищно жесток, он посадил в тюрьму, пытал и убил тысячи и тысячи людей. Поначалу мне странно было, что Саймона интересует такая страшная личность, казалось, тот его околдовал, а потом я догадалась, в чем дело. Вот такую роль он себе и предназначил, когда произойдет революция, ради которой он старается. Он понимает, что хозяин полиции – хозяин государства.

Глаза Чарли насмешливо блеснули.

– У меня от ваших разговоров мороз по коже, дорогая. Но, знаете ли, Англия не Россия. Саймону, я думаю, придется ждать целую вечность, прежде чем он станет диктатором Англии.

Но в этом Лидия не могла стерпеть никакого легкомыслия. Она мрачно посмотрела на Чарли.

– Он готов ждать. А Ленин разве не ждал? Вы все еще думаете, будто англичане сделаны не из того же теста, что все прочие люди? Неужели вы думаете, что пролетариат, который все больше сознает свою силу, позволит классу, к которому вы принадлежите, вечно обладать всеми вашими привилегиями? Неужели вы думаете, что война, чем бы она ни кончилась, вашей победой или вашим поражением, может привести к чему-то еще, кроме величайшего социального переворота?

Политикой Чарли не интересовался. Правда, как и его отец, он придерживался либеральных взглядов, с некоторой склонностью к социалистическим идеям, при условии, что они не переходят пределов благоразумия, а под этим подразумевал, сам того не сознавая, что они не касаются его удобств и доходов, но предпочитал, чтобы делами государства занимались те, кому положено по штату; однако не мог же он оставить без

ответа вызывающие, дерзкие вопросы Лидии.

– Вы так говорите, будто мы ничего не делали для рабочих. Похоже, вам неизвестно, что за последние пятьдесят лет условия неузнаваемо изменились. Люди работают меньше часов, чем прежде, зарабатывают больше. У них теперь лучше дома. Да вот хотя бы в наших владениях, мы стараемся побыстрее избавиться от трущоб, насколько это возможно экономически. Мы дали им пенсии по старости и обеспечиваем их, когда они без работы. Они бесплатно учатся в школе, бесплатно лечатся в больницах, а теперь мы начинаем оплачивать им отпуск. Право же, я не думаю, что британскому трудящемуся есть на что особенно жаловаться.

– Не забывайте, что благодетель и тот, кому благодетельствуют, не могут оценивать благодеяние одинаково. Неужели вы ждете, что трудящийся человек будет вам благодарен за возможности, которые он у вас вырвал под дулом пистолета? Неужели, по-вашему, он не понимает, что вы пошли ему навстречу не из великодушия, а из страха?

Чарли предпочел бы не ввязываться в политический спор, но не мог удержаться от еще одного замечания:

– Казалось бы, положение, в котором оказались вы и ваши русские друзья, не очень-то помогает верить, что власть черни великое благо.

– Это горчайшая сторона нашей трагедии. Сколько бы мы это ни отрицали, но в глубине души мы знаем: все, что с нами случилось, мы заслужили.

В словах Лидии прозвучала такая трагическая сила, что Чарли даже как-то растерялся. Трудный она человек, ни к чему не может отнестись легко. Она из тех женщин, кто за столом попросит вас передать соль, и то вам покажется, будто дело это нешуточное. Чарли вздохнул: не надо забывать, каково ей пришлось, бедняге, но неужели будущее и вправду так беспросветно?

– Расскажите мне о Дзержинском, – попросил Чарли, с заминкой произнеся трудное имя.

– Я могу только пересказать, что слышала от Алексея. Он говорит, самое поразительное в Дзержинском – сила взгляда; какой-то особый дар, бесконечно долго он мог смотреть на человека, не отводя глаз, и эти остекленевшие глаза с расширенными зрачками вселяли ужас. Он был невероятно худой – в тюрьме он заболел туберкулезом – и высокий, совсем не урод, правильные черты лица. Человек предельно целеустремленный, в этом и крылся секрет его силы, да еще холоден и сух. Не думаю, чтобы он хоть раз в жизни всей душой отдался какой-нибудь мимолетной радости. Только одно для него существовало – работа, и работал он день и ночь. В

самый разгар своей карьеры он жил в крохотной комнатке, в которой только и было, что письменный стол, старая ширма, за ширмой железная койка. Говорят, в голодный год, когда вместо конины ему приносили нормальную еду, он ее отсылал и требовал, чтобы принесли то же, что давали всем остальным сотрудникам Чека. Чека – вот чему он отдал всю свою жизнь. Не было в нем ничего человеческого, ни жалости, ни любви, только фанатизм да ненависть. Ужасен он был и неумолим.

Чарли пробрала дрожь. Нельзя было не понять, почему Лидия заговорила об этом якобинце, и, по правде сказать, страшно было подумать, как велико сходство между зловещей личностью, которую она описала, и человеком, каким, к его немалому удивлению, предстал перед ним Саймон. Тот же аскетизм, то же равнодушие к радостям жизни, та же одержимость работой и, похоже, та же безжалостность. Чарли улыбнулся своей добродушной улыбкой.

– Я думаю, у Саймона, как у всех нас, есть недостатки. К нему надо относиться терпимо, ведь жизнь у него была и не очень счастливая, и не очень легкая. Ему отчаянно не хватает человеческой привязанности, но что-то в его натуре отталкивает людей, вот его и не любят. Он невероятно уязвим, и то, на что обыкновенный человек не обратит ни малейшего внимания, его больно ранит. Но, по-моему, в душе он добр и великодушен.

– Вы в нем обманываетесь. Приписываете ему вашу доброту и бескорыстное внимание к людям. Говорю вам, он опасен. Дзержинский был уzkолобый идеалист и ради своего идеала мог без колебаний обречь свою страну на гибель. Саймон еще хуже. У него нет сердца, нет совести, нет чести, и при случае он без сожаления пожертвует вами, своим лучшим другом.

Глава восьмая

Наутро они проснулись раньше обычного. Позавтракали в постели, каждый со своим подносом, а после завтрака, пока Чарли, покуривая трубку, читал «Мэйл», Лидия с сигаретой в зубах делала маникюр. Глядя на них, занятых каждый своим, можно было принять их за молодых супругов, чья первоначальная страсть перешла в спокойную дружбу. Лидия накрасила ногти и растопырила пальцы на простыне, чтобы высох лак. И бросила на Чарли лукавый взгляд.

– Вам не хочется пойти сегодня утром в Лувр? Вы ведь приехали в Париж посмотреть картины, так?

– Наверно, так.

– Тогда давайте встанем и пойдем.

Когда горничная, которая принесла кофе, раздвинула занавеси, дневной свет, проникший в комнату со двора, показался им серым и унылым, как и в предыдущие утра; а выйдя на улицу, они поразились – погода вдруг переменилась. Было еще холодно, но ярко светило солнце, и высоко в небе плыли сияющие облака. Воздух морозно пощипывал, и это бодрило.

– Пойдемте пешком, – предложила Лидия.

В веселом живительном свете улица де Ренн уже не казалась такой запущенной, а серые ветхие дома не выглядели привычно неряшливыми и мрачными, но источали мягкое дружелюбие, будто сейчас, когда неожиданное солнышко одарило их своим вниманием столь же приветливо, как и величественные новые дома на другом берегу реки, они, словно старушки в стесненных обстоятельствах, почувствовали себя не такими заброшенными. Когда Чарли и Лидия переходили через площадь Сен-Жермен-де-Пре, по которой во все стороны спешили автобусы, трамваи, неистово мчались такси, грузовики и частные автомобили, Лидия взяла Чарли под руку; и точно влюбленные или бакалейщик с супругой, вышедшие прогуляться воскресным днем, они не спеша пошли по узкой улице де Сен, то и дело останавливаясь перед витриной какого-нибудь торговца картинами. Потом вышли на набережную. Тут парижский день открылся им во всей своей зимней красе, и Чарли даже ахнул от восторга.

– Вам нравится? – улыбнулась Лидия.

– Это будто картина Рафаэля. – Ему вспомнилась строчка стихотворения, что он прочел в Туре: «Le vierge, le vivace et le bel

aujourd'hui»^[95].

Самый воздух искрился, хоть лови в горсть и пропускай между пальцами, словно струю фонтана. Чарли, привыкшему к туманным далям и мягкой лондонской дымке, он казался поразительно прозрачным. С изящной четкостью вырисовывались в нем здания, мост, парапет набережной, но, словно прорисованные чуткой рукой, линии были ласковые, смягченные. Ласков и цвет – неба, и облака, и камня, – цвет пастелей, какими работали художники восемнадцатого века; а обнаженные деревья, тонкие, розовато-лиловые ветви на голубом с изысканным разнообразием повторяли нежное плетение узора. Чарли не раз видел картины, на которых было изображено это самое место, и потому увиденное сейчас принял без удивления, но с любовью и пониманием узнавал; красота эта не потрясла его – она не была ему неведома, не озадачила неожиданностью, но исполнила знакомой радости, так может радоваться сельский житель, когда после долгих лет отсутствия вновь видит милую сердцу беспорядочно раскинувшуюся родную деревню.

– Ну не чудесно ли жить на свете? – воскликнул он.

– Чудесно быть молодым и таким восторженным, как вы, – сказала Лидия, слегка сжав ему руку, а если она едва сдержала слезы, Чарли этого не заметил.

Чарли хорошо знал Лувр, ведь каждый раз, когда его семья приезжала на несколько дней в Париж (чтобы Винития могла одеться у скромной портнихи, которая ничуть не уступала дорогостоящим мастерским на улицах Руаяль и Камбон), родители считали своим долгом повести туда детей. Лесли Мейсон не скрывал, что предпочитает новых художников старым.

– Но так или иначе знакомство с крупнейшими картинными галереями Европы – составная часть образования джентльмена, и если не можешь вставить словечко в разговоре о Рембрандте, Тициане и прочих, оказываешься в довольно глупом положении. И я не боюсь сказать, что лучшего гида, чем мама, вам не найти. У нее такая художественная натура, и она понимает, что к чему, и не будет тратить ваше время на всякую ерунду.

– Не стану утверждать, что ваш дед был великий художник, но он знал толк в живописи, – говорила миссис Мейсон не без самоуверенности человека, который безо всякого тщеславия сознает, что разбирается в своем предмете. – Это он меня научил всему, что я знаю об искусстве.

– У тебя, конечно, и у самой было на это чутье, – сказал муж.

Миссис Мейсон с минуту подумала.

– Да, пожалуй, ты прав, Лесли. У меня было чутье.

В ту пору было легче познакомиться с Лувром за недолгое время и с пользой для души, так как его еще не перестроили и большая часть картин, которые, по мнению миссис Мейсон, были достойны внимания ее детей, находились еще в Salon Carré^[96]. Войдя в этот зал, они сразу же направлялись к леонардовской «Джоконде».

– Мне всегда кажется, прежде всего надо смотреть на это полотно, – говорила миссис Мейсон. – Оно создает настроение, с которым и следует ходить по Лувру.

Все четверо стояли перед картиной и почтительно взирали на безжизненную улыбку чопорной молодой женщины, изголодавшейся по плотской любви. После требуемых для созерцания мгновений тишины миссис Мейсон обернулась к мужу и детям. На глаза ее навернулись слезы.

– Нет у меня слов, не могу передать, что я всегда чувствую перед этим полотном, – со вздохом сказала она. – Леонардо был воистину Великий Художник. Я думаю, с этим все должны согласиться.

– Признаться, когда дело касается старых мастеров, я сужу отчасти как филистер, – сказал Лесли, – но в ней есть *je ne sais quoi*^[97], что задевает вас за живое, это да. Как там у Патера^[98], Винития? Он попал в самую точку, с этим не поспоришь.

С легкой загадочной улыбкой на губах миссис Мейсон негромко, трепетно повторила знаменитые строки, которые за два поколения до нее посеяли такую смуту среди молодых эстетов.

«Все тернии мира на ее челе, и полуопущены слегка усталые веки. Это сама красота во плоти, извлеченная из души, сотворенная толика за толикой сокровищница неведомых дум, причудливых мечтаний, утонченных страстей».

В благоговейном молчании слушали они ее. А она, договорив, весело сказала обычным голосом:

– А теперь идемте смотреть Рафаэля.

Но невозможно было пройти мимо двух больших полотен Паоло Веронезе, повешенных друг против друга на противоположных стенах.

– Стоит и на них глянуть, – сказала миссис Мейсон. – Ваш дед ставил их очень высоко. Веронезе, конечно, не отличается ни тонкостью, ни глубиной. Нет в нем души. Но у него бесспорно был дар композиции, и запомните, он лучше всех умеет гармонично и естественно расположить на полотне такое множество фигур. Тут следует восхищаться если не чем иным, то во всяком случае поистине могучей силой, которой он должен

был обладать, чтобы писать такие огромные полотна. Но, по-моему, в них есть и нечто большее. Они дают ясное представление об изобильной, многокрасочной жизни того времени, о языческом, пронизанном любовью к земным усладам духе патрицианской Венеции в зените славы.

– Я часто пытался сосчитать, сколько фигур на картине «Брак в Кане», но всякий раз получалось другое число, – сказал Лесли Мейсон.

Все четверо принялись считать, но в счете так и не сошлись. Потом они направились в Большую галерею.

– А вот «L’Homme au Gant»^[99], – сказала миссис Мейсон. – Это неплохо, что вы сперва посмотрели Веронезе, после его картин особенно видны достоинства Тициана. Помните, я говорила, у Веронезе нет души. Так вот, стоит глянуть на «L’Homme au Gant», и станет ясно, что у Тициана душа-то есть.

– Удивительный старый хрыч был этот Тициан, – сказал Лесли Мейсон. – Дожил до девяноста девяти лет, да понадобилась чума, чтобы его убить.

Миссис Мейсон чуть улыбнулась.

– Могу вас уверить, никто никогда не написал портрета лучше этого, – сказала она. – Никогда с ним не сравнятся портретам Сезанна или даже Мане.

– Надо не забыть показать им Мане, Винития.

– Да нет, не забудем. Сейчас туда и пойдем. Но я что хочу сказать, надо принимать манеру выражения, которая существовала в живописи в ту пору, и если помнить об этом, я думаю, каждый согласится, что это шедевр. Разумеется, картина и сама по себе выше всяких похвал, но есть в ней еще и редкостное своеобразие и выразительность. Правда, Лесли?

– Несомненно.

– В юности я стояла перед ней часами. Эта картина погружает вас в мечты. На мой взгляд, этот портрет изысканней «Папы» Веласкеса, помнишь, того, который в Риме, он больше наводит на размышления. Конечно же, Веласкес великий художник, и он оказал огромное влияние на Мане, но мне не хватает в нем как раз того, что есть у Тициана, – души.

Лесли Мейсон посмотрел на часы.

– Не следует тратить здесь столько времени, Винития, – сказал он. – Как бы нам не опоздать к обеду.

– Хорошо. Только пойдем посмотрим Энгра и Мане.

Они пошли, поглядывая по сторонам, на картины, висевшие на стенах, но тут не было ни одной, у которой, по мнению миссис Мейсон, стоило бы задержаться.

– Не загружать ум детей излишком впечатлений, это лишь собьет их с толку, – сказала она мужу. – Куда лучше, если они сосредоточатся на том, что по-настоящему важно.

– Несомненно, – ответил он.

Они вошли в Salle des Etats, но на пороге миссис Мейсон остановилась.

– Работами Пуссена сегодня заниматься не станем, – сказала она. – Они стоят того, чтобы ради них прийти в Лувр, он, конечно же, великий художник. Но чтобы его понять, надо быть знатоком живописи, а не дилетантом, и вы слишком молоды, вы еще не доросли до него. Когда вы оба немного подрастаете, мы как-нибудь придем сюда и как следует его посмотрим. Понимаете, надо быть довольно искушенным человеком, чтобы оценить его по заслугам. Зал, в который мы входим, это девятнадцатый век. Но я думаю, Делакура нам тоже не стоит смотреть. Он также для искушенного глаза, и навряд ли вы увидите в нем то же, что и я; просто поверьте мне на слово, он очень значительный художник. Он недурной колорист, и в нем сильна романтическая жилка. И вам, конечно же, ни к чему засорять мозги барбизонцами. В дни моей молодости ими очень восхищались, но это было еще до того, как мы стали понимать импрессионистов, а о Сезанне и Матиссе мы даже не слыхали; ничего они не значат, и можно спокойно им пренебречь. Мне хочется, чтобы вы сперва посмотрели на «Одалиску» Энгра, а потом на «Олимпию» Мане. Их замечательно разместили – друг против друга, так что вы можете смотреть на обеих одновременно, сравнить их и вынести собственное суждение.

Теперь миссис Мейсон прошла в зал, муж – рядом с нею, а Чарли и Пэтси вместе следовали за ними шага на два позади. Но ее взгляд упал на «Собирательниц колосьев» Милле, и она остановилась.

– Взгляните-ка на минутку на эту картину. Не для того чтобы ею восхищаться, но просто посмотрите, одно время ее ставили очень высоко. стыдно признаться, но в юности она вызывала у меня слезы. Она мне казалась очень красивой и трогательной. А теперь смотрю и просто не понимаю, чем она меня прельщала. Это лишь показывает, как меняются оценки, когда становишься старше.

– Это еще показывает, как может ошибаться даже самый молодой из нас, – сказал Лесли с хитрой улыбкой, будто только что сам придумал эти слова.

Они отошли от Милле, и наконец Винития остановилась на том самом месте, откуда, как она полагала, ее отпрыски всего лучше смогут рассмотреть те две картины, которыми она привела их любоваться. С

ликующим видом фокусника, который вынимает из шляпы кролика, она остановилась и воскликнула:

– Вот!

Несколько минут они стояли все в ряд, и миссис Мейсон в восторге созерцала двух обнаженных. Потом сказала детям:

– Теперь подойдемте ближе и как следует их разглядим.

Они остановились перед «Одалиской».

– Это бесполезно, Винития, – сказал Лесли. – Ты сочтешь меня филистером, но мне не по вкусу цвет. Тело такое же розовое, как твой крем, которым ты мазалась на ночь, пока я не положил этому конец.

– Не годится раскрывать этим невинным созданиям альковные тайны, – сказала Винития с улыбкой, и чопорной, и в то же время лукавой. – Но у меня и в мыслях не было утверждать, будто Энгр замечательный колорист, и все же, по-моему, голубой у него очень нежный, и я часто думала, что не отказалась бы от такого вечернего платья. Как ты думаешь, Пэтси, мне это было бы уже не по возрасту?

– Ну что ты, мамочка. Ничего подобного.

– Да это я так, между прочим. Но такого замечательного рисовальщика, как Энгр, пожалуй, еще не бывало. Когда смотришь на эти уверенные прелестные линии, нельзя не почувствовать, что перед тобой великолепное проявление человеческого духа. Помню, отец мне рассказывал, как однажды он пришел сюда с приятелем-студентом, тот оказался в галерее впервые и, когда увидел «Одалиску», в такой пришел восторг от красоты линии, что буквально лишился чувств.

– По-моему, больше похоже на правду, что давно миновал час, когда разумные люди обедают, и он лишился чувств от голода.

– Ну разве не ужасный человек ваш отец? – улыбнулась миссис Мейсон. – Хорошо, Лесли, давайте еще пять минут постоим перед «Олимпией», и тогда я готова уйти.

Они направились к огромному полотну Мане.

– Когда оказываешься перед таким шедевром, только и остается молча им восхищаться, – объявила миссис Мейсон. – А дальше тишина, как сказал Гамлет. Никто, даже Ренуар, даже Эль Греко ни разу так не написали тело. Посмотрите на ее правую грудь. Это же чудо красоты. Просто дух захватывает. Даже мой бедный отец, который терпеть не мог современных художников, был вынужден признать, что грудь написана очень неплохо. Очень неплохо? Как вам это нравится? Теперь посмотрите, вы, должно быть, видите черную линию – она обрамляет фигуру. Ты ведь видишь, Чарли?

Да, он видит, отозвался Чарли.

– А ты, Пэтси?

– Вижу.

– А я не вижу! – с торжеством воскликнула она. – Раньше видела, знаю, она существует, но даю вам слово, теперь уже не вижу.

И они отправились обедать в один из тех ресторанчиков, где, как прежде обнаружили супруги Мейсон, никогда не бывают англичане. Он был ничуть не хуже тех модных ресторанов, куда ходят иностранцы, но вдвое дешевле. Теперь народу было полно, и, как ни странно, за столиком справа от них оказались англичане, а слева – американцы. Напротив сидели два рослых белокурых шведа, а чуть в стороне несколько японцев. Сказать по правде, тут на каких только языках не говорили, а вот французской речи было не слышно. Лесли окинул всю эту публику неодобрительным взглядом.

– Похоже, ресторан начинает портиться, Винития.

Всем четверым вручили огромные, написанные фиолетовыми чернилами меню, вызвавшие у них некоторую растерянность. Лесли весело потер руки.

– Ну-с, с чего начнем? Я думаю, во Франции лучше следовать примеру французов, поэтому что вы скажете, если сперва примем за улиток, а потом за лягушек?

– Не говори гадости, папа, – сказала Пэтси.

– Вот и видно твое невежество, детка. Это же величайшие деликатесы. Но я не вижу их в меню. – Лесли вечно забывал, что французское *grenouille* – это лягушка, а *crapaud* – жаба или наоборот. Он посмотрел на стоящего подле него официанта и произнес с резким английским выговором:

– *Garçon, est-ce-que vous avez des crapauds?*^[100]

Метрдотелю не очень-то нравилось, когда его называли просто официант, но он с важным видом ответил, что сейчас не сезон.

– Вот незадача! – воскликнул Лесли. – Ну а как насчет улиток? *Escargots?*

– Папа, если ты станешь есть улиток, меня затошнит.

– Он тебя просто дразнит, милочка, – сказала миссис Мейсон. – По-моему, нам лучше заказать хороший омлет. Во Франции, заказывая омлет, не прогадаешь.

– Верно, – подтвердил Лесли. – Во Франции, куда ни зайди, всюду подадут отличный омлет. Прекрасно. *Garçon, une omelette pour quatre*^[101].

Потом, ради детей, заказали *rosbif à l'anglaise*^[102]. После ростбифа

молодежь ела ванильное мороженое, а родители сыр камамбер. В Англии он у них часто бывал, но оба согласились, что почему-то во Франции у него совсем иной вкус. Под конец пили кофе, изрядно разбавленный цикорием, и, с удовольствием потягивая его, миссис Мейсон сказала:

– Поистине, чтобы отведать настоящего кофе, надо приехать во Францию.

Благодаря давнему знакомству со знаменитой галереей, а также полезным сведениям, почерпнутым от матери, Чарли вместе с Лидией вошел в квадратный зал, ощущая что-то вроде той уверенности, с какой ступает на корт хороший теннисист. Ему не терпелось показать Лидии свои любимые картины и объяснить, чем они его восхищают. Однако он не без удивления обнаружил, что в зале сейчас все по-другому и нет здесь «Джоконды», к которой он, конечно же, хотел подвести спутницу прежде всего. Они не пробыли здесь и десяти минут. Бывая тут с родителями, они проводили в этом зале добрый час и то, по словам матери, не успевали насладиться всеми его сокровищами. Но «L'Homme au Gant» был на прежнем месте, и Чарли осторожно подвел к нему Лидию. Некоторое время они смотрели на портрет.

– Потрясающе, да? – сказал наконец Чарли, ласково сжав ее локоть.

– Да, ничего. Но вам-то что до него?

Чарли круто повернулся к ней. Никогда еще никто не спрашивал его так о картине.

– Бога ради, что вы хотите этим сказать? Это же один из лучших портретов на свете. Тициан, не кто-нибудь.

– Еще бы. Но вам-то что до него?

Чарли даже растерялся – как на это ответишь?

– Ну, это прекрасная картина, и написана великолепно. Конечно, она ни о чем не повествует, если вы это имеете в виду.

– Нет, не это, – улыбнулась Лидия.

– Она и вправду меня по-настоящему не задевает.

– Тогда на что он вам?

Лидия пошла прочь, Чарли последовал за ней. Равнодушным взглядом она скользнула по другим картинам. Слова ее смутили Чарли, он ломал голову, пытаясь понять, что она имела в виду. Она посмотрела на него с усмешкой. И сказала:

– Пойдемте, я вам покажу кое-какие картины.

Она взяла его под руку, и они пошли дальше. И вдруг он увидел «Джоконду».

– Вот она! – воскликнул Чарли. – Я должен остановиться и как следует

на нее посмотреть. В Лувре я прежде всего хотел увидеть ее.

– Почему?

– Черт возьми, да это же самая знаменитая картина Леонардо. Это одна из самых значительных картин на свете.

– Она что-то значит для вас?

Чарли почувствовал, что Лидия начинает его раздражать; не понимал он, к чему она клонит, но по доброте душевной он не собирался давать волю досаде.

– Картина может быть значительной, даже если для меня она ничего не значит.

– Но тут важны только вы сами. Когда вы смотрите на картину, она что-то значит, только если она чем-то вас задевает.

– Какой-то уж очень самоуверенный подход.

– Эта картина и вправду вам что-то говорит?

– Конечно, говорит. И очень много всего, но мне вряд ли удастся высказать это лучше Патера. К сожалению, я не обладаю памятью моей матери. Она может повторить его высказывание наизусть.

Но еще не договорив, Чарли почувствовал, что его ответ неубедителен. Он начинал смутно подозревать, что имела в виду Лидия, и растерянно подумал, что, похоже, есть в искусстве что-то, о чем ему никогда не говорили. Но, к счастью, он вспомнил слова матери об «Олимпии» Мане.

– В сущности, не понимаю я, почему вообще стоит что-то говорить о картине. Она либо нравится, либо нет.

– И «Джоконда» вам действительно нравится? – спросила Лидия таким тоном, будто учиняла ему легкий допрос.

– Очень.

– Почему?

Чарли на минуту задумался.

– Видите ли, я знаю ее практически всю жизнь.

– По той же причине вам нравится ваш друг Саймон, да? – улыбнулась Лидия.

Он чувствовал, что слова ее несправедливы.

– Ну ладно. Теперь ведите меня к картинам, которые нравятся вам.

Все вышло наоборот. Не он, как предполагал Чарли, просвещает ее, рассказывает о картинах так, что привлекает ее интерес к великим полотнам, которые всегда любил, но она его ведет. Прекрасно. Он вполне готов отдаться на ее волю и посмотреть, что из этого получится.

«Ну конечно, она же русская, – сказал он себе. – Надо с этим считаться».

Они шли и шли мимо множества полотен, из залы в залу – Лидия не без труда отыскивала дорогу, но наконец она остановила Чарли перед небольшим полотном, которое легко можно было бы не заметить, если не ищешь именно его.

– Шарден, – сказал Чарли. – Да, я его видел.

– Но вы когда-нибудь присматривались к нему?

– А как же. Шарден в своем роде совсем не плохой художник. Мама очень его ценит. Мне и самому в общем-то нравятся его натюрморты.

– И ничего другого вы в этом не видите? Я просто в отчаянии.

– В отчаянии? – удивленно воскликнул Чарли. – Из-за каравай хлеба с бутылкой вина? Хотя, конечно, прекрасно написано.

– Да, вы правы, написано прекрасно; написано с любовью и состраданием. Это не просто каравай хлеба и бутылка вина, это хлеб жизни и кровь Христова, но не укрытые от тех, кто томится голодом и жаждой, и скупой раздаваемые священниками по торжественным случаям. Это ежедневная пища страждущих. Эта картина такая скромная, безыскусственная, человеческая, исполненная сочувствия. Это вино и хлеб бедняков, которым только и нужно, чтобы их оставили в покое, позволили свободно трудиться и есть свою простую пищу. Это крик презираемых и отверженных. Она говорит вам, что, как бы ни были грешны люди, в душе они добры. Этот хлеб и вино – символы радостей и горестей смиренных и кротких. Они не просят милости и любви вашей; они вам говорят, что они из той же плоти и крови, что и вы. Они говорят вам, что жизнь коротка и трудна, а в могиле холодно и одиноко. Это не просто хлеб и вино. Это тайна жребия человека на земле, его тоски по толике дружбы, толике любви, тайна его безропотной покорности, когда он видит, что даже и в этом ему отказано.

Голос Лидии дрожал, и вот по щекам покатались слезы. Она нетерпеливо смахнула их.

– И разве не чудо, что благодаря таким простым предметам, благодаря беспредельной чуткости истинного художника этот странный и милый старик, движимый своим отзывчивым сердцем, сотворил красоту, что надрыгает душу? Словно почти невольно, сам того не сознавая, он старался показать, что из боли, отчаяния, жестокости, из всего рассеянного в мире зла человек может сотворить красоту – было бы только у него довольно любви, довольно сочувствия.

Лидия умолкла и долго стояла, глядя на маленькое полотно. Смотрел и Чарли, но с недоумением. Да, натюрморт очень хорош; прежде Чарли удостаивал его лишь мимолетного взгляда и порадовался, что Лидия

привлекла к картине его внимание, она и вправду на свой лад довольно трогательна, но прежде он, разумеется, не видел в ней всего того, что видит Лидия. Странная она, неуравновешенная! И как неловко, что она плачет прямо здесь, в галерее, у всех на виду; с этими русскими и правда попадаешь в преглупое положение; но кто бы мог подумать, что картина способна на кого-то так подействовать? Ему вспомнился рассказ матери о друге ее отца, студенте, который, впервые увидев «Одалиску» Энгра, потерял сознание, но то было давным-давно, в девятнадцатом веке, тогда люди были так романтичны, так чувствительны. Лидия повернулась к нему, на губах ее сияла улыбка. Поразительно, как внезапны у нее переходы от слез к смеху.

– Теперь пойдем? – предложила она.

– А другие картины вы смотреть не хотите?

– Зачем? Одну картину я посмотрела. Мне спокойно и отраднo. Чего ради смотреть что-то еще?

– Ну хорошо.

Престранно таким вот образом посещать картинную галерею. Ведь они даже не взглянули ни на Ватто, ни на Фрагонара. Мама непременно спросит, видел ли он «Паломничество на остров Киферу». Ей кто-то сказал, что картину отреставрировали, и она захочет знать, как теперь смотрятся краски.

Они кое-что купили, а потом обедали в ресторане на набережной на другой стороне Сены, и Лидия, как обычно, ела с отменным аппетитом. Ей нравилось, что вокруг много народу, нравился шум, оживленное уличное движение. Она была отлично настроена. Словно недавняя буря чувств омыла ей душу, и теперь она с милой веселостью болтала о пустяках. Но Чарли был задумчив. Он не так-то легко преодолевал охватившее его беспокойство. Обычно Лидия не замечала его настроения, но сейчас слишком ясно было по его лицу, что у него сердце не на месте, и это наконец дошло до нее.

– Вы почему такой молчаливый? – с доброй, сочувственной улыбкой спросила она.

– Все думаю. Понимаете, я всю жизнь интересуюсь искусством. Мои родители натуры артистические, кое-кто может даже счесть их истинными интеллектуалами, и они всегда старались привить нам с сестрой вкус к искусству; и, по-моему, им это удалось. Но как подумаю, сколько я затратил труда, сколько возможностей мне предоставлялось, а понимаю я, похоже, куда меньше вас, и мне становится не по себе.

– Но я ничего не смыслю в искусстве, – рассмеялась Лидия.

– Но мне кажется, вы превосходно его чувствуете, а в искусстве все определяет чувство. Нельзя сказать, что картины меня не радуют. Они доставляют мне удовольствие, и еще какое.

– Напрасно вы тревожитесь. Вполне естественно, что вы смотрите на картины не так, как я. Вы молоды, здоровы, счастливы, состоятельны. Вам не откажешь в уме. Для вас картины – еще одно удовольствие среди множества других удовольствий. Они согревают вас, приносят удовлетворение. Пройтись по картинной галерее для вас – способ приятно провести часок. Что еще вы можете от себя требовать? Но, понимаете, я всегда была бедна, часто голодна и порой ужасно одинока. Еда, питье, человеческое общение – все это было для меня роскошью. Когда я работала и хозяйка своими придирками доводила меня до отчаяния, я в обед, бывало, сбегала в Лувр, и хозяйкина брань забывается. И когда умерла мама и я осталась одна на свете, Лувр был мне утешением. В те долгие месяцы перед судом, когда Робер сидел в тюрьме, а я ждала ребенка, если бы не возможность ходить в Лувр, где никто меня не знал, никто не пялил на меня глаза и где я оставалась наедине со своими друзьями, я бы, наверно, сошла с ума и покончила с собой. Там я отдыхала и успокаивалась. И набиралась мужества. Мне помогали не столько огромные прославленные шедевры, но картины поменьше, поскромнее, на которые никто не обращает внимания, и я чувствовала, им приятно, что я на них смотрю. Я чувствовала, ничто, в сущности, не имеет значения, ведь все проходит. Терпение! Терпение! Вот чему я там научилась. И я чувствовала, несмотря на все несчастья, ужас, жестокость мира, существует нечто такое, что помогает все вынести, нечто куда значительнее и важнее всех бед и тягот – дух человеческий и творимая им красота. Что же удивительного, если небольшое полотно, которое я показала вам утром, так много для меня значит?

Чтобы полнее насладиться хорошей погодой, они пошли пешком по бульвару Сен-Мишель, а дойдя до конца, направились в Люксембургский сад. Там они сели и, лишь изредка перекидываясь словечком-другим, рассеянно поглядывали на кативших коляски нянюшек, которые, увы, уже не носили чепцы с длинными шелковыми лентами, как в предыдущем поколении, на старушек в черном, которые неспешно вели детишек, и на пожилых джентльменов, чьи лица, наполовину скрытые плотными шарфами, изборозждены были глубокими морщинами, – погруженные в свои мысли, они прогуливались взад-вперед; с добрым чувством смотрели на длинноногих мальчишек и девчонок, которые резвились на дорожках, а когда мимо прошли двое юных студентов, им стало любопытно, о чем эти двое так серьезно рассуждают. Казалось, тут не городской парк, а частное

владение, открытое для жителей левого берега Сены, и во всем чувствовалась трогательная интимность. Но прохладные лучи угасающего солнца придавали всему еще и печаль – в парке, отделенном от суеты большого города железной решеткой, царил особый дух некоей нереальности, и казалось, будто и старики, прогуливающиеся по песчаным дорожкам, и детвора, чьи крики сливались в веселый гул, это лишь тени, что совершают призрачные прогулки или играют в призрачные игры, а в сумерки все они растают, как дым сигареты в надвигающейся тьме. Становилось уже очень холодно, и Чарли с Лидией, точно старые друзья, молча отправились в гостиницу.

Когда они оказались в номере, Лидия достала из чемоданчика тонкую пачку нот.

– Я принесла несколько пьес, их обычно исполнял Робер. Сама я играю совсем скверно, да в квартире у Алексея пианино нет. Как вы думаете, вы сумели бы их сыграть?

Чарли посмотрел на ноты. Музыка русская. Некоторые пьесы ему знакомы.

– Пожалуй, сумею, – ответил он.

– Внизу есть пианино, и сейчас в гостиной никого не будет. Пойдемте туда.

Инструмент оказался изрядно расстроенным. Клавиатура пожелтела от времени, а оттого что на нем редко играли, иные клавиши туго поддавались. Перед ним стоял не обычный табурет, а особая скамья на двоих, и Лидия села рядом с Чарли. Он раскрыл на подставке знакомую пьесу Скрябина, взял несколько громких аккордов, пробуя инструмент, и начал играть. Лидия следила за партитурой и перелистывала ноты. Чарли когда-то брал уроки музыки у лучших лондонских учителей, да и занимался на совесть. И в школе, и в Кембридже он выступал на концертах, так что обрел уверенность в себе. У него было легкое приятное туше. Играл он с удовольствием.

– Ну вот, – сказал он, закончив пьесу.

Не сказать, чтобы он был недоволен собой. Он знал, что в своем исполнении следовал намерению композитора и сыграл пьесу с той ясностью и изящной простотой, которую любил у профессиональных пианистов.

– Сыграйте что-нибудь еще, – попросила Лидия.

Она выбрала пьесу. То было переложение для фортепьяно народных песен и танцев, сделанное композитором, о котором Чарли никогда не слышал. Он испугался, увидев на обложке имя Робера Берже, выведенное

твердым четким почерком. Лидия молча уставилась на надпись, потом развернула ноты. Чарли смотрел на музыку, которую ему предстояло исполнить, а сам пытался понять, о чем же сейчас думает Лидия. Должно быть, вот так же, как она сейчас сидит с ним, она сидела прежде подле Робера. Зачем ей мучить себя, слушая, как он играет пьесы, которые, уж конечно, будят в ней горькие воспоминания о ее недолгом счастье и ужасе, что за ним последовал?

– Ну, начинайте.

Чарли хорошо играл с листа, а музыка была нетрудная. Ему казалось, он неплохо справился со своей задачей. Взяв последний аккорд, он ждал от Лидии похвалы.

– Вы играли очень мило, – сказала Лидия. – Но куда же подевалась Россия?

– Что вы хотите этим сказать? – спросил он, несколько обиженный.

– Вы так играли, словно эта музыка о воскресенье в Лондоне, – принаряженный люд гуляет по огромным площадям и паркам и ждет не дождется часа, когда придет пора пить чай. Но эта музыка совсем про другое. Это старая, старая песня, в ней крестьяне жалуются на свою скудную и тяжкую жизнь, это бескрайние поля золотой пшеницы и труд жатвы, это березовые рощи и тоска рабочих по времени, когда на земле воцарится мир и изобилие, и это буйный танец, в котором они ненадолго забывают о своей участи.

– Что ж, сыграйте лучше.

– Не умею я играть, – сказала Лидия, однако потеснила его и заняла его место.

Чарли слушал. Играла она плохо, и все же было в ее исполнении что-то, чего он не увидел в этой музыке. Хотя и дорогой ценой, но она ухитрилась передать таящееся в мелодии смятение чувств и горечь печали, придала танцевальным ритмам первобытную жизненную силу, что волновала кровь. Но Чарли был сбит с толку.

– Признаться, я не понимаю, почему вам кажется, будто с помощью фальшивых нот и без конца нажимая на педаль вы лучше воссоздаете русский дух этого сочинения, – едко сказал он, когда Лидия кончила.

Лидия рассмеялась и, обхватив его обеими руками за шею, поцеловала в обе щеки.

– Вы прелесть! – воскликнула она.

– Очень мило, что вы так говорите, – холодно отозвался Чарли, высвобождаясь из ее объятий.

– Я вас обидела?

– Ничуть.

Лидия покачала головой, посмотрела на него с мягкой, ласковой улыбкой.

– Вы играете прекрасно, и техника у вас превосходная, но не воображайте, будто вы можете исполнять русскую музыку, ничего подобного. Сыграйте мне что-нибудь Шумана, вот это вы наверняка можете.

– Нет, я больше не собираюсь играть.

– Если вы на меня сердитесь, почему бы вам меня не ударить?

Чарли не удержался и фыркнул:

– Что за дурь. Мне такое и в голову не приходило. Да и не сержусь я.

– Вы такой большой, сильный, красивый, я совсем забыла, что вы еще мальчишка, – со вздохом сказала Лидия. – И вы так не подготовлены к жизни. В иные минуты погляжу на вас, и меня как ножом по сердцу.

– Ну, не становитесь совсем уж русской и чувствительной.

– Пожалуйста, сделайте милость, сыграйте Шумана.

Лидия, когда ей чего-то хотелось, умела уговорить.

С застенчивой улыбкой Чарли вновь занял свое место. По правде говоря, Шуман был его любимый композитор, и он многое знал наизусть. Он играл для Лидии добрый час, и всякий раз, как хотел перестать, она просила его продолжать. Молодой кассирше любопытно стало, кто же это играет, и она заглянула в гостиную. Возвратясь за стойку, она с многозначительной лукавой улыбкой шепнула портье:

– Наши голубки развлекаются.

Наконец Чарли остановился, и Лидия удовлетворенно вздохнула.

– Я так и знала, что Шуман вам подходит. Эта музыка вроде вас – она исполнена здоровья, довольства и здравомыслия. В ней свежий воздух, и солнце, и восхитительный запах сосен. Она принесла мне облегчение, и эти дни с вами тоже. Ваша мама, наверно, очень вас любит.

– Ну, перестаньте.

– Почему вы так добры ко мне? Я надоедная, скучная, несносная. Я вам даже и не очень-то нравлюсь, правда?

Чарли ненадолго задумался.

– Что ж, сказать по правде, не очень.

Лидия рассмеялась.

– Тогда почему вы со мной нянчитесь? Почему не выгоните меня на улицу?

– Понятия не имею.

– Сказать вам? Это все доброта. Просто-напросто самая обыкновенная

дурацкая доброта.

– Идите к черту.

Они ужинали в Латинском квартале. От Чарли не ускользнуло, что как личность он Лидии неинтересен. Она приняла его, как приняла бы случайного попутчика, с которым столкнешься на пароходе, поневоле как-то сблизись, при этом вовсе не важно, откуда он взялся, что он за человек; он возник из небытия, когда ступил на борт, канет в небытие, когда, достигнув порта назначения, с ним расстанешься. Чарли был достаточно скромен и не обижался, не мог же он не понимать, что слишком серьезны несчастья и заботы Лидии, они поглощают все ее внимание; поэтому он удивился, когда она навела его на разговор о нем самом. Он рассказал ей о своих художественных наклонностях и о долго лелеемой мечте стать художником, и она одобрила его здравый смысл, благодаря которому он в конце концов предпочел обеспеченную жизнь делового человека. Впервые он видел ее такой веселой и непосредственной. Жизнь англичан она знала только по книгам Диккенса, Теккерея и Герберта Уэллса, и ей любопытно было услышать, как протекает жизнь в богатых благополучных домах на Бейсуоттер-роуд, которые она видела только снаружи. Она расспрашивала Чарли о его доме и о семье. А об этом он всегда рад был поговорить. Об отце и матери он рассказывал с мягкой насмешкой, но Лидия отлично понимала, что ироническим тоном он просто прикрывает любовное восхищение родителями. Сам того не ведая, он нарисовал премилую картину счастливого любящего семейства, что живет скромно и в достатке, не тревожимое страхом за будущее, в мире с собой и со всем светом. В жизни, которую он описал, не было недостатка ни в милосердии, ни в достоинстве; была она здоровая, нормальная и благодаря интеллектуальным интересам членов семейства не вовсе заземленная; то были люди простые, честные, не тщеславные и не завистливые, готовые исполнять свой долг, как они его понимали, перед государством и перед ближними; чуждые злобы и коварства. Если Лидия и понимала, в какой мере их доброжелательство, доброта, не лишенное приятности самодовольство покоятся на давнем и упорядоченном процветании страны, где им довелось родиться, если и заподозрила хотя бы смутно, что как детей, которые строят замки на песке, их в любую минуту может смыть приливом, она и виду не подавала.

– Счастливый вы народ, англичане, – сказала она.

Но Чарли был слегка удивлен тем, как отозвались в нем его собственные слова. Он рассказывал, а сам впервые в жизни видел себя со стороны, глазами слушателя. Подобно актеру, который произносит свой

текст, но никогда не видит пьесу из зала и потому лишь смутно представляет, какое все это производит впечатление, Чарли играл свою роль, не задаваясь вопросом, есть ли в ней какой-то смысл. Не то чтобы ему стало неловко, но он был слегка озадачен, когда осознал, что все они – отец, мать, сестра, он сам, хоть и заняты с утра до ночи, даже не хватает дня на все, что хотелось бы сделать, однако, если посмотреть на жизнь, которую они ведут из года в год, появляется неприятное ощущение, будто никто из них вовсе ничего не делает. Словно какой-то спектакль, где и декорации хороши, и костюмы красивы, и диалоги умны, актеры опытные, искусные – приятно проводишь вечер, а уже через неделю ничего не можешь вспомнить.

После ужина Чарли и Лидия сели в такси и поехали в кино на другом берегу Сены. То был фильм братьев Маркс, и они покатывались со смеху над немыслимыми выходками изумительных комиков; но они хохотали не только над остротами Граучо и презабавными переплетами, в которые попадал Харпо, хохотали и над тем, как хохотал другой. Фильм кончился в полночь, но Чарли, слишком взбудораженный, просто не мог сейчас спокойно улечься спать и спросил Лидию, не пойдет ли она с ним куда-нибудь потанцевать.

– Куда бы вам хотелось пойти? – спросила Лидия. – На Монмартр?

– Куда хотите, только чтоб было весело. – А потом, вспомнив вечное, но редко осуществимое желание родителей, когда они бывают в Париже, прибавил: – Где поменьше англичан.

Лидия глянула на него с лукавой улыбкой, которую он раза два уже видел. Ему и удивительно это было, и мило. Удивительно, потому что в его представлении совсем не вязалось с ее натурой, а мило, потому что, несмотря на трагическую судьбу Лидии, как бы подсказывало, что есть в ней и веселость, и славное задиристое озорство.

– Поведу вас в одно местечко. Там, может, и не весело, зато, должно быть, интересно. Там поет одна русская.

Путь был долгий, и когда автомобиль остановился, Чарли увидел, что они на набережной. На фоне морозной звездной ночи четко вырисовывались башни-близнецы собора Парижской Богоматери. Чарли с Лидией сделали несколько шагов по темной улице, потом прошли в узкую дверь, спустились на один пролет по лестнице и, к удивлению Чарли, оказались в просторном подвале с каменными стенами; от стен отходили довольно большие деревянные столы, за каждым могли поместиться человек двенадцать, а по обе стороны стояли деревянные скамьи. Было жарко, душно, воздух – серый от дыма. Посередине меж столов теснились

пары, танцевали под какую-то заунывную мелодию. Неряшливого вида официант без пиджака нашел им два места и принял заказ. Сидящие за столами с любопытством поглядывали на них и перешептывались; и, конечно же, Чарли в английском костюме синей саржи и Лидия в черном шелковом платье и в элегантной шляпке с пером резко отличались от всех присутствующих. Мужчины, без воротничков и галстуков, танцевали в кепках, зажав в зубах сигарету. Женщины были без шляп и вызывающе накрашены.

– Вид у них прямо бандитский, – сказал Чарли.

– Они такие и есть. Большинство уже побывало за решеткой, а остальным этого не миновать. Если начнется ссора и они станут швырять стаканы или повынимают ножи, просто прислонитесь спиной к стене и не шевелитесь.

– Похоже, мы им не очень-то по вкусу, – сказал Чарли. – Мне кажется, мы слишком привлекаем внимание.

– Они думают, мы любопытствующие туристы, а подобную публику они не выносят. Но все обойдется. Я знакома с patron^[103].

Когда официант принес заказанные два пива, Лидия попросила его позвать хозяина. Тот мигом явился, крупный толстяк, по виду точь-в-точь священник, и сразу узнал Лидию. Он проницательно и недоверчиво глянул на Чарли, но Лидия представила его как своего друга, и хозяин сердечно пожал ему руку и сказал, мол, рад познакомиться. Он подсел к их столику и несколько минут вполголоса о чем-то разговаривал с Лидией. Чарли заметил, что соседи наблюдают за этой сценой, и увидел, как один из них подмигнул другому. Они явно поняли, что все в порядке. Танец кончился, и те, кто прежде сидел за этим столом, вернулись. Они враждебно оглядели незнакомую парочку, но хозяин объяснил, что это свои, и тогда один из компании – темная личность со шрамом на физиономии, видно, когда-то полоснули бритвой, – настоял, чтобы они выпили с ним по стаканчику. Скоро все уже весело болтали. Им явно хотелось, чтобы молодой англичанин чувствовал себя как дома, и парень, сидящий с ним рядом, толковал ему, что хотя на вид компания грубоватая, неотесанная, но все они ребята что надо и сердце у них на месте. Был он изрядно под хмельком. Чарли справился с охватившим его поначалу беспокойством.

Вскоре встал саксофонист и выдвинул вперед стул. С гитарой в руках вышла русская певица, о которой говорила Лидия, и села. Раздался взрыв рукоплесканий.

– C'est La Marishka^[104], – сообщил Чарли его хмельной приятель. –

Другой такой на свете нету. Она была любовницей одного комиссара, но Сталин велел его расстрелять, и если бы она не сумела сбежать из России, он бы и ее велел расстрелять.

Женщина, сидящая по другую сторону стола, услышала его слова.

– Что за вздор ты несешь, Лулу! – крикнула она. – La Marishka до революции была любовницей великого князя, это все знают, у нее на миллионы было бриллиантов, а большевики все у ней отобрали. Она переделалась крестьянкой и сбежала.

Маришка была женщиной лет сорока, худая, мрачная, черты лица суровые, мужские, смуглая кожа и огромные горящие глаза под черными, густыми, круто изогнутыми бровями. Хриплым голосом во всю мощь легких она спела раздольную печальную песню, и хотя Чарли не понял ни единого русского слова, его пробрала дрожь. Певице громко хлопали. Потом она спела по-французски сентиментальную балладу – плач девушки по возлюбленному, которого наутро ждет казнь, чем привела слушателей в неистовый восторг. Напоследок она спела еще одну русскую песню, на сей раз веселую, и облик ее уже не казался трагическим; теперь лицо ее дышало грубым, необузданным весельем и в голосе сильным, резком звучало удалство; слушаешь, и кровь играет в жилах, и радуешься, но и сердце щемит оттого, что за бесшабашным ликованием таится отчаяние напрасных слез. Чарли посмотрел на Лидию и поймал ее усмешливый взгляд. Он добродушно улыбнулся. Эта суровая женщина извлекала из музыки что-то, что, как он теперь понимал, было ему недоступно. Песня кончилась, опять раздался взрыв рукоплесканий, но Маришка будто и не слышала, встала и направилась к Лидии. Они заговорили по-русски. Лидия повернулась к Чарли:

– Она выпьет шампанского, если вы ее угостите.

– Ну конечно.

Чарли подозвал официанта и заказал бутылку шампанского, но тут же, поглядев на шестерых соседей по столу, распорядился по-другому:

– Две бутылки и стаканы. Может быть, дамы и господа не откажутся выпить с нами.

Публика с благодарностью приняла предложение. Принесли шампанское, Чарли наполнил стаканы, передал по кругу. Все чокались, не скупившись на заздравные тосты.

– Vive l'Entente Cordiale!^[105]

– A nos allies!^[106]

Все развеселились, исполнились дружелюбия. Чарли блаженствовал.

Но он ведь пришел танцевать, и когда вновь заиграл оркестр, он поднял Лидию из-за стола. Скоро танцевало уже много пар, и он заметил, сколько любопытных взглядов обращено на Лидию; должно быть, всей честной компании стало известно, кто она такая; для этих молодчиков и их подружек она представляла особый интерес, отчего Чарли почувствовал себя не в своей тарелке, Лидия же, казалось, даже не замечала их взглядов.

Вскоре хозяин тронул ее за плечо.

– Мне надо сказать вам словечко, – шепнул он.

Лидия высвободилась из рук Чарли и, отойдя с толстяком в сторону, стала его слушать. Чарли видел, что она испугана. Тот, похоже, кого-то хотел ей показать – Чарли видел, она повернула голову, но за теснящимися танцующими парами ей ничего не удалось увидеть, и она прошла за хозяином в другой конец подвала. Казалось, она совсем забыла про Чарли. Слегка раздосадованный, он вернулся к столу. Там удобно расположившиеся две пары попивали его шампанское, они сердечно его приветствовали. Все уже держались без церемоний и спросили, куда он подевал свою подружку. Он рассказал, что произошло. Один из мужчин был невысокий крепыш с красной физиономией и роскошными усами. Ворот распахнут, видна густо заросшая волосами грудь, да еще из-за удушающей жары он снял пиджак, закатал рукава рубашки, и оказалось, выше локтя руки сплошь в татуировке. С ним сидела девица, должно быть, лет на двадцать его моложе. Ее гладко прилизанные черные волосы были разделены посредине пробором и собраны на затылке в узел, лицо – точно белая маска – густо напудрено, губы ярко накрашены, щедро подведены глаза. Крепыш подтолкнул ее локтем:

– Слышь, а чего б тебе не станцевать с англичанином? Ты ж пила его игристое, верно я говорю?

– Я не против, – сказала она.

Танцуя, она так и льнула к Чарли. Она была сильно надушена, но не настолько, чтобы не чувствовалось, что за ужином она ела что-то изрядно сдобренное чесноком. Она зазывно улыбалась Чарли.

– До чего ж, видать, погряз в пороке наш красавчик англичанин, – ворковала девица, извиваясь всем своим гибким телом, в черном, но пыльном бархатном платье.

– Почему вы так думаете? – улыбался Чарли.

– Быть с женой Берже – это разве не порок?

– Она моя сестра, – весело отозвался Чарли.

Девица сочла это верхом остроумия и, когда оркестр умолк и они вернулись к столу, повторила его слова в компании. Такой ответ всех

позабавил, и волосатый крепыш шлепнул Чарли по спине.

– Farceur, va!^[107]

Чарли вполне устраивало, что его принимают за шутника. Успех был приятен. Он понимал, что как любовник жены знаменитого убийцы он тут и сам вроде важной персоны. Они подбивали его прийти еще разок.

– Только приходите один, – сказала девица, с которой он перед тем танцевал.

– Мы подберем вам девчонку. На кой вам якшаться с этими русскими? Французское вино – вот вам что надо.

Чарли заказал еще бутылку шампанского. Он ничуть не пьянел, но был весел. Он вовсю наслаждался жизнью. Когда вернулась Лидия, он болтал и смеялся со своими новыми приятелями, будто был знаком с ними целую вечность. Следующий танец он танцевал с ней. Он заметил, что мысли ее далеко, и слегка встряхнул ее.

– Вы где-то витаете.

Она засмеялась.

– Извините. Я устала. Давайте уйдем.

– Вы расстроены, что-нибудь случилось?

– Нет, но уже поздно, и жара невыносимая.

Обменявшись дружескими рукопожатиями с новыми знакомыми, они вышли и сели в такси. Лидия в изнеможении откинулась на спинку сиденья. Чарли, убогаторенный, разнеженный, взял Лидию за руку. Ехали в молчании.

Они легли, и уже через несколько минут по ровному дыханию Лидии Чарли понял, что она уснула. А ему не спалось, слишком он был взбудоражен. Он так славно провел вечер, и приятное оживание не проходило. Какое-то время он перебирал все в уме и усмехался, представляя, как распишет этот вечер своим домашним. Он зажег свет, собираясь почитать. Но стихи Блейка не шли ему сейчас на ум. Беспорядочные воспоминания проносились в голове. Он погасил свет и задремал, но скоро проснулся. Его снедало желание. Он слышал спокойное дыхание спящей в соседней постели женщины, и странное чувство шевельнулось у него в душе. Если не считать тот первый вечер в Serail, Лидия не вызвала в нем ничего, кроме жалости и доброты. Как женщина она нисколько его не привлекала. Он видел ее несколько дней подряд с утра до ночи, и теперь она не казалась ему даже просто хорошенькой; ему не нравилось ее широкое скуластое лицо и то, как неглубоко сидели в орбитах ее неяркие глаза; иногда он находил ее просто дурнушкой. Несмотря на жизнь, которую она сама для себя избрала (по мотивам нелепым и

противоестественным), от нее веяло немислимой благопристойностью, убивающей всякие фривольные мысли. Да и ее равнодушие к плотской близости замораживало. Мужчины, которые за деньги пользовались ею ради удовольствия, вызывали в ней презрение и гадливость. Страстно любя Робера, она отрешилась от каких-либо иных привязанностей, и это убивало желание. Но кроме всего прочего, она и сама по себе не слишком нравилась Чарли; иногда она бывала угрюма, почти всегда равнодушна; все его знаки внимания принимала как должное; да, конечно, она ничего не просит, однако было бы приятно дожидаться от нее пусть не благодарности, но хоть намек на то, что она замечает, как он ради нее старается. И уж не водит ли она его за нос, как последнего дурня? Если Саймон сказал правду и она зарабатывает в публичном доме, чтобы помочь Роберу бежать с каторги, значит, она попросту отъявленная лгунья; от мысли, что у него за спиной она потешается над его простодушием, его бросило в жар. Нет, нисколько он ею не восхищался и чем больше о ней думал, тем меньше она ему нравилась. И однако, сейчас его охватило такое неодолимое желание, что казалось, он вот-вот задохнется. Она вдруг представилась ему не такой, какой он видел ее каждый день, бесцветной, будто учительница в воскресной школе, но той, какую увидел впервые, в широких турецких шальварах и голубом тюрбане, осыпанном звездочками, нарумяненную, с накрашенными ресницами; ему виделась ее тонкая талия, чистая, нежная медового цвета кожа и маленькие упругие груди с розовыми сосками. Он беспокойно ворочался в постели. Не мог он совладать с желанием. Что за пытка! В конце концов, это несправедливо, он молодой, сильный, нормальный мужчина, отчего ж ему не развлечься, когда подвернулся случай? Ведь для того она тут и есть, она сама так сказала. Пускай сочтет его грязной свиньей, что из того? Он обошелся с ней как нельзя лучше, заслужил же он хоть что-то. Ее спокойное, едва слышное дыхание странно возбуждало, и сам он задышал чаще. Ему уже чудилось, как он прильнул губами к ее нежным губам, ощущает в ладонях ее маленькие груди, в объятиях – ее гибкое тело, прижимается длинными ногами к ее ногам. Он зажег свет в надежде, что она проснется, и встал с постели. Склонился над Лидией. Она лежала на спине, скрестив руки на груди, словно каменное изваяние на саркофаге; из-под сомкнутых век струились слезы, рот искривлен скорбью. Она плакала во сне. Сейчас она совсем как ребенок, и на лице по-детски безысходное отчаяние, ведь ребенок не знает, что горе пройдет, как проходит все остальное. У Чарли перехватило дыхание. Было нестерпимо видеть спящую такой несчастной, и его захлестнула жалость, напроць смывая и страсть, и желание. Весь день Лидия была весела,

приветлива, охотно поддерживала разговор, и ему казалось, ее хотя бы ненадолго отпустила боль, которая, он сознавал, затаилась в глубине ее души; но во сне боль вернулась, и как же хорошо он понимал, что за горькие сны ее мучат. Он глубоко вздохнул.

Но спать уже совсем не хотелось, о том, чтобы опять лечь в постель, и думать было тошно. Чарли повернул абажур так, чтобы свет не беспокоил Лидию, и, подойдя к столу, набил и разжег трубку. Потом отодвинул тяжелую занавесь на окне, сел и посмотрел во двор. Двор был темный, светилося лишь одно окно, и это выглядело зловеще. Быть может, там кто-то болен или просто вот так же не может уснуть и невесело размышляет над запутанностью жизни. А может, мужчина привел к себе женщину, и, утолив страсть, они довольные лежат в объятиях друг друга. Чарли закурил. Он был угнетен и подавлен. Ни о чем не думалось. И наконец он опять лег и уснул.

Глава девятая

Проснулся он оттого, что горничная внесла утренний кофе. В первую минуту он забыл все, что было ночью.

– До чего же крепко я спал, – сказал он, протирая глаза.

– Прошу прощения, но уже половина одиннадцатого, а в половине двенадцатого у меня деловая встреча, – отозвалась Лидия.

– Ну что вы. Сегодня мой последний день в Париже, глупо было бы его проспать.

Горничная принесла два завтрака на одном подносе, и Лидия велела отдать его Чарли. А сама надела халат, села в изножье его кровати и прислонилась к спинке. Налила кофе, разрежала пополам булочку и намазала его половинку маслом.

– Я смотрела на вас спящего, – сказала она. – Вы так славно спите, будто зверек или ребенок, так глубоко, покойно, отдыхаешь, даже просто глядя на вас.

И тут он вспомнил.

– Боюсь, вы не очень хорошо провели ночь.

– Еще как хорошо. Спала как убитая. Понимаете, я отчаянно устала. Вот за что я вам особенно благодарна – мне чудесно спалось все эти ночи. Меня ужасно мучают сны. А здесь мне ни разу ничего не снилось, я спала совсем спокойно. А ведь я думала, мне уже никогда так не спать.

Чарли знал, прошлая ночь не обошлась без снов, и знал, что за сны ей снились. Она их не помнила. Он избегал на нее смотреть. И неприятно, и страшно, и жутко было думать, что, когда человек погружается в бессознательное состояние, его живая, мучительная жизнь может продолжаться, жизнь настолько реальная, что слезы текут ручьями и гримаса горя искажает рот, и, однако, проснувшись, он ничего не помнит. Чарли поежился от внезапно мелькнувшей мысли. Он не сумел бы точно ее выразить, а если бы это удалось, пожалуй, спросил бы себя:

«Кто же мы, в сущности, такие? Что мы знаем о себе? А бессознательная наша жизнь, она что, не такая подлинная, как та, которой мы живем наяву?»

Очень странно и сложно все это. Похоже, жизнь совсем не так проста, как казалось прежде, похоже, у людей, которых, как мы полагали, мы хорошо знаем, есть тайны, о существовании которых они и сами не ведают. Чарли внезапно подумалось, что люди беспредельно загадочны. Одно

несомненно, ты ни о ком ничего не знаешь.

– Что у вас за встреча? – спросил он скорее не из любопытства, а просто чтобы что-то сказать.

Прежде чем ответить, Лидия закурила сигарету.

– Марсель, тот толстяк, хозяин ресторанчика, где мы были вчера вечером, познакомил меня с двумя людьми, и я договорилась встретиться с ними сегодня утром в Палетт. Вчера в этой толчее нам не удалось поговорить.

– Вот как!

Сдержанность не позволила ему спросить, что это за люди.

– Марсель поддерживает связь с Кайенной и Сен-Лораном. Он часто получает оттуда вести. Поэтому мне и хотелось туда пойти. Они на прошлой неделе бросили якорь в Сен-Назере.

– Кто? Эти двое? Они беглые каторжники?

– Нет. Они отбыли свой срок. За их проезд заплатила Армия спасения. Они знают Робера. – Она на миг запнулась. – Если хотите, можете пойти со мной. У них нет денег. Они будут благодарны, если вы им немножко дадите.

– Хорошо. Я бы пошел.

– Они, кажется, вполне приличные ребята. Одному, должно быть, не больше тридцати. Марсель говорит, он был осужден за то, что убил человека прямо в кухне ресторана, где он работал поваром. А за что судили другого, не знаю. Подите-ка примите ванну. – Она прошла к туалетному столику и посмотрелась в зеркало. – Странно, отчего у меня опухли веки? Вид такой, будто я плакала, а ведь ничего такого не было, вы же знаете.

– Верно, уж очень накурено было в ресторане. Господи, там же так надымили – не продохнешь.

– Я позвоню, чтобы принесли лед. А потом минут пять побудем на свежем воздухе, и все пройдет.

Когда они вошли в Палетт, там было пусто. Те, кто поздно завтракал, уже выпили кофе и ушли, а время предобеденного аперитива еще не настало. Лидия и Чарли сели в уголке у окна, чтобы можно было смотреть на улицу. Прождали несколько минут.

– Вот они, – сказала Лидия.

Чарли глянул из окна, увидел идущих мимо двух мужчин. Они заглянули в окно, чуть помешкали и прошли дальше, потом вернулись; Лидия улыбнулась им, но они не обратили на нее внимания; постояли, посмотрели вдоль улицы в одну сторону, в другую, потом неуверенно – на кафе. Похоже, они не решались войти. Оба держались робко, словно

старались быть понезаметней. Они перекинулись несколькими словами, и тот, что помоложе, торопливо и тревожно оглянулся. Второй вдруг решился и пошел к дверям. Его приятель поспешил следом. Они вошли, и Лидия помахала им рукой и улыбнулась. Они по-прежнему словно не замечали ее. Украдкой огляделись, будто проверяя, не грозит ли какая опасность, потом подошли, один глядя в пол, другой в сторону. Лидия пожала им руки, представила Чарли. Они, видно, ждали, что она будет одна, и присутствие спутника их смутило. Они посмотрели на Чарли подозрительно. Лидия объяснила, что он англичанин, ее приятель, на несколько дней приехал в Париж. Чарли, стараясь улыбнуться возможно приветливее, протянул руку; один за другим они вяло ее пожали. Казалось, им вовсе нечего сказать. Лидия пригласила их присаживаться и спросила, что им заказать.

– Чашку кофе.

– А есть что-нибудь будете?

Старший смущенно улыбнулся приятелю.

– Пирожное, если можно. Парнишка сластена, а там, откуда мы приехали, этим не баловали.

Говоривший был чуть ниже среднего роста. Лет, должно быть, сорока. Второй – дюйма на три выше и лет, наверно, на десять моложе. Оба очень тощие. Оба при воротничках и при галстуках, в грубошерстных костюмах, один в серо-белую клетку, другой в темно-зеленом, но костюмы плохо сшиты и сидели мешковато. Обоим было явно не по себе в этом одеянии. Старший, хоть и невысок ростом, был крепок и ладно скроен; изжелта-бледная физиономия изрезана морщинами. Вид решительный. Лицо второго такое же бледное, бескровное, но туго натянутая кожа гладкая, без морщин, он выглядел совсем больным. Было у них и еще одно общее свойство: глаза у обоих казались неестественно большими, и когда они обращали на вас взгляд, они будто смотрели не на вас, а, уставясь как сумасшедшие куда-то вдаль, вглядывались во что-то, что внушало им ужас. Мучительно это было. Поначалу они робели, а поскольку Чарли тоже робел, хотя, желая проявить дружелюбие, угощал их сигаретами, а Лидия, казалось, не видела нужды в словах и довольствовалась тем, что не сводила с них глаз, все сидели молча. Но она смотрела на этих двоих с таким ласковым участием, что молчание никого не смущало. Официант принес кофе и тарелку с пирожными. Старший повертел пирожное в руках, а второй ел с жадностью, то и дело украдкой бросая на приятеля трогательные удивленно-восхищенные взгляды.

– Мы, как очутились одни в Париже, первым делом махнули в кондитерскую, и парнишка уплет подряд шесть шоколадных эклеров. Но

это ему не прошло даром.

– Ага, – серьезно сказал второй. – Мы только вышли на улицу, и меня стошнило. Живот мой к этому не приучен, вот какое дело. Но эклеры того стоили.

– Вас там очень плохо кормили?

Старший пожал плечами.

– Триста шестьдесят пять дней в году мясо. Скоро перестаешь это замечать. Да еще, если ведешь себя по правилам – а правила лучше не нарушать, – дают сыр и немного вина. Конечно, когда отбарабанил срок и тебя освободили, тут дело хуже. В тюрьме и харч, и крыша над головой, а на свободе крутись как знаешь.

– Мой друг не понимает, – сказала Лидия. – Объясните ему. У них в Англии по-другому.

– А оно вот как. Приговорили тебя на срок восемь, десять, пятнадцать, двадцать лет отсидки, а свое оттрубил – ты libéré^[108]. И должен оставаться в колонии еще столько лет, на сколько был осужден. Работу найти трудно. У libérés дурная слава, и никому неохота их нанимать. Правда, могут дать участок земли, и, пожалуйста, обрабатывай, да ведь не всякий сумеет. Столько лет просидел в тюрьме, да выполнял приказы охранников, да половину времени вовсе ничего не делал, вот и отвыкаешь мозгами шевелить; а еще малярия, глисты, никаких сил не остается. Большинство получают работу, только когда приходит пароход, малость подрабатывают на разгрузке. Libéré спит на базаре, пьет рафию, если подвернулся случай, да голодает, ничего другого ему не остается. Мне повезло. Понимаете, я по профессии электрик, хороший электрик, свое дело знаю лучше некуда, стало быть, человек нужный. Вот и жилось мне неплохо.

– На сколько вас осудили? – спросила Лидия.

– Всего на восемь лет.

– А за что?

Он слегка пожал плечами, с неодобрительной улыбкой глянул на Лидию.

– Дурь, мальчишество. Бывает, по молодости попадешь в скверную компанию, слишком много пьешь, а там, глядишь, что-то случается и потом всю жизнь за это расплачиваешься. Мне тогда было двадцать четыре, а теперь сорок. Лучшие свои годы провел в этом аду.

– Он мог бы выбраться раньше, да не захотел, – сказал младший.

– Вы хотите сказать, мог сбежать? – спросила Лидия.

Чарли быстро испытующе взглянул на нее, но ничего не прочел по ее лицу.

– Сбежать? Нет, это дурацкая затея. Сбежать всегда можно, а вот выбраться на свободу мало кому удалось. Куда денешься? В заросли? Лихорадка, дикие звери, голод, а еще туземцы, схватят тебя, за поимку ведь заплатят. Многие пробовали бежать. Понимаете, бывает, человек сыт по горло, все опостылело, еда, приказы, физиономии всех каторжников, ну и подумает, все будет лучше, чем такая жизнь, а выдержать не сможет: такие, если не помрут от голода или болезни, попадают к туземцам или сами сдаются; и тогда два одиночки, а то и больше, и надо быть здоровенным парнем, не то сломаешься. Раньше, когда голландцы строили железную дорогу, было проще, перебрался через реку, и тебя берут на работу, а теперь дорога построена и рабочие им уже без надобности. Они тебя схватят и отправят обратно. Но даже и тут приходилось рисковать. Был там один таможенник, он обещал переправить тебя через реку, был у него свой тариф. Договоришься встретиться с ним ночью где-нибудь в джунглях, а придешь, он возьмет да и застрелит тебя и опустошит карманы. Говорят, покуда его не поймали, он человек тридцать погубил. Кое-кто ушел морем. Человек шесть сговорятся и подыбнут какого-нибудь libéré купить жалкое суденышко. Трудное это плавание, без компаса, безо всего, и ведь не знаешь, когда налетит шторм; если куда приплывут, это скорей везение, а не умение. И опять же, куда деваться? Венесуэла их больше не принимает, а высадутся они там, их – в тюрьму и отправляют обратно. Высадутся в Тринидаде, власти подержат их неделю, снабдят продуктами, даже лодку дадут, если ихняя не годится для морского плавания, и отправляют в море, а плыть-то некуда. Нет, бежать и пробовать глупо.

– Но ведь, бывает, удается людям, – сказала Лидия. – Этот вот доктор, как же его имя? Говорят, он практикует где-то в Южной Америке и живет неплохо.

– Да, с деньгами иной раз и удастся бежать, только если не на островах, а в Кайенне или в Сен-Лоране. Можно сговориться со шкипером бразильской шхуны, он подберет тебя в море и, если он честный парень, высадит где-нибудь на берегу, где ты будешь в полной безопасности. А жулик возьмет у тебя деньги да вышвырнет тебя за борт. Но он теперь требует двенадцать тыщ франков, а значит, денег надо вдвое больше, – libéré, который передаст их шкиперу, за посредничество берет половину. А потом ведь не высадишься в Бразилии без гроша в кармане. Надо иметь по крайности тридцать тыщ франков, а у кого они есть?

Лидия задала еще один вопрос, и опять Чарли бросил на нее пытливый взгляд.

– Но как можно быть уверенным, что libéré передаст деньги?

– А никак. Бывает, и не передает, но тогда ему рано или поздно всадят нож в спину, и он хорошо знает, начальство не станет особо беспокоиться, если однажды утром какого-то там libéré найдут мертвым.

– Ваш приятель сказал, вы могли уехать раньше, но не уехали. Что это значит?

Коротышка неодобрительно пожал плечами.

– Я сумел стать полезным человеком. Комендант был порядочный малый, и он видел, я хороший работник и честный. Они скоро поняли, меня можно оставлять в доме одного, если надо что-то там сделать, и я ничего не трону. Он выхлопотал для меня разрешение вернуться во Францию, когда мне оставалось еще жить там два года как libéré. – Он трогательно улыбнулся другу. – Но не хотел я оставлять этого негодника. Знал, без меня он попадет в переплет.

– Верно, – сказал младший. – Я всем ему обязан.

– Он, когда вышел, совсем был сосунок. Его койка стояла рядом с моей. Днем держался совсем неплохо, а по ночам плакал и звал мамашу. Мне жалко его было. Сам не знаю, как это вышло, а только привязался я к нему. Парнишка совсем растерялся среди тамошней братии, и пришлось мне за ним приглядывать. Кой-кто стал было его донимать, один алжирец не давал ему проходу, но я его проучил, и тогда все оставили парнишку в покое.

– А как вы его проучили?

На лице коротышки появилась такая веселая, озорная ухмылка, что он вдруг сразу помолодел на десять лет.

– Ну, понимаете, там можно заставить себя уважать, только если умеешь владеть ножом. Я вспорол ему брюхо.

У Чарли перехватило дыхание. Это было сказано так просто, он с трудом поверил своим ушам.

– Понимаете, с девяти до пяти мы заперты в общей спальне, и надзиратели туда не заходят. Сказать по правде, им это может стоить жизни. Если утром кого-нибудь находят с дыркой в животе, начальство не задает вопросов, знает, правды ему все равно не скажут. Так что, понимаете, я вроде чувствовал себя в ответе за парнишку. Надо было всему его научить. У меня голова на плечах, и я скоро сообразил, хочешь жить легко, от тебя только одно требуется: делай, как тебе велят, и будь тише воды ниже травы. Не справедливость на свете правит, а сила, а сила у него, у начальства; в один прекрасный день власть, может, будет у нас, у рабочего люда, тогда мы этим буржуям покажем, почем фунт лиха, а до тех пор надо подчиняться. Этому я его и учил, а еще своему делу, и теперь он

почти такой же классный электрик, как я.

– Теперь нам только надо найти работу, – сказал младший. – Чтоб работать вместе.

– Мы через такое вместе прошли, нам теперь расставаться нельзя. Понимаете, у меня кроме него никого. Ни матери, ни жены, ни ребятишек. Была мать, да померла, а жену и ребятишек потерял, когда попал в эту историю. Женщины суки. А если никого не любишь, трудно на свете.

– А я, кто у меня? Мы вдвоем, это уж навсегда.

Было что-то очень трогательное в дружбе этих двух бедолаг. Чарли пришел в волнение и даже сам смутился; сказать бы им, что их дружба прекрасна, замечательна, но никогда ему не произнести такие непривычные слова. Зато Лидия ничуть не смущалась.

– Не знаю, много ли найдется людей, кто ради друга остался бы в этом аду на два долгих года, если мог уехать.

Коротышка фыркнул.

– Знаете, там время прямая противоположность деньгам: там каждый грош – событие, а прорва времени считай ничто. Шесть су хранишь, будто целое богатство, а два года – про них и говорить-то не стоит.

Лидия тяжело вздохнула. Ясно было, о чем она думает.

– Берже там не очень надолго?

– Пятнадцать лет.

Все помолчали. Видно было, с каким трудом Лидия пытается справиться с волнением, но когда она заговорила, голос ее дрогнул.

– Вы его видели?

– Да. Я с ним разговаривал. Вместе в больнице лежали. Я лег, чтоб мне вырезали аппендикс, думал, вернусь во Францию, и не ровен час придется вырезать, на что это мне. А Берже работал на строительстве дороги из Сен-Лорана в Кайенну, и его приступ малярии свалил.

– Я этого не знала. Получила от него одно письмо, но про это ни слова.

– Там у всех малярия, рано или поздно не минуешь. Чего тут расписывать. Ему повезло, что его так скоро схватило. Он приглянулся военному доктору, Берже-то, он грамотный, а такие там наперечет. Они там будут хлопотать, чтоб он, когда оклемается, остался при больнице. Теперь ему будет неплохо.

– Марсель мне сказал, вы мне что-то от него передадите.

– Да, он дал мне адресок. – Коротышка вынул из кармана пачку бумаг и протянул Лидии листок, на котором было что-то написано. – Если сможете послать денег, шлите по этому адресу. Но помните, он-то получит только половину.

Лидия взяла клочок бумаги, посмотрела на него и спрятала в сумочку.

– Что-нибудь еще?

– Да. Сказал, пускай, мол, не убивается. Сказал, ему не так уж плохо, могло быть и похуже, он освоился и вполне справится. И знаете, это верно. Берже не дурак. Много ошибок не наделает. Он такой, не ударит в грязь лицом. Вот увидите, будет жить не тужить.

– Как это не тужить?

– А вот даже не поверишь, к чему только человек не привыкает. Ваш-то малость шутник, верно? Бывало, такое скажет, мы покатываемся. Он в чем хочешь смешное увидит, это редкий человек может, а уж он может, это точно.

Лидия побледнела. Сидела молча, опустив глаза. Старший из тех двух обернулся к приятелю:

– Не помнишь, я тебе рассказывал, чего-то он сказал про того малого в больнице, который по глотке себя полоснул, обхохочешься.

– Ага, помню. Чего ж это он говорил? Начисто забыл, а только помню, хохотал до упаду.

Все надолго замолчали. Казалось, говорить больше не о чем. Лидия задумалась, а два приятеля обмякли на стульях, безучастным взглядом уставились в пространство, будто куклы, которых продают на бульваре Монпарнас, те, что, покачиваясь, идут и идут по кругу и вдруг застывают. Лидия вздохнула.

– Наверно, мы обо всем переговорили, – сказала она. – Спасибо, что пришли. Надеюсь, вы найдете работу, такую, какую ищете.

– Армия спасения для нас старается. Я так думаю, что-нибудь да получится.

Чарли вынул из кармана бумажник.

– Вы, вероятно, не слишком богаты. Я хотел бы немного помочь вам продержаться, пока не найдете работу.

– Вот это пригодится, – просяив, сказал старший. – Армия спасения кормит и койку дает, а больше она ничего не может.

Чарли протянул им пятьсот франков.

– Отдайте парнишке, пускай хранит. Он мастер зажать монету, что твой крестьянин, страх не любит выкладывать деньги, он какие-нибудь пять франков надолго растян timer, почище любой старухи.

Все вместе они вышли из кафе и обменялись рукопожатиями. За тот час, что они провели в кафе, два приятеля стали раскованней, но на улице опять оробели. Казалось, они съежились, словно хотели стать как можно незаметней, и украдкой поглядывали по сторонам, будто боялись, что кто-

нибудь сейчас на них набросится. Плечом к плечу, с опущенными головами, они пошли прочь и наконец, быстро оглянувшись, скрылись за углом.

– Вероятно, я просто предубежден, но, должен признаться, мне было не по себе в их обществе, – сказал Чарли.

Лидия не отозвалась. В молчании шли они по бульвару, в молчании обедали. Лидия была погружена в свои мысли. Чарли догадывался, о чем они, и чувствовал, что разговор о пустяках она поддерживать не станет. Да ему и самому было о чем подумать. Недавняя беседа с двумя каторжниками, вопросы, которые им задавала Лидия, воскресили подозрения, которые посеял у него в душе Саймон, и хотя он пытался их отместить, они затаились в глубине сознания, точно затхлый запах давно запертой комнаты, который не в силах развеять никакой сквозняк. Ему было неприятно, скорее не потому, что он не желал, чтоб его дурачили, а потому, что не хотелось думать, будто Лидия лгунья и лицемерка.

– Я хочу пойти повидать Саймона, – сказал он, когда они кончили с обедом. – Я приехал в Париж главным образом, чтобы побыть с ним, а мы толком и не виделись. Надо хотя бы пойти попрощаться с ним.

– Да, конечно, надо.

Чарли собирался еще и вернуть Саймону статью и газетные вырезки, которые тот давал ему читать. Все это лежало у него в кармане.

– Если вы хотите провести вечер со своими русскими друзьями, я сперва завезу вас к ним.

– Нет, я вернусь в гостиницу.

– Боюсь, я приду поздно. Вы ведь знаете, какой Саймон, когда разговорится. Вам одной не будет скучно?

– Я не привыкла к такому вниманию, – улыбнулась Лидия. – Нет, мне скучно не будет. Мне не часто удастся побыть одной. Посидеть в одиночестве и знать, что никто не войдет... да большей роскоши и представить нельзя.

Они расстались, и Чарли направился к Саймону. Он знал, в такое время он скорее всего застанет приятеля дома. Он позвонил, и Саймон открыл дверь. Он был в пижаме, в халате.

– Привет! Я так и думал, тебя может занести. Мне утром не надо было выходить, и я не одевался!

Он не брился и, похоже, не мылся тоже. Длинные прямые волосы встрепаны. В тусклом свете, что просачивался в комнату через глядящее на север окно, его беспокойные сердитые глаза на бледном худом лице казались угольно-черными, под глазами залегли густые тени.

– Садись, – продолжал он. – У меня сегодня в камине огонь вовсю и здесь тепло.

И вправду было тепло, но комната оставалась все такая же заброшенная, безрадостная, неприбранная.

– Твой роман по-прежнему в разгаре?

– Я прямо от Лидии.

– Завтра возвращаешься в Лондон? Смотри, чтоб она не слишком много с тебя содрала. Чего ради тебе помогать ей вытащить из тюрьмы ее отвратного супруга.

Чарли вынул из кармана газетные вырезки.

– По твоей статье я понял, что он тебе в какой-то мере симпатичен.

– Симпатичен? Нет. Он был мне интересен – уж слишком явный подлец, без стыда и совести. Я восхищался его самообладанием. При других обстоятельствах он мог бы стать очень полезным орудием. Во время революции смельчаку вроде него, который не знает сомнений и ни перед чем не остановится, – такому цены нет.

– По-моему, не очень надежное было бы орудие.

– Кажется, это Дантон говорил, что в революции на поверхность поднимается пена общества, негодяи и преступники? Вполне естественно. От них требуется определенная работа, а когда они сослужат службу, от них можно избавиться.

– Я вижу, у тебя все продумано, дружище, – с веселой усмешкой сказал Чарли.

Саймон нетерпеливо передернул костлявыми плечами.

– Я изучал французскую революцию и коммуну. Русские тоже их изучали и многому научились, но у нас теперь есть преимущество – мы можем воспользоваться уроками, которые извлекли из последующих событий. В Венгрии наломали дров, зато в России уроки не прошли даром, и Италия и Германия тоже не сплеховали. Были бы мы не дураки, мы бы смогли повторить их успехи и избежать их ошибок. Революция Белы Куна не удалась, потому что народ голодал. Когда поднялся пролетариат, совершить революцию оказалось сравнительно легко, но пролетариат надо кормить. Нужно все так организовать, чтобы транспорт работал бесперебойно и провизии было вдоволь. Вот, кстати, почему власть, ради захвата которой пролетариат совершал революцию, не должна ему достаться, она должна попасть в руки небольшой кучки разумных вождей. Народ не способен собой управлять. Пролетарии – рабы, а рабам нужны хозяева.

– Как я понимаю, ты теперь вряд ли станешь называть себя подлинным

демократом, – сказал Чарли с насмешливым огоньком в глазах.

Саймон нетерпеливо отмел его ироническое замечание.

– Демократия – пустая выдумка. Неосуществимый идеал, которым пропагандист размахивает перед массами, как машут морковкой перед мордой осла. Эти знаменитые девизы девятнадцатого века – свобода, равенство, братство – просто чушь. Свобода? Массы не нуждаются в свободе, а получив ее, не знают, что с ней делать. Их обязанность и их удовольствие – служить; только таким образом они обретают уверенность в завтрашнем дне, а это и есть их сокровенное желание. Уже давным-давно решено, что единственная стоящая свобода – это свобода поступать по справедливости, а что справедливо, решает тот, у кого сила. Справедливость – это идея, рожденная общественным мнением и предписанная законом, но общественное мнение создают те, у кого власть, они и навязывают свою точку зрения, а могущество закона опирается на силу. Братство? Что ты подразумеваешь под братством?

Чарли на минуту задумался.

– Ну, не знаю. Наверно, это ощущение, что все мы члены одной огромной семьи и здесь на земле нам отпущен такой краткий срок, что надо жить в согласии друг с другом.

– И больше ничего?

– Ну, только что жизнь трудная штука, и, должно быть, каждому будет легче, если относишься ко всем по-доброму, порядочно. У людей множество недостатков, но и много хорошего. Чем лучше знаешь человека, тем милей он оказывается. Значит, наверно, если отнестись к нему с доверием, он пойдет тебе навстречу.

– Чепуха, мой дорогой, чепуха. Ты сентиментальный дурак. Во-первых, неправда, что при ближайшем знакомстве человек оказывается лучше, ничего подобного. Вот почему следует обзаводиться только знакомыми и ни в коем случае не друзьями. Знакомый оборачивается к тебе только своими лучшими сторонами, он внимателен, учтив, он скрывает свои дурные свойства за маской общепринятой благопристойности. Но сойдись с ним поближе, и он отбросит маску, не даст себе труда притворяться, и перед тобой предстанет существо такое низкое, натура такая заурядная, слабая, продажная, что ты ужаснешься, если еще не понял, – таков человек по природе своей, и осуждать его так же глупо, как осуждать волка за волчий аппетит или кобру за смертельный укус. Суть человеческой природы – эгоизм. В эгоизме и сила его и слабость. За два года, что я работаю в газете, мне довелось ох как хорошо узнать людей. Тщеславные, ограниченные, бессовестные, корыстолюбивые, двуличные и

малодушные, они готовы предать друг друга даже не ради собственной выгоды, а из одной только злобы. Они пускаются во все тяжкие, лишь бы подложить сопернику свинью. Пойдут на любое унижение ради титула или ордена. И не только политики. Адвокаты, врачи, коммерсанты, художники, литераторы. А как они жаждут славы! Готовы кланяться и льстить дрянному журналистишке, только бы он превознес их в печати. Богач пойдет на любую гнусность, лишь бы заполучить побольше денег, а ему и так их девать некуда. Честность что в политике, что в коммерции существует лишь постольку, поскольку позволяет им повернуть какое-нибудь дельце. Сдерживает их только страх. Потому что они трусы. И все их торжественные заверения – это лишь высокопарная болтовня, бесстыдная ложь, самообман. Поверь мне, не очень-то много сохранишь иллюзий насчет человеческой натуры, занимаясь делом, которым я занят с тех пор, как бросил Кембридж. Люди мерзки. Они трусы и лицемеры. Я их терпеть не могу.

Чарли опустил глаза. Неловко ему было сказать то, что хотелось. Это звучало глуповато.

– И ты их совсем не жалеешь?

– Жалеть? Жалость – это по бабьей части. Жалость вызывает нищий, ведь нет у него ни силы воли, ни трудолюбия, ни мозгов, чтоб заработать на сносную жизнь. Жалость – это лесть, которой жаждет неудачник, чтоб сохранить самоуважение. Жалость – это ничтожная подачка потерпевшим крушение, которая позволяет преуспевающей публике с чистой совестью наслаждаться своим преуспеванием.

Саймон сердито запахнул халат. Чарли узнал свой старый халат, он когда-то собрался его выкинуть, а Саймон попросил отдать ему, Чарли засмеялся, сказал, что лучше подарит ему новый, но Саймон стоял на своем, говорил, ему и этот вполне подойдет. Чарли тогда смущенно подумал, уж не обиделся ли на него Саймон за такой пустячный подарок.

– Равенство? – продолжал Саймон. – Равенство – отъявленная чепуха, самая нелепая из всех, какие когда-либо смущали человечество. Словно люди равны или могут быть равны! Говорят о равных возможностях. На что людям равенство, ведь им от него нет никакого толка. Люди рождаются неравными, они разные по характеру, жизнеспособности, по складу ума; и никакие равные возможности этого не возместят. В большинстве люди беспросветно тупы. Легковерные, поверхностные, беспомощные, откуда им получить равные возможности с теми, у кого есть характер, ум, трудолюбие, сила? И именно это естественное неравенство людей вышибает почву из-под ног демократии. Что за фарс – править

государством, считаясь с миллионами безмозглых! Во-первых, они сами не знают, что для них благо, и, во-вторых, они неспособны воспользоваться благами, которых хотят. К чему же сводится демократия? К тому, насколько убедительны лозунги, измышленные хитрыми, корыстными политиками. При демократии господствуют слова, причем у оратора редко голова на плечах, а если он и башковитый, ему не хватает времени все обмозговать, его силы уходят на то, чтобы умаслить дурачье, от чьих голосов он зависит. Демократия испытывалась сто лет: теоретически это всегда была нелепость, а теперь мы знаем, что и на практике она провалилась.

– И несмотря на это, ты намерен, если удастся, пройти в парламент. Бесчестный ты малый, друг мой Саймон.

– В Англии, в стране, приверженной традициям, где чтут искони установленные институты, только внутри этих институтов возможно обрести достаточное могущество, чтобы осуществить свои планы. Думаю, получить поддержку в стране и собрать вокруг себя необходимое число сторонников для *coup d'état*^[109] может лишь видный член одной из ведущих партий в палате общин. А так как переворот может совершить только народ, это должна быть лейбористская партия. Даже когда созрели условия для революции, имущие классы все еще сохраняют достаточно привилегий, чтобы наилучшим для себя образом использовать неблагоприятные обстоятельства.

– Какие условия ты имеешь в виду? Поражение в войне и экономическую катастрофу?

– Именно. Даже и тогда страдания имущих классов весьма относительно. Ну станут они пореже раскатывать в своих автомобилях или закроют свои загородные дома, отчего прибавится безработных, а их собственная жизнь не так уж и осложнится. Но народ голодает. И когда ты станешь говорить, что ему нечего терять, кроме своих цепей, он будет тебя слушать, и когда ты станешь махать у него перед носом наживкой из чужой собственности, он даст волю своей жадности и зависти, которые он вынужден был подавлять, пока не мог дать им волю. С такими девизами, как свобода и равенство, его можно будет повести в атаку. История последней четверти века показывает, что он непременно победит. Собственность расслабила имущие классы, они гуманны и сентиментальны, нет у них ни воли, ни мужества, чтобы себя защитить; их мнения не совпадают, и в решающую минуту, когда надо действовать немедленно и безжалостно, они теряют время во взаимных упреках. Но толпой, этим орудием вождей революции, движет не разум, инстинкт, она поддается гипнозу, и лозунгами ее можно довести до неистовства; она

единый организм и потому равнодушна к смерти в своих рядах; она не ведает ни жалости, ни милосердия. Она с радостью разрушает, потому что, разрушая, осознает свою силу.

– Ты, вероятно, не станешь отрицать, что это ведет к убийству тысяч ни в чем не повинных людей и к разрушению институтов, на создание которых потребовались сотни лет.

– Революция не может обойтись без разрушения и убийства. Еще Энгельс много лет назад сказал, что надо быть готовым к тому, что имущие классы будут всеми способами отстаивать свою власть. Это борьба не на жизнь, а на смерть. Демократия приписала человеческой жизни до нелепости большое значение. В нравственном отношении человек равным счетом ничего не стоит, и подавить его можно безо всякого ущерба. Биологически он вообще ничего из себя не представляет; с какой стати приходить в ужас, убив человека, если ничего не стоит прихлопнуть муху.

– Я начинаю понимать, почему тебя заинтересовал Робер Берже.

– Он меня заинтересовал, потому что он убил не из каких-то низких побуждений, не ради денег или из ревности, но ради самоутверждения, в доказательство своей силы.

– Теперь, разумеется, остается доказать, что коммунизм осуществим.

– Коммунизм? Кто говорит о коммунизме? Теперь уже все знают, коммунизм вздор. То была мечта оторванных от жизни идеалистов, которые понятия не имели о подлинной действительности. Коммунизм – соблазн, которым прельщают трудящихся, чтобы они взбунтовались, так же как крик о свободе и равенстве воодушевляет их на риск. В мире всегда были эксплуататоры и эксплуатируемые. И всегда будут. И так и должно быть, потому что огромная масса людей по самой своей природе рабы, они не способны собой управлять, и для их же блага им нужны хозяева.

– Я бы сказал, потрясающее заявление.

– Это не моя мысль, дорогой, – усмехнулся Саймон. – Это Платон, но с тех пор, как он это сказал, история вполне подтвердила его правоту. Каков результат революций, которые совершились на нашем веку? Народ не лишился хозяев, только сменил их, и никогда власть не правила такой железной рукой, как при коммунизме.

– Значит, народ обманули?

– Конечно. А почему бы и нет? Дурачье и получило по заслугам. Какое это имеет значение? Они выиграли весьма существенно. От них больше не требуется думать о себе, им говорят, что надо делать, и покуда они послушны, им дается уверенность в завтрашнем дне, которой они всегда так жаждали. Диктаторы нашего времени наделали ошибок, и мы можем

учиться на их промахах. Они забыли изречение Макиавелли: народ можно лишить политической свободы, если предоставить ему свободу в частной жизни. Я предоставил бы народу вообразить себя свободным, дав ему ту меру личной свободы, которая не угрожает безопасности государства. Я национализировал бы промышленность в той степени, которая была бы приемлема для человеческой особи, и тем самым у людей появилась бы иллюзия равенства. И поскольку все они окажутся под одним и тем же ярмом, у них даже появится иллюзия братства. Не забудь, диктатор может сделать для блага народа очень много такого, что демократии не дано, ведь ей приходится считаться с законными интересами, завистью и личными амбициями, и потому у диктатора есть беспримерная возможность облегчить участь масс. Вчера я был на большом коммунистическом митинге, и чуть не на каждом знамени я читал слова: Мир, Работа, Благополучие. Что может быть естественней этих требований? И однако, после ста лет демократического правления люди все еще этого требуют. Диктатор может их удовлетворить одним росчерком пера.

— Но ты же сам признался, что народ только сменил хозяина. Его по-прежнему эксплуатируют. Почему ты думаешь, что он будет с этим мириться?

— А потому, что волей-неволей он вынужден будет мириться. В современных условиях, при самолетах, которые бомбят, и броневиках, вооруженных станковыми пулеметами, диктатор может подавить любое восстание. То же могли бы сделать и имущие классы, но опыт показал, что им не хватает стойкости. Они убивают сотню людей, тысячу, а потом пугаются, ищут компромисса, готовы идти на уступки, но они спохватываются слишком поздно, время для компромиссов и уступок упущено, и их уничтожают. А хозяина народ примет, народ понимает, что хозяин и лучше его и умней.

— А почему это он лучше и умней?

— Потому что сильнее. Раз на его стороне сила, значит, то, что, по его мнению, правильно, вправду правильно, и то, что хорошо, хорошо.

— Это просто как дважды два четыре, но еще менее убедительно, — довольно дерзко отозвался Чарли.

Саймон зло на него посмотрел.

— Тебе это показалось бы достаточно убедительным, если б от этого зависело не только твое благополучие, но сама жизнь.

— А кому, скажи на милость, предназначено выбирать хозяина?

— Никому. Его неизбежно выдвигают сами обстоятельства.

— А не слишком ли громко сказано?

– Он добирается до вершины, потому что в нем заложен инстинкт главаря. У него есть воля к власти. У него есть отвага и вдохновение, способности, ловкость и энергия. Он ничего не боится, потому что в опасности видит смысл жизни.

– Да, всякий скажет, сомнения тебе не занимать, Саймон, – улыбнулся Чарли.

– С чего ты взял?

– Ну, я думаю, тебе кажется, что ты обладаешь всеми этими свойствами.

– Почему ты так думаешь? Я знаю себя как мало кто. Знаю свои способности, но и пределы своих возможностей. У диктатора должна быть некая мистическая притягательная сила, благодаря которой его последователи впадают в своего рода религиозный восторг. Он должен обладать неким магнетизмом, чтобы они считали за честь отдать за него жизнь. Они должны чувствовать, что в служении ему их жизнь обретает величие. Во мне же ничего такого нет. Я скорее отталкиваю людей, а не привлекаю. Я способен уstrasить людей, но вызвать любовь не способен. Помнишь, что сказал Линкольн: «Некоторых людей можно дурачить все время, всех можно дурачить некоторое время, но все время дурачить всех невозможно». Но как раз это и должен делать диктатор: он должен дурачить всех все время, а это возможно только в одном случае – он должен дурачить и самого себя. Ни один диктатор не обладает ясным логичным умом. У диктатора есть внутренний импульс, сила, магнетизм, обаяние, но если повнимательней разобраться в его словах, увидишь, ум у него заурядный. Он может действовать, потому что им движет инстинкт, но стоит ему задуматься, и он сразу запутается. У меня слишком хорошая голова и слишком мало обаяния, какой из меня диктатор. Притом лучше, если диктатор, которого привел к власти пролетариат, будет сам пролетарий. Трудящимся классам будет легче признать его своим, и тем охотней они станут ему подчиняться и служить верой и правдой. Техника революционного переворота была усовершенствована. При определенных условиях группе решительных людей захватить власть нетрудно, а вот удержать ее трудно. Русская революция ясней ясного показала, что есть для этого только один путь, итальянская и германская революции это подтвердили, хоть и не так убедительно. И путь этот – террор. Рабочий, оказавшийся во главе государства, подвергается соблазнам, против которых может устоять только очень сильная натура. Чтобы лeсть не вскружила голову, а непривычная роскошь не подорвала решимость, надо быть поистине сверхчеловеком. Рабочий по своей природе сентиментален,

сердце у него доброе, и потом, он жалостлив; получив все, чего хотел, он бездельничает и пускает все на самотек; он прощает врагов и изумляется, когда, едва отвернувшись, получает нож в спину. У него под боком должен быть кто-то, кто по своей натуре, по рождению, образованию, воспитанию равнодушен к искушениям властью и не восприимчив к расслабляющему влиянию успеха.

Все это время Саймон ходил взад-вперед по кабинету, а сейчас, на полпути к другу, остановился. Бледный, небритый, с взлохмаченными волосами, в халате, который кое-как прикрывал его тощие руки и ноги, он выглядел нелепо. Но в прошлом, не таком уж далеком прошлом, другие молодые люди, такие же бледные, тощие, неухоженные, в поношенных костюмах или студенческих тужурках ходили по своим убогим жилищам и высказывали столь же, казалось бы, несбыточные мечты; и однако, как ни странно, время и благоприятный случай помогли их мечтам осуществиться, и, сквозь кровь прорываясь к власти, они держали в своих руках жизнь миллионов.

– Ты о Дзержинском когда-нибудь слышал?

Чарли бросил на Саймона испуганный взгляд. Имя это упоминала Лидия.

– Да, как ни странно, слышал.

– Он был из благородного сословия. Его предки с семнадцатого века были польскими землевладельцами. Он был культурный, начитанный человек. Ленин и старая гвардия – большевики – совершили революцию, но без Дзержинского ее задавили бы в первый же год. Дзержинский понимал, спасти революцию может только террор. Он обратился с просьбой поставить его во главе полиции и организовал Чека. Он сделал ее орудием подавления, и она действовала с точностью отлаженного механизма. При исполнении своих обязанностей он не давал воли ни любви, ни ненависти. Он был невероятно работоспособен. Он ночь напролет сам допрашивал подозреваемых, и говорят, научился так мастерски читать в сердцах людей, что от него невозможно было ничего утаить. Он изобрел систему заложников, ни одна революция не создала системы, которая так успешно поддерживала бы порядок. Собственной рукой он подписал сотни, нет, тысячи смертных приговоров. Жил он по-спартански. Сила его заключалась в том, что для себя ему не нужно было ничего. Единственная его цель была – служить революции. И он сделался одним из самых могущественных людей России. Народ боготворил и бурно приветствовал Ленина, но правил народом Дзержинский.

– Так вот какую роль ты хотел бы играть, случись в Англии

революция?

– Я бы отлично к ней подошел.

Чарли улыбнулся ему своей мальчишеской, добродушной улыбкой.

– Пожалуй, я сослужил бы Англии хорошую службу, задуши я тебя прямо сейчас. А ведь, знаешь, я могу.

– Представляю. Но ты побоишься последствий.

– Не думаю, чтоб меня уличили. Никто не видел, что я пришел. Только Лидия знает, что я собирался зайти к тебе, но она меня не выдаст.

– Я не об этих последствиях думал. Я о совести твоей думал. Тебе для этого недостает твердости, друг мой Чарли. Ты слабак.

– Пожалуй, ты прав.

Чарли помолчал.

– Ты говоришь, Дзержинскому ничего не нужно было для себя, – сказал он, – а тебе ведь нужна власть.

– Только как средство.

– Для какой цели?

Саймон посмотрел на него в упор, Чарли показалось, что глаза его зажглись чуть ли не безумным светом.

– Чтобы состояться. Удовлетворить свой творческий инстинкт. Употребить способности, которыми меня одарила природа.

Чарли не нашелся что ответить. Поглядел на часы и встал.

– Мне пора.

– Я больше не хочу с тобой видеться, Чарли.

– А тебе и не придется. Я завтра уезжаю.

– Я никогда больше не хочу тебя видеть.

Чарли растерялся. Посмотрел Саймону в глаза. Глаза смотрели мрачно, безжалостно.

– Вот как? Почему?

– У меня с тобой все кончено.

– Навсегда?

– Окончательно.

– И не жаль тебе? Я ведь был тебе неплохим другом, Саймон.

Саймон молчал не долее чем требуется, чтобы упал с дерева на землю перезрелый плод.

– Ты мой единственный друг, другого у меня не было.

Голос его срывался, и так ясно было его отчаяние, что Чарли, взволнованный, порывисто протянул руки, шагнул к нему.

– Саймон, милый, зачем ты так терзаешь себя?

В измученных глазах Саймона вспыхнула ярость, и, сжав кулак, он изо

всех сил ударил Чарли в челюсть. Удар был так неожидан, что Чарли покачнулся, поскользнулся на не покрытом ковром полу и упал ничком; мигом вскочил и, вне себя от гнева, кинулся к Саймону, чтобы дать ему по заслугам, так бывало прежде не раз, когда тот доводил его до белого каления. Саймон не шевельнулся, стоял, заложив руки за спину, даже не пытался защищаться, словно готов был охотно принять наказание, и такая мука, такой ужас были на его лице, что Чарли сразу остыл. Замер на месте. Челюсть болела, но он добродушно усмехнулся.

– Дурак ты, Саймон, – сказал он. – Ты же мог меня искалечить.

– Убирайся, бога ради. Беги к своей треклятой шлюхе. Я по горло сыт тобой. Пошел вон, вон!

– Ну, что ж, дружище, я ухожу. Но сперва вот небольшой подарок, я привез тебе ко дню рождения, к седьмому.

Он вынул из кармана часы в кожаном футляре, из тех, что открываются, когда раздвигаешь футляр, и при этом сами заводятся.

– На них кольцо, так что можешь повесить их на цепочку для ключей.

Он положил часы на стол. Саймон и не посмотрел на них. Чарли бросил взгляд на Саймона, глаза его весело поблескивали. Он ждал, не скажет ли тот хоть слово, да так и не дождался. Прошел к двери, растворил ее и вышел вон.

Несмотря на поздний час, бульвар Монпарнас был ярко освещен. Приближался Новый год, и все дышало предчувствием праздника. На улицах толпы, кафе набиты битком. Все в отличном расположении духа. А Чарли был угнетен, его мучил стыд, как бывает, когда придешь в гости, надеясь развлечься, но ведешь себя нелепо, бестактно, и уходишь с сознанием, что произвел прескверное впечатление. Ему полегчало, когда он вновь оказался в убогом номере гостиницы. Лидия сидела у зажженного камина и шила, и не продохнуть было от табачного дыма, видно, она курила сигарету за сигаретой. А в общем, милая, домашняя картина. Будто какой-нибудь интерьер Вилара, с его задушевым уютным очарованием, но написанный Утрилло, так что есть в нем еще и трогательная скудость. Лидия встретила Чарли своей тихой, дружелюбной улыбкой.

– Как ваш друг Саймон?

– Совсем спятил.

Чарли закурил трубку, сел на пол перед камином, прислонясь к сиденью стула, на котором сидела Лидия. Эта близость успокаивала. Он рад был, что она молчит. Он был взбудоражен чудовищными разговорами Саймона. Из головы не шла тощая фигура, бледное лицо с двухдневной щетиной, со следами недоедания и переутомления, вот он ходит взад-

вперед по комнате в старом халате и с хладнокровной, безжалостной враждебностью выкладывает бредовые свои мысли. Но за этой картиной виделась другая, незабытая – мальчик с большими темными глазами, который, казалось, жаждет любви и, однако, отталкивает ее, мальчик, с кем он, Чарли, в дни рождественских каникул ходил в цирк и который так бурно радовался непривычному удовольствию, с кем катался на велосипеде или отправлялся в другие загородные прогулки, кто порою бывал весел и забавен, с кем было радостно болтать, и смеяться, и озорничать, и валять дурака. Невероятно, что тот мальчик мог превратиться в этого молодого человека, это надрывало душу, Чарли готов был заплакать.

– Хотел бы я знать, что в конце концов станет с Саймоном, – пробормотал он.

Он сам не заметил, как произнес эти слова вслух, и удивился, когда Лидия ответила ему, чуть не подумал, что она прочла его мысли.

– Англичан я не знаю, – сказала она. – Но будь он русский, я бы сказала, что он либо станет опасным агитатором, либо покончит с собой.

Чарли фыркнул:

– Видите ли, мы, англичане, обладаем замечательной способностью обращать заблуждения молодости в добротную пищу. С таким же успехом он может в конце концов стать редактором «Таймс».

Чарли поднялся и сел в кресло, единственное место в комнате, где можно было посидеть с удобством. Задумчиво посмотрел на Лидию, усердно работающую иглой. Хотелось кое-что ей сказать, но от мысли об этом он разволновался, и, однако, завтра он уезжает и другого случая сказать, возможно, уже не будет. Чарли терзало подозрение, посеянное Саймоном в его бесхитростной душе. Если Лидия все время его дурачила, надо бы это узнать, и тогда при расставании он просто пожмет плечами и с чистой совестью забудет и думать о ней. Он решил немедленно узнать правду, но стеснялся напрямик сделать ей некое предложение и потому начал издали:

– Я вам не рассказывал про свою двоюродную бабушку Марту?

– Нет.

– Она была старшим ребенком моего прадеда. Старая дева, лицо мрачное, землистое и все в морщинах, столько морщин я больше ни у кого не видел. Маленького росточка, тонюсенькая, губы поджаты и вечно кислая мина, осуждающий взгляд. В детстве я ее до смерти боялся. Она безмерно восхищалась королевой Александрой и до конца своих дней носила такую же прическу, как королева, только у нее это был парик. Одевалась всегда в черное, длинные, широчайшие юбки, талия в рюмочку и высокие, до самых

ушей воротники. На шее она носила тяжелую золотую цепь, с которой свешивался большой золотой крест, а на запястьях золотые браслеты. Потрясающе благовоспитанная женщина. Всю жизнь она так и прожила в огромном доме, который построил для себя старик Сайберт Мейсон, когда стал преуспевать, и решительно ничего там не меняла. Входишь в этот дом и оказываешься в семидесятих годах восемнадцатого века. Умерла она всего несколько лет назад в очень солидном возрасте и оставила мне пятьсот фунтов.

– Очень мило.

– Я хотел пустить их на ветер, но отец уговорил меня отложить их. Сказал, когда мне придет время жениться и я захочу обставить квартиру, я еще как буду рад, что у меня кое-что отложено. Только, похоже, я не женюсь в ближайшие годы, и эти деньги мне не так уж нужны. Хотите, я дам вам из них двести фунтов?

Лидия продолжала шить и приветливо, без особого интереса, больше из вежливости, слушала рассказ, который мало значил для нее, но при этих словах ткнула иглоу в материю и подняла на Чарли глаза.

– С какой стати?

– Я подумал, они могут вам пригодиться.

– Не понимаю. Что я такое сделала, что вам захотелось подарить мне двести фунтов?

Чарли замялся. Лидия смотрела на него своими голубыми, большими, но неяркими глазами, смотрела так внимательно, словно пыталась заглянуть ему в душу. Чарли отвернулся.

– Вы могли бы очень помочь Роберу.

На ее губах появилась слабая улыбка. Она поняла.

– Ваш друг Саймон сказал вам, что я пошла в Serail, чтобы заработать на побег Роберу?

– С чего вы взяли?

У нее вырвался презрительный смешок.

– Вы очень наивны, бедняжка. Это все их домыслы. Неужели вы думаете, я стану кого-то разубеждать, неужели думаете, меня бы поняли, скажи я правду? Не нужны мне ваши деньги, мне не на что их употребить. – И продолжала мягче: – Так славно, что вы это предложили. Милое вы существо, но такой еще ребенок. Неужели вам не понятно, ведь то, что вы предлагаете, преступление, и оно запросто может привести вас в тюрьму.

– Ладно, оставим это.

– Вы не поверили тому, что я вам рассказывала третьего дня?

– Мне начинает казаться, что в этом мире очень трудно понять, чему можно верить. В конце концов я вам никто, чего ради вы стали бы говорить мне правду, если вам не хотелось. И еще эти парни сегодня утром, и они вам дали адрес, по которому можно послать деньги. Вот я и сопоставил то и другое, что ж удивительного.

– Я буду рада, если смогу послать Роберу немного денег, пусть купит себе сигарет и кой-какую еду. Но все, что я вам говорила, правда. Я не хочу, чтобы он сбежал оттуда. Он согрешил и должен пострадать.

– Я просто думать не могу, что вы опять вернетесь в это ужасное заведение. Теперь я немного вас знаю, и мне невыносимо думать, что вы, именно вы, живете такой жизнью.

– Но я же вам сказала, я должна искупить грех, должна сделать то, чего сам он сделать не в силах.

– Но это безумие. Что-то болезненное. Бессмыслица какая-то. Если бы вы верили в сурового Бога, который требует возмездия и готов принять ваши страдания, ну, как частичную плату за зло, которое содеял Робер, я бы еще понял вас, хотя все равно считал бы это чудовищным заблуждением, но вы говорили, вы в Бога не верите.

– С чувством спорить невозможно. Конечно же, это неразумно, но разум тут ни при чем. Я не верю в Бога христиан, который пожертвовал сыном ради спасения человечества. Это миф. Но откуда бы взяться мифу, если он не выражал бы некую глубинную тягу, присущую людям? Я сама не знаю, во что я верю, ведь это чутье, а как описать чутье словами? Чутье подсказывает мне, что сила, которая правит нами, – людьми, животными, всем на свете, это сила непонятная и жестокая, и за все надо платить. Сила эта требует око за око и зуб за зуб, и как бы мы ни увиливали и ни изворачивались, мы вынуждены подчиниться, потому что эта сила есть мы сами.

Чарли безнадежно махнул рукой. Чувство у него было такое, словно он пытался разговаривать с кем-то, чей язык ему непонятен.

– Сколько еще времени вы останетесь в Serail?

– Не знаю. Пока не сделаю то, что мне предназначено. Пока не придет час, когда почувствую всем своим существом, что Робер освобожден, не из тюрьмы, но от своего греха. Одно время я надписывала адреса на конвертах. Конвертов многие сотни, и, кажется, им не будет конца, пишешь, пишешь, и долгое время кажется, сколько их было, столько и есть, и вдруг, когда меньше всего этого ждешь, оказывается, надписала последний конверт. Очень странное ощущение.

– И тогда вы уйдете и присоединитесь к Роберу?

– Если он захочет.

– Ну конечно, захочет, – сказал Чарли.

С бесконечной печалью Лидия посмотрела на него:

– Не знаю.

– Как вы можете сомневаться? Он вас любит. В конце концов, подумайте, что должна значить для него ваша любовь.

– Вы слышали, что сказали сегодня эти двое. Он весел, ему повезло, он вполне освоился. Так и должно было быть. Так уж он устроен. Он любил меня, да, знаю, но я знаю также, что любить долго он не способен. Даже если бы ничего не случилось, он не навсегда остался бы со мной. Я с первых дней это знала. И когда настанет час и я смогу уйти, как я могу надеяться, что к тому времени он меня не разлюбит?

– Но если вы так думаете, мыслимо ли и дальше вести такую жизнь?

– Глупо, да? Он жестокий, себялюбивый, бессовестный и безнравственный. Мне все равно. Я не уважаю его, не доверяю ему, но люблю. Люблю всем телом, всеми помыслами, чувствами, всем своим существом. – Она заговорила другим тоном, шутливым. – Теперь, когда я вам это сказала, вам ясно, я презренная женщина, не достойная ни интереса вашего, ни сочувствия.

Чарли с минуту подумал.

– Что ж, не стыжусь сказать, все это выше моего понимания. Но хоть ему и тяжело приходится, я, пожалуй, предпочел бы оказаться на его месте, а не на вашем.

– Почему?

– Что ж, скажу вам откровенно, по-моему, нет ничего мучительней, чем всем сердцем любить человека и знать, что ему грош цена.

Лидия взглянула на него задумчиво, не без удивления, но ничего не сказала.

Глава десятая

Поезд отходил в полдень. Чарли несколько удивился, когда Лидия сказала, что хочет его проводить. Они поздно завтракали, уложили чемоданы. Перед тем как пойти вниз заплатить по счету, Чарли сосчитал деньги. Их осталось очень много.

– Сделайте мне одолжение, – попросил он.

– Какое?

– Позвольте оставить вам немного, вдруг понадобятся.

– Не нужны мне ваши деньги, – улыбнулась Лидия. – Если хотите, можете мне дать тысячу франков для Евгении. Для нее это будет неожиданное счастье.

– Хорошо.

Они сперва заехали на улицу Шато д’О, где жила Лидия, и она оставила у консьержки свой чемоданчик. Потом поехали на вокзал. Лидия шла с Чарли по перрону, и он купил несколько английских газет. Отыскал свое место в пульмановском вагоне. Лидия вошла вместе с ним, огляделась.

– Знаете, я еще никогда не была в вагоне первого класса, – сказала она.

Чарли внутренне содрогнулся. Вдруг представилась жизнь, начисто лишенная не только роскоши, доступной богатым, но даже удобств, которыми пользуются состоятельные люди. Острая печаль пронзила его при мысли о том убогом существовании, которое всегда было и всегда будет уделом этой женщины.

– Ну, в Англии я обычно езжу третьим классом, – словно оправдываясь, промолвил Чарли. – Но отец сказал, в Европе надо ездить как подобает джентльмену.

– Это производит хорошее впечатление на туземцев.

Чарли засмеялся, покраснел.

– У вас особый дар сказать такое, что я чувствую себя дурак дураком.

Они ходили взад-вперед по перрону и, как всегда бывает в таких случаях, подыскивали, что бы еще сказать, и ничего путного не приходило на ум. Чарли спрашивал себя, мелькнула ли у нее мысль, что, по всей вероятности, они никогда в жизни больше не увидятся. Как странно, пять дней они были почти неразлучны, а уже через час будет казаться, словно они никогда и не встречались. Но поезд с минуты на минуту отойдет. Чарли протянул на прощанье руку. Лидия стояла, как-то особенно скрестив руки на груди, это всегда странно его трогало, так она лежала, скрестив руки,

когда плакала во сне; и вот она подняла голову. С удивлением Чарли увидел, что она плачет. Он обнял ее и впервые поцеловал в губы. Лидия высвободилась из его объятий, отвернулась и поспешно пошла прочь. Чарли зашел в купе. Он был непривычно, до глубины взволнован. Но сытный обед с полубутылкой посредственного «Шабли» вернул утраченное спокойствие; а пообедав, он закурил трубку и принялся читать «Таймс». И утешился. В самом ощущении плотных газетных листов он находил некую истинно великолепную основательность. Посмотрел он иллюстрированные газеты. По натуре он не склонен был предаваться грусти. К тому времени, как они достигли Кале, он был уже в наилучшем настроении. Оказавшись на корабле, он выпил немного шотландского виски и принялся шагать по палубе, с удовольствием созерцая волны, которыми, как известно, правит Британия. Было замечательно увидеть белые утесы Дувра. Он с облегчением вздохнул, когда ступил на неподатливую английскую землю. Словно пробыл в разлуке с нею тысячу лет. Приятно было услышать голоса английских носильщиков, и он засмеялся в ответ на устрашающую грубость английских таможенников, которые обходятся с тобой точно с преступником. Еще два часа, и он снова дома. Вот и отец всегда повторял:

– До чего ж приятно уехать из Англии, но и того приятней возвратиться.

Все пережитое в Париже уже затянулось легкой дымкой. Будто после ночного кошмара, когда просыпаешься весь дрожа, но день течет своим чередом, и память о нем бледнеет, и немного погодя уже только и помнишь, что тебе привиделся дурной сон. Хотелось знать, встретит ли его кто-нибудь, как славно было бы увидеть на перроне родное лицо. На вокзале Виктории он вышел из вагона и сразу же увидел мать. Она обвила руками его шею и так расцеловала, словно они не виделись долгие месяцы.

– Я сказала твоему отцу, что, раз он тебя провожал, встречать буду я. Пэтси тоже хотела поехать, но я не позволила. Я хотела на несколько минут заполучить тебя для себя одной.

До чего же приятно, когда тебя окутывает эта надежная любовь.

– Глупышка ты, мама. Это же нелепо, такой ненастный вечер, на перроне продувает насквозь, ты же рискуешь простудиться насмерть.

Под руку, счастливые, они прошли к автомобилю. И поехали на Порчестер-Клоуз. Лесли Мейсон услышал, как отворилась парадная дверь, и вышел в прихожую, сбежала по лестнице Пэтси и кинулась в объятия брату.

– Идем ко мне в кабинет, глотни спиртного. У меня там виски. Ты, должно быть, отчаянно промерз.

Чарли достал из кармана пальто два флакона духов, которые привез матери и Пэтси. Их выбрала Лидия.

– Я привез их контрабандой, – с торжеством объявил он.

– Теперь эти две женщины будут благоухать, точно публичный дом, – расплывшись в улыбке, сказал Лесли Мейсон.

– Я привез тебе галстук от Шарве, па.

– Яркий?

– Очень.

– Отлично.

Все расхохотались, очень довольные друг другом. Лесли Мейсон налил немного виски и настоял, чтобы жена выпила, а то еще захворает.

– Были у тебя какие-нибудь приключения, Чарли? – спросила Пэтси.

– Ни единого.

– Лгунишка.

– Ну, ты нам все про все расскажешь потом, – сказала миссис Мейсон. – А сейчас пойді прими хорошую горячую ванну и переоденься к ужину.

– Для тебя все готово, – сказала Пэтси. – Тебе остается только развести в ванне ароматическую соль.

С ним обращались так, словно он только что вернулся с Северного полюса после неимоверно трудного путешествия. И сердце его ликовало.

– Хорошо вернуться домой? – спросила мать, глаза ее светились любовью.

– Замечательно.

Но когда Лесли, еще не окончательно одевшись, зашел к жене поболтать, пока она приводит в порядок лицо, она встревоженно обернулась к нему.

– Он ужасно бледный, Лесли, – сказала она.

– Немного утомлен. Я и сам заметил.

– Он так осунулся. Мне это сразу бросилось в глаза, когда он вышел из вагона, но только дома я его как следует разглядела. Он белый как полотно.

– Через день-другой отойдет. Должно быть, гульнул. По его виду я полагаю, он не одной красотке помог отложить денег на почтенную старость.

Миссис Мейсон сидела у туалетного столика в китайском жакете, отороченном белым мехом, и старательно подводила карандашом брови, но при этих словах мужа резко обернулась.

– Ты что хочешь этим сказать, Лесли? Не хочешь же ты сказать, что он развлекался с этими мерзкими француженками?

– Ну оставь, Винития. Для чего, по-твоему, он поехал в Париж?

– Посмотреть картины, повидать Саймона, ну и просто съездить во Францию. Он же еще мальчишка.

– Не говори глупости, Винития. Ему двадцать три года. Надеюсь, ты не думаешь, что он девственник?

– Все мужчины омерзительны, вот что я думаю.

Голос ее сорвался, и, видя, что она не на шутку огорчилась, Лесли с нежностью потрепал ее по плечу.

– Милая, ты же не хочешь, чтобы твой единственный сын был евнухом, правда?

Миссис Мейсон и сама не знала, смеяться ей или плакать.

– Да нет, наверно, не хочу, – хихикнула она.

Полчаса спустя Чарли, не в самом парадном смокинге, с особым удовольствием, сел за стол в стиле чиппендейл с отцом в бархатном пиджаке, с матерью в свободного покроя розовато-лиловом шелковом платье и с Пэтси, как и положено девице, в розовом шифоне. Георгианское серебро, затененные свечи, кружевные салфеточки, купленные Винитией Мейсон во Флоренции, хрусталь – все было красиво, но главное, так знакомо. Картины на стенах, каждая со своей подсветкой, были вполне хорошие; и две горничные в аккуратной коричневой форме прибавляли еще один штрих. Все рождало ощущение защищенности, приятную уверенность, что внешний мир отсюда далек. Простая добротная пища рассчитана на здоровый аппетит, от нее не потолстеешь. В камине электрический костер с успехом изображает горящие поленья. Лесли Мейсон взглянул на меню.

– Вижу, ради возвращения блудного сына мы закололи жирного тельца, – сказал он, лукаво посмотрев на жену.

– Ты хорошо ел в Париже, Чарли? – спросила миссис Мейсон.

– Вполне. Я, знаете ли, не ходил по шикарным ресторанам. Мы обычно ели в ресторанчиках и в кафе Латинского квартала.

– А кто же это «мы»?

Чарли на миг замялся, покраснел.

– Да я обедал с Саймоном.

Был такой случай. Своим ответом он скрыл правду, но и не соврал. Миссис Мейсон перехватила многозначительный взгляд мужа, но не обратила на него внимания; с нежной любовью она все смотрела на сына, а тот, слишком бесхитростный, и не подозревал, что родители пытаются проникнуть ему в душу, разгадать тайны, которые он, быть может, там хранит.

– А картины какие-нибудь ты видел? – ласково поинтересовалась мать.

– Я был в Лувре. Мне очень понравился Шарден.

– Да что ты? – отозвался Лесли Мейсон. – По правде сказать, на меня он не производил особого впечатления. Мне он всегда казался скучным. – Глаза весело блеснули, и он сострил: – Между нами говоря, Шардену я предпочитаю Шарве. Он по крайней мере современен.

– Твой отец просто невозможен, – снисходительно улыбнулась миссис Мейсон. – Шарден очень добросовестный художник, один из мастеров восемнадцатого столетия, но, разумеется, не из великих.

Однако им, в сущности, куда больше хотелось рассказать, как провели время они сами, чем слушать рассказы Чарли. Праздник у кузена Уилфрида удался на славу, и они вернулись домой такие усталые, даже не успели поужинать, сразу легли. По этому видно, как они веселились.

– Пэтси сделали предложение, – сказал Лесли Мейсон.

– Интересно, правда? – воскликнула Пэтси. – К сожалению, бедняжке всего шестнадцать лет, ну я ему и сказала, что хоть я и дурная женщина, но еще не пала так низко, чтобы похищать младенцев из колыбели, и целомудренно поцеловала его в лоб и пообещала быть ему сестрой.

Пэтси продолжала болтать, Чарли с улыбкой ее слушал, а миссис Мейсон воспользовалась случаем повнимательней к нему присмотреться. Он и вправду очень хорош собой, а бледность ему к лицу. Со странным чувством думала она о том, как он, должно быть, нравился этим ужасным парижанкам; наверно, побывал в каком-нибудь их мерзком заведении; как он, должно быть, всех очаровал, такой молодой, чистый, обаятельный, рядом с толстыми, лысыми, гадкими стариками, к которым там привыкли! Интересно, что за девушка его привлекла, была бы хоть молоденькая и хорошенькая, говорят, мужчин привлекают женщины, похожие на их матерей. Уж наверно Чарли восхитительный любовник; она невольно гордилась им; как же иначе, ведь он ее сын, она носила его под сердцем. Милый. До чего он бледный и усталый. Странные мысли бродили в голове миссис Мейсон, этими мыслями она не поделилась бы ни с кем на свете: она грустила и слегка ревновала, да, ревновала к девушкам, с которыми он спал, но ощущала и гордость, да еще какую, ведь он сильный, красивый, настоящий мужчина.

Лесли прервал пустую болтовню Пэтси и мысли жены:

– Откроем ему наш замечательный секрет, Винития?

– Конечно.

– Только смотри, Чарли, никому ни слова. Это придумал кузен Уилфрид. Партии необходимо подыскать теплое местечко для одного из

бывших губернаторов Индии, и Уилфрид решил уступить ему свое место, а в знак признательности его сделают пэром. Что ты на это скажешь?

– Великолепно.

– Он, конечно, притворяется, что его это мало трогает, а сам рад-радешенек. И знаешь, это и всем нам приятно. Ведь когда в семье есть пэр, это поднимает ее в глазах общества. Занимаешь более высокое положение. А только подумать, с чего мы начинали...

– Довольно, Лесли, – миссис Мейсон показала глазами на служанок, – незачем нам в это углубляться. – И когда после ее слов девушки вышли из столовой, прибавила: – У твоего отца была страсть рассказывать всем и каждому о своем происхождении. По-моему, пришло время понять: что было, то прошло. Не беда помянуть об этом среди людей нашего круга, на их взгляд, есть особый шик в том, что дед был садовником, а бабка кухаркой, но слугам об этом говорить незачем. Они только станут думать, будто мы им ровня.

– Я своего происхождения не стыжусь. В конце концов, самые прославленные английские роды начинали так же скромно, как мы. А мы разбогатели меньше чем за сто лет.

Миссис Мейсон и Пэтси встали из-за стола, а Чарли остался с отцом выпить бокал портвейна. Лесли Мейсон рассказал ему, какой разгорелся спор в связи с тем, что кузен Уилфрид получит титул. Не так-то легко найти подходящее имя, какого нет больше ни у кого, так или иначе связанное с именем Уилфрида, и притом благозвучное.

– Я думаю, пора присоединиться к дамам, – сказал он, когда тема была исчерпана. – Перед сном мама, наверно, захочет сыграть роббер.

Но, уже выходя из столовой, приостановился, положил руку на плечо сыну.

– У тебя утомленный вид, дружок. Ты, я полагаю, кутнул в Париже. Что ж, дело молодое, этого следовало ожидать. – Он вдруг сконфузился. – Ну, да это не мое дело, есть вещи, в которые отцу с сыном вдаваться незачем. Но и в самых добропорядочных семьях случается всякое, и я что хочу сказать, если почувствуешь неладное, не смущайся, а сразу же обратись к доктору. Старик Синнери принимал роды, когда ты появился на свет, так что можешь его не стесняться. Он сама скромность и в два счета приведет тебя в порядок; счет будет оплачен, и никаких вопросов он тебе задавать не станет. Вот все, что я хотел тебе сказать, а теперь пойдем, мама заждалась.

Поняв, о чем толкует отец, Чарли покраснел как рак. Чувствовал, надо что-то сказать, но так и не нашелся.

Когда они вошли в гостиную, Пэтси играла вальс Шопена, а потом мать попросила и Чарли что-нибудь сыграть.

– Ты, наверно, ни разу не играл с тех пор, как уехал?

– Раз вечером играл на пианино в гостинице, но пианино было никудышное.

Он сел и опять заиграл ту пьесу Скрябина, которую он, по мнению Лидии, исполнил из рук вон плохо, и, едва начав, вдруг вспомнил тот душный прокуренный подвал, куда она его привела, и головорезов, с которыми он так подружился, и русскую певицу, изможденную, смуглую, точно цыганка, с огромными глазами, ту, что так трагически, самозабвенно пела буйные дикие песни. Сквозь ноты, которые он брал на клавиатуре, ему слышался ее пронзительный, резкий и, однако, глубоко волнующий голос.

У Лесли Мейсона было чуткое ухо.

– Ты играешь эту пьесу не так, как раньше, – сказал он, когда Чарли поднялся с табурета.

– Не думаю. Разве?

– Да, с совсем иным чувством. Какая-то дрожь через нее проходит, и это очень впечатляет.

– А мне больше нравится прежняя манера, Чарли. Сейчас ты в нее внес что-то болезненное, – сказала миссис Мейсон.

Сели за бридж.

– Ну вот, все опять по-старому, – сказал Лесли. – С тех пор как ты уехал, нам не доставало нашего семейного бриджа.

У Лесли Мейсона была теория, что по тому, как человек играет в бридж, можно судить о его характере, а поскольку сам себе он казался удальцом, человеком щедрым и непосредственным, он объявлял больше взяток и беспечно удваивал ставки. Соблюдать правила ему казалось не по-английски. А миссис Мейсон, наоборот, играла строго по правилам Калбертсона и тщательно пересчитывала очки, прежде чем отваживалась объявить козырную масть. Она никогда не рисковала. Из всей семьи только Пэтси по какой-то прихоти судьбы смыслила в картах. Она играла смело, умно и, казалось, чуяла карточный расклад. И не скрывала презрения к родительской манере игры. За карточным столом она смотрела на обоих свысока. Игра шла в точности так же, как в многие и многие прежние вечера. Лесли наобъявлял взятки, дочь его перехитрила, он удвоил усилия и с торжеством проиграл тысячу четыреста; у миссис Мейсон было полно фигурных карт, но она не пожелала слушаться партнера и объявила шлем; Чарли играл небрежно.

– Ты, дурной, ты мне почему не вернул бубны? – крикнула Пэтси.

- А почему я должен возвращать бубны?
- Ты что, не видел, я играла девяткой, потом шестеркой?
- Нет, не видел.
- Господи, всю жизнь мне приходится играть с людьми, которые не умеют отличить туз пик от коровьего хвоста.
- Та ли взятка, эта ли, разница невелика.
- Взятка? Взятка? Взятка может изменить все на свете.

Никто не обращал внимания на досаду Пэтси. Все только смеялись, и она махнула на них рукой и тоже засмеялась. Лесли старательно вел счет и заносил в записную книжку. Они играли по пенни за сотню, но делали вид, будто играют по фунту стерлингов, так это выглядело лучше и было увлекательней. Иногда против своего имени Лесли вписывал суммы вроде полутора тысяч фунтов и пресерьезно изрекал, что, если так пойдет и дальше, он вынужден будет расстаться с автомобилем и ездить в контору автобусом.

Часы пробили двенадцать, и они пожелали друг другу спокойной ночи. Чарли ушел в свою теплую, уютную комнату и начал раздеваться, но вдруг почувствовал, что очень устал, и опустился в кресло. И решил перед сном выкурить еще трубку. Нынешний вечер был совсем такой же, как и все прежние несчетные вечера, проведенные дома, но показался покойным и душевным как никогда; все мило, знакомо, все до мелочей именно так, как хотелось; где еще найдешь такую прочность и устойчивость; а меж тем, невесть почему, донимала въедливая мысль, что все это одно притворство. Будто этакий домашний спектакль, который разыгрывают взрослые на радость детям. А ночной кошмар, от которого, как воображал Чарли, он счастливо очнулся, – Лидия с подведенными веками и накрашенными сосками, в голубых турецких шальварах и голубом тюрбане, в этот час танцует или лежит обнаженная, униженная и мучительно торжествующая в своем унижении в объятиях какого-нибудь отвратительного ей мужчины; Саймон, закончив работу в редакции, ходит в этот час по пустеющим улицам на левом берегу Сены, и в его болезненном извращенном уме зреют чудовищные планы; в этот час Алексей и Евгения, – Чарли никогда их не видел, но, казалось, так хорошо их знает по рассказам Лидии, что непременно узнал бы, встретить их на улице, – в этот час пьяный Алексей слезливо возмущается развращенностью сына, а Евгения шьет, шьет не покладая рук и тихонько плачет, оттого что жизнь такая горькая; два отпущенных на волю каторжника с оцепенелым взглядом, словно прикованным к ужасам, которые довелось увидеть, сидят в этот час каждый со стаканом пива в прокуренном полутемном подвале и там, затерявшись в

многолюдье, на краткий миг освобождаются от вечного страха, что кто-то за ними следит; и за тридевять земель, на далеком побережье Южной Америки, Робер Берже в тюремной полосатой, розово-белой одежде и в уродливой соломенной шляпе на бритой голове в этот же час идет из больницы по какому-то поручению и, бросив взгляд на морской простор, мысленно прикидывает, есть ли надежда на успешный побег, и со снисходительной нежностью думает о Лидии... А ночной кошмар, от которого, как воображал Чарли, он счастливо очнулся, на самом деле страшная действительность, рядом с которой все остальное самообман. Это нелепо, это противоречит здравому смыслу, но она, вся та страшная действительность, словно исполнена силы и тайного смысла. И значит, жизнь, которую он делит с этими тремя, – с отцом, матерью и сестрой, столь дорогими его сердцу, и вся прочая благопристойная, но заурядная окружающая жизнь, которая выпала ему по воле слепого случая, – уютно укрыла и защитила, это все лишь театр теней. Пэтси спросила, были ли у него в Париже приключения, и он честно ответил – нет. Он ведь и вправду ничего такого не делал. Отец думает, он там распутничал, и боится, не подхватил ли он дурную болезнь, а у него и женщины-то не было. Лишь одно с ним случилось – довольно странно это, если подумать, он не очень и понимал, как с этим быть, – весь его прошлый мир рухнул.

notes

Примечания

Стиль английской мебели XVIII века. – Здесь и далее прим. пер.

Никто не тронет меня безнаказанно (*лат.*).

Сиддонс, Сара (1755–1831) – знаменитая английская актриса.

Натье, Жан Марк (1685–1766) – французский портретист.

Кембл, Джон (1757–1823) – английский актер.

Лоренс, Томас (1769–1830) – английский живописец.

Коклен, Бенцо Констан (1841–1909) – французский актер.

Бесовская красота (фр.).

Бенсон, Франк Роберт (1858–1939) – английский актер и режиссер, посвятивший себя постановке шекспировских пьес, организатор ежегодных фестивалей на родине Шекспира – в Стратфорде-на-Эйвоне.

Кин, Чарлз Джефри (1811–1868) – известный английский актер.

«В добрых отношениях» (фр.).

Постоянный член труппы «Комеди Франсез»; здесь: актриса (*фр.*).

«Комеди Франсез» (фр.).

Высшее музыкальное и театральное училище (фр.).

Бернар, Сара (1844–1923) – знаменитая французская актриса.

Муне-Сюлли, Жан (1841–1916) – известный французский актер.

Дузе, Элеонора (1859–1924) – итальянская актриса.

Героиня драмы Германа Зудермана (1857–1928) «Родина».

Драма Г. Ибсена.

Пьеса Б. Шоу.

Героиня одноименной драмы Г. Ибсена.

Пъеса Б. Шоу.

Драма Г. Ибсена.

Из стихотворения Ричарда Лавлейса (1618–1658) «Лукасте, уходя на войну».

Дру, Джон (1853–1927) – американский актер.

Опера Джакомо Пуччини (1858–1924), итальянского композитора.

Кендел, Мэлж (1849–1935) – английская актриса.

Шекспир, Вильям. Сон в летнюю ночь.

Комедия Вильяма Шекспира.

«Ты этого хотел, Жорж Данден» (*фр.*).

Шекспир, Вильям. Гамлет.

Кокни – уроженец Ист-Энда (рабочий квартал Лондона), речь кокни отличается особым, нелитературным произношением и грамматическими неправильностями.

Цицерон. Из писем к близким.

Терри, Эллен Алисия (1848–1928) – английская актриса.

Музей классической и современной живописи в Лондоне.

Пруст, Марсель (1871–1922) – французский писатель.

Сезанн, Поль (1839–1906) – французский живописец.

Героиня комедии «Пути светской жизни» У. Конгрива (1670–1729), английского комедиографа.

Предметом искусства (фр.).

Фаркер, Джордж (1677–1707) – англо-ирландский драматург.

Голдсмит, Оливер (1728–1774) – английский писатель.

Бал в Оперном театре (фр.).

Начальник поезда, главный кондуктор (*фр.*).

Идите (фр.).

Шмэн-де-фер – азартная карточная игра (*фр.*).

Рекамье, Жюли (1777–1849) – знаменитая французская красавица, хозяйка блестящего парижского салона во времена Директории и Консульства, где собирались известные писатели тех дней.

Батист жесткой выделки.

Шутовство (ит.).

Буквально: сменная одежда; здесь – маскарад (*ut.*).

Режан, Габриэль (1857–1920) – французская актриса.

«Ныне отпускаеши» (лат.).

Шекспир, Вильям. Генрих VIII.

Шекспир, Вильям. Цезарь и Клеопатра.

Второй день Рождества, когда слуги, посыльные и т.п. получают подарки.

Моя дочь, величайшая английская актриса (*фр.*).

Ваза для середины обеденного стола, обычно из нескольких отделений, ярусов (фр.).

Аббат (фр.).

Майор гвардии (фр.).

Плафон – карточная игра (фр.).

Бюстгальтер (фр.).

Ну, это безумие! (фр.)

Это действительно неразумно, дочь моя (*фр.*).

Бобриком (фр.).

Мак-Эвой (1878–1927) – английский портретист.

Перефразированная строка из «Трагической истории доктора Фауста»
К. Марло: «Елена, дай бессмертье поцелуем».

«Кто скоро даст, тот дважды даст» (*лат.*) – изречение Сенеки.

Боттичелли, Сандро (1445–1510) – флорентийский живописец.

Ромни, Джордж (1734–1802) – английский портретист.

Энгр, Жан Огюст Доминик (1780–1867) – французский художник-классицист.

«Ода греческой вазе» английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821). Пер. О. Чухонцева.

Пьеса Артура Уинга Пинеро (1855–1934), английского драматурга.

Сорт пива.

Начало стихотворения «Пиво» Чарлза С. Коверли (1831–1884),
английского поэта.

Согласно греческой мифологии, Федра, дочь критского царя Миноса, супруга Тезея, оклеветала перед Тезеем своего пасынка Ипполита, который отверг ее любовь, и после его насильственной смерти повесилась.

Сарду, Викторьен (1831–1908) – французский драматург.

Д'Аннунцио, Габриэль (1863–1938) – итальянский писатель.

Перефразированные слова королевы Елизаветы I, приведенные в «Мемуарах сэра Джеймса Мелвилла», деятеля эпохи Реформации.

Девкалион в греческой мифологии – сын Прометея, супруг Пирры, вместе с нею спасся на ковчеге во время потопа, который должен был по воле Зевса погубить греховный род человеческий. Ковчег после потопа остановился на горе Парнас. Новый род людской возник из брошенных по воле оракула Девкалионом и Пиррою за спину камней.

Шекспир, Вильям. Как вам это нравится.

Блюдо из риса, стручковых овощей, лука и яиц.

Сераль (фр.).

Хорошей мыслью не грех и попользоваться (*фр.*).

Годы странствий (нем.).

«Жизнь богемы» (фр.).

Помощница хозяйки (фр.).

Записку по пневматической почте (*фр.*).

Вид на жительство (фр.).

Хозяйка, владелица (фр.).

Центральный уголовный суд в Лондоне, в здании Олд-Бейли (по названию улицы, где он находится).

Лондонская тюрьма для совершивших преступление впервые.

В самом деле, действительно (фр.).

Род ухи с чесноком и пряностями (*фр.*).

Улица в Лондоне, где расположены ателье дорогих мужских портных.

Юноша из хорошей семьи (фр.).

Как этот день прекрасен, свеж и чист (*фр.*).

Квадратном зале (фр.).

Нечто неизъяснимое (букв. – сам не знаю что) (*фр.*).

Уолтер Горацио Патер (1839–1894) – английский эссеист и критик.

Молодой человек с перчаткой (*фр.*).

100

Официант, есть у вас жабы? (*фр.*)

Официант, омлет на четверых (*фр.*).

Ростбиф по-английски (фр.).

Хозяин, владелец заведения (*фр.*).

Это Маришка (фр.).

Да здравствуют Страны согласия! (фр.)

За наших союзников! (фр.)

Ну и шутник! (фр.)

Освобожденный (фр.).

Государственный переворот (фр.).